90 коп.

Индекс 70327

ВО ВТОРОМ НОМЕРЕ ЧИТАЙТЕ:



ISSN 0321-1878. Звезда. 1990. № 1. 1—208.

Звезда 1 1990

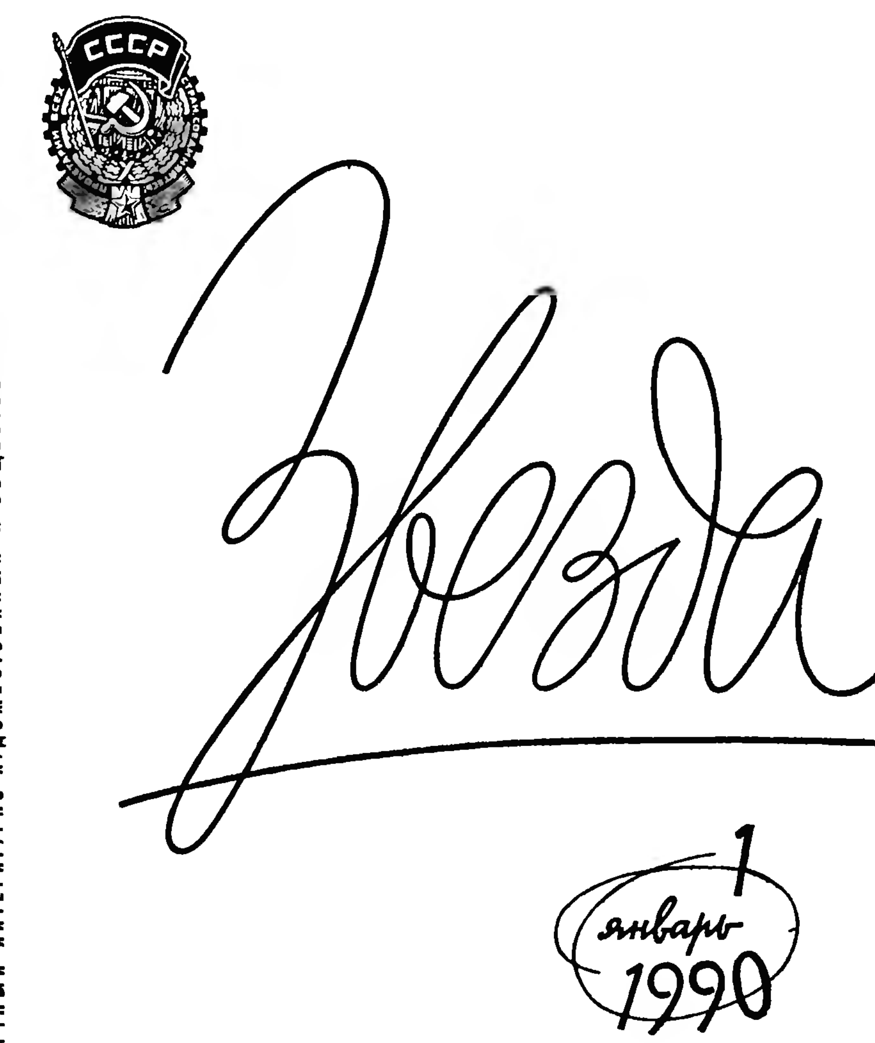
ISSN 0321—1878



1

1990

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

ЛЕНИНГРАД

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



СОДЕРЖАНИЕ

Адрес редакции: 191028, Ленинград, Моховая, 20

Телефоны: главный редактор — 272-89-48, заместитель главного редактора — 273-76-92, ответственный секретарь — 272-71-38, зав. редакцией — 273-37-24, отдел прозы — 272-18-15, отдел публицистики — 279-33-74, отдел критики — 273-74-91, отдел поэзии — 279-30-41

Издательство «Художественная литература»

Сдано в набор 18.09.89. Подписано к печати 04.11.89. М-36468. Формат 70×108[1]/16. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,38 усл. кр.-отт. 23,76 уч.-изд. л. Тираж 210 000 экз. Заказ № 236. Цена 90 к. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

Александр Солженицын

АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

Роман

1

Они выехали из станицы прозрачным зорным утром, когда при первом солнце весь Хребет, ярко-белый и в синих углубинах, стоял доступно-близкий, видный каждым своим изрезом, до того близкий, что человеку непривычному помнилось бы докатить к нему за два часа.

Высился он такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных. За тысячи лет все люди, сколько жили, дооктазным раствором рук неси сюда и пухлыми грудами складывай всё сработанное ими или даже задуманное,— не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта.

От станицы до станции так вела их всё время дорога, что Хребет был прямо перед ними, к нему они ехали, его они видели: снеговые пространства, оголённые скальные выступы да тени угадываемых ущелий. Но от получаса к получасу стал он снизу подтаивать, отделился от земли, уже не стоял, а висел в треть неба и запеленился, не стало в нём рубцов и рёбер, горных признаков, а казался огромными слитными белыми облаками. Потом и облаками уже разорванными на части, уже не отличимыми от истых облаков. Потом и их размыло, Хребет вовсе изник, будто был небесным видением, и впереди, как и со всех сторон, осталось небо сероватое, белесое, набирающее зноя. Так, не меняя направления, они ехали больше пятидесяти вёрст, до полудня и за полдень,— но великанских гор перед ними как не бывало, а подступили близкие округлые горки: Верблюд; Бык; плешивая Змейка; кудрявая Железная.

Они выехали ещё не пыльной дорогой, ещё росной прохладной степью. Они проехали те часы, когда степь звенела, вспархивала, щебетала, потом посвистывала, потрескивала, пошуршивала,— а вот уж к Минеральным Водам, волоча за собой ленивый пыльный взмёт, подъезжали в самый мёртвый послеполуденный час, и отчётливый звук был только — мерное постукивание их таратайки, дерево об дерево, а копытами в пыль становились лошади почти неслышно. И все тонкие запахи трав за эти часы были и перешли, а теперь настоялся один знойный солнечный запах с подмесью пыли, и так же пахла их таратайка, и сенная под-

---

Александр Исаевич Солженицын — всемирно известный русский писатель, лауреат Нобелевской премии, родился в 1918 году. В 60-е годы печатался в советских журналах. В 1974 году был незаконно лишен гражданства СССР и выслан за пределы страны. Живет в США.

Роман «Август Четырнадцатого» является первой частью обширного исторического «повествования в отмеренных сроках» под общим названием «Красное колесо». К настоящему времени завершены еще два романа из этого цикла: «Октябрь Шестнадцатого» и «Март Семнадцатого».

Печатается по изданию «Собрание сочинений». YMCA-PRESS. Париж. 1983.

В публикации сохранены авторская орфография и пунктуация.

стилка, и сами они — но, степнякам от первой детской памяти, этот запах был им приятен, а зной — не утомителен.

Отец пожалел дать им рессорную бричку, берёг, оттого на рыси их трясло и колотило, и бо́льшую часть дороги они проехали шагом. Ехали они меж хлебов и между стад, миновали и солончаковые проплешины, перекатывали пологие холмы, пересекали отлогие балки, с близкой водой и сухие, ни одной настоящей реки, ни одной большой станицы, мало кого встречая, мало кем обогнанные по воскресному малолюдью,— но Исаакию, и всегда терпеливому, особенно сегодня, по настроению и замыслу его, совсем не тягостны были эти восемь часов, а мог бы он и шестнадцать проехать так: из-под дырявой соломенной шляпы — посверх лошадиных ушей, да придерживая возжи ненужные.

Евстрашка, младший, от мачехи, братишка, эту всю дорогу ему сегодня же ворочаться в ночь, сперва спал на сене за спиной Исаакия, потом вертелся, на ноги поднимался, разглядывая в траве, соскакивал, отбегал, догонял, полно было ему дел, ещё и рассказывал или спрашивал: «А почему, если закроешь глаза, кажется — назад едешь?»

Сейчас перешёл Евстрат во второй класс пятигорской гимназии, но сперва, как и Исаакия, его соглашался отец отпустить только в ближнюю прогимназию: остальные ведь, старшие братья и сёстры, не знали-не видели ничего, кроме земли да скота да овец, и жили же. Исаакий был пущен учиться на год позже, чем надо, и после гимназии год передержал его отец, не давая себе сразу втолковать, что теперь какой-то нужен университет. Но как быки сдвигают тяжесть не урывом, а налогом, так Исаакий брал с отцом: терпеливым настоянием, никогда сразу.

Исаакий любил свою родную Саблю и хутор их в десяти верстах, и сельскую работу, и теперь, в каникулы, нисколько не отлынивал ни от косьбы, ни от молотьбы. В понимании своего будущего он как-то рассчитывал соединить свою первородную жизнь и набранное в студенчестве. Но, что ни год, выходило напротив: учение бесповоротно отделяло его от прошлого, от станичников и от семьи.

Во всей станице двое их было, студентов. Удивленье и смех вызывали среди станичников их рассуждения, их вид,— и едва приехав, спешили они переодеваться в своё старое. Впрочем, одно было приятно Исаакию: станичная молва почему-то отделила его от другого студента и назвала — с издёвкою же — *народником*. Кто это первый прилепил и как это выложилось, а все дружно стали кликать его «народником». Народников давно уже в России не было, но Исаакий, хоть никогда б не осмелился так представиться вслух, а понимал себя, пожалуй, именно народником: тем, кто ученье своё получил для народа и идёт к народу с книгою, словом и любовью.

Однако даже в родную семью возврат был почти невозможен. Три года назад уступивши непонятному университету, отец уже не менял решенья, не брал назад, но испытывал как свою ошибку, как потерю сына. Только и видел он в нём прок на каникулах — взять Санька на сельские работы, а в остальные отлучные месяцы развидеть смысла учёности не мог.

Да с отцом осталось бы у них сродно, когда б не мачеха Марфа — бойкая, властная, жадная, стягивала дом под свою руку, свободя простор для детей своих. Старшие братья и сёстры Исаакия уже отделились, по мачехе чужел и отец, и дом родной. Приглядясь, позадумывался Саня ещё и пареньком: как же тяга эта ведёт человека всего, и долго, если, за сорок овдовевши, отец привёл вторую жену двадцатилетнюю, а этакой бабе молодой проворной, сам теперь о-шестьдесят, уставу твёрдого положить не мог, и не многое сам решал.

Да и воззрения новоприобретаемые отдаляли Исаакия. В детстве знал он немудро, беспонятно посты и праздники, босиком ко всенощной,— а потом от становой народной веры кто только его не отклонял. И Саблинская сама, и вся округа их была просеяна сектами — молоканами, духоборами, штундистами, свидетелями Иеговы, из секты была и мачеха, стал насчёт церкви теряться и отец, споры о верах были излюбленные в их местности в досуг, Саня много ходил-прислушивался, пока воззрения графа Толстого не отодвинули ему эти все разноверия. Сумятица умов была и в городах, образованные друг друга тоже не все понимали, а учение Толстого так убедительно укладывало в мире всё, требуя одной лишь правды. Увы, и толстовская правда в отношениях с семьёй привела

Саню, наоборот, ко лжи: так, став вегетарианцем, нельзя было объяснить, что делает это по совести,— позор и смех поднялся бы и по семье и среди станичных; пришлось начинать со лжи, что не есть мясного — это медицинское открытие одного немца, обеспечивает долгую жизнь. (А на самом деле, накидавшись снопами, тело до дрожи требовало мяса, и ещё самого себя надо было обманывать, что довольно картошки и фасоли.)

Отчуждение от семьи облегчило Исаакию и нынешнее решение, с чем уезжал он теперь, но и тут открыться не мог, пришлось и тут солгать, что требуется ему ехать в университет на практику прежде времени, и саму эту *практику* придумывать и втолковывать простодушному отцу.

Три недели войны отозвались до сих пор в их станице лишь двумя царскими манифестами, на Германию и на Австрию, прочтёнными в церкви и вывешенными на церковной площади, да двумя отъездами запасных, да ещё отдельным отгоном коней в уезд, потому что числилась теперь станица Саблинская не казаками терскими, а кацапами. Во всём же другом как не было войны: не попадали в их станицу газеты, и письмам из Действующей армии было рано,— да ещё понятия такого не было «письма», до сих пор «получать письма» в их станице было нескромностью, выделением, Саня старался не получать. Из семьи Лаженицыных не взяли никого: старший брат был уже в годах, уже сын его служил на действительной, у среднего брата не хватало пальцев, Исаакий — студент, а мачехины дети ещё малы.

И в сегодняшней полудневной езде по обширной степи тоже не послан был им никакой знак войны.

Переехав по мосту Куму, перевалив каменистым переездом через зноистое двухпутное полотно и уже едучи по травяной улице станицы Кумской, теперь Минеральных Вод,— и тут нигде не заметили они признаков войны. Так не хотелось жизни переворачиваться! Где только могла, она текла и таилась по-прежнему.

В тени большого вяза у колодца они остановились: Евстрашка должен был здесь обгодить, остудить и напоить коней, потом подъехать к станции. Саня обмылся, обхлюпался до пояса, два ведра извёл, ледяную на спину поливал ему Евстрашка тёмной жестяной кружкой,— тогда протёрся хорошенько, надел чистую белую рубаху с пояском, вещи покинул в таратайке и налегке, сторонясь от пыли, пошёл к станции.

Пристанционная площадь недавно была украшена посадкой сквера, но так и рылись куры по её окраинам да к длинному зданию станции подъезжавшие шарабаны и телеги взнимали воздушный наслой пыли.

Зато минералводский перрон, во всю длину покрытый лёгким навесом на тонких крашеных столбиках, провеваемый, прохладный, манил за собою курортами и сегодня, как всегда. У столбиков навеса вился дикий виноград, всё было привычно-дачное, весёлое, никакой войны и здесь как будто не знал никто. Дамы в светлых платьях, мужчины в чесучёвом шли за носильщиками к платформе кисловодских поездов. Продавалось мороженое, нарзан, цветные летучие шары

— и газеты. Саня купил одну, подумал — и вторую, разворачивал их уже на ходу, а потом на лавочке у дачного перрона. Вопреки обычной степенности он не дочитывал сообщений, перескакивал по столбцам — и просветлялся. Хорошо, хорошо. Наша крупная победа под Гумбиненом! Противник будет вынужден очистить всю Пруссию... И в Австрии хорошо дела... И у сербов победа!..

По хуторской привычке бережа всякую вещь, вот и бумагу, он сложил газеты не заминая, не рвя, как если б думал нужны будут вечно, встал и пошёл в кассу, узнавать о поездах. Он ровно шёл сквозь пассажирскую сутолоку, не разглядывая людей,— и вдруг из этой пересечки вырвалась девушка, он и не обернулся, как летела она, может быть на поезд,— а она к нему! он тогда и понял, когда обвила его за шею руками, притянулась, поцеловала — а вот уже и откинулась, своей смелости удивляясь, раскраснелая, радостная:

— Саня!!! Вы?? Ка-кое совпадение! А я всю дорогу из Петербурга почему-то...

Всего-то полсекунды обнимала, а всё настроение и мысли сшибла, сметнула,

А Саня в белой чистой рубашке был особенно степной, загорелый, примятые волнистые пшеничные волосы, пропаленные солнцем на крестьянской работе. Едва увидела — и кинулась к нему, на свою загадку-угадку, но и — сбить одним движением эту прежнюю тягучую робость их встреч. Так поверилось, что сейчас они всё своё бросят — и куда-то, куда-то...

Саня был простак уже и до сложности.

Меж коротко подстриженными русыми усами и диковатой порослью еще-не-бородки улыбался мягко, раздумчиво. И в глазах, как всегда, непрестанная внутренняя работа. А уже — и заглатывающее заострение — общее — увидела на нем. *Уходил?* — добровольно?..

— Саня! Не идите! — за плечи его.— Не уходите!

Тем же водоворотом, в тот же донный провал закручивало и его... От него же занятую когда-то рассудочную ясность она теперь порывалась ему вернуть, из водоворота выхватить его назад, как успеет. Она не готовилась, само натекало на язык... Десятилетия гражданственной литературы, идеалы интеллигенции, народолюбие студенчества — и всё отдать зашлёпать в один миг? Забыть этого... Лаврова, Михайловского?.. Хор-рошенькое дело! — так поддаться тёмному патриотическому чувству! изменить всем принципам! Ладно, он не был революционером, но пацифистом-то был всегда!

Со стороны показалось бы, что это она воинственно настроена, а он мягко отговаривает её от войны. Варя разгорячилась, и улыбка её стала резкой. Приподнялась и в отчаянии сбилась её шляпка — дешёвая и беззатейная, не для привлекательности выбранная, а защищать от солнца только.

Не находясь возражать, не защищаясь, Саня кивал. Грустно:

— Россию... жалко...

Урчала, гудела, уходила вода из озера!

— Кого? — Россию? — ужалилась Варя.— Кого Россию? Дурака императора? Лабазников-черносотенцев? Попов долгорясых?

Саня не отвечал, ему нечего было. Слушал. Но под хлёстом упреков нисколько не ожесточался. Он на каждом собеседнике себя проверял, всегда так.

— Да разве у вас характер — для войны? — подхватывала Варя всё, что только можно было, что под рукой.

В первый раз она чувствовала себя умней его, зрелей его, критичней,— но от этого только холод утраты сжимал её:

— А Толстой! — нашла она ещё, последнее.— Что сказал бы Лев Толстой — вы подумали? Где же ваши принципы? Где же ваша последовательность?

На загорелом санином лице под пшеничными бровями, над пшеничными усами голубели ясные, печальные, в себе не уверенные глаза.

Плечи чуть подняв, чуть опустив:

— Россию жалко...

ДОКУМЕНТЫ — 1

23 июля

ПОСОЛ ФРАНЦИИ ПАЛЕОЛОГ — ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II

...Французская армия должна будет вынести ужасный удар 25 немецких корпусов. Умоляю Ваше Величество отдать приказ своим войскам немедленно начать наступление. В противном случае французская армия рискует быть раздавленной.

ДОКУМЕНТЫ — 2

31 июля

Запись маршала Жоффра

... Предвосхищая все наши ожидания, Россия начала борьбу одновременно с нами. За этот акт лояльного сотрудничества, которое особенно достойно, поскольку русские еще далеко не закончили сосредоточение своих сил, армия Царя и великий князь Николай заслужили признательность Франции.

ДОКУМЕНТЫ — 3

1 августа

НИКОЛАЙ II — МИНИСТРУ САЗОНОВУ

...Я приказал великому князю Николаю Николаевичу возможно скорее и во что бы то ни стало открыть путь на Берлин. Мы должны добиваться уничтожения германской армии.

2

Это не ново было для Сани, что он запутывался в противоречиях, что его взгляды не сходятся с чувствами. Но если в противодействии мясу или танцам можно было всякий раз и от месяца к месяцу упражнять свою выдержку, то войны никто никогда и не предлагал, не хвалил, не манил ею, она казалась вовсе исключена в цивилизованный развитой век,— так некогда было к ней и подготовиться. Было усвоенное представление: война — грех. Без единой проверки легко было так считать. Но вот разразилась первая — и в раздольной бестревожной степи, под небом бестучным — засосало. И беззащитно почувствовал Саня, что э т у войну ему не отвергнуть, не только придётся идти на неё, но подло было бы ее пропустить — и даже надо поспешить добровольно. В станице не оспаривали и не обмысливали войну как событие, которое будто бы в наших руках, могло бы быть или не быть допущено. Войну и вызовы воинского начальника там все принимали как волю Бога, как снежный буран, как пыльную бурю. Но и добровольного ухода тоже взять в толк не могли бы. И в сегодняшней долгой дороге, поколачиваемый таратайкой и пожигаемый солнцем, Саня решился ещё неясно, неокончательно. Ещё предстояло ему в Ростове совещаться с другом своим, Котей. Измена Толстому была уж и совсем определённая. Но услышав Варю и приняв на себя взмёт возможных демократических и революционных аргументов, Саня не обнаружил средь них решающего: через тёмную бездну, зинувшую перед Россией, не бросали они никакого моста.

И он расстался с Варей более убеждённый идти добровольцем, чем до неё.

Другое: с Варей самой. Он ведь еле удержался. Она так звала, и так томительно ему,— поехал бы! По-крестьянски: ломай солому пока трещит, а девку пока верещит. Но уже в боях умирали люди. Нечестно. Поехал бы — и смял бы, сбил все настроенье своё и, может, даже в станицу бы вернулся.

Это всё он перебирал полночи уже в бакинском почтовом, на боковой верхней полке, только-только помещаясь в длину от макушки до подошв. Из Минеральных выехали вечером, от военного времени было переполнение: в третьем классе редкая полка пустовала.

Расстался с ней — тут и потянуло: ах, зря! Хоть вдогонку езжай. Теперь-то именно, идя на войну, как же было пренебречь?

Так заныло, лучше б не встречал. Так заныло, хоть в Харьков заезжай, к черноволосой Леночке с гитарой и романсами. А какая ж разница—Пятигорск или Харьков? Если б он поехал с ней — ничего б не стоило и всё его решение, и движенье.

Хотелось, мечталось Сане дожить — полюбить по-настоящему. Душой полюбить. И на всю жизнь.

Но теперь пока расстилалась — война.

В вагоне было душно, у Сани правая сторона по ходу, и имел он право оттянуть свою раму вниз, так открыл себе продух, а решётку складную опустил, чтоб не вывалиться. На частых остановках ходили по вагону, цепляли за простре-

ленную санину студенческую тужурку, разговаривали за окном на платформе,— Саня просыпался, и сразу подступало всё то же ощущение беды, не собственной своей, но от этого не меньшей. Поглядывая на стеариновую свечу в стеклянном простенке, освещавшую четыре купе сразу, Саня по отгару её соображал, сколько времени прошло. На ходу пламя свечи подрагивало, и колебались густые тени под полками.

А то слышал он название станции или высматривал её черезо щель решётки: он каждую тут станцию знал в лицо и мог наизусть их перечислять с полустанками от Прохладной до Ростова и наоборот.

Он любил эти все станции, и весь край здесь был его родной, в Нагутской жила одна замужняя сестра, в Курсавке другая. Но за последние годы его привязанность раздвоилась, с тех пор как Саня узнал и коренную, лесную, настоящую Россию — ту, что начинается только от Воронежа.

Из-под Воронежа откуда-то и вышли Лаженицыны. И в свой холостой год между гимназией и университетом Саня выпросился у отца съездить посмотреть места их предков (а на самом деле ещё и ко Льву Толстому метил попасть).

Дед Ефим, когда жив был, рассказывал, что на его пращура Филиппа напустился царь Пётр — как смел поселиться инде без спросу, и выселил, и слободу их Бобровскую сжег, так осерчал. А дедова отца сослали из Воронежской губернии сюда за бунт, несколько их было, тех мужиков, однако тут кандалов не надели, и не в солдатское поселение, и не под крепость, а распустили по дикой закумской степи, при казачьей Старой линии, и так они жили тут, никто никому, не жались по безземелью, на полоски степь не делили, где пахали-сеяли, а где гоняли на тачанках, да стригли овец. Окоренились.

Через просветы между планками решётки всё было черно за вагоном. Но потом стало осветляться небо, и ещё светлеть, вот уже пересиливало свечу, и проводник пришел погасить ее. Белое небо взялось розовым, Саня покинул попытки спать, поднял решётку к потолку, избочась надел тужурку и в обдуве холодного встречного воздуха стал ждать восхода. Розовое распахивалось просторным шатром, особенно ярко находя по небу и выхватывая мелкие облачка, а в исходе своём всё накалялось — алым, багряным, и уже неудержимое выперло, расплавилось красным солнцем. И так, у мира всего на виду, всю красную щедрую мощь погнало, полило багрецом по степной шири, не жалея нисколько, до крайней западной дали не обойдя ни местечка.

В *той* России — много красот умеренных, разделённых, обставленных лесами и взгорками, а вот таких разгарчивых, разливистых восходов на всю вселенную — не бывает.

Тоже вот таким ранним погожим утром, когда солнце едва взошло, ещё до шести утра, и тоже из первых дней августа, четыре года назад, Саня вышел со станции Козлова Засека — идти к Толстому. Было сочней и свежей, чем может быть на Кубани летом. Спрося на станции, Саня спустился в овражек, поднялся по косогору и попал в такой лес — просторный, ядрёный, широкоствольный, парадный, парковый, какого, живя на юге, не мог бы вообразить, да и на картинках никогда не видел. В росе молочной, а потом радужной, лес этот звал не пройти себя, а бродить, сидеть, лежать, остаться тут, никогда из него не выбраться,— а ещё особенным казался оттого, что дух пророка носился здесь: ведь Толстой же ходил или ездил на станцию, он здесь не мог не бывать, этот лес был уже началом его поместья!

Но нет, лес поднялся к орловскому большаку — и оборвался. Саня понял свою ошибку: только переваля через большак, он спустился к яснополянскому парку. И пошёл вдоль него. Парк отделялся от дороги канавкою и тесной зарослью. Дальше, за огибом, виднелись белые каменные входные столбы.

Тут Саню взяла робость. Он не нашёл сил идти через парадные ворота, по парадной аллее, отвечать на вопросы встречных. Да его могли и не пустить к Великому, скорее всего. И легче оказалось перепрыгнуть через канавку, продраться сквозь заросль — и просто, без цели, походить тем парком, где, уж без ошибки, хаживает Толстой, и присесть, где сиживает он.

Тут были петлистые аллейки, небольшой прудок, еще один, и мостики через застоялую воду, покрытую ряской, и беседка. А дома и людей — не было видно. И в раннем солнечном переблеске, в мелкой солнечной пестряди бродя, бродя, садясь и глядя, Саня, кажется, и насытился. Он, кажется, уже мог возвращаться на юг и считать, что побывал у Толстого.

Но ещё поднялся по березовой аллее — длинной, прямой и узкой, как коридор. Берёзы сменились клёнами, потом липами. Тут открылась не поляна, но разрежение парка, окруженное липовым прямоугольником, еще разбитое вдоль, поперёк и диагонально дорожками. И — кто-то мелькал по этим аллеям, шёл довольно бодро. Саня спрятался за толстую липу, выглядывал. И увидел — Седоволосого, Седобородого! в длинной рубахе с пояском. Ниже ростом, чем ожидал, но так похожего на свои изображения, что хотелось головой тряхнуть, от миража.

Толстой шёл с палкой, смотрел в землю. Один раз упнулся палкой, остановился и едва ли не минуту неподвижно смотрел в одно и то же место, в землю. Опять пошёл. Он попадал головой то в густую утреннюю тень, то под солнечный свет — и тогда голова его, в обхвате парусинового картуза, вспыхивала как нимбом. Так он прошёл все четыре стороны прямоугольника и опять повторял их, на одном углу совсем рядом с Саней.

Саня упивался. Он мог бы и час вот так простоять, налёгши грудью на липу, обнимая пальцами её дорожчатую кору, а голову выставив из-за ствола. И он не хотел помешать утреннему размышлению Пророка. Но испугался: а вдруг Толстой следующий раз уже не завернёт сюда, уйдёт к дому; или кто-нибудь появится и заговорит с ним.

И с колотящейся смелостью он вышагнул на дорожку — издали, чтобы Толстой не испугался внезапности, снял гимназическую фуражку (он тот год носил её, пока отец не отпустил в студенты) — и стоял прямо, немо.

Толстой увидел. Подходя ближе, поглядел на опущенную фуражку, на вольную косоворотку. Приостановился. Заботы и заботы были на его лице, лоб не расправлен. Но и ему же досталось первому поздороваться с немым обожателем:

— Здравствуйте, гимназист.

Кто же к кому пришел? Кто кого искал? Как будто самого Саваофа слыша, спекшимся горлом Саня слабо ответил:

— Здравствуйте, Лев Николаевич!

И не находился, дальше что. Сам Толстой должен был отвлечься от своего, сосредоточиться на новом. Перевидел он, конечно, этих посетителей, и этих гимназистов, заранее знал, что они могут спросить и что им нужно ответить, всё это они могли прочесть в его книгах, но почему-то хотели не прочесть, а непременно слышать из уст.

— Откуда же вы, гимназист? — вежливо спрашивал великий старик, не проходя дальше.

— Из Ставропольской губернии, Александровского уезда,— теперь уже слышным, но хриплым голосом сказал Саня. И очнулся, прокашлялся, поспешил: — Лев Николаевич! Я знаю: я нарушаю ваши мысли, вашу прогулку, простите! Но я так долго ехал, мне только услышать от вас несколько слов. Скажите, вот правильно я понимаю? — какая жизненная цель человека на земле?

Но — не сказал, как же он понимает, а ждал. Губы Толстого, не вовсе утонувшие в бороде, безусильно сдвинулись в произнесённую тысячу раз:

— Служить добру. И через это создавать Царство Божие на земле.

— Так, я понимаю! — волновался Саня.— Но скажите — служить ч е м? Любовью? Непременно — любовью?

— Конечно. Только любовью.

— Только? — Вот за этим Саня и ехал. Теперь свободней ему стало, и говорил он плавней, ближе к своей негорячей манере. Он задавал по виду вопрос, но в этом вопросе уже свой собственный ответ отчасти содержался, и, по свойству юности, он хотел даже великому собеседнику выявить таким образом свое не совсем пустое мнение: — Лев Николаевич, а вы уверены, что вы не преувеличиваете силу любви, заложенную в человеке? Или, во всяком случае, оставшуюся в современном человеке? А что, если любовь не так сильна, не так обязательна во всех, и не возьмет верха — ведь тогда ваше учение окажется... без...— не мог договорить.— ...Очень-очень преждевременным? А не надо ли было бы предусмотреть какую-то промежуточную ступень, с каким-то меньшим требованием — и сперва на нём пробудить людей ко всеобщему благожелательству? А потом

уже — на любви?..— И пока Толстой не ответил, в этот последний миг: — Потому что, как я наблюдаю, вот на нашем юге,— всеобщего взаимного доброжелательства н е т, Лев Николаич, н е т!

Ещё свои заботы не ушли с бороженного стариковского лба, а тут гимназист задавал малооблегчающий вопрос. Из-под бровей мохнатых твёрдо посмотрев, бесколебно ответил старец, всей жизнью выношенное:

— Только любовью! Только. Никто не придумает ничего верней.

И — кажется не хотел больше говорить. Как будто затмился или обиделся за свою истину. Он хотел дальше идти по прямоугольнику и думать своё.

Болезнуя, что огорчил обожаемого человека, отдавая уже свой любимый вопрос, умягчая, но и ещё одну кроху выгадывая, Саня опять заторопился:

— Что до меня — я так и хочу, через любовь! Я так — и буду. Я так и постараюсь жить — для добра. Но вот ещё, Лев Николаич! Само-то д о б р о! Как его понять? Вы пишете, что разумное и нравственное всегда совпадают...

Приостановился пророк, мол — да. И острием палки чуть посверливал в твёрдой земле.

— Вы пишете, что добро и разум — это одно, или от одного? А зло — не от злой натуры, не от природы такие люди, а только от незнания? Но, Лев Николаич,— духа лишался Саня от своей дерзости, но и своими же глазами он кое-что повидал,— никак! Вот уж никак! Зло — и не хочет истины знать. И клыками её рвёт! Большинство злых людей как раз лучше всех и понимают. А — делают. И — что же с ними?..

Даже пальцами губы свои прикрыл, чтобы больше не говорить, чтоб самому-то услышать!

Вздохнул старик глубоко:

— Значит — плохо, недоступно, неумело объясняют. Терпеливо надо объяснять. И — поймут. Все рождены — с разумом.

И, расстроенный, пошагал с палочкой.

А Саня — стоял. И когда Толстой с дорожки за дом ушел. И еще потом стоял.

Так он надеялся в три минуты от Самого узнать и понять! Не понял.

Уж он не решился, не успел проверить у своего кумира о стихах: всё-таки — можно? хоть для себя, потихоньку? Или — решительно противоречит?.. Тайно все равно влекло его слагать строки и рифмы. И в альбомы девицам, шутки ради, он записывал иногда. Однако и ограничив себя в стихах, тем не сберёг заметно времени и не открыл кратчайшего пути: как же служить Царству Божьему на земле?

Никогда не знал Саня уверенности в себе, каждый год вышибало что-нибудь из-под ног. Не раз отчаивался он преодолеть отцовскую волю, затягивал его жребий степного неуча. В сельской работе провёл он тот год, после поездки к Толстому, лишь немного читая, что попадалось, больше всё Толстого же. Наконец, отпущен был в Харьков, но начав курс историко-филологического факультета, ощутил свою дремучесть, своё степное невежество средь городских студентов. А в Харькове год поучась, и найдя в себе дерзость после первого курса перешагнуть в московский университет (и Котю с собой увлёк), он ещё долго ощущал себя отставшим, недоразвитым, не домысливающим до ядра каждого вопроса. Он запутался в изобилии истин, он измучился от убедительности каждой из них. Пока было мало книг в руках, Исаакий твёрдо и хорошо себя чувствовал, с седьмого класса он считал себя толстовцем. Но вот дали ему Лаврова с Михайловским — как будто правильно, очень верно! Плеханова дали — опять-таки верно, да гладко, да кругло как! Кропоткин — тоже к сердцу, верно. А распахнул «Вехи» — и задрожал: всё напротив читанному прежде, но — верно! пронзительно верно!

И стал брать его от книг — страх, не прежняя почтительная радость: что никак он не научится автору противостоять, что увлекает и подчиняет его каждая последняя читанная книга. И только-только стал он сметь не соглашаться с книгами — как вот теперь война, и уже не научиться, не нагнать.

Поезд подходил к Армавиру. В полуспящем вагоне Саня окончательно спрыгнул с полки, успел умыться, пока не заперли умывальника. Тут стоянка двадцать минут, меняют паровоз. На раннем чистом перроне было мирно, безлюдно, опять ничто не говорило о войне. В буфете с горячим крепким сладким чаем

позавтракал Саня своими станичными запасами из мешочка, другого не брал.

Тронулись. Он остался в тамбуре. Теперь по солнечной стороне поезда несло паровозную сажу, но Саня открыл другую дверь и высовывался туда, нависая. Никогда не надоедало это кружение огромных цветных площадей уродившей земли. От каждого вагона сюда тряслась по полю продолговатая чёрная тень, ныряя в балочках, а остальная степь была вся освещена с раннеутренней, уже не розовой, ещё не жёлтой нежностью.

И хотя силы молодые радостно полнили тело и обещали жизнь, жизнь,— может быть эту степь и утреннее солнце над хлебным морем он не увидит больше никогда.

Проехали станцию Кубанскую. Саня и после неё не шел в вагон, а всё так же стоял у открытой двери, обдуваемый ветром хода,— и смотрел, смотрел, примеряясь к прощанию.

Вот отдельно показалось имение или «экономия», как говорят на Северном Кавказе. Среди степи здесь было густо, ровно насажено, и высоко уже раскинулось. Ехали гружёные возы. Быки тянули локомобиль и молотилку. Кружились постройки жилые, хозяйственные. А вот в разрыве тополевой просадки, сопровождающей поезд, показался верхний этаж кирпичного дома с жалюзными ставнями на окнах, а на угловом резном балконе — явная фигурка женщины в белом,— в беспечном белом, нетрудовом.

Наверно, молодой. Наверно, прелестной.

И закрылось опять тополями. И не увидеть ее никогда.

3

Еще при первом разрыве сна, еще прежде чем вспомнить, как ты молода, и какой летний день, и как можно счастливо жить,— тупым холодным вступает: ссора! С мужем в ссоре опять, со вчерашнего дня.

Глаза открыла: не в спальне. Одна.

Распахнула ставни в парк — а утро какое! а воздух с теневым холодком! Гималайские серебристые ели держат ветви у подоконников второго этажа.

Какого счастья?.. Весь этот парк по её хотению вырос в голой степи. И любой предмет мира, и любой наряд из Петербурга, из Парижа, сейчас же может быть заказан, доставлен.

Последняя крупная ссора длилась у них три дня,— три дня молчания, незамечания, всё врозь. Тут выдался день Преображения, и со свекровью Ирина ездила в церковь, в Армавир. Взмывающее пение литургии, добросердечная проповедь священника, и потом по кольцу церковного двора радостное освящение всецветных яблок, сложенных холмиками, и мёда в ведёрках и глечиках, при разгоревшемся солнце сверкание облачений, хоругвей, начищенных кадил и относимый ладанный дым — всё вместе так небесно настроило, а мужнины обиды показались так мелки и ничтожны перед Божьим миром, Божьим замыслом, тут ещё и войной,— что решилась Ирина не только просить прощения в этот раз, хотя нисколько не была виновата, но и впредь никогда не допустить ни одной больше ссоры, а чуть поссорясь — тут же виниться первой, ибо только в этом христианство. И вернувшись от преображенской обедни, Ирина просила у мужа прощения, Ромаша очень обрадовался, этого он и ждал, тут же простил жену и даже сам великодушно просил встречного прощения.

Но лишь со среды до воскресенья они прожили в ладу. И снова поссорились так обидно, что разговаривать нельзя.

В коридоре горничная шёпотом спросила у Ирины Ивановны распоряжений. Пока нет. Ирина перешла в ванную, красно-белого мрамора.

Потом молилась, перед Богородицей. Однако не было очищения.

И за туалетом, у трельяжа, не облегчил вид своей естественно-розоватой кожи, округлых плеч, волос до бёдер (четыре ведра дождевой на мытьё).

Перешла на солнечную сторону, на балкон-веранду, сощурилась на поезд, вероятно бакинский почтовый. Вид на поезда в двухстах саженях от дома Томчаков был самый живой. Никогда не надоедает глазами встретить и проводить, что-нибудь загадать, посчитав вагоны: чёт ли, нечет.

У многих, ехавших сейчас, назначенье сливалось: война, на войну, для войны.

Из-за того вчера и загорелась ссора: Ирина слишком выразительно сказала, как трудно сейчас России и как должны сыны её... Не о муже, она не думала, что так получится! Она говорила вообще о тевтонской угрозе... А Ромаша принял на свой счёт, уязвился, обзывал, что она туполобая патриотка, дремучая монархистка, и от подобного же отца-невежды, самодура, что она не способна уразуметь, как мало в нашей дикой стране таких светлых, предприимчивых голов, как у её мужа. И последняя потаскуха пожалеет толкать мужа на войну, а она...

Вот такие ссоры у них и бывали, скорей как между мужчинами: то из-за Государя, над которым всегда смеялся Роман; то из-за веры, которой у него нисколько не осталось, лишь скрывал для приличия.

Но ещё б не так обидно, если бы Роман не вмешал ириного покойного отца. Невежда? Да, с батраков начинал, сын николаевского солдата. Самодур? — а кому представлялся Роман и старался понравиться, ведь не дочери? И был выделен из женихов: «У этого деньги из рук не вырвутся».

Отец долго оставался бездетен. Уже стариком заплатил сорок тысяч ставропольскому архиерею, чтобы пережениться. От той любви и родилась Орина, Оря! — только так ее звал. А в семнадцать ориных лет подходил уже к смерти и спешил при своих глазах выдать замуж её, сразу из пансиона. Теперь-то видно: рано. Теперь-то жаль. Мог бы дать ей ещё поразвиться. Порезвиться. Мог бы позволить ей и выбрать самой.

Однако, свершилось. И не смела Оря не только отца покойного упрекать, но не смела ни думать, ни сожалеть о всяком другом жребии. О том, что не состоялось, сожалеют лишь неверующие души. Душа же верующая утверждается на том, что есть, на том растёт — и в этом её сила.

Свершилось — и Оря покорно признала невыбранного мужа. Ведь наследный капитал отдала ему без дележа, без оговорочной записи. Вся сегодняшняя независимость, невылазное богатство, досужность, свободные вояжи по столицам и заграницам — все досталось Роману от ориного отца, не от своего,— так можно б его поминать хоть не руганью?..

Пора было спускаться к завтраку. Вела вниз внутренняя деревянная лестница. Над её верхним маршем лелеялся царскосельский вид, над нижним — пахал Толстой. (Изобразил их выписанный из Ростова художник-итальянец.)

Столовая была расписана под орех, и ореховый же буфет огромный, а кожа мебели — лягушино-замшелого цвета. Лимонные деревья в кадках заслоняли окна в парк. На серединном просторе, где раскладывался на двадцать четыре персоны, стол был сложен на двенадцать. А прибора накрыто — только два, через уголок: золовка Ксенья спала, Роман и никогда к раннему завтраку не ожидался, а свёкор спозаранку частенько уганивал в степь на линейке по двум тысячам десятин. Сегодня же был он в отъезде, уже третий день в Екатеринодаре, решалась судьба Ромаши, все об этой поездке думали, никто вслух не говорил.

Желая доброго утра, Ирина нагнулась и поцеловала свекровь в полную широкую щёку. Избыточная полнота и устоявшийся покой — вот было лицо Евдокии Григорьевны после пятидесяти лет. Как будто не пробирали её сегодняшние заботы, как будто не знала она горя в прошлом — так было всё утоплено, расплыто и примирено в этом лице. А между тем была в её жизни неделя, когда она потеряла от скарлатины сразу шестерых детей — только Ксенью, самую маленькую, выхватили, как из пожара, да Роман со старшей сестрой были уже взрослые. Порой, негодуя на свекровь, Ирина напоминала себе эту неделю.

Она перекрестилась на икону Тайной Вечери (по содержанию повесили её в столовой), села. Шёл Успенский пост, на столе не было ни мясного, ни молочного, и кофе без сливок подала буфетная девка, сам лакей к раннему завтраку тоже не выходил.

Евдокия Григорьевна, дочь простого станичного коваля (одень её плоше — и сегодня та ж, бабка из деревни), не могла и за много лет привыкнуть — сидеть за столом барыней в кружевной шали, а всё нужное подадут. Она рада была заметить упущенное и сама поднести, а в иные дни, отстранив поварих, сготовить в ведёрной кастрюле малороссийский борщ. Уж дети, стыдясь прислуги, останавливали её, а перед гостями заставляли убрать постоянную вязку на спицах и клубок шерсти от ног.

В прачечной тщилась свекровь проверять расход мыла и древесного угля, распоряжалась не принимать в стирку тонкого белья невестки («зачем дорогое надевать? кто его видит?»), себе со стариком и всем, кому в доме могла, велела носить грубое, шитое прихожими монашками. Ведь с этим самым мужем они были когда-то в саманной хатёнке при десятке овец — и до старости не могла Евдокия Григорьевна поверить в прочность мужниного богатства. Она не могла точно уследить, где утекает, утекало везде, от богатства их черезкрайнего люди заимствовали, брали, воровали, было десять человек домовой обслуги да десять дворовой, это без казаков, а сколько служащих, рабочих — конторщики, приказчики, объездчики, кладовщики, конюхи, воловики, машинисты, садовники,— кто мог за ними уследить? И надо ли было, где пьётся, там и льётся? Это хорошо понимал свёкор Захар Фёдорович, это было в его развороте: «Так и жить, шоб людям жить давать. У мэнэ рука крыляста, там находэ, дэ самы нэ найдут». Но Евдокия Григорьевна, смиряясь с неотвратимым течением обильного хозяйства экономии, в меру своих сил проверяла у годовой портнихи нитки и обрезки. Захар Фёдорович легко мог подарить прохожему босяку свой старый костюм — Евдокия Григорьевна, узнав, слала за босяком гонца отбирать костюм. Напротив, через её сестру Архелаю, монахиню, прознали их дом и тянулись сюда монашки, и монахи, и странники, и для них ничего не жалели, в самые расскоромные дни задавалась прислуге двойная работа: готовить ещё отдельно постное на чёрную ораву. И в Тебердинский монастырь бычьими платформами отправлял продукты Захар Фёдорович. А Ирина наоборот убеждала свёкра, что монашки — хитрые, работать не хотят, что угодней будет Богу повернуть эти продукты на рабочих и в летнее время кормить их мясом трижды в день. Так и сделали.

С той же неотвычной простотой свекровь и сейчас спросила:

— С Ромашей ночью — опять врозь?

Ирина опустила прямо-носимую голову. Покраснела не от грубой простоты вопроса, но от восьмилетней безнадёжности родить, томившей саму её: могла быть и груба свекровь, имел право и раздражаться муж.

Простецкая голова свекрови над разнесенными плечами и грудью выражала, в меру её постоянной ровноты,— изумление:

— Чтоб жена — и сама отдельно? Не слыхано... Если б тебя он прогнал — я б тебе ничего не сказала.

Это она не только о сыне — она всякого мужчину всегда оправдывала рядом со всякой женщиной.

— А так мы никогда и не дождёмся...

Огромные пристенные стоячие куранты пробили и заиграли «Коль славен наш Господь». (Купили их в аукционе, казна продавала вымороченное имущество пресекшегося рода рюриковичей.)

— Гордость надо нагибать, Ируша...

Ах, нагибала, нагибала,— да что ведала свекровь о гордости? Свёкор мог, осердясь, бранить её за столом, как хотел,— и Евдокия Григорьевна всё покорно сносила. Это Ирина однажды вскочила: «Ромаша! Уедем! Не будем здесь жить!» — и свёкор, вилку швырнувши на пол, сам поднялся, ушёл. Верно, при жениной покорности мужья остывают сразу, и ссоры как не бывало: «Старушечка моя!» — тут же вскоре умилялся и приласкивал её Захар Фёдорович.

Ирина сама молилась о кротости и смирении, но когда кротость вкладывала в неё свекровь — упруго ответно поднималось в ней тёмное:

— Зачем вы так баловали? Зачем вы так кохали вашего сына? А мне с ним — жить.

— А чем он плохой вырос?

Так простодушно удивилась, с глазами такими незамутнёнными, что не было духа напомнить ей ну хоть эту сцену перед *кабинетом*, при всех служащих, и началось из-за какой-то клетки, чем её засеять: «Сукин ты сын!!» — кричал и топотал Захар Фёдорович, побагрев глазами. «Ты — сам!!» — кричал ему Роман Захарович. Отец тяжёлым ореховым посохом с размаху ударил сына, а сын, в той же первобытной ярости, выхватил из английского кармана револьвер. Ирина повисла на муже: «Мама! Заприте дверь!», только так разделили их. Роман надулся, уехал. Растревоженные родители тут же стали слать ему телеграммы — сыночек, вернись, приезжай!

Сын с отцом и сегодня были в ссоре. Это состоянье их было чаще лада.

Кончился завтрак. Ирина встала, пошла — в полотняном, вся ровная, статная, в пансионе отработанной походкой. Пошла золотистым ковром, не снимаемым на лето, мимо выставки хрусталя — опять на лестницу, и по оставшимся вниз ступенькам, мимо ещё одного Льва Толстого, на этот раз с косой, вышла парадным подъездом.

Всех этих Толстых настоял изобразить Роман. Старому Томчаку объяснил он, что у людей образованных так, что великий человек России и граф. Сам же для себя почитал и выдвигал Толстого за отвержение исповеди и причастия, которые Роман ненавидел.

Со всеми службами и огородами занимала придомная усадьба пятьдесят десятин — было, куда пойти: в прачечную; в погреба — осмотреть с экономкой запасы; по казармам обойти жён рабочих-срочников; или, пожалуй, в оранжереи.

Но куда ни иди, надо решать: мириться или нет? смириться или нет?..

Ирина пошла через парк, заставляя себя не обернуться, не поднять головы на веранду их спальни, откуда наверно высматривал *он*. Выражая обиду, он способен затаиваться там на день и на сутки, как в тюрьме, не выходя ни по двору, ни по дому.

Прошла под гималайскими елями. Сколько с ними было тревог, что не привьются: из великокняжеского крымского сада их везли уже большими, с комами земли в корзинах, и на каждой промечено было, какой стороной сажать на восток.

Дальше вились сиреневая, каштановая, ореховая аллеи.

«Шоб гроши зароблять — нужен ро́зум»,— говаривал Захар Фёдорович. Но не меньший розум да ещё и вкус нужен был, чтоб те деньги тратить. Несчитано денег было и у Мордоренок, да как они их тратили? Долго жили по-чумазому, Яков Фомич вставил для красоты полон рот платиновых зубов, сыновья ж его, жеребцы, играли в орла-решку золотыми вместо медяков. Когда Томчак вместе с Чепурныхом покупали в Петербурге у братьев-графов Граббе шесть тысяч десятин кубанской земли — размахнулся Захар Томчак: «Угостим графьёв? Да нэ як воны угощают, дрэбэдэнькой»,— но в чем же именно угощать, так и не мог придумать в ресторане Палкина, а велел нести побольше да подороже.

Как обставлять жизнь — Захар Фёдорович учился у сына и невестки. Со стороны железной дороги насадили тополей, бальзамических и пирамидальных, аллеями шириной на две встречных тройки. Бальзамические тополя после солнечных дней благоухали к вечеру, и диковатый степной помещик признал: «Га́рно, Ируша, гарно!» Парадный двор обсадили платанами. Придумала Ируша и выкопать близ дома пруд — с цементным ложем, купальней и сменяемой водопроводной водой, а вынутую землю перевозить и складывать в холмик, на нём же поставить беседку. Так составлялось то, что есть парк, отличающий старинные усадьбы, и чего не бывает в экономиях: самостоятельность пейзажа, отъединённость от окружающей местности, непохожесть на неё. Кругом может быть степь, лес или болото, здесь по своим отдельным законам — парк, другая страна. За парком посадили сад, перевезли со старого места, с Карамыка, из-под Святого Креста, сотни две фруктовых деревьев,— принялись. За садом — виноградник. Вкруг беседки распорядилась Ирина засеять мавританский газон, а на парадном дворе — изумрудный английский рейграсс, подстригаемый газонокосилками.

Но особую заботу Ирины составили две оранжереи: маленькая, для весенних цветов, подаваемых уже к раннему пасхальному столу; и высокая, где зимовали в кадках олеандры, пальмы, юки, араукарии и сотни горшков с мелкими цветами, которые назвать по именам мог кроме Ирины только оранжерейный садовник, отдельный от общего садовника. Всех этих нежных жителей надо было пересматривать почти каждый день, кому-то помогать, летом — выносить и вносить, зимой кого-то цветущего нести в зимний сад, кого-то завядшего — назад в оранжерею. В разнообразии запахов, окрасок и контуров, в нежности и росте цветов Ирина становилась увереннее, защищённее от мужниных обид.

Была такая фантастическая мысль у неё, что Роман, проснувшись, станет её всё-таки искать. Это невозможно было в обычное время, но когда война, не исключено расстаться,— может быть, его проберёт? Она хотела этого прихода не для того, чтобы одержать верх, но для него же больше, для его сердца.

4

Нет, нигде так хорошо не бывает, как дома! — и постели такой приятной, и такой голубенькой комнаты, сейчас ещё тёмной, а лучики бьют в жалюзи. И такой обеспеченной возможности полениться — день, неделю, хоть месяц!

От долгого хорошего сна к долгой хорошей жизни со сладкой-сладкой-сладкой зевотой, потяжкой, перетяжкой, Ксенья сжала руки в кулачки над головой.

Правда, это жизнь осудительная, в ней опускаешься, о ней не будешь подробно хвалиться подругам, тут многое плохо и дико,— а всё равно хорошо! Что-то есть такое хорошее, что только тут, только ты и твои семейные понимают — а подруги и не могут понять. Московские радости, конечно, несравненны: танцевальные занятия, театры, диспуты, публичные лекции, да, ещё ж и курсы! — всё головокружительно, а тут с утра проснёшься — лежи, сколько хочешь. Побарствовать всё-таки очень приятно.

За дверью кашлянули, постучали.

— Ксенья, ты не спишь?

— Ещё не решила, а что?

— Да мне в кассу надо, на минуту. Ну, если хочешь спать... я могу потом...

Тут-то и приятно полежать, едва проснясь... Но когда тебя ждут — всё уже отравлено.

— Ладно! — крикнула Ксенья и вскочила в постели без рук, одним качком сильных ног. Путаясь в длинной сорочке и босиком по ковру добежала до двери, сбросила крючок.— Подожди, не входи! — и опять в постель нырь, зашуршала сеткой, натянула одеяльце.— Можно!

Брат открыл, вошёл:

— Доброе утро. Я правда тебя не разбудил? Очень понадобилось, прости. Со света не вижу. Разреши одну ставню открою?

Прошёл осторожно, всё-таки толкнул туалетный столик, зазвякали флакончики — и открыл наружную ставню. Открыл — и весь ликующий день ворвался в комнату, и сразу пережалилось Ксенье, что она не выспалась: выспалась! И переваляcь на бок, под щеку руку, смотрела на брата.

А Роман при свете оглянулся, будто в этой маленькой комнате кроме сестры ожидал встретить врага. Из глубоких глазниц у него был режущий взгляд. А усы — как палки заострённые, не хотели расти с закрутом.

Но врага не оказалось. И в кулаке обнаруживая ключи от стенного сейфа, Роман шагнул отпирать.

— Я быстро, я сейчас уйду. Могу опять тебе затемнить.

Когда строился дом, несколько лет назад, эта комната предназначалась под кабинет Романа, потому здесь и вделали в стену стальную кассу. Потом решили, что сын будет в одном кабинете с отцом на первом этаже, а тут — Ксенья, но кассу так и оставили, для отдельных бумаг и денег Романа. Да сестра и бывала-то здесь лишь на каникулах.

Роман был складен фигурой — поджар, вёрток, в облегающем костюме английского спортивного типа, но не доставало ему роста. На нём было кэпи блекло-коричневое, в тон его костюму и штиблетам.

— Да ты не на автомобиле собираешься? — догадалась Ксенья.— Ты нас с Орей не покатаешь сегодня? В город? Или на Кубань туда, за Штенгеля?

Круглой, позорно здоровой, неприлично смуглой мордашкой на подушке Ксенья примеряла надежду и жертву: для автомобильной поездки от чего отказаться, переложить на завтра? На краю экономии барона фон-Штенгеля, превосходного соперника всех здешних экономистов, стояла столетняя дубрава, чудо степной окрестности. Автомобиль же был у Романа не какой-нибудь, но белый ролс-ройс, каких в России, говорили, только девять экземпляров. Роман, у́ченый англичанином, сам правил автомобилем, да даже всё в нём понимал и чинить мог, но не любил пачкаться в гаражной яме и держал шофёра.

Однако сейчас он обиженно потрогал, помял пальцами гнутый, широкий козырёк кэпи.

— Нет, я просто в гараж ходил. Покатаю, только не сегодня. Пусть решится сперва...

— Ах, в самом деле!.. Ой, прости, Ромашечка!..

Как же можно всю память заспать, да просто всё на свете забыть с вечера до утра — даже что война идёт! вообще — что война идёт на свете!! А уж тем более — что отец поехал хлопотать о Ромаше, что с ним решается. Да, и с автомобилем же! Просто нелепо: могут заставить сдать ролс-ройс! Ну, понятно, брату не до развлечений, суеверие даже.

Хотя, если откровенно говорить, Ксенья не понимала, как не стыдно мужчине уклоняться от армии. Ну, если единственный кормилец — так Роман какой же кормилец? Не обязательно под пули, но вообще пойти в армию требует простая порядочность.

Однако, он должен сам понимать, а сказать так брату Ксенья бы не решилась при всей незатруднённости и дружелюбности между ними с тех пор, как Ксенья выросла из ребенка.

— А где Оря?

— Не знаю.

Роман уже отпер первую и вторую дверцы кассы и пригибался к ней головой и плечами.

— А к завтраку ты не ходил? Там поста не отменили?

И сама же фыркнула. Роман в знак понимания слегка повернул голову, показал край уса и косой оскал губы. Нос у него был как у отца — с наливом, с нависом.

Кого тут убеждать! Из самого глупого, что велось в доме Томчаков, были посты. И сколько! Один бы великий — ладно, можно понять, привозят священника, и сплошную неделю в экономии служба, говенья, причастия, всю прислугу, всех работников спешат очистить до начала посева. На великий пост Ксенья всегда в отъезде, и Роман уезжает в столицы, возвращается только к Пасхе. Но едва минует Троица, как начинается совсем уже бессмысленный петровский пост. И едва минует петровский — заряжает успенский. А чтоб до святок весёлых добраться, ещё надо с постной миной проходить рождественский. А ещё ж на каждой неделе среда и пятница! Не обидно поститься бедняку. Но с такими деньгами, с таким выбором вкуснейшего, что только есть на свете,— и полжизни увечить себя постами? Совершенная дикость.

Сестру и брата то и объединяло, что только двое они во всей семье имели критические, передовые взгляды. Остальные были дикари, печенеги.

Так же на боку, с поджатыми ногами и кулак под щекой, Ксенья размышляла вслух:

— Не знаю... Всё-таки последняя возможность мне бросить курсы — сейчас, в августе, пока год только один потерян. И — набор в школу босоножек.

Какое-то чувство интимности с кассой, да и сосредоточиться, требовало остаться с кассой вдвоём, не дать видеть сестре, что в ней и что он делает, хотя Ксенья ничего б и понять не могла и не хотела. И шелестя хрусткими бумагами, Роман загородился от сестры, сутулясь.

— Если б ты меня поддержал,— вздыхала Ксенья,— я бы скакнула!

Роман возился, молчал.

— Я уверена, что папа ещё и три года не узнал бы. В Москву и в Москву, вроде на курсы... А потом — покричит, посердится, неужели не простит?

Роман возился, почти головой туда, в кассу.

— Да даже и не простит — ну что делать?..— так и этак играла губами Ксенья, оценивая.— А жизнь губить — лучше? На что мне эта агрономия?.. Зарывать наклонности — преступление!..

Роман прервался, выпрямился. Всё так же загораживая открытую кассу туловищем, обернул голову:

— Никогда не простит. И вообще — говоришь вздор. Тебе полный расчёт, единственный резон кончать именно агрономические курсы. Тебе цены не будет здесь.

Он смотрел острыми сообразительными глазами из-под чёрных густых бровей, из-под английского кэпи. Ксенья и головой замотала, и сгримасничала — Роман как не видел. В чём бывал он убеждён — то выговаривал неотклонимо, и с такой мрачной строгостью, что побаивались и мужчины деловые, не то что Ксенья.

— Ты именно будешь сельским хозяином. Тебе во всяком случае обеспечена четверть наследства. А если мы с отцом окончательно поссоримся — то и больше. А всё бросишь — и голыми ногами по помосту? Безрассудство. Ты — не нищая девчёнка.

Но — девчёнка, но — ребёнок, доступный руководству. На целых семнадцать лет она была моложе, брат говорил с ней тоном почти отца с дочерью, и Ксенья слушала, хотя не убеждённая.

Опять повернулся в свою кассу. Если б он был человеком корыстным, он как раз бы подтолкнул сестру идти в танцевальную школу: только поддакнуть её напору да похвалить один-два танца. Если Ксенья выйдет замуж и родит деду внука — старик, взъярённый на сына, может подписать внуку всё. Глубоко рассуждая, Роману выгодно, чтобы Ксенья пошла в балет и поссорилась бы с отцом. Но он не разрешил бы себе такого бесчестного приёма, это противоречило бы избранному им английскому джентльменскому стилю. Он ей разумное говорил.

Взяв нужное и две стальных дверцы двумя разными ключами на полных два оборота каждую заперев, Роман ещё посмотрел на притихшую сестру, строго:

— И выйдешь замуж — за экономиста.

— Что-о-о?? Да-ни-за-что!! Да лопните вы все!!! — Ксенья вскинулась как уколотая, сорвала ночную повязку с головы, белками арапки мелькнули весёлые глаза. И — захохотала, зазвенела, руку поднимая к потолку, однако танцевально поднимая. Это был тот испуг, когда уже смешно, сме-шно! У *экономистов* та женщина красавица, какая на двух стульях помещается.— Уходи, я встаю!!

И едва он дверь прикрыл — толчком вскочила! ставню второго окна — распахнула! — а день! а солнце! а жизнь! — и на пол прыг! и к туалетному столику, из серого гнутого дерева (весь гарнитур такой, к окончанию гимназии). Но поворотное зеркало, сколько ни наклоняй,— никак не берёт всей фигуры,—

а только во всей фигуре вместе — только в сильных! не толстых! подвижных ногах! с маленькими! маленькими ступнями! — красота Ксеньи!!

Прыжок! Прыжок! Прыжок!

И опять близко. Круглое, румяно-смуглое, слишком простоватое лицо — хохлушки, степнячки, «печенежки», как дразнил Ярик в гимназические годы, и это очень её задевало. Хотя волосы не тёмные, и при карих глазах это — *интересно.* И с годами всё-таки выражение тоньше — гораздо тоньше — и интеллигентней — и задумчивей. Но всё равно, ненормально здоровый вид, совсем нет бледности, надо выработать бледность... Круглолицесть неумная, деревенская, безнадёжно степное лицо! И зубы такие уж ровные, такие уж крепкие, только без-на-дёжнее выявляют его! Разве можно выразить этим лицом — как ты уже образована? как ты стала тонко-тонко-тонко чувствовать красоту? Разве по этому лицу догадаться — на каких спектаклях ты бывала? сколько фотографий развешено, сколько статуэток расставлено — и здесь, и в московской комнате? И Леонид Андреев! и несколько Гельцер! и несколько Айседор! И сама Ксенья — то в венгерской шнуровке и в сапожках со шпорами! то в воздушно-вуалевом, с медальончиком, босиком! —

вся в полёте, подхвачено пальцами платье! — первая танцовщица Харитоновской гимназии! — а может быть, первая из ростовских гимназисток?!. Как устоять?.. Чем ещё можно жить? Что ещё в жизни есть? —

кроме танца? кроме танца! Какие летучие руки, недлинные! какие плечи, уже в наливе! вот шея бы выросла, ну немножечко бы тоньше и длинней! шея в танце сама говорит отдельно, она очень важна!

Умываться — не надо! Есть — не надо! Пить — не надо! Пустите потанцевать! Пустите потанцевать!

Через дверь — на балкон! А с балкона — в зал! Тут старая глупая плюшевая мебель, старикам выкинуть жалко. Вот где зеркало, вот где ты вся! Сама себе напевая — прыжок! Прыжок! Как это у неё получается! Она — как птица! Ступня удивительно маленькая, её всю можно забрать в мужскую ладонь. И такой толчок! И такой толчок! Это — школа босоножек: всей ступнёй, на носках они не ходят. Восстановить Элладу! Это даже не танец, это ор-хе-и-стическая иллюстрация! В греческой тунике склониться в отчаянии над погребальной урной. Или

2*

станцевать — молитву перед жертвенником. Слушайте, да ведь она почти как Айседора, она не уступает! И у неё ещё всё впереди, впереди!

...А уж одна горничная шла убирать зал электрическим пылесосом. А другая несла барышне нагретое на солнце полотенце: после ванны очень приятно обтираться таким.

Пока то, пока сё, пока завтрак — а степь разгоралась, жарко уже, никакая шляпа полястая не защитит, и лучше всего — в гамак, посреди сада, и — вся в белом, так легче.

Просвечивало белеющее небо, обессиленное накалом, и даже в доброй тени чувствовалась густота зноя. Размытое им, достигало сюда попыхивание локомобилей с молотьбы, машинное гуденье с делового двора да общее слитное жужжанье насекомых и мух. Ветра не было ни слабого.

Потом захрустел гравий. Ксенья изогнулась — это Ирина подходила, в постоянной прямизне и сдержанности движений. Ксенья протянула обе руки, как бы в потяжку, а — чтоб обняться, сегодня не виделись. Ирина нагнулась. Ксеньина книга сама закрылась и сползла, упёрлась в ромб гамака. Ирина не упустила, кивнула укорно:

— Опять французская?

Книга была английская, но не в этом... Рассыпчатой подколкой волос откинута в тугую гамачную сетку, Ксенья просительно сморщила носик:

— Ну, Оренька, ну неужели же мне — житие Серафима Саровского?..

Оря стала к стволу каштана, не касаясь его, кажется, не испытывая желания расслабиться, не отдыхая ни правой, ни левой ногой. А смотрела — скорей благожелательно-насмешливо:

— Нет, но в твоём чтеньи я совсем не замечаю русского.

— А — кого? — с проходящей непрочной досадой досуга отозвалась Ксенья.— Тургеневы все перечитаны, надоели сто раз. От Достоевского меня дёргает, руки сводит в судороги. А вот Гамсуна мы не читаем, Пшибышевского, Лагерлёф, это тебя не беспокоит!

В этой семье Ирина застала Ксенью застенчивой одиннадцатилетней девочкой и направляла до тринадцати, до отъезда в ростовскую гимназию. Та Ксенья была воспитана в Боге и не знала большего упоения, чем подражать невестке в постах, молитвенном стояньи, в преданности русской старине.

С затуманенным лбом покивала Ирина, покивала:

— Отходишь ты...

— От чего? от хохлацкого? — выхватывали живенькие каренькие глазки.— Истинно хотела бы отстать, но — как? От этих женихов *экономических* дёгтем воняет, с ними разговаривать от смеха разорвёт! Мордоренко Евстигней!..— Только вспомнив, она уже душилась от смеха.— Как он плакал, что его угонят в Париж?!.

Переняла и Оря, на её многозначительно-строгом лице нос-то был расплющен к концу, проявляя наклонность к юмору, да и губы были склонны дрогнуть при смешном. У неё и малая улыбка значила, сколько ксеньин хохот нараскат.

Этот долдон мордоренковский держал своих скаковых лошадей, им подошла пора выступать в Москве, но в чём-то провинился Евстигней перед отцом, и тот в наказанье велел ему вместо московских скачек ехать в Париж. И лошадино-здоровый Евстигней, не пропускавший в экономии ни одной девки, ни даже гувернантки, тут сел и рыдал двое суток, размазывая слёзы, и просил не гнать его в Париж.

— Или как они на здешних балах женщин качают! — тряслась Ксенья.

Как качают юбиляров, так пьяные экономисты на своих диких сборищах подхватывали молодых женщин, своих же жён и невесток, да подбрасывали их в дюжину рук, чтобы платья развевались, и норовя за ляжку схватить. (Надменно держась среди экономистов, Роман с таких *балов* Ирину уводил, чем обижал всех очень.)

— Вообще — судьба! На визитной карточке, представляешь: Ксения Захаровна Томчак! Так и несёт не то тачанкой, не то овечьей шкурой, в порядочном доме и не примут.

— Но если бы не эти овцы, Сенечка, ты б не увидела ни гимназии, ни курсов...

— Да лучше б и не увидела! Не знала б, что потеряла. Вышла б за такого печенега с десятью мельницами, фотографировалась бы как каменная баба позади мужниного стула...

— А тем не менее,— вговаривала Ирина с тихой настойчивостью,— народные основы...

— З д е с ь — народные основы?? Печенежские?!

— Вот здешнее всё,— упрямо вела Ирина, с челом прихмуренным, и напряжена была её изгибистая высокая шея с голубыми прожилками,— гораздо ближе к народным основам, чем твои просвещённые Харитоновы, равнодушные к России.

Ксенья загорячилась, заёрзала в гамаке, упёрлась в тугие ромбы:

— Боже мой, ну откуда у тебя эти неподвижные категорические суждения! Никогда ты никого Харитоновых не видела — почему ты их так терпеть не можешь? Все честные, все труженики — чем тебе их семья не угодила?!

От резких поворотов Ксеньи через ячейку гамака провалилась книжка.

Ирина уверенно покачивала голову с башенкой накрученных волос:

— Никого не видела, а всех таких знаю. Они все только клянутся народом, а к России...

— Но Харитоновых — не смей! не трогай! — уже раздражилась Ксенья.

Ну, не так повела, Ирина раскаивалась. Не надо было Харитоновых прямо. Но:

— Мне горько, Сенечка, что тебе все здесь стыдно и смешно. Правда, многое. Но зато и народная жизнь, самая твердь под почвой. Тут — и хлеб родится, не в Петербурге. Тебе — и посты лишние. А в постах — люди вырастают.

— Ну ла-адно,— жалобно просила Ксенья. И спорить было лень, а что-то и правильно.

— Я только хотела сказать,— как можно уступчивее вывела Ирина,— что мы очень легко смеёмся, нам всё смешно. Висит в небе комета с двумя хвостами — смешно. В пятницу было затмение солнечное — смешно.

А уж Ксенья вовсе не спорить хотела, сердитость её как нанеслась, так и унеслась. Она жмурилась на лиственно-солнечный потолок:

— Ну, правда же... Есть астрономия...

— Да астрономия пусть как угодно,— стояла Оря спокойно на своём.— А вот шёл князь Игорь в поход — солнечное затмение. В Куликовскую битву — солнечное затмение. В разгар Северной войны — солнечное затмение. Как военное испытание России — так солнечное затмение.

Она — загадочное любила в жизни.

Ксенья наклонилась цапнуть книжку с земли, чуть сама не вывалилась, и растрепались волосы, а из книжки выпал распечатанный конверт.

— Да! Я ж тебе не сказала! — от Ярика Харитонова письмо. Представь: их срочно выпустили, на второй день войны! Письмо — уже из Действующей армии! А пока дошло до нас — он бьётся где-нибудь! И — радостное письмо! Доволен!

Одногодок, вместе уроки готовили, как любимый брат! — с нежностью, гордостью думала Ксенья о нём.

Откуда же штемпель?

— Штемпель — Остроленка, надо у Ромаши по карте...

Прямые Орины брови сдвинулись — смущённо и одобрительно:

— Из такой семьи — и патриот, офицер! Вот в этом я вижу *знак*.

...А — её муж?.. А с мужем ей что?..

5

В скажённом этом городе Ростове привык Захар Фёдорович делать дела, да только не такие. Больше всего он ездил в Ростов насчёт машин: все новые машины появлялись там, и можно было посмотреть и пощупать, и объяснялось хорошо, как они действуют. Покупал он там, опережая всех экономистов, а то и самого барона Штенгеля, дисковые сеялки от Сименса, и пропашники картофеля, и те плуги новые, идущие на длинных ремнях между двумя локомобилями. Иногда большие сделки на зерно и на шерсть подписывал там (самим французам

зерно продавал). И конечно сам покупал: рыбу — где ж как не в Ростове рыба! — и другое из харчей и вещей. А кодась-то поихал только купить перчатки, какие хотел,— чтоб внутри беличий мех, а снаружи замша, в Армавире таких не случилось,— да уговорили чертогоны: на придаток купил ещё и автомобиль, «русско-балтийскую карету» за семь с половиной тысяч. Когда-то гыркал на сына за «томаса», твёрдо считал, что от той зверяки, как она вкруг поля объехала,— и гроза ударила, и хлеб полёг. А вот и сам подыскивал шофёра, хорошо, виноградарский сынок научился в армии, он и стал.

Всю эту куплю-продажу в Ростове Захар Федорович справлял гладко, и нравилось ему, как швыдко все ростовские крутятся при делах,— а вот гимназии никогда он там не видел ни одной, где стоят, вывески не замечал. И когда подговорили его Роман с Ирой забрать Ксенью из пятигорского пансиона да в ростовскую гимназию, то с заминкой повёз он дочку в Ростов, потому что в товаре таком, как гимназия, толку не смыслил, и наверняка б его околпачили, подсунули б, какая хуже.

Но в тот раз надо было ему по делу посетить одного умнейшего жида, почтенного человека — Архангородского Илью Исаковича. Тот Архангородский был первый знаток по мельницам, и по самым новым, хоть электрическим, хоть каким хочешь, до того был знаток, что без его конторы ни одной мельницы не ставили от Царицына и аж до Баку, и когда туз Парамонов затеял в Ростове пятиэтажную, так тот же Архангородский ему и ставил. Вот и надумал Томчак, что Архангородский ему дурно не скажет, спросить его: яка́ гимназья найлучшая, куды дочку отдать? И Архангородский добро отгукнулся, сказал, что хоть есть казённая Екатерининская и ещё другие, но лучше бы всего он советовал отдать в частную гимназию Харитоновой, где и его дочь уже учится, Соня, в четвёртом классе. Сравнили возраста́ — той и той тринадцать, так вместе и сядут, га́рно.

Сразу и подружка, понравилось Захару Фёдоровичу. А что гимназия частная, не казённая, так особенно хорошо: только те дела и надёжны, где сам хозяин во главе, а где казна да казённые служащие — там добра не жди нико́лы.

Когда езжал Захар Фёдорович в Ростов, надевал он костюмы, по времени года шерстяные или чесучёвые, надевал и шляпу фетровую или брал зонтик для фасону, но забывал об этом вскоре и так шагал и руками махал, как у себя в степу́, соскочив с дрожек в чумацком плаще и смазных сапогах. А ещё, как раз перед тем, надоумила его невестка заказать сотню визитных карточек, будто нужно так обязательно. Но только гро́ши гинули задарма́: у торговых и деловых людей, кого посещал Томчак, и в банках и на бирже, никто тех теребенек друг другу не совал, и вся сотня лежала в кармане целая, как неигранная карточная колода. И только когда биля Старого собора Томчак подъехал к гимназии Харитоновой — разменял он ту сотню: первую карточку послал через швейцара наверх.

Аглаида Федосеевна оказалась барыня важная, рассудительная, только в щипоноске, уж носила б очки, а то та щипоноска с носа сваливается. Такой серьёзной женщине вполне можно было доверить дочку в дальнем городе, не разбалуется, хоть по полгода её не видь.

А что сам он может начальнице не понравиться — у Захара Фёдоровича и минуты в голове не было. Все Томчаки по мужской линии отличались тем, что упрямство, хмурость и брань выворачивали дома, а при гостях и в гостях были весельчаки и лучшие собеседники. Такого общества не было и такой женщины не было, которым бы Захар Фёдорович не понравился в разговоре, когда хотел.

И действительно, картинный этот хохол, с резкими чертами, мохнатыми бровями, крупным носом разляпистым, в маскарадном городском костюме с цепочкою часов на самом видном месте,— своей, однако, открытостью, юмором, но и патриархальным достоинством, а больше всего степным ветряным напором, от которого еле бумаги не срывались со стола и календарь сам переворачивался,— ошеломил Аглаиду Федосеевну и очаровал. В обществе, где она обращалась, много знали и понимали, много вздыхали и мечтали, да не было ни у кого такой энергии, такой страсти действовать сейчас же, выскочив из кресла. Томчак и разговаривать-то приличным полуголосом не умел, в кабинете начальницы едва не кричал, будто рядом арбы скрипели и прогоняли мычащий, блеющий скот, так же громко и хохотал,— но Аглаиду Федосеевну, тонную хранительницу именно полуголоса и сдержанных манер, всё это не только не покоробило, но увлекло свежестью. И даже явная его прикраса, что он четыре гимназии объехал и все ему не понравились, а эта сразу нравится, с лестницы, со швейцара,— даже наивное лукавство это умилило её. И хотя четвёртый класс у Харитоновой был укомплектован, никого больше она не собиралась принимать, да ещё какую-то дикую девочку, конечно недоученную,— но за десять минут она согласилась принять, и не только не указала, как умела насупленно, что ждут её другие занятия, а поддалась простодушию весёлого хохла, стала о нём самом расспрашивать и велела подать кофе.

Не скупясь на подробности и на шутки, уверенный, что тут только и ждали его послушать, Захар Томчак рассказал, как в детстве был простым чабаном в Таврии, пас чужих овец и телят; как они, тавричане, приехали на Кавказ найматься батрачить, и получал он тогда много меньше, чем платит сейчас последнему прихожему рабочему, не говоря о постоянных своих мастерах; что только через десять лет дал ему хозяин десять овец, тёлку и поросят — и с того завертелось всё его сегодняшнее богатство, трудами и боками. Спросила начальница про его образование — полтора класса церковно-приходской, как раз научился, сколько надо ему: Библию читать да Жития святых, по-русски, але и по-славянски, а писать — плохо совсем, а ни при одной купле его не обманешь. Про семью спросила, и поведал он, какое испытание ему Бог послал: в неделю шестеро ди́ток вымерло, ус́я середина потомства. Стали слёзы у него, вытер платком. И потом про экономию рассказывал: как кирпича-железняка звенящего сами в печах самодельных вот выжгли миллион штук, ещё и продадут, ма́буть останется; как новый дом плановал с архитектором сам, окна́ нет без жалюзе́й снаружи и ставен внутри, так что жара никакая нипочём; четыре линии водопровода положили, своя электрическая дизельная станция у них уже стоит, теперь садо́влят парк, а по нему расставят фонари,— да просто зовёт он начальницу на следующее лето приезжать с детишками гостевать.

Слово за слово и начальница о себе рассказала, что она овдовела недавно, был её муж — инспектор казённых гимназий; что детей у неё трое: дочь кончила только что гимназию, теперь в Москве будет учиться, а старшему сыну Ярославу тринадцать, от рук отбивается: хочет гимназию бросать, да в пустоголовые идти, в кадеты.

Объявила она, что плата за обучение — двести рублей в год, в пять раз больше казённой, потому что...— Томчак едва не обиделся: «Скики платыть — я и сам знаю. У вас быкив нэма, пидсо́нухив на масло нэ жмэтэ и квасоль нэ растэ — на шо-то надо дитэй содэржуваты». Спросила, где девочка будет жить,— Томчак тут-то и взжалился: «Та нэма ей дэ дыться, дыты́ни бидной! У таком городе кружёном як ии без глазу оставлять? А чи, може, у вас бы и жила?» (Он это с первых минут и придумал! Он для того тут и прихотни тачал и кохвий пил и на кумыс приглашал, хоть его другие дела пекли, волокли.) «Как вы это понимаете?» — чего угодно ожидала Харитонова, не этого только. «Та шо ж у вас — комнат небогацько? Вот старша́я, кажэтэ, закинчи́ла, до Москвы пойи́дэ,— замисто ии мою и визьмить. Та вы мини хочь усих трёх своих давайтэ, я им зараз мисто найду!»

Как это было ни дико, ни нахраписто, но после всего разговора, дружелюбия и смеха уже невозможно было вернуться к той первоначальной нерастопляемой ледяности, которою Аглаида Федосеевна умела отпугивать. Она вразумляла хохла, объясняла, почему нельзя, так не делают, ученица не может жить у начальницы на квартире, она свою собственную дочь учила не у себя, а в казённой, чтоб не было и тени благоприятствования,— ничего этого хохол не усваивал, сыпал свои прибаутки да пытался её растрогать: «А тоди́ куды ж мини ии? Чужим людям нэ оставлю. Назад, та за овцами ходыть. А дивчина шибко разумная».— «А я вам кто? не чужой человек?» — «Вы? — ни! вы — своя людына, зовсим своя!» — так уверенно, радостно наседал хохол, что начальница и понять не успела, в чём же они с этим дикарём такие свои?

Томчак хорошо видел, как он начальнице понравился, и что дочка тоже понравится, але не надо напирать сразу. И свел на шутку, об одном только просил: нельзя ли девочку на три дня приютить, пока он тут сделки заключает, по

конторам ездит, ещё и в Мариуполь ему, а на кого дочку в гостинице оставишь? А вернётся — и найдёт ей квартиру.

И начальница сама не заметила, как дала себя уговорить. Томчак даже ручку ей поцеловал (он не умел, но видал, как делают) и порывом ушёл. Ещё прежде, чем он привёз эту пугливую девочку в домашнем клетчатом платьице с поясом-кушачком, не смевшую перед величественной дамой в пенсне ни повернуться, ни сесть,— к другому подъезду (квартира начальницы была в здании гимназии) подвезли фарфоровый бочонок осетровой икры, от Филиппова торт в квадратный аршин и ещё коробки. Не могли же не к делу быть лишние гро́ши хоть бы и этой образованной начальнице, хоть и в щипоноске. Да платить людям вперёд и по совести — не подкуп, не покупка, не мог бы Томчак объяснить, а про себя понимал: щедро платить за всякое дело создаёт между людьми дружбу и добро.

За три дня, что Томчак был в отъезде, Ксенья проявила себя чистоплотной, послушной, восприимчивой к навыкам и к урокам, это быстро замечает опытный глаз. Комната дочери пустовала, мальчиков можно было и не расселять, и решила Аглаида Федосеевна, что будет даже хорошо: при двух сыновьях пусть в доме растёт девочка, это будет влиять на них. Только вот молится ребёнок избыточно: и утром, и вечером подолгу, на коленях. Но тем заманчивей взять девочку из тёмной семьи и переделать на девушку передового толка. Условия поставила: Ксенья будет ездить домой лишь на каникулы, а в году отец не будет вмешиваться ни во что. Да Захару Фёдоровичу лучше того и не надо: начальница правил строгих, чего ж для девочки ещё?

Томчак не задумывался, какое первейшее испытание возложил на дочь: жить на квартире начальницы и не прослыть меж одноклассниц фискалкой. Впрочем, от этой опасности её оберегла и начальница: дорожа либеральным духом своей гимназии, она никогда не позволяла себе и классным наставницам прибегать к осведомлению через тайные допросы и доносы учениц. Ни одного такого вопроса за годы не задала она и Ксенье. Она и её покойный муж считали главной задачей воспитания юношества — воспитание *гражданина*, то есть лица, враждебного властям.

Способности Ксеньи и её усидчивость превзошли догадки Аглаиды Федосеевны. Переходы между гимназией и квартирой занимали у девочки одну минуту, не час в день, как у всех, и этот час тоже шёл на занятия. Сам процесс занятий завлекал её выше гимназических наград. Ниже пяти с минусом у неё не бывало выводной отметки ни по какому предмету, а особенно расцвела она в иностранных языках, из которых ни одного не знала, придя: в гимназии Харитоновой было два обязательных, Ксенья, кончая с золотой медалью, уже свободно читала на трёх. (И так любила она свою гимназию, не мысля дня пропустить занятий, такая робкая сохранялась долго, что отказалась от ориного приглашения поехать с ними в большое заграничное путешествие.)

Больше языков — больше и книг. Детскими и недетскими, ими уставлены были многие шкафы в квартире Харитоновых, и почти не было здесь общих с теми, что читала Ксенья у Ори,— ну разве, может быть, Гоголь да Диккенс. Когда издано было толщиной и бумагою как Библия — так не Библия была, а Шекспир со страшными картинками.

И с каждым полугодием, каждым месяцем этих четырёх гимназических лет мир прежней ксениной жизни развиживался ей как дикий тёмный угол. Да каким позором была одна развязность отца — предложить начальнице взять дочь на постой! Приезжая домой на каникулы, Ксенья в ужас приходила от густоты домашней невоспитанности. Однажды привозила она с собой Соню Архангородскую и её глазами ещё острей увидела всю эту первобытность, и сгорела от стыда. Не подвернись агрономических, она на любые всякие другие курсы бы уехала, чтобы только обращаться в культурном мире.

Ничего не осталось и от её прежних старательных утренних и вечерних коленных молитв: помаливалась она теперь дома бегло, в церковь ездила со всей семьёй, когда нельзя уж не поехать,— а стояла рассеянно, крестилась неловко.

И спохватился Томчак, что одну только малость забыл тогда спросить у начальницы: со своей всей гимназией — верует ли в Бога она?

11 августа

ФРАНЦУЗСКОЕ М.И.Д. — ПОСЛУ В ПЕТЕРБУРГЕ ПАЛЕОЛОГУ

...настаивайте на необходимости наступления русских армий на Берлин. Предупредите русское правительство неотложно...

6

Нисколько не было Роману тягостно провести наедине хоть и неделю: лишь бы всё было ему вовремя подано, а интересней и приятней самого себя он никого не знал.

Пожилому лакею с бакенбардами он подробно заказал обед себе на одного — сюда, на веранду, пока солнце ещё не заглянет. С особым вниманием спросил и отобрал рыбные закуски. (От ростовского рыбного торговца Томчакам высылался с проводником пассажирского поезда то бочонок, то пакет; на станцию выезжал казак и платил проводнику за беспокойство.) Был смысл пообедать со вкусом и без попрёков — одному, пока старик не вернулся. Вернуться он может перед вечером, там два поезда рядом. Но — в ссоре они, и Роман не может заискивать, встречать его на станции.

Соучастником волнений был сегодня и лакей: брат его, шофёр Романа Захаровича, подлежал призыву, однако в числе других важных работников при удаче мог быть отхлопотан *учётным*.

Роман-то был *единственный кормилец*, один сын в семье, и никак не мог бы подлежать призыву. Но слухи потянулись, что льготы эти отменят, если натурально кормильцем не является, в манифесте об ополченцах три дня назад было неясно сказано о *пропущенных* прежними призывами,— отец и поспешил к воинскому начальнику закрыть и закупорить при всех случаях.

Тут, на остеклённой веранде второго этажа, при спальне, стояла и любимая кушетка, отобранная из жениного гарнитура: с плавногнутым подъёмом изголовья, так что не лежишь, а на треть сидишь. Не подымаясь и без подушек, можно курить, читать газету или вот теперь, так повешена, рассматривать на стене карту военных действий.

Из ростовского магазина по телеграфному запросу прислали Роману набор флажков воюющих государств для вкалывания линии фронтов. И он уже начал вкалывать, но тут как раз возникли эти слухи о снятии льгот — и весь дымок очарования и интереса как сдуло с карты, только душу щемило смотреть на кривые линии границ, кружки́ городов, чужие названия.

Роман поджёг золотой зажигалкой папиросу особого размера. В путешествие медового месяца, за границей, Ирина подарила мужу золотой портсигар — удлинённый, каких в России не было папирос. Как джентльмен, Роман не мог пренебречь первизной и ценой подарка, поэтому отказался от покупных папирос, а заказывал ростовской асмоловской фабрике по двадцать тысяч гильз удлинённого же размера, и вызывали из Армавира специальную девицу набивать всю партию табаком.

Но и куренье никакого удовольствия не доставляло сегодня.

Сел за ломберный столик, разложил бумаги из кассы, постарался заняться расчётами. Окончил Роман всего четырёхклассное училище: тридцать лет назад на Мокром Карамыке только на ноги становились, и в голову не могло прийти, что сыну хорошо бы в гимназию. Потом начинал коммерческое училище, не кончил. Однако, цифровая хватка была у него хороша. И к хозяйствованию большие способности, но обидно быть подручным, при напористом отце, не терпящем перекору и тоже сметливом редком удачнике. Ждал Роман своего отдельного часа! А пока капитал позволял ему хоть и совсем не участвовать в отцовском хозяйстве. Каждый год на два месяца в Москву и в Петербург, на два месяца за границу. В Москве катать на рысаках, в «Элите» на Петровских линиях брать отделение «люкс», перебивая у иностранцев, а в Большом театре, когда уже все сидят, проходить в смокинге в первый ряд партера... В путешествиях себя осо-

бенно любил Роман. Так одеваться, чтобы даже знакомые у Нарзанной галереи тебя принимали за англичанина. А Европу поражать русской решительностью и своеобразием. В Лувре, в пурпурной круглой комнате, где Венера Милосская, но ни одного стула, чтобы никто не сидел, повелительно протянуть служителю десятифранковую бумажку: «ля шэз!». А переходя в следующий зал, показать: «Теперь — туда ля шэз, туда!» — потому что долго ещё будет жена разные черепки смотреть, уже курить хочется, и даже обедать.

Но и — хороша же Ирина! Когда наденет эспри и движется, не наклоняясь, как статуя богини, только качаются пёрышки райской птицы воздушно. С ней и при Дворе не стыдно появиться. Самому б на вершок повыше. Да если б волосы так не выпадали, а то приходится стричься под машинку.

Нет, занятья не шли. Тянуло: с чем отец вернётся? Стал Роман расхаживать по веранде. И — думать, куря.

Больше всего он и любил себя в таких думаньях. Он разворачивал в них все свои способности — даже и государственные, ещё тайные ото всех. Чем он наверняка превосходил многих депутатов Думы — это своей резкой прямотой с людьми. Сколько было вокруг самых диких и распущенных экономистов — все уважали Романа Захаровича, может быть, не любили, но робели. Он никогда никому не только не льстил, но вершка не уступал из вежливости, но улыбки не дарил из гостеприимства, а всегда разговаривал с гордой серьёзностью, не сводя с собеседника режущего взгляда. Да вообще он минуты не разговаривал с человеком неинтересным или ненужным: даже если тот был гость — Роман Захарович открыто вставал и уходил к себе. Именно таких непреклонных людей не хватало сейчас в государственном управлении, а на самом верху — особенно.

Роман расхаживал всё твёрже и решительней. В одном конце его проходки висела на верандном переплёте фотография Максима Горького. Роман с симпатией смотрел на вызывающе вскинутое плющеносое лицо знаменитого писателя. Роман везде громко хвалил его книги и пьесы. Он находил в нём свою черту: не лебезить перед теми, кто к тебе благосклонен. Романа восхищала та дерзость, с которой Горький полосовал и жёлчью поливал тузов промышленности и торговли,— они же в восторге аплодировали пряному, острому, свежему.

А за парком — две тысячи десятин кубанского чернозёма, если их наследовать. И такую прочную, богатую, обещающую жизнь, такую умную светлую голову — одна повестка воинского начальника может сорвать в грязный окоп под власть фельдфебеля!.. Вот дикость!

От Кубани не было ещё ни одного настоящего деятеля в России, Кубань никем не прославлена. Роман представлял разные виды своего выдвижения, одно интереснее другого. Да он, по сути, был бы смелее кадетов! Но левее кадетов кто ж — социалисты? Вот и Горький — социалист.

Да можно было бы подумать и о социализме, если б это не было так связано с грабежом, с отнятием законного имущества. Единственное личное воспоминание о социализме было у Романа — от Девятьсот Шестого, кость в горле, обиднейшая потеря за всю жизнь. Да если бы потеря! — с потерей можно примириться как с убытками от грозы, от засухи, от колебания цен. Потерять — не унизительно, кто не теряет! Но своими руками добровольно протянуть кровные деньги этим наглецам, этим рожам мерзавским, ни ума, ни трудолюбия не хватило б у них двадцатую долю того заработать! А весь их труд был — писарским почерком с завитушками написать и разослать всем экономистам письма: «Уважаемый Захар Фёдорович! С вас причитается сорок (с кого — и пятьдесят!) тысяч пожертвования на революционную работу, иначе вам наступит немедленная смерть. Анархисты-коммунисты». И первых, отказавшихся для подтверждения — действительно убили, всю семью.

Что было делать? Революция, все напуганы, власти в себе не уверены. А настроение образованного общества: на революцию? вы обязаны! ваш долг святой перед ограбленным народом. (Да если б на законную революцию, сбросить ненавистного царя,— так сколько бы то можно и дать.) Экономии разобщены, стоят в степи без охраны... (С тех пор Томчаки и стали держать четырёх наёмных казаков.) И пришлось ехать, на тачанке, попроще оделись, втроём: Роман, управляющий и конторщик. Отец не поехал — отец не мог бы своими руками деньги отдать, у него бы сердце разорвалось от первой тысячи.

Поехали за дальнюю гледичевую посадку. Была осень, хорошо запомнились под колёсами широкие лиловые опавшие стручки. А *те* приехали — из Армавира? — на фаэтоне, одетые не только не просто, но богато, один даже в визитке с атласными отворотами и с бабочкой. Очень вежливо разговаривали, считали ассигнации терпеливо. И — трое на трое, можно бы кинуться на них, избить, застрелить, ещё в засаду людей подсадить. И был револьвер в заднем кармане. Но не было решимости. Но вся Россия считала правоту — почему-то за ними, грозными, славными... Всё же не мог Роман отдать полные сорок тысяч, уперся, торговался — и две с половиной выторговал у них, те ещё понасмехались: какие вы скупые, экономисты! (Отец очень похвалил за две с половиной тысячи.) И раскланялись превежливо, и уехали. И так никто никогда не узнал и не проверил: баррикады ли строили на те деньги? винтовки ли покупали? или просто три жулика хорошо поживились и поехали в Баку кутить с проститутками?..

Ещё долго, долго было до вечерних поездов. А занятий только — читать да старое перечитывать, газеты.

* * *

БОГАТИЧИ — ЧТО ГОЛУБЫЕ КОНИ: РЕДКО УДАЮТСЯ

* * *

7

(вскользь по газетам)

ЖИВОЙ ТРУП тот, кто не знает волшебного действия лециталя... Стимулол от **МУЖСКОЙ НЕВРАСТЕНИИ...**

Московская касса ВЗАИМОПОМОЩИ НЕВЕСТ...

Кокосовые гамаки для дам...

Лондонские духи клик-клик, эсс-букет...

СЧАСТЬЕ И СЛУЧАЙ ДАЮТ БОГАТСТВО! Участвуйте в лотерее...

...этический идеализм в общественных делах, которым так богата славянская душа, но обеднел просвещённый Запад...

На встречу ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 7 июля устраивается морская прогулка с оркестром музыки на большом первоклассном пароходе „Русь“, исключительно для фешенебельной публики.

...безразличие французской демократии к внешней безопасности страны... торжество антипатриотических партий во французском парламенте...

ПОКУШЕНИЕ НА ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА... На все расспросы отвечала: „Он — антихрист“... Оказалась крестьянкой Симбирской губ. Хионией Кузьминичной Гусевой... Жизнь Распутина вне опасности...

...отмена воспрещения евреям арендовать лавки на нижегородской ярмарке...

ЗАЧЕМ ОСТАВАТЬСЯ ТОЛСТЫМ? *Идеальный анатомический пояс против ожирения... Незаменим элегантным мужчинам.*

СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА РУССКО-ФРАНЦУЗСКОГО СОЮЗА...
Пребывание господина Пуанкаре... Парадный обед... Направо от Ея Императорского Величества... По левую руку Государя...

Приём депутации русских крестьян господином Пуанкаре... Глава депутации приветствовал президента и просил передать французским крестьянам...

ПАРАДНЫЙ ОБЕД на броненосце „France“... Блистательное подтверждение неразрывного союза... один и тот же идеал мира...

П О С Л Е Д Н И Е Ч А С Ы пребывания французских гостей... На предложенный вопрос, основательна ли тревога европейского общественного мнения... событиями на Балканах... Вивиани ответил: „Несомненно преувеличена“.

...„Times“ отмечает, что превосходство русской армии над германской значительнее, нежели...

ДЯДЯ КОСТЯ — папиросы 10 шт. 6 коп., верх изящества и вкуса!

НЕСРАВНЕННАЯ РЯБИНОВАЯ настойка ШУСТОВА!

КРАСАВИЦЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ! *Снимки парижского жанра, новейшие оригиналы* **С НАТУРЫ!** *Высылаю в НАГЛУХО ЗАКРЫТОЙ посылке.*

...миролюбие России хорошо известно... Но Россия сознаёт свои исторические обязанности и поэтому...

...ввиду непрекращающейся забастовки, промышленники Выборгского района... закрыть фабрики и заводы на две недели...

...в Москве не вышли газеты... однодневная забастовка наборщиков...

Сегодня БЕГА

РЕСТОРАН «ЯР»

МИР ИЛИ ВОЙНА? Утром всюду говорили „мир"... Несчастная Сербия... Миролюбивая Россия... Австрия предъявила самые унизительные требования... Через голову маленькой Сербии меч поднят на великую Россию, защитницу неприкосновенного права миллионов на труд и на жизнь...

...вместо угнетающей подавленности — прилив бодрости и веры в свои силы. Такова психологическая черта всех здоровых народов.

...Народ-исполин, которого не сломили величайшие испытания, не боится кровавой тяжбы, откуда б она ни грозила.

МНОГО ОБЕСКУРАЖЕННЫХ ЖЕНЩИН *вернули себе этим кремом полную жизнерадостность...*

Государь Император высочайше повелеть соизволил перевести армию и флот на военное положение. Первым днём мобилизации назначено 18 июля 1914 г.

А на Севере туманном
Слышно гром пророкотал:
То с крестом, в доспехе бранном
Старший брат славянства встал.

ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ ВРУЧИЛ НОТУ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ

Бодрое настроение в Петербурге и Москве... Запрещение торговли спиртными напитками в обеих столицах.

НА НАПАДАЮЩЕГО — БОГ!

...У Зимнего дворца — стотысячная масса на коленях со склонёнными национальными флагами...

...Вставай же, великий русский народ!.. Великий подвиг, перед которым бледнеет всё, что когда-либо видел мир... за светлое будущее всего человечества... мечтаний о братстве народов... Свет миру с Востока теперь или никогда...

ВЗДОРОЖАНИЕ ПРОДУКТОВ. За последние дни в Петербурге цена на мясо... с 23 до 35 копеек... В Киеве толпа из бедняков учинила суд над торговцами, самовольно повышающими...

О приостановлении размена государственных кредитных билетов на золотую монету... Посещая сегодня столичные банки... с удовольствием констатировать... В экономическом отношении война не так страшна для России, как для Германии... Забастовочное движение сразу прекратилось...

НА НАПАДАЮЩЕГО — БОГ!

...Германию мы вывели из позора в 1812-13 годах, Австрию — в 1848...

Портреты наших врагов: Его апостольское величество император Австрии, король Венгрии Франц-Иосиф I...

ТРИУМФАЛЬНОЕ ОДНОДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 26 июля... Представителей разных национальностей и партий в этот исторический день волновала одна мысль, одно великое чувство трепетно звучало во всех голосах... руки прочь от Святой Руси!.. Мы готовы на все жертвы для охранения чести и достоинства нераздельного государства Российского...— Литовский народ... идёт на эту войну как на священную...— В защиту нашей родины мы, евреи, выступаем... по чувству глубокой привязанности...— Мы, немцы, населяющие Россию, всегда считали её своей матерью... и как один человек готовы сложить свои головы...— Мы, поляки...— Мы, латыши и эстонцы...— Позвольте мне как избраннику татарского, чувашского и черемисского населения заявить... все как один человек... бороться против нашествия... сложить свои головы...— Вся Родина сплотилась вокруг своего Царя в чувстве любви... В полном единении с нашим Самодержцем...— Все мысли, все чувства, все порывы... „Бог, Царь и народ!" — и победа обеспечена...

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ ЕВРОПЫ... Европейская война не может быть продолжительной... Из опыта предыдущих войн... решительные события происходили не позже двух месяцев...

НЕПРОБИВАЕМЫЕ ПАНЦЫРИ

ВСЯКАЯ ДАМА *может иметь* **ИДЕАЛЬНЫЙ БЮСТ,** *украшение женщины! Принимайте пилюли Марбор! Строго солидно. Без разочарований.*

По случаю мобилизации открылось много вакансий...

АНГЛИЙСКИЕ СУКНА дешевле на 40 %...

ГИТАРА, *заочные уроки, бесплатно. Тюмень, Афромееву...*

ВТОРАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА... Сообщение Генерального Штаба... Русские отряды вторглись в Пруссию... Наши лихие кавалерийские части...

...созидательные цели войны...

Нижегородская ярмарка, 1 августа... Закрыты все пивные и винные лавки вот уже две недели, и ярмарка приобрела необычайный вид. На улицах не видно пьяных, нет обычного обирания загулявших купцов... почти не стало карманных краж...

УХОДЯЩИМ

Идите, милые! Без страха и тоски
По здесь покинутым свою примите чашу...

Поляки! Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов... Да воссоединится польский народ под скипетром Русского Царя...

НЕПРОБИВАЕМЫЕ ПАНЦЫРИ...

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!

...Никогда русско-польские отношения не достигали такой моральной чистоты и ясности...

Чехи! Настал двенадцатый час!.. трёхсотлетняя мечта о свободной независимой Чехии — теперь или никогда!

ПРАВА ЕВРЕЕВ... Циркулярное телеграфное распоряжение всем губернаторам и градоначальникам приостановить акты массового или частичного выселения евреев...

ПРЕДСКАЗАНИЕ ГИБЕЛИ ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ. Вильгельм II, в бытность свою студентом боннского университета, однажды обратился к одной цыганке с вопросом... Цыганка ответила бесстрастным голосом: „Злой вихрь налетит на Германию и разметёт"...

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА. Выдумка о немецком десанте... совершенно исключается...

В СТРАНЕ ДИКАРЕЙ... Страна Шиллера и Гёте, Канта и Гегеля... под кулаком железного канцлера, которому они везде понаставили памятников... Никто не прольёт слёз над развалинами лжи и насилия...

ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА. В 7 часов вечера 3 сего августа в Санкт-Петербурге вводится военная цензура.

...осведомление населения в пределах возможности возложено на Главное Управление Генерального Штаба. Общество должно мириться со скудостью сообщаемых сведений, находя удовлетворение в том, что такая жертва вызывается военной необходимостью...

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОСЕЩЕНИЕ МОСКВЫ... Речь Государя в Большом Кремлёвском дворце... Их императорские Величества выходят из часовни Иверской Божьей Матери... Десятки тысяч верноподданных манифестируют на Красной площади...

...Примчались сербы, нам родные,
Был пышен быстрый съезд Двора,
И проходили запасные
Под клики дружного „ура".
Из храма доносилось пенье.
Перед началом битв, как встарь,
Свершив великое моленье,
К народу тихо вышел Царь.

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!

ПОДВИГ ДОНСКОГО КАЗАКА КОЗЬМЫ КРЮЧКОВА... Заметил 22 всадника... С гиком бесстрашно бросился... врезался... вертясь волчком, рубился... Подоспели товарищи... первым в эту войну Георгиевским крестом...

...ввиду прекращения экспорта... небывалое понижение цен на зерновой хлеб... Хлеботорговцы переживают крайне тяжёлое время...

ШАЛЯПИН НАШЁЛСЯ! Благополучно избег немецкого плена и в настоящее время...

Письмо прапорщика... „Сегодня привели 9 австрийских шпионов... По их словам состав армии плохой"...

ДНЕВНИК ВОЙНЫ. Центральным событием дня является наше наступление в пределы Восточной Пруссии на широком фронте... Лесов имеется много, но они разбиты просеками... не представляют препятствия для продвижения кавалерии и пехоты... 7 августа пришло известие о занятии нами Гумбинена... Это отдаёт в нашу власть всю Восточную Пруссию... Разбитые германские корпуса лишились способности...

П Р И Я Т Н О Е И З В Е С Т И Е. Из самых авторитетных источников нам сообщают, что в русской армии в настоящее время не имеется ни одной части, шефами которой состояли бы особы владетельных германских и австрийских домов.

8

Её ввели и подтолкнули старшими женскими руками — как в полную темноту, в спальню, где он лежал.

Совсем темно не было, но обычное затмение глаз, когда из яркого южного полдня войдёшь в заставненную комнату.

Пахло ладаном, сухой травой, лекарством.

Сразу вскоре видны лучи от щелей, в них — пляшущие пылинки, потом от этих лучевых пылинок расходится для глаз и по комнате всей — смутная видимость. Потом и чётче, и почти уже полная.

Он лежал в междустенке на высокой кровати, высоких подушках, покрытый одной простынёй по духоте,— а как будто уже саваном, только не до верха.

Варя подошла сколько-то, за сколько-то остановилась. Говорить она совершенно не знала что, за всю дорогу от Петербурга не выдумала, боялась сфальшивить, что́ ни произнеси. Но отчасти эта темнота помогла ей, в темноте легче было и молчать, и освоиться.

А он-то, наверно, хорошо видел её. Но и головой не повёл. А после нескольких дыханий спросил, громче шёпота:

— Кто это?

Ответила:

— Матвеева. Варя.

— Мат-ве-ева?? — его беззвучный голос передал, однако, удивление — и ласковость.— Матвеева? — Далеко отстояло слово от слова.— Да ведь ты ж. В Петербурге.

— Приехала. Узнала — и приехала.

Что война началась — ему нельзя было говорить, не говорили. Что приехала из-за него, пусть понуждаемая разными дамами,— была почти правда. А высказалось — неловко. Благодарить благодетеля?.. И само благодетельство вообще стыдно, и благодарить — фальшиво: благодетельство есть откуп от общественного долга, так говорят. А всё же перед собой и перед этими дамами не могла Варя не признать, что ни гимназии бы не кончила, ни на высших курсах бы не училась без Ивана Сергеевича Саратовкина.

За минуты молчания и в нём что-то прошло, прошло. И он сказал уже голосней и со всё более отчётливой ласковостью:

— Спасибо, Варюша. Не ждал. Мне приятно.

Когда-то маленькую девочку может быть погладил по головке. Ей и не запомнилось, чтоб он говорил с нею особо или ласково. Да они и не встречались никогда. На петербургской улице она бы мимо него прошла, не узнала.

А сейчас этот голос — тронул её. И первый раз ей показалось, что она ехала так далеко — не зря. Хотя всю дорогу была уверена, что — эря, смешно и глупо.

Среди образованных курсисток, её подруг, стыдно было бы признаться, что она ездила к одру благодетеля, да кого? — владельца бакалейно-гастрономического магазина,— как ни назови его, купец или лабазник, всё равно чёрная сотня. (Хотя и у Гоца дед был чаеторговец — но сотни тысяч жертвовал на революцию!)

Магазин Саратовкина на тихой Старопочтовой, на отлёте от движения, без зеркальных витрин, не такой большой и даже полутёмный, однако известен был

всему Пятигорску, и Ессентукам, и Железноводску: что нет никакой такой в мире еды — всякой марки заграничного вина, швейцарского шоколада, вологодского масла или нежинских огурчиков, чтоб они не нашлись у Саратовкина. Его приказчики считали позором ответ «у нас нету-с». И даже непонятно, какую выгоду Саратовкин преследовал не в бойкости повседневного спроса, а в том, что на всякое шалое желание у него не бывает «нету». Скорее — гордость.

Варя приехала не зря? — однако что же было говорить дальше? Как она поняла, Иван Сергеевич уже неизлечим, и даже в днях её торопили, чтоб она поспела. Но теперь высказывать ему несбыточные пожелания здоровья было неискренне, а признать смерть — тоже нельзя. А говорить о постороннем — и совсем неестественно.

И Варя, ни шагу дальше, от натянутости переминалась, выжидая, сколько прилично надо простоять, чтобы можно уйти. И обеими руками держала сумочку перед собой, чтобы только занять их.

Уже гораздо ясней стало в комнате, и на подушке виделась круглая голова Ивана Сергеевича, редковатые волосы, всё ещё полное лицо — и большие, устало свисшие усы, как мокрые кисти.

А всё остальное — под саваном.

Не от сознания близкой смерти его, а вот от этого савана, до подбородка натянутого, её как сознобило.

А он, напротив, так покойно лежал, будто нисколько не боялся и не ему грозило.

— Пошли тебе Бог, Варюша,— с той же ласковостью сказал Иван Сергеевич, как будто она была не одна из двух десятков, ему не памятных, а его любимая дочь.— Чтоб ученье. Пошло на благо. И тебе. И людям. Свет ученья, он знаешь. Двулезый.

Последнего странного слова она не поняла. Да и не так старалась понять, а старалась выстоять прилично свои десять минут, и облегченье было, что не ей говорить, а он сам. Но его тон — очень раздобрял сердце.

— И жениха хорошего,— размышлял он, кажется и без труда.— Или есть уже?

— Не-е-ет,— простоналось у Вари.

И тут почувствовала к нему бесподдельную благодарность, что самого главного он не забыл и самого больного так коснулся мягко.

Он, правда, был хороший старик, хотя и купец. И кто-то же должен быть купцом. И кто-то же должен один взяться, чтобы город их не был хуже столицы.

А — после него?

— Всё — будет. Всё — будет,— то ли успокаивал старик. То ли успокаивался.

Замолчал.

Забыл?

И Варя молчала. Она даже хотела что-нибудь сказать, но совсем не могла придумать, как если б ей было четыре года.

И пока она стояла, ещё переминаясь и вцепясь в сумочку, она подумала искренно, не формально, что ведь когда-нибудь и она будет старой и вот так же плашмя и беспомощно будет умирать.

А Иван Сергеевич с одра смерти как будто ей помогал на тот миг.

И ещё сказал:

— Спасибо. Что посетила. Спаси Бог.

Правда, как-то хорошо получилось, неожиданно. Не так непролазно мучительно, никчемно, как ей представлялось в пути.

Из тёмной комнаты его она вышла растроганной.

Вышла наружу — а там дрожащий знойный воздух. И много виделся раскинутый Пятигорск.

Трёхэтажный дом Саратовкина стоял на углу Лермонтовской и Дворянской. Тут поворачивали открытые маленькие трамвайчики, идущие на Провал, несмотря на войну и сегодня полные курортной публикой. Они всползали выше, выше по подножью Машука, мимо богатых белых дач, вилл, пансионов — и туда, к Эоловой арфе, к Лермонтовскому гроту. А в другую сторону, к базару, Лермонтовская круто спускалась, сразу падали крыши в зелень. На юг, поверх

сниженного города, синели отодвинутые, размытые, ненастойчивые линии гор.

И — так горячо стало от этого обзорного родного вида. Пятигорск! Зачем она отсюда уехала в чужой неприветливый Петербург? Тогда казалось — к счастью.

Сирота... Но и сироте помогает родное место. Вот... вот... не отец, а... а как бы и за отца? Не отец — а сколько для неё сделал?

И — как добро пожелал. Как угадал!

И вот — уже и его нет...

Вся с детства известная привлекательная окрестность, ещё и под невидимым духом Лермонтова,— как чаша, налитая зноем и счастьем,— томила невыносимостью.

Вот ведь, как чувствовала: и с Саней встретилась. Родная земля, здесь всё возможно!

С Саней-то встретилась, но только раздражилась до крайности. Такая невозможная встреча, в таком переполошенном общем завихре, кажется — что́ только дать могла, именно по необычности положения — всего мира, и его, и её! — а ничего не дала. Уходила, урчала тёмная вода — и телом своим готова была Варя рухнуть и перегородить ту воронку. Но всё впустую. Тягостно с ним прошатались несколько часов по станции Минеральных Вод — а всё ни к чему. Эта чрезмерная его добродетель, медленная рассудительность — они уже и девчёнке-ученице претили,— а тут, в ослепительном июльском дне, стало видно до чёрточки, как Саня губит себя,— и ничем Варя не могла отвратить. И чего-то резкого ему наговорила, имея в виду свою досаду, а вкладывая в слова другого разговора,— и уехала дальше дачным, в Пятигорск.

А она так неслась, так неслась на родину, как будто не война сопровождала её всю дорогу, как будто не к последним вздохам опекуна, а летела в счастье, вся до щекучих подошв ожидая его.

Как террористки возят на себе пироксилин, в каких-нибудь местах, не доступных для полицейского обыска, под лифчиком,— так Варя везла в себе силу взрыва, уже недовезомую.

Пропадала она в этом Петербурге, никем не замеченная, не привеченная, малообразованная провинциалка. А здесь — горячая чаша родины, и здесь не может у неё не найтись друзей, знакомых, кого бы встретить. Кто-то должен её понять — и ей помочь понять свою судьбу.

И как она будет благодарна! и как отслужит!

Не мог этот приезд её кончиться — так, ничем.

Вот, на черкеске проходящего горца видела она в перепояс узкий ремешок с бляшками чернёного серебра, а с ремешка свисающий кинжал,— вот, это наше, наш мир! (Хотя никогда ни одного горца не знала.)

В дешёвой соломенной шляпке она шла по бестенному жаркому тротуару — и вдруг оказался перед её ногами, поперёк тротуара — ковёр! Расстеленный роскошный текинский, тёмно-красный с оранжевыми огоньками.

Варя вздрогнула, как вздрагивает засыпающий, сочтя уже за галлюцинацию,— огляделась: да, мягкий ковёр был расстелен поперёк всего тротуара от двери коврового магазина — и другие прохожие тоже останавливались, не решаясь наступить. Но стоял в двери пожилой коренастый турок в красной шапочке, с дымящимся чубуком, и ласково приглашал прохожих:

— Ходы́, пажалуста, ходы, так лучше будыт.

Кто — всё-таки миновал, кто — смеялся и шёл. И Варя — пошла, наслаждаясь стопами от этой роскоши,— необычайный какой-то счастливый знак.

Голову набок, смеясь, покосилась на щедрого турка. И встретила хитровластные глаза.

С сожалением сступила с ковра, покидая игру. От ковра через ноги огнём — будто вспыхнули в Варе яркость, красота жизни, уверенность в себе.

От Лермонтовского сквера к другому скверу по незастроенному месту тянулись временные лавчёнки, многие в ряд разнообразные лавчёнки и мастерские — из досок сбитые маленькие ларьки, домки с приподнятыми козырьками над своим дневным прилавком.

Варя пошла мимо них медленно и заглядывала в каждый без смысла. Тут был — продавец рахатлукума и халвы. Галантерейный лавочник. Сапожник. Лудильщик. Чинильщик примусов и керосинок. А в следующей — жестянщик: висел большой оцинкованный таз у него над прилавком как витрина, вместо названия, а из будки нёсся жестяной бой, хоть уши закрывай, резкий и даже злой.

Мимо этих жестяных ударов Варя прошла бы быстрей, но покосилась — и увидела самого жестянщика, как раз оставившего работу и поднявшегося во весь рост. В такой жаркий день в серой плотной рубашке, под цвет жести, и в чёрном твердостоялом фартуке напереди, это был молодой парень, черноволосый и сильно смуглый, как многие на юге, но особенное в нём было то, что при широкораздатом лице, и во лбу, и в нижней челюсти, уши у него были неожиданно маленькие.

Варя увидела — и замедлила. Она узнала?.. И через шаг остановилась уже уверенно.

С молотком в руке парень покосился на неё, без искливой готовности лавочников и ремесленников, и даже угрюмо, как на врага, а не заказчика. Да и не было ж в руках у неё никакого видимого заказа.

А Варя улыбнулась ему во всю летнюю улыбку:

— Вы меня... Ты меня не узнаёшь?

Сама она тогда, только перейдя в полустаршие гимназистки из городского училища, едва сменила, тоже на чёрном фартуке, бретельки на зелёную пелеринку. Но две её старшие подруги, приезжие, с которыми она как сирота вместе жила на квартире, уже водились с таким Йеммануилом Йенчманом (не представлялся Эмма, а всегда Йеммануил). И взявши с Вари твёрдое слово, открыли ей однажды, что это — знаменитый анархист, и что сами они тоже сочувствуют анархизму. От Вари просто негде было им скрытничать на квартире, но Варю охватило святое чувство посвящённости. Девочки прятали то какую-то коробку, то книгу Бакунина, то газету «Чёрное знамя» — и по тайности, и запретности, в хранении жадно читали их, от общих принципов — что должен быть полностью уничтожен весь нынешний строй жизни и надо посвятить себя неудержимому неотступному разрушению, и до рецепта, как делать «македонки»: в кусок водопроводной трубки насыпать бертолетовой соли и вложить ампулку кислоты.

Так вот с Йенчманом раза два-три появлялся и Жорка — сильный, молчаливый паренёк, еще не развитый, но обещающий самоучка, как говорил Йеммануил. И держал его на подмогу, на замену, для поручений. Ему тогда было лет пятнадцать.

С тех прошло? — семь лет? Варя ни разу с тех пор не видела их обоих, даже забыла совсем, вот никак не думала, что и сейчас он в Пятигорске.

Из своей полутёмной пещерки-ларька недоброжелательно, искоса смотрел.

— Не узнаёте, Жора?.. Я — Варя... Я — из тех гимназисток на Графской улице... куда вы... куда ты приходил с Эммануилом.

Почему-то само прорывалось «ты». Да ведь ей тогда тоже было тринадцать, детское. Хотя вот он уже не подросток, а сильный мужчина с узластыми плечами.

А он из полутьмы смотрел на неё исподлобья, ему это, видно, сильно всё не нравилось. Как-то гмыкнул, ничего ясно не выговорил, полуотвернулся, сел на низкий стул — и на выдвинутой железке стал обивать загнутый край лохани. Молотком он бил по твёрдой железке через подставленную жесть, понемногу поворачивал лохань и снова бил, подбивал. Бил он сердито, как будто на эту жестянку сердясь, бил и подбивал, голову наклонив, оттого ещё хмурей. И на Варю даже не смотрел.

А её — как приковало к этому тёмно-деревянному нечистому прилавку с обрезками цветной жести, то белой, то жёлтой стороной наверх, и кой-где присыпом металлической пыли. Она обоими локтями оперлась, вглядывалась в крупнолицего мастера и настаивала:

— Не можете вы меня не помнить! Там было две старших гимназистки, а я — младшая, Варя. А я — та́к помню вас!

Пять минут назад она ничего о нём не помнила — а сейчас вдруг из трубы памяти, через раскрывшийся раструб,— потянуло сильным тёплым током, и она вспомнила даже клетчато-бордовую рубашку, в которой он бывал тогда, даже на каком стуле он сидел и движенья его рук. Сейчас — это всё очень помогло,— и

силой вызывающего чувства она вытягивала из памяти ещё, ещё, какие-то анархистские программные фразы: разрушение несовместимо с созиданием... действенное разрушение и есть свобода... бороться с общепризнанными авторитетами... взрывать памятники...

А он поколачивал свою поделку со злостью, как удары нанося извечному врагу, и перекошены были его сильные, крепкие, мясистые губы.

Варя — уже больше различала в затеньи лавчёнки, хорошо видела его набок положенный гладкий смоляной чуб, только глаза от неё уходили. И — длинный негибкий чёрный фартук, то ли прорезиненный.

Тогда — и на ней тоже был короткий чёрный фартучек, но каждой складкой льнущий, как положишь.

Не мог он её не вспомнить! Она не уйдёт иначе!

Она и не шла никуда. А из трубы памяти — выносило на помощь, и она вытягивала — с изумлением, как новое:

...Только через преодоление культуры возможно достижение анархистских идеалов. Долой научное насилие, долой университеты, синагоги науки! Анархист вторым делом объявляет террор науке! Похоронив религию — затем похоронить и науку, отправив её в архив человеческого суеверия...

Удивительные, неожиданные слова! А что, какая-то односторонняя правда есть и в этом? Наука — холодный, сухой, бессердечный путь. Особенно для молодой женщины. Особенно для одинокой.

Но как это помнилось? но какой силой вызвалось сейчас?

...Формы борьбы могут быть разнообразны: яд, кинжал, петля, револьвер, динамит... динамит, динамит...

Бил со злостью — и не узнавал? Резкий железный близкий звук хлестал по ушам Вари.

Тут ей осветилось: он не хочет узнать — из конспирации! Он — и по сегодня состоит в каком-то жутком чернознамённом обществе. Или не состоит, но скрывает прошлое и опасается быть опознанным.

Да разве она — его предаст? Да она могла бы ему даже помочь — выручить в чём-то конспиративном. Или — помочь ему в чтении, в развитии,— ведь это ему наверно трудно.

И ещё сильней придавило её к прилавку, всем передом, как вертелся каруселью весь лавочный ряд, а эта лавочка была на них двоих, и её прижимало всей центробежной силой.

— Жора! Я никогда вас не выдам! — выговаривала она сильней, через жестяной лязг, через примусный шумок сбоку, но — и не так, чтобы соседи слышали, а ему одному.— Вы можете быть совершенно уверены! Ты можешь быть...

Через лязг, через шум и от боязни не убедить — дыхания не хватало. Но он услышал, понял. Перестал бить. И повернулся к ней. И как она видела теперь всё его возмужание за эти годы, и всю его решительность! И закрытую загадочность. А по широкому подбородку и на верхней губе — стоячая чёрная щетинка.

— Ты можешь на меня... положиться!

— А чего — положиться? — спросил он грубо.— Чего нам раскладывать? Ты себе — барышня, и проходи.

В грубости голоса его была как команда.

— Ты можешь положиться! — всё уверенней и увлечённей выговаривала Варя, так же прижатая к прилавку, и не заметила, заметила, что голым локтем раздавила лепесток сажи, перелетевший от примусника,— и тут же забыла.

Прохожие за её спиной миновали, заказчики не останавливались — и она с локтей смотрела и смотрела на отчаянного анархиста. И вспомнила, да:

...Революционер знает только науку разрушения... Холодной страстью должны быть задавлены все его нежные чувства... Он — не революционер, если ему чего-либо жалко в этом мире...

Ну конечно! Ну понятно! Он — добровольно всего лишён в этом мире. Но разве помеха — дружеское участие? светлая помощь?.. Сама сирота — как понимала Варя всякое сиротское одинокое положение!

Смотрел.

Столько горечи, столько невысказанной тяжести было в его мрачном небритом лице и чёрном взгляде.

— Наверно, у тебя была это время очень тяжёлая жизнь? — как будто могла его утешить.

— Было,— вдруг открылся он.— Предателей много. Редкий не предатель. Попался я на одном деле, укокали начальника тюрьмы. Дали арестантские роты.

— И долго? — (Так и предчувствовала она!)

— Потом — амнистия, на ссылку заменили. И выбросили в собачью жизнь, вот... Им бы такую жизнь...

Видно и не женат.

Отдал молотком по железке, трахнул вместо слов.

— Я никак не думала, что вы в Пятигорске!..

Он приоткрывал подземный, тайный, преследуемый мир — и она не смела больше говорить ему «ты», он вырос перед ней. В этот страшный мир она не готова была вступить — но если бы он властно позвал, то может быть и... В какой бы ни форме, но — слиться с народом, кто об этом не мечтал?

— Южно-Русская Федерация?..— ещё вспомнила и прошептала.

Когда он и не бил по жести — мешал слитный шум нескольких примусов от соседа.

Но Жора — расслышал и пришикнул как на кошку:

— Тшыть!

Замерла.

— Продали Федерацию,— доверился он, услышала.— Из Киева. Сами виноваты, много психики наводили. Даже *эксы* стало делить нельзя. Ну, и развалились...

— А Йенчман? — спросила она, да просто напомнить их общее прошлое.

Махнул рукой:

— Он стал — пан-анархист. А я — анархист-коммунист. Они — учёные слишком. А анархист-коммунист не должен ничего читать, чтоб не поддаться чужому влиянию. Все свои взгляды он должен выработать сам, только так свобода личности.

Высказал, а лоханку проклятую доделывать. Бил.

Выше фартука ещё двигалось, а ниже — стоял дыбчатый фартук неподвижным хребтом.

Какая воля была в нём! Какая сила в подземном кузнеце!

Но если он не нуждается даже читать — то в чём она ему поможет? Но может быть — с кем-то связать, куда ему нельзя появиться? Если бы он доверил?..

Не покидало чувство, что к чему-то же сегодня счастливо лёг ей под ноги ковёр.

Остановился бить, но помахивал молотком и смотрел жгуче:

— Все-е будут ползать перед нами на коленях! У все-ех мошну растрясём!

Непобедимые глаза!

— Всех подлецов стрелять по одному! — смотрел и на неё, как на подлеца.— Наели шеи жирные в крахмальных воротниках. А собачку нажмёшь — мясная туша.

Варя не знала, как смягчить его, чем угодить навстречу.

— А попам долговолосым — расчесать гривы, за гривы вешать.

— А не жалко? — усумнилась.

— Никого не жалко,— откровенно шевелил он тяжёлыми губами.— Должны знать, что сила на них идёт, пусть боятся!

Страшные он говорил слова! — но и жизнь ведь жестока. Это на Бестужевских курсах, на благополучной поверхности можно так категорически оперировать моральными правилами.

Навалило Варю на прилавок, платье не бережа.

А память подавала ей любимый спор тех лет, сейчас так объясняющий это гордое одиночество: имеет ли право революционер на личное счастье? Или должен постоянно подчинять его революционному идеалу?

И жалея его, обойденного, обделённого, явно одинокого, загнанного, затаённого,— простонала ему через прилавок, уже в половину его ширины:

— Жо-ора! Но вы не должны лишать себя...

А?
Перестал бить, посмотрел. Всё не расхмуренный, раздражённый.
А она не уходила, не отходила, не слегала с прилавка. Пока не захлопнется козырёк ларька.
Не бил. Молчал, смотрел, соображал. Сильные чёрные глаза.
Но заогнились, от подземной кузницы, от скрытого горна?
Глаза в глаза, ещё подумал и сказал:
— Ну, зайди.
Сильно шумели примусы.
Отлипла от прилавка, не видела сажевого пятна на локотке, может где и платье,— и подняв доску, вступила в узкий зев прилавка.
А дальше идти и некуда: два шага на два шага, и заставлено, завешано кастрюлями, вёдрами.
Зачем сказал войти?
Поднялся — неровно, как ногу отсидев, на голову выше её. Ступнул ещё вглубь, там надавил низкую дверцу, кивнул головой:
— А ну!
Вот что! Оказывается, в ларьке ещё был скрытый задний чулан, и туда вела эта дверца — такая низкая, что даже Варе надо было голову приклонить, чтобы войти. Какая-то тайна.
Варя бесстрашно протиснулась мимо дыбчатого фартука, наклонённого плеча анархиста — и вошла туда. Как в подполье.
Доверил? Понадобилась!
В тесноту такую, что еле повернулась — и от спины её предупредительно громыхнуло дном висящей жестяной ванны.
И чем-то сбило соломенную шляпку, попрыгала она куда-то.
Это был наглухо сколоченный чулан, но щели в разных местах, и всё же светилось.
Жора сильно пригнулся, вошёл. И ещё раз громыхнуло прогнутым железом, как глухим громом.
Так было тесно, обвешано и обставлено, что только и стояли они друг против друга.
И что же тут?
В перемежных щелях видя его, стояла.
Ужасно шумели примусы!
Но когда он сбросил фартук — тот отчётливо, твёрдо стукнул о пол.
Она — если и начала понимать, то не хотела понять!
А он — страшно молчал!
Она задыхалась от страха и жара в этом чёрном неповоротливом капкане! колодце!
И ощутила на плечах неумолимое давленье его рук.
Вниз.

9

Иной год платили Томчаки управлению Владикавказской железной дороги шестьсот рублей, и чтоб любой скорый по их требованию останавливался на их станции Кубанской, а не протягиваться им до Армавира лишних двадцать вёрст.
В этом году управлению не платили, но скорые останавливали, как и всегда. Возвращаясь сегодня из Екатеринодара, Захар Фёдорович в Кавказской не стал ждать почтового, сел на первый скорый, тут же велел позвать к себе старшего кондуктора, приготовил на столике две красненьких, ему и машинисту, и объяснил, где надо остановить. Старший кондуктор нисколько не удивился, что деловой человек бережёт время, обещал — и сделал точно. Недалеко до вечера, но сильная жара ещё стояла, Томчак один со всего поезда, при головах, удивлённо высунутых из окон, сошёл на станционные пути без тени. От рыжего гравия возгонялся в дрожащий зной сладковатый запах мазута.
В тени склада стоял фаэтон, ожидавший целый день. (Давно уже была

у Томчака не «русско-балтийская карета», и рессорами, и спицами, и осями вполне похожая на обыкновенную телегу, а «мерседес», но то для шику, иногда в гости,— ездил же Томчак почти только на лошадях, так чувствовал себя нестеснённо; в церковь и на станцию, где люди видят,— в фаэтоне.) Кучер спохватился, побежал принять от хозяина маленький баул, потом — зануздать лошадей, искусанных слепнями.
А сына — не было. Не встречал его сын — чёртова притыка, а не сын, из какого семени он вырос?
Начальник станции вышел руку пожать Томчаку, но через пути опоздал: фаэтон уже покатил, Томчак торопился, как всегда, а тем более, потеряв три дня на поездку, весь охвачен был свербежом от упущенных дел, толкалось в нём — проверять, как тут что идёт в самое горячее время. Что за плечами — то оторвано, думал Захар Фёдорович о делах — передних, не сделанных, не проверенных, и может быть упускаемых. А ещё — от накипи сердца, что сын не встретил.
Не так далеко налево, меньше версты, он увидел и первую из молотилок в облачке взвеянной половы — и тут же бы свернул к ней, как есть, на фаэтоне, да не стал людей смешить, надо всё ж переодеться и пересесть на дрожки.
Думал: про молотьбу; что карболку отправить надо к лукьяновским хуторам, вот-вот вторая стрижка мериносов; и не пора ли кукурузу ломать да кочаны убирать в новый амбар, на миллион пудов с жалюзным проветриванием (все стенки хоть открываются на продув, хоть закрываются плотно от дождя; это хранение, перенятое у немецких колонистов, если правильно заложить, обещало большой барыш).
У колонистов Томчак много чего перенял, и всегда это приносило ему барыш. Очень он уважал немцев — и войну против Германии считал бисовой дуростью, как свою драку палками в первом классе курьерского поезда с Афанасием Карпенко — из-за того, что тот назвал дурой свою невестку, старшую дочь Томчака. Дура и есть дура, её из четырёхклассного училища выхватили, чтоб за богатого человека отдать, и из-за того деловым людям стыдно драться. Наоборот, всей Россией надо учиться у Германии, как хозяйство ставить. Сейчас, когда годы такие пошли, что Россия соками наливается, не воевать надо было, а по тому Ерцгерцогу панихиду отслужить да на поминках трём императорам выпить горилки.
Тем более не видел он резону отпускать на эту войну ни сына, ни мастеров своих добрых, ни казаков, верно служивших ему по вольному найму на охране имения и кассы после того случая с разбойниками. Всех он от войны освободил, кого хотел, с этим возвращался. И если б они его на станции встретили, да во главе с сыном, вот то был бы отцу и почёт, вместе бы и порадовались.
Всё ж у каменных белых въездных столбов сидели вприсядку на земле и ждали хозяина: двое казаков, дизельный машинист, один садовник да романов шофёр, брат лакея. И Томчак остановил фаэтон и поднявшимся, окружившим сказал тепло, как обязанный им не меньше, чем они ему:
— Усэ будэ добрэ, хлопцы. И дру́гим майстерам кажи́ть. Робы́ть як робылы, та Богови добры свички поставьтэ.
И под их благодарный ропот тут же тронул. Лошади бодро зацокали по плитам аллеи, потом парадного двора — но с верхнего этажа выглянула только мать. А *он* и не высунулся.
Кучер подал по разворотному кругу к крыльцу. Томчак сошёл и быстро в дом. Теперь он уже и не хотел встречаться с сыном.
Ни одна половица крепкой молодой лестницы не скрипнула под его ногой, да и сам он в пятьдесят шесть лет поднимался, как молодой.
В верхней прихожей, выставя руки в надежде и в слабости, стояла перед ним его бочкотелая жена.
— Ну як, отец? — почти даже голоса не было у неё спросить.
А ему и отвечать шко́дило: здесь, под крышей домашней, особенно приходилось как унижение. И, лба жены прикоснувшись чуть, он молча шёл в спальни. Она за ним.
Как отстала Евдокия от мужицкой работы, так подагра привязалась к ней и ещё дюжина болезней, и тем больше болезней, чем она лечилась больше. (А пияких докторив нико́лы слухать нэ трэба! К себе-то Томчак их и не подпускал: он

лучше усих докторив знал, как себя когда лечить.) Сперва покупали грязевые бочонки и сестру милосердия выписывали в экономию делать хозяйке ванны, потом признали ей нужным ездить в Ейск, Горячеводск, Ессентуки — а там только в кружевных платьях да в экипажах, так донимали болезни горше.

Но сейчас поспевала Евдокия живо и в своей спальне, пока муж на святой угол крестился, обошла его и заступила дорогу дальше. Она за грудь его держала и не спрашивала почти, а смотрела на его усатое, носатое, бровастое лицо, как на Илью-пророка: ударит или не ударит?

Говорить Томчаку не хотелось. Схлопочи, принеси — а он на диванчике будет лежать, не встанет. Добрэ було бы — так и уйихаты у стэп, никому ничóго нэ сказав. Но посмотрел, как мучается старá,— пожалел, буркнул:

— Присягавсь воинский начальник — билый билет на усю вийну.

Евдокия ослабла, отеплела, повернулась и крестилась на главную икону:

— Ну слава тебе! ну слава тебе! Услышала Богородица мои молитвы.

— Та ни,— поморщился Захар, кидая шляпу, срывая пыльник.— Богородица тут с краю. То я́ трохи пидмазав, шоб нэ рыпило.

И — шёл к себе, но зорко обернулся, что она отстаёт уже, и огнём метнул из-под бровищ:

— Ты куды?! Нэ пи́дэшь! Хай ему грець, шоб вин сказывься!! — Красная от ветров, с узлами вздувшихся тёмных трубок, рука его сошлась в кулак. Потряс.— Сам прыйдэ, як йому потрибно.

— Та я нэ до Ромаши,— лгала счастливая Евдокия.— Чого подать тоби, кажи?

— Ничóго. Бальзаму выпью. У стэп пойиду зáраз.

И срывал с себя парадную тройку, всё до исподников.

Огненный дёготный рижский бальзам стал его любимый напиток, с тех пор как недавно он его в Москве узнал. Один такой глянцевый кувшинчик стоял у него в столовой, другой в спальне, пил Захар Фёдорович по маленькой серебряной стопочке.

— Та хоть борща постного! — предлагала жена, залитая радостью.— Разогреть?

— А чого там грить? — квасоль чи масло пидсонечное? Холодного давай! — И ещё вдогонку крикнул: — А кажи казаку бигты до Семэна та дрожки закладать.

Спальня Захара была за спальнею жены и без отдельного выхода. «Зато в мэнэ сквознякив николы нэ будэ!» — говорил он. По степи в лыху годы́ну, в дождь и в холод мотался он не стережась, но дома боялся сквозняков и спать любил тепло. Не в размахе их жизни здешней, а по-деревенски пристроена была к печи широкая кафельная лежанка, зимой Захар спал на ней. Была у него тут и касса большая, вделанная в стену, в неё он швырял на ходу, на ходу и вынимал; конторских книг лежало несколько, но никого из служащих Томчак здесь не принимал, да и сам цифрами в книгах наслаждался мало,— он был не слуга деньгам, а господин им. Деньги у него не задерживались, всегда были в землях, в скоте и в постройках; а золота Томчаки избегали, как и все получатели, как и все рабочие (обранивался из кармана маленький золотой), в банке приходилось чиновнику подплачивать, чтоб не нагружал золотом, а давал ассигнации.

Однако и в конторе не сиживал Захар Томчак над цифрами или деньгами, не задерживался там дольше, чем надо было принять решение. Весь смысл его дела был в степи, у машин, у овечьих отар и на деловом дворе — тáм досмотреть, тáм управить. Весь успех его дела был в том, как степные просторы разделялись полосками посадок на прямоугольные отсеки, защищённые от ветров; как по семипольной системе чередовались пшеница-гарновка, кукуруза-конский зуб, подсолнух, люцерн, эспарцет, и что ни год всходили всё гуще и наливистей; как порода коров сменялась на немецкую трёхведерную; как резали разом по сорок кабанов и закладывали в коптильню (ветчины и колбасы выделывал немец-колонист не хуже, чем у Айденбаха в Ростове); и, главное, как настригали горы овечьей шерсти и паковали в тюки.

Никогда не пропускал Томчак стоять самому при отправке на поезд или дальним гужом больших транспортов зерна, шерсти или мяса из своего имения. То был наистарший праздник для него: обойти глазами весь этот объём и тяжесть, которые он выдавал людям. Тем и похвастаться он любил иногда: «Та я ж Россию кормлю», и такую же похвалу выслушать.

Пока жена ходила за борщом, Захар Фёдорович переоделся в полотняный костюм, надел сапоги с двойной мягкой подошвой («шоб ноги спáлы»). Поел бы он сейчас свиного сала розового в четверть высотой или горячей чабанской каши с барашком, но надо было Успение пережить. Зато пшеничный хлеб «со вздохом», от руки сжимаемый втрое, он полоснул длинным кухонным ножом от края до края и склонил усы над большой миской холодного постного густого борща.

А жена стояла против него, сложив руки на толстом животе, и смотрела, как он ест.

Торопился он кончать да гнать по степи на дрожках (тырдыкалку одноосную не любил). Но постучала и вошла невестка.

— Шо? Уже Роману сказалы? — насторожился и от миски как пёс зарычал Захар Фёдорович.

— Та ни, ни,— виновато успокаивала жена.— Тильки Ирє, мáбуть можно?

А Ирина вошла невиновато, прямая, как всегда, с высокой шеей и пышной высокой причёской. Только то за весь день знала она от лакея, что муж её не умер там, в спальне: обедал, принял свежие газеты. Смотрела она, как свёкор усы мочил в борще,— не благодарила, молча смотрела, но с одобрением, с дружбой.

На всех в доме мог Захар Фёдорович кричать, громы метать,— на неё никогда, с первого дня она так себя повела и почувствовала здесь. Правда, и поперёк ему она ничего не делала, даже не надевала дома дорогих нарядов и *цáцек* (бриллиантов) из-за того, что он не любил. Верный тон найдя, она умела убеждать его там, где никто, к примиренью с домашними, с другими экономистами. Свёкор вздыхал: «Божье дитя ты, Ируша», и уступал. Когда в политике что случалось, сына он никогда не слушал с его газетами, а слушал, как невестка толкует, по «Новому Времени».

— Ну, пидыйды, пидыйды,— показал он ей и, посереди борща обтерев большой плотной салфеткой рот и усы, поцеловал в наклонённый лоб. Однако не пригласил её сесть и ничего ласкового другого не сказал, а, громко чавкая и второй перекройный ломоть добирая из руки, зажёвывая, пропускал между глотками сердито: — Жалкýю, шо йиздыв я та вызволяв... Пийшов бы вин на вийну — о то була б йому прочухáнка... Бисова дытына, лыха вин нэ бáчив...

Чавкал.

И Ирина — понимала свёкра: что освобождать сына — дерябило его, и только тем смягчалось, что освобождал и работников. Возразила ненастойчиво:

— Ну как, папа, вы можете так говорить?

Он ел своё, доедал, но, кажется, уже холосто глотал, ожесточаясь:

— И кажи йому: нэхай вин свое дило развёртуе, моёго нэ ждэ! А я лучше племяннику усэ завещаю. Або...— Он начинал ещё не так твёрдо, но вот лицо его потвердело, решение проступило между двумя заглотами: — ...або Ксиньк зараз с курсов визьму та замуж выдам!

— Папа! Папа! — ахнула, взялась Ирина, своды бровей поднялись.— Да это вы сгоряча! Для чего ж тогда было и отдавать, чтоб среди курса брать? Где ж тут резон?

Бывало, слыша о просчётах других экономистов, Захар Фёдорович говорил: «Дывысь, то ж бы и я нэ зрозумив. Трэба своёго агрóнома йматы. Дэсь мини такого шукáть, шоб и дило добрэ знав и работящий був, свий чоловик и нэ жулик?» В такую минуту Ирина с Романом и уговорили его отдать Ксенью на агрономические курсы: вот уж будет свой агроном, куда ближе!.. А сейчас совсем другое высматривал Томчак мохнатым степным взглядом:

— А тот и резон. Будэ мини через год внук, а через пятнадцать — наслидник.

Кончил хлебать, вытирался. Закрылась салфеткой нижняя часть лица, а верхняя выражала застигнутую боль.

Не только им, бабам, но вообще не мог Захар словами назвать, в чём его расплох и смятение. Не деньги, не имение гибло — Роман не вертопрах, но нарушался главный ясный стержень дела, душа его. Чтоб наследовать и верно вести — душа должна продолжать душу. А для этого чужого, чёрного — зачем было всё делано и налажено?

Ирина же своё бабичье выдвигала:

— И как вы можете, не спросясь её — замуж? И — за кого?

Поднялся Томчак. Рядом со стройной Ириной громоздилась его запорожская фигура:

— А т а м ии — за кого? За штудэнта? А вин на каторгу потом пидэ? Дурак я був, шо ии учив. На усих басурманских языках балакае, а в Бога развирылась. Та був бы сын як сын — да учись аж до сорока годив, дóки на тэбэ вже и дывыться нэ будут. Э-эх, старá! — крякнул он и взял лёгкую походную палку с крючком, полированным от долгой носки.— Нэ дала ты мини дрýгого сына.

— Бог не дал, отец,— вздохнула жена, и благостно-покойно было её раздобренное лицо.

— Та я Его волю не знаю, Бога... А моя — ось такá.

И шагом сильным, крепким ушёл, и слышно было, как сбегал по лестнице.

Оря — всегда восхищалась свёкром. Он был — делатель народной жизни, как и её покойный отец. Десятки людей работали и кормились вокруг него. И он понимал широту своей службы, ничего не жалел для работников, не трусился над богатством. Да по сути сам себе он от этого богатства не много и брал. Наверно, такие и должны быть простые герои в реальной жизни.

С юности они рисуются иначе. Герой затаённый у неё был, с девяти лет,— Натаниэль Бумпо, куперовский «Соколиный глаз», бесстрашный благородный воин. Только такому герою должна была достаться Оря! — но ни такого, ни сходного она никогда не встречала. Лишь, своему внутреннему жребию служа, полюбила стрельбу, носила в дамской сумочке или держала в ящике трельяжа маленький дамский браунинг, а на ковре на ремне висело её английское дамское ружьё — для дроби и для маленьких пуль, пробивающих две вершковые доски. Когда в экономию приезжали в гости офицеры из гарнизонного штаба, натягивалось за скотным двором на двух столбах полотно, и Оря стреляла с офицерами, не уступая очков. Если когда-нибудь встретится её герой — она могла бы быть его достойна...

Но — где? зачем? и разве он может теперь встретиться?..

А впрочем — что мы знаем об истинных токах жизни?

Оря вообще любила — загадочное. Ей нравилось верить, что силы потусторонние таинственно действуют рядом с нами. Вот почему-то же висела над ними комета Галлея в год постройки этого дома, посадки этого парка...

> Всё, что з д е с ь нам не досказано,
> Мы постигнем в жизни т о й...

Она любила мечтать, ходя под звёздами. А ещё даже больше — в закатном жёлтом обливе, на крайней западной аллее парка, откуда начинались уже виноградники, и через них всякий погожий летний вечер непреграждённое золотое осияние вырывало её гуляющую фигуру из этого парка, от этого дома, от этого мужа, из этого мира,— всю в солнце, никем не тревожимую.

И сегодня такой был закат. И хотелось туда уйти, побродить свободною душой, как бы без тела, без его огорчений.

Но если бы тотчас же не пошла объявить Ромаше она — поторопилась бы свекровь.

Впрочем, с этой вестью не было унижения войти первой. С такой вестью можно было войти и не прося прощения.

Никаким предупредительным шарканьем, кашлем, стуком Ирина не предварила свой приход. Подступила тихо и открыла тихо.

Сразу из двери обдал её смешанный жёлто-розовый свет: ещё просачивался сюда закат между вершинами парка, проходил веранду, и остеклённую стену с веранды в спальню,— а здесь поддерживался бледно-розовой обивкой стен, отзывом розово-золотистых покрывал и посвечиванием бронзовых столбиков двух двойных кленовых кроватей.

Так был ещё свет читать. И *он* сидел в низком глубоком кресле, спиной к ней. И в руках держал развёрнутую газету. Слышал дверь, не мог не угадать шагов. Но не обернулся.

Он до конца должен был выразить, как он всеми здесь обижен — но и как он твёрд.

Он так сидел, что Ирине виделось выше кресла лишь облысевшее темя его чёрной головы.

И эти глубокие взлизы лысины в тридцать шесть лет, эта знакомая беззащитная макушка вдруг смягчили Ирину. И то вязкое, что мешало ей идти дальше,— отвалилось.

Освободившимся шагом она пошла на поворот его головы, на перемесь обиды, колебания и готовности просиять на этом тёмном, ещё от света отвёрнутом и сегодня не бритом лице.

И ровным голосом объявила:

— Всё хорошо, Ромаша. Папа сговорился. Обещали, что будет крепко.

И уже подошла вплотную к его креслу, так что он и встать из своего запрокида не успел — но схватил её за руки и, целуя их, говорил что-то, захлёбывался. Не о ссоре, не о вине, своей или её. Ссоры как не бывало.

И отца — как бы не было, Роман о нём не сказал, не спросил, не потянулся благодарить.

И Ирина не решилась передать ему брань и угрозы отца.

Руки Ирины были открыты выше локтей, и Роман целовал ямочки у локтей, и выше, чистую нежную розоватую кожу её, без единого пупырышка. А дальше тугие рукава не поднимались. И, повернув её, он усадил к себе на колени, и голову прижимал к её груди.

И опять она сверху рассматривала его лысину меж коротких, жёстких, но слабых волос. И осторожно поцеловала её:

— Мушечка.

От «макушечки» или от «мужа» сложилось такое ласковое у них: мушечка. Он любил это прозвище.

Он оживлённо, радостно говорил, много. Ирина не сразу даже вникла. Он обещал ей, что после Америки, куда он давно хотел, как в самую лучшую, деловую, разумную страну, и даже прежде Америки, лишь бы вот кончилась война, они поедут по её заветному (давно высказанному, отвергнутому и затаённому) маршруту: в Иерусалим, Палестину, а потом в Индию.

— А смотреть будем как? — спросила Ирина.— Как Париж?

(На Эйфелеву поднимал скоростной лифт.— «А чего мы там не видели?» — боялся он высоты.— «Тогда я одна!» Если «одна» — тащится и он. Могилу Наполеона? — «А что нам Наполеон? Да мы, русские, уморились его лупить».)

— Нет, нет, всё подробно,— обещал он, но уже освобождал с колен, но уже мял свою удлинённую папиросу и шёл покурить на веранду, прихватывая смятую «Биржёвку».— Ирочка, ты вели на ужин что-нибудь лёгкое нам сюда принести, вроде цыплят. Никуда не выйдем, спать ляжем.

Ещё на веранду доставало свету, а в спальне по минутам темнело, и погасли, серели все цвета. Но Ирина не зажигала электричества.

Она перешла в безоконную глубину спальни. Нехотя и как тяжесть железную подняла за угол обесцвеченное в сумраке покрывало на одной из раскидистых кроватей. И так задержалась, осталась, держа поднятый, непосильно-тяжёлый угол...

За какою завесой, за каким покрывалом таится от обыденного опыта людского, от многих и всю их жизнь — то благословение, то сожигание, какое в старости посетило отца,— чтоб не побояться ни мирского осуждения, ни Божьего суда, бесстыдно кинуться подкупать архиерея — только бы пережениться на любимой?..

Жалость к мужу как быстро посетила Ирину, так быстро и ушла. А жалко стало ей своей прошлой отдельной ночи и даже сегодняшнего томительного одинокого, но и свободного дня. Если стянуть покрывало — обнажится шахта, высохший колодец, на дне которого в ночную бессонницу ей лежать на спине, размозжённой,— и нет горла крикнуть, и нет наверх верёвки. И героя — не будет никогда.

...А Роман, уже несколько часов дуревший над газетами, только сейчас ощутил весь их горячий интерес и смысл. Газеты как переменились, как будто

посочнели и запульсировали буквы. Ещё не темно было на веранде, и он подошёл к карте, смотрел на свои флажки и на линию границы.

С тех пор как граница была утверждена Венским конгрессом, вот эта прусская культяпка, выставленная к нам как бы для отсечения, никогда ещё не испытывалась: Россия с Германией не воевала с тех пор... Да больше, да лет сто пятьдесят не воевала... да самой Германии ещё не было... И вот — первая проба границ и расположений.

А старая поговорка от фридриховских времён: русские прусских всегда бивали!

Наступаем м ы, наступают н а ш и! В сообщениях штаба Верховного главнокомандующего не указывались номера армий, корпусов и дивизий, и нельзя было точно понять, куда ж именно поставить флажки. Да и флажки неизвестно что выражали, их число придумал сам Роман, как ему показалось удобно. От него самого зависело, захватить или не захватить лишних десять-двадцать вёрст Пруссии.

Осторожно, не рвя карту, он теперь переколол все флажочные булавки — вперёд, на два дневных перехода.

Корпуса шагали!

10

Стемнело, и у каменного двухэтажного штаба Второй армии в Остроленке зажглись электрические фонари. У ворот и у парадной двери стояли молодцеватые часовые, да прохаживались по улице двое патрульных, то входя в тени деревьев, то выходя из них.

Армия, руководимая этим штабом, уже неделю наступала на неприятеля — но здесь не было тревожного снования, прискока и отскока верховых, грохота экипажей, громких распоряжений, догона, перемен,— всё успокоилось к вечеру и дремало, как остальная Остроленка. И какие окна светились — те светились, а в каких было потушено — те не засвечивались, и в этом тоже был покой. И не стягивались к штабу переплетения полевых телефонных проводов, а спускалась со столба постоянная городская пара.

Проход по улице вблизи штаба не был запрещён жителям, и польская младость в чёрном, белом и цветном гуляла по тротуарам. Уже многих молодых поляков взяли в армию, паненки гуляли дружка с дружкой, а кое-кто и с русскими офицерами. После жаркого дня вечер был беспрохладный, душноватый, многие окна открыты, и слышалось изнедалека граммофонное пение.

Диковинно светя белыми снопами фар, качаясь и тарахтя, из-за угла за квартал выехал автомобиль, прогрохотал по улице, вскрутил пыль и под честь часового въехал в ворота. Автомобиль был открытый, в нём сидел маленький мрачный генерал-майор.

Стихло опять у штаба. Проплыл по улице в сутане полный ксёндз. Поклоном всей спины и поклоном шляпы на вытянутой руке его приветствовали прохожие паны, как никто не здоровается в России с православным священником.

Показался извозчик, он вёз двоих офицеров к штабу. Офицеры расплатились, соскочили, вошли.

Старший из них, полковник, не в первом вестибюле встретил дежурного офицера, а когда встретил — предъявил ему бумагу. Бумага оказалась серьёзная. Дежурный, придерживая на боку шашку, побежал наверх, докладывать начальнику штаба.

Тот удивился, встревожился, едва было не пошёл встречать приехавшего сам, передумал, хотел принять его в кабинете, тоже передумал и, крупнотелый, посеменил к комнате командующего, генерала Самсонова.

Генерал-от-кавалерии Самсонов за долгие годы устоявшейся военной службы то наказным атаманом Войска Донского, то туркестанским генерал-губернатором и атаманом семиреченского казачества, привык служить размеренно, разумно и внушал подчинённым, что, следуя Создателю, каждый из нас может в шесть дней с умом управиться со всеми делами и ещё шесть ночей спокойно спать, а в седьмой день благорассудно отдохнуть. Суетуну же не управиться и в седьмой день.

Но за последние три недели жизнь 55-летнего генерала наполнилась будоражным движением и неутихающей тревогой. Непосильно стало управиться ни в будни, ни по воскресеньям, и перепутался даже самый счёт дней, вчера только к вечеру он вспомнил, что прошло воскресенье. Что ни ночь — бессонно ожидал он опаздывающих распоряжений штаба фронта и посылал свои приказания в неурочные часы. И стоял в голове постоянный шумок, мешавший соображать.

Три недели назад высочайшим повелением Самсонов был отозван от благоустройства дальней азиатской окраины и перенесен сразу на передовую линию начинавшейся европейской войны. Давно, после японской, он побывал здесь начальником штаба Варшавского округа; по той старой должности и сегодня определён сюда. Доверие Его Величества было почётно и, как всякую службу, хотел бы и эту отправить Самсонов наилучше. Но отвычка была велика, семь лет он не касался оперативной работы, лишь административной, он и корпусом никогда в бою не командовал,— а вот ему вручили сразу армию.

Давно уж и думать он забыл, что такое восточно-прусский театр, никто эти годы не знакомил его с планами войны здесь, как они составлялись и изменялись,— теперь его телеграммой вызвали из Крыма, где он лечился, и велели спешно выполнять не им составленный и даже не обдуманный им план, как должны две русских армии, одна с востока от Немана, другая с юга от Нарева, наступать на Пруссию, предполагая намертво окружить все тамошние войска.

Нуждался новый командующий в неторопливом разборе, уладке, нуждался он прежде всего один побыть, прийти в себя, оценить тот план, посидеть над картами,— ни на что не отпускалось времени ему. Нуждался новый командующий узнать свой штаб, каково добры в нём советчики и помощники,— но и на это не было льготного времени, и сам штаб был составлен с нечестностью: начальник штаба Варшавского округа Орановский, переходя на Северо-Западный фронт, забрал туда и всё лучшее из штаба. Командующий Виленского округа Ренненкампф, переходя на Первую армию, так же забрал туда свой знакомый многолетний штаб. А в штаб Второй армии ещё до приезда Самсонова наслали из разных мест случайных офицеров, друг друга тоже не знавших, не сработанных. Никогда б не избрал себе Самсонов ни этого мямлистого начальника штаба, ни этого жёлчного генерал-квартирмейстера — но они раньше его прибыли, его встречали. Да нуждался ж новый командующий и полки объехать, узнать хоть старших офицеров, посмотреть на солдат и себя показать, убедиться, что все готовы, и тогда только начинать движение в чужую страну, и то постепенно, силы войск для боя бережа и врабатывая в солдатство запасных. Но если и командующий не был готов — то где уж там корпуса! Только три корпуса были варшавских, остальные подвозили издали. Вместо готовности 29 дней от мобилизации назначили наступать на 15-й день, при неготовых тылах,— такая нервная спешка всех охватила спасать Париж. Ни один корпус не укомплектовался как быть, не подошла назначавшаяся корпусная конница, пехота была выгружена из поездов раньше времени, не на своих направлениях (уже при разгрузке меняли места назначения и некоторые полки гнали пешком рядом с железной дорогой по 60 вёрст), вся армия рассредоточена на территории больше Бельгии. Интендантства застал Самсонов только ещё на разгрузке; армейские склады не имели возимых запасов на семь дней операции, как это полагалось, а главное — не было транспорта обеспечить подвозку на всю глубину, только левый фланг мог рассчитывать на железную дорогу, остальным корпусам оставался гуж, а его недослали, вместо парных повозок одноконные, и лошади городские, не приспособленные к здешним пескам, да ещё неизвестно чьим распоряжением по ведомству военных сообщений обоз 13-го корпуса выгрузился прежде Белостока и собственными колёсами без нужды тянулся, и по пескам, полтораста вёрст до границы.

Ни на что не было отпущено времени, нависали неумолимо короткие сроки, гнали телеграммы, весь мир должен был увидеть грозный шаг российских полков — и 2 августа они пошли, а 6-го, как раз в Преображение, добрый знак, перешли русскую границу — однако противника не встретили и продолжали день за днём всё так же идти и идти в пустоту, расточительно оставляя на переправах, мостах и в городках свои боевые части, оттого что не подходили второочередные дивизии на подпор дивизиям первой линии.

В характере Самсонова было — наступать смело и решительно,— однако ж не без ума. Никаких боёв не было, но при расстройстве тыла сама скорость движения становилась губительна. И насущно было — задержаться хоть на день-на два, подтянуть снабженье, боевым частям дать днёвку, да попросту осмотреться и твёрже стать. И штаб армии ежедённо докладывал штабу фронта: восьмой, девятый день движения, четвёртый и пятый день по Пруссии, опустошённой стране, откуда вывезены все припасы, а сенные стога сожжены; подвозить фураж и хлеб — всё дальше, трудней и не на чем, две трети армейского сухарного запаса уже съедено; в жару, по песчаным дорогам идут изнурённые колонны — в пустоту!

Но всё то прочитывая, главнокомандующий фронтом Жилинский, кзади на сто вёрст от Остроленки, ничего не понимал, ничего не принимал, а попугайски каркал своё: энергично наступать! только в скорости ног наша победа! противник ускользает от вас!

Были пределы, которых генерал Самсонов не разрешал себе переступать и в мыслях. Он не смел судить императорскую фамилию, стало быть и Верховного главнокомандующего. И высших интересов России он также не смел истолковывать своевольно. Разъяснено было директивою Верховного, что так как война первоначально была объявлена нам, а Франция как союзница немедленно нас поддержала, необходимо нам по союзническим обязательствам возможно быстрее наступать на Восточную Пруссию. Ту директиву генерал Самсонов не смел подвергать сомнению. Но всё же говорилось в ней о наступлении «спокойном и планомерном» — а если происходило нечто другое, то с правом можно было приписать это штабу фронта, да ещё зная самого Жилинского — его надменность, жёлтую сухость, колкость. В штабе фронта верстовые подсчёты Самсонова подвергали неверию, если не смеху, и жалобы его приписывали его слабости. Упречные телеграммы и дёрганья от Жилинского день ото дня разжигали Самсонова — и тут не находил он в себе смирения остановиться и не судить. Упорство высшего начальника не признавать действительной обстановки почему называется *волей*? донесение низшего о том, как идёт на самом деле, почему называется безволием?

Всех-то задач было у главнокомандования фронтом: координировать Вторую армию с Первой, и больше ни с какой. Это мизерно было для такого многолюдного штаба и обрекало его мелко вмешиваться в распоряжения командующих армиями. Сама же координация с первых дней была лишь палки в колёса. Ни через штаб фронта, ни на местности, ни конною разведкой не чувствовала Вторая армия на земле Восточной Пруссии своего правого соседа. И даже три последних дня, когда приказы по фронту и вся русская печать восславили победу Первой армии под Гумбиненом,— самсоновские корпуса, идущие с юга, нигде за лесами и озёрами не ощутили подмогу корпусов Ренненкампфа, идущих с востока, ни даже его многочисленной конницы, пять кавалерийских дивизий, и не заметили немцев, бегущих бы с востока на запад. Вся Россия ликовала победе Ренненкампфа, и только сосед его по Восточной Пруссии не выиграл от той победы ничего.

Это всё могло бы быть иначе при другой людской расстановке. Но Жилинский и Орановский были люди какой-то чужой души, не умеющие выслушивать, не желающие столковаться. С Жилинским в прежние годы Самсонов тесно не встречался, лишь сейчас представился ему в Белостоке. Но и за неполный разговор, за первые же минуты понял, что никогда ничего рассудительного у него с этим генералом не выйдет. Жилинский фразы не сказал по-человечески, как с братом по оружию. Это был брезгливый погонщик, а не брат. Он показывал, что всё знает лучше и не намерен советоваться с подчинённым. В тишине кабинета он говорил без надобности резко, даже обрывал — и, наверно, себя ж в униженьи считал, что так низко сидит, всего на фронте из двух армий.

Да Жилинского только этой весной, смещая с генерального штаба, куда-то надо было устроить, и назначили на Варшавский округ. (А думали Самсонова возвращать сюда, но отвергли за незнание французского языка, нужного для Варшавы. Теперь получается жаль: вернись бы он в Варшавский округ весной — уже бы вник в дела, и военные планы узнал бы раньше.)

Плохие люди все друг друга поддерживают, в этом главная сила их: Жилинского застоял Сухомлинов. А была у Жилинского заступа и выше: он близок был ко двору Марии Фёдоровны, и это давало ему самостоятельность даже от Верховного. Но здесь упирался Самсонов в предел: не ему было судить.

Да не завидовал он всем их успехам и продвижениям, не искал породниться со Двором, но складка печали ложилась в душу: наступи у России тяжкий час — всех этих блистательных хлюстов не сдует ли ветром? их имена тогда — услышишь ли?

Пускай бы возвышались они, да не портили дела. Довольно бы с Самсонова своих забот: принять, поднять и вести Вторую армию. Но — передёргивали, но — ломали всё! Даже состава армии по корпусам Самсонов не мог два дня подряд удержать постоянным: подчинили 1-й корпус — но без права его передвигать; подчинили Гвардейский корпус — и через три дня отобрали (и отобрали тайком, лишние сутки считал Самсонов, что тот по его приказу наступает, и Жилинский не предупредил, а уже сам командир корпуса доложил потом); подчинили 23-й корпус — и тут же одну пехотную дивизию, Сирелиуса, отняли в резерв фронта, другую, Мингина,— в Новогеоргиевск, корпусную артиллерию — в Гродно, корпусную конницу на Юго-Западный фронт. Потом спохватились и дивизию Мингина вернули Самсонову, пришлось ей догонять другие корпуса ещё усиленней, чем те шагали. Ещё формально подчинили 2-й корпус, далеко справа уткнутый в озёра и недвижимый (распоряженья ему Самсонов мог посылать — только через штаб же фронта). А вчера пришла телеграмма: 2-й корпус передать Ренненкампфу. То доходило до семи корпусов — теперь оставлен был Самсонов при трёх с половиной!

Да и это б он покойно снёс, если был бы в том толк. Но именно толка не было. Как ни поздно Самсонов приехал сюда, как ни мало было ему времени подумать и узнать, чтó тут годами трактовалось о Восточной Пруссии, но глядя на эту культю, выставленную против России, он сразу понял, что отхватывать её надо под мышкой, а не с локтя угрызать, и потому сильнейшей армией должна быть южная, наревская, его армия, а не восточная, ренненкампфовская.

Однако со штабом фронта тянулась и тянулась разголосица: как понимать задачу Второй армии и по какому направлению ей наступать? Если не поняли друг друга, сидя через стол, то что можно по телеграфу? Как в чёрта не угодить пестом, так нельзя было ухватить и план Жилинского: что немцы будут жаться к Ренненкампфу, к самой груди, на восток, к Мазурским озёрам,— и ждать, пока накроет их сзади Самсонов. А потому-де самое успешное направление для Самсонова — северо-восточное, наискосок. И всю Вторую армию Жилинский разгружал, сосредотачивал — правее, чем быть ей нужно, и лишь потом постепенно подавал налево, чем и размазывал. А только на карту глянув, сразу можно было понять, что *гораздо левей* надо армию развёртывать — у железной дороги Новогеоргиевск-Млава, единственной во всём районе наступления, тогда как у немцев подходил десяток железных дорог. Как можно было единственную дорогу оставить за флангом, а всю армию погнать по песчаному и болотному бездорожью?!

Но уже опоздав предлагать собственный план и другую дислокацию, Самсонов послал встречную записку, что — да, надо ему наступать наискосок, да только не на дурной искосок, прочерченный Жилинским-Орановским, не к северо-востоку, а к северо-западу: не обняться с Ренненкампфом впустую, а спешить удержать немцев в неволе, не дать им уйти за Вислу.

И уж в этом уступить было никак нельзя: надо совсем дураком себя счесть, дергунчиком на верёвочке. Жилинский слал ежедневные директивы: наискосок направо! Самсонов ежедён просил: наискосок налево! И, не упуская правого края, стал полегоньку сам загибать налево: в приказах корпусам и дивизиям по две-три деревни выбирал каждой левее. И когда уже перешли немецкую границу, и ни в первый, ни во второй, ни в третий день не встретили никаких немцев, ни одного выстрела не услышали и не сделали,— Жилинский всё видел свой вздор: что немцы замерли против Ренненкампфа и ждут удара в спину, что сгрудились они в гибельном уголке у Мазурских озёр, в косом простенке между Ренненкампфом и Самсоновым, и ждут терпеливо, когда их в мешке зашьют,— Самсонову же стало окончательно ясно, что Жилинский гонит его в пустоту, немцы уходят из наших клещей, льются на Запад, и последняя надежда — растворить клещи пошире.

И так — делал он, и сколько мог, отклонял левую клешню налево, а Жилин-

ский не утверждал, держался за правую клешню, и все чувства и сердце уходили на этот спор, а корпуса между тем шли и шли, и только дерготнёю и зигзагами генеральский спор удлинял их путь, тратились ноги на ошибки направлений. Эти вёрсты на солдатских подошвах Самсонов ощущал, как на своих, они палили и мозоли натирали, и союзки отпарывались от ранта,— и всё же не мог он без противления выполнять обалделые приказы штаба фронта.

А ещё от этого спора — растягивался фронт веером, три с половиной корпуса редели на семидесяти верстах, и в эту растяжку тыкал и тыкал Самсонову Жилинский, и тем обиднее, что правильно: растянуто.

Самсонову всего спокойней было выполнять приказ, как он получен. Но — приказ вовсе бессмысленный? Но — приказ, заведомо в ущерб Отечеству?

Ему не давали общую армейскую задачу, а форма пусть будет твоя,— нет, и саму форму регламентировали до последнего штриха и цукали за малое отклонение. Командующему армией не оставалось никакой свободы, он был как лошадь стреножен.

Чтобы хоть как-то разорвать телеграфное непонимание, Самсонов в последней надежде вчера послал к Жилинскому своего генерал-квартирмейстера Филимонова — объясниться устно, просить разрешения наступать хотя бы без загиба, прямо на север, на Балтийское море. И настойчиво просить хоть полные права на левофланговый 1-й корпус резерва Верховного, который не разрешалось выдвигать. (И по которому приказы Самсонов узнавал с опозданием.)

Но пока генерал-квартирмейстер ездил, телеграфные аппараты стучали и настучали ещё две директивы от Жилинского — вчерашнюю и сегодняшнюю. Во вчерашней было всё то же: не трогать 1-го корпуса, а остальными тремя с половиною, обеспечивая фланги (поди попробуй, сукин сын), энергично наступать, да так энергично, чтоб не позже 12-го августа занять справа...— это просто уже с Ренненкампфом плечами стукнуться, если тот правда немцев гонит, просто уже у Ренненкампфа город отобрать. Бзык штабной, выталкивание немцев, а не охват. И цукал Жилинский, что медленно Самсонов идёт, недостаточно быстры его приказы, нерешительны действия, что перед ним — лишь незначительные заслоны противника, а убегающие главные силы он не успевает перехватить.

Вот это одно и было верно: что тут немца перед Самсоновым нет (до вчерашнего дня — не было). Но где он? — то главный был вопрос. Не пощупав, не посмотрев, не послав кавалерии, не взяв ни одного пленного, как догадаться: где немец? Штаб армии хоть честно этого не знал, штаб фронта уверял, что знает.

И личным докладом ничего Филимонов не объяснил, потому что за час до его возвращения пришла директива штаба фронта сегодняшняя, от 11 августа: «Раньше обращал ваше внимание и ныне крайне не одобряю растягивание фронта и разброску корпусов вопреки данной вам директиве».

Эти директивы телеграфные составлял, конечно, Орановский — волоокий вилоусый красавец, надутый, чистенький. Он составлял, а Жилинский подписывал, они дружно вот так служили.

«Крайне не одобряю»! Крайне не одобряли стараний Самсонова хоть левым боком зацепить немцев и задержать. Они настаивали, чтобы Самсонов выпустил немцев всех целыми...

Теперь генерал-майор Филимонов воротился на автомобиле командующего и не отлагая минуты, не помывшись (лишь проверив, что точно к ужину будет кулебяка), обойдя начальника штаба (которого не считал за подлинного военного), постучал в комнату Самсонова. Войдя по разрешительному оклику и увидя командующего на диване без сапог, Филимонов всё же подтянулся и отмахнул честь, но коротко, не по полной форме, как в своём кругу. Вместо доклада сказал только:

— Воротился, Александр Васильич.

Сказал хмуро, устало. Постоял, подождал. Сел.

Он страдал от своего маленького роста, мешавшего возможной карьере. Как только мог, он всегда садился и брался рукою за аксельбант. Он всегда старался держаться позначительней, но много проигрывал, что стрижен был под машинку, как простой солдат.

А командующий прилёг потому, что сморился. Он прилёг потому, что сколько ни стоял в своих тяжёлых сапогах, сколько ни топтался — его войскам не было от того ни легче, ни быстрей. Вот он лежал на спине, без кителя, с руками за головой, ноги подняв на валик. Его крупное большелобое лицо, привыклое к генеральской представительности, на треть закрытое невыседевшей бородой и усами, вообще никогда не искажалось, никогда не выражало раздражения, неудовольствия. Сейчас большими спокойными глазами он повёл в сторону вошедшего, но не поднялся. Будто не очень и ждал, с чем Филимонов вернётся.

А он очень ждал! Но даже в голосе Филимонова, не богатом тонами, эти три слова «воротился, Александр Васильич», произнесенные с опуском, выразили ему всё.

И с пригуживанием в голове, никому кроме него не слышимым, командующий по-прежнему глядел в высокий лепной потолок. Таким же кругло-спокойным, гладким, без борозды оставался его накатный лоб, и в своём постоянном широком раскрыве не щурились, не косили глаза, по щекам не пробегали змейки, спокойные толстые губы прикрывались спокойной зарослью,— но внутренне наступила шаткая безопорность, о которой признаться никому было недопустимо, и она страшила командующего. Ни одна мысль его не успела вполне додуматься, как должны в здоровой голове вызревать уверенные мысли, ни одно решение, уже утекшее на телеграфную ленту,— прежде сформироваться вполне. И первый раз за тридцативосьмилетнюю службу, ещё от своего гусарского полуэскадрона в турецкой кампании, Самсонов чувствовал, что он — не действователь, а лишь представитель событий, они же утекают по себе сами.

Как раз Филимонов всё это в командующем видел. Вот если б *он* был командующим, он разговаривал бы с Жилинским не так. И корпусных командиров затянул бы не так. Да не было власти ему дано. В шее жёстко охваченный стоячим воротником, прибарабанивая пальцами по аксельбанту, поглядывал он на распластанного командующего.

Но Филимонов не знал, что тут случилось, пока он ездил. Убегающий противник наконец-то был настигнут или, во всяком случае, столкнулись с ним! Столкнулись ещё вчера, весть пришла сегодня, а особое удовлетворение было в том, что столкнулись именно *левым* боком *левого* из центральных корпусов — 15-го, и вели бой, повернувшись *налево*! И бой удачный! и толкнули немца дальше!

Всего часы назад победа окончательно выяснилась по донесению генерала Мартоса, аллюр три креста, в автомобиле молодой офицер с повязанной головой,— и так первый раз подтвердилась правота Самсонова, что и в безмолвной пустоте он правильно рассудил немца. Час назад, в ответ на оскорбительную директиву Жилинского, Самсонов послал ему на посрамленье своё донесение о победе. В донесение он слово в слово включил и доклад Мартоса о славном эпизоде в Черниговском полку: увидя отходящие части, полковой командир Алексеев с развёрнутым знаменем повёл в штыки знаменную полуроту. Был вскоре убит. Вокруг знамени возник рукопашный бой, но рука немца не коснулась знамени. Знаменщик был трижды ранен, знамя попало к поручику, которого тоже убили. Ночью черниговцы пробрались на нейтральную полосу, вынесли полотнище, георгиевский крест и раненого знаменщика. Теперь знамя прибито к казачьей пике.

Вот это донесение отослав, Самсонов и снял сапоги, и лёг на диван. Ещё ничто по-настоящему не облегчилось — но проявился-таки немец, и слева! — и посрамлён был штаб фронта!

Вот почему спокойным лбом, спокойными глазами к потолку, Самсонов лежал и не хотел подробностей из штаба фронта, а неторопливо рассказывал своё.

Однако должен был знать он и всё привезенное! И без сожаления к командующему, не смягчая выражений, Филимонов сыпанул как из совка горячим угольем: Жилинский сказал и велел передать дословно: «Никакого отдыха вам не будет! Ваша армия и так продвигается медленней, чем я ожидал. А видеть противника там, где его нет,— т р у с о с т ь, а трусить я не позволю генералу Самсонову!»

И покойное крупнолобое лицо Самсонова залилось от усов до седеющих висков, до тёмного короткого зачёса — пунцовостью. И — он спустил ноги на пол. И посмотрел на своего генерал-квартирмейстера, как раненый. Тот бра-

обстоятельно излагал предыдущую. И, как все генералы, не любил, чтоб его прерывали.

Воротынцев и не прерывал. Не мелькало возражения на его вертикальном, чистом лице, подведенном темнорусой укороченной бородкой. Только быстрые светлые глаза не достаточно смотрели на Самсонова и не в согласии с его пальцем — на карту.

Сзади ближе подошёл и почтительно стоял Постовский, не вмешиваясь. Филимонов в отдалении неодобрительно скрипел креслом.

Сказал Самсонов, что по разведывательной сводке Северо-Западного фронта противник, по словам жителей, перед Первой армией бежит...

Полковник как бы чуть дрогнул головой. Как бы смущённое, виноватое появилось на его лице. И — не прямо Самсонову, а всё щурясь туда, в немое пространство карты, он тихо сказал, как надохнул:

— Ваше высокопревосходительство... Не будем слишком в этом уверены. А что говорит ваша армейская разведка?

Так и кольнуло Самсонова в сердце. Ох и ждал же он тут недоброго, так и есть!

— Так у нас — что ж?..— с неохотой ответил он, как пожаловался.— У нас 13-й корпус Клюева даже не имеет казачьего полка до сих пор. А кавалерийские дивизии — по своим заданиям, на флангах. Так что разведку и вести нечем.

И, чтобы вернее перехватить противника, нельзя наступать центральными 13-м и 15-м корпусами правее, чем на север, чем вот на Алленштейн. И до Балтийского моря здесь уже не так далеко, уже пройдено больше.

И так же тихо, будто от Постовского втайне, Воротынцев спросил:

— А — сколько пройдено? От мест развёртывания?

— Да... кто сто пятьдесят, кто сто восемьдесят...

— И ещё — качания?

— Качания, потому что меня штаб фронта задёргал.

— А вот тут, до немецкой границы,— Воротынцев водил внизу по карте,— всё тоже — пешком?..

Дерзкое это допрашивание полного генерала не смел бы он производить, но его глаза остановились на Самсонове не с дерзостью, а признанием совиновника. И Самсонову только согласиться осталось:

— Пешком. Да тут и железных дорог нет...

— Десять дней,— считал Воротынцев.— А — днёвок?

Лёгкими вопросами так и взрезал. Ну, тем лучше, что всё понимает.

— Ни одной! Жилинский не даёт. Вот прошу. О главном прошу!.. Пётр Иваныч, принесите наши донесения!

Постовский, приклоня голову, засеменил, ушёл. И будто спохватясь, что не найдёт без него Постовский бумаг, вскочил и твёрдыми недовольными шагами ушёл Филимонов.

— Остановиться передохнуть мне больше всего сейчас надо! — объяснял командующий. (Это счастье, что в Ставке понимают, ведь обычно только погонят.) — Но с другой стороны... и противника упускать нельзя, правда. Фронт погоняет нас, чтобы немцы не ушли за Вислу. Остановимся — выпустим. Наши орлы...

«За Вислу» — не проняло Воротынцева. Не принял, не отозвался.

План-то кампании известен полковнику?

Известен, известен... (Кивнул Воротынцев, но не очень радостно.) Охватить немцев с обоих флангов, не дать отступить ни к Висле, ни к Кёнигсбергу. План был известен обоим, но нынче все вопросы стояли как новые, не проверенные.

— У меня,— усмехнулся Самсонов,— было и свой план появился, да поздно.

— А — какой? — насторожился полковник.

Нравился, понравился он генералу, а в таких случаях Самсонов сразу бывал откровенен.

— Да вот, если угодно.— Не хватало карты. Перешёл генерал налево, обе ручищи положил на низ стены и поволок их по крашеной плоскости вверх: — Пустить бы наши обе армии рядом, по двум берегам Вислы. Тогда мы локоть к локтю. А у немца вся густота прусских дорог пропадёт. И вообще ему живо из Пруссии убираться.

Взгляд полковника повеселел, с живостью смотрел он на генерала. Так казалось, что оценил самсоновский план.

— Хорошо! Смело! — Но напрягся, соображая: — А никогда б не разрешили: Вильна и Рига без защиты.

— Не разрешили бы,— вздохнул Самсонов.

— И ещё,— теперь уж полковник не мог отстать,— самим загнаться вглубь польского мешка? а там и прихлопнут? И тыл открыт? Это — оч-чень решительно надо действовать!

— Я и не подавал,— махнул Самсонов.— Я только *о направлении* подал. На имя Верховного, 29 июля. Но — не ответили. Почему, вы не могли бы выяснить?

— Узна́ю! Непременно.

Разговаривалось всё легче. Да! ведь ещё не знал приезжий главного: противник всё-таки обнаружен! Вчера. И — где? С л е в а! Вот — Орлау, вот здесь! и — силою около двух дивизий. Наш Мартос (Самсонов поправил на карте флажок 15-го корпуса, и без того сидящий плотно) не растерялся, из походного положения развернулся — и дал бой. Горячий бой, у немцев были заранее укреплённые позиции, всё поле сражения в трупах, наших — тысячи две с половиной. Но — победа! Нами взяты тяжёлые пушки и гаубицы. И сегодня утром немцы ушли.

— Так поздравляю! — не вполне обрадовался полковник.— Это — то, что нужно! И нашли противника! А — какой корпус?

— Шольца.

— Шольца? — И тут же в щёлочку: — Преследовали?

— Да где,— вздохнул Самсонов.— Сами еле бредут.

Вот тут уместно пришлось и рассказать историю с полковым черниговским знаменем, георгиевским за 1812 год и за Севастополь. Полковой командир Алексеев с развёрнутым знаменем... Вокруг древка — смертельный бой... Георгиевский знак выламывали затвором, лёжа... Теперь прибито к казачьей пике.

Самсонов живо видел эту сцену и, пересказывая, волновался: он ощущал честность и простоту этого боевого случая. А Воротынцев не удивился, даже несколько раз кивнул, как будто знал, давно знал этот случай, а теперь только сочувствует. И:

— Та-ак,— опять рассматривал карту.— Значит, слева. Значит, нашли противника, никуда он не бежит?

— Я ж и говорю,— гудел Самсонов,— если противник обнаружен слева, если он уходит налево, и это ясно ребёнку,— зачем велят справа корпусом Благовещенского охранять до озёр, завтра брать Бишофсбург? Эвон где! Чтобы только Жилинского успокоить — откололи корпус и гоним направо, гоним отдельно... Что это будет?.. Там — на обеспечение, здесь — на обеспечение, а наступать?

— Нашли налево — и наступайте налево! — решительно советовал Воротынцев.— Но если и две дивизии только заслон,— прощупать бы его?

— Да ч е м наступать? Два с половиной корпуса?

— С половиной?

— Ну, потому что: Клюев да Мартос, а 23-й раздёргали, где-то и Кондратович ездит, свои части собирает.

Воротынцев тем временем присел на пружинных ногах, растворил два пальца жёстким циркулем по масштабу карты, снова поднялся и раствором стал откладывать от живота к глазам, от Остроленки к корпусам. Он как бы для себя это, между делом, не показательно, не в науку откладывал,— но Самсонов запнулся, смолк, и глазами считал за полковником.

И покраснел.

Шесть полных раз отложился раствор от Остроленки до 13-го корпуса.

Нет, не урок! Воротынцев не с торжеством, не с превосходством, а с горечью вскинул на командующего глаза — он не упрекал! он хотел понять: п о ч е м у? Почему не вдогонку за корпусами?

— Тут... с Белостоком связь хорошая,— сказал Самсонов.— ...Ведь спор всё время идёт. Надо разобраться...— сказал Самсонов.— ...Отсюда интендантства, обозы легче подогнать...— сказал Самсонов.

Но краска сильней заливала его щёки и лоб, он чувствовал. То, что не попра-

ву, а по-подлому бросил ему Жилинский — «труса», то имел истое право подумать сейчас полковник от Верховного.

Как это случилось? — командующий даже не понимал. Как эту простую мерку, эти шесть дневных переходов он не отложил раньше, своими пальцами сам? Ведь это сразу видно!.. Как Бог свят, он не виноват! Он нисколько не трусил идти с корпусами. Но его затуркали, закружили, события напирали быстрей, чем переваривал котёл головы, весь этот вздор держал его дневными и ночными когтями...

А корпуса шли, шли.

И ушли.

Не признавая ответа, взгляд Воротынцева всё так же горел на командующем.

Нижняя часть лица Самсонова, разглядел теперь Воротынцев, была усами и бородой — государева, под Государя, и так же почти скрыты как будто спокойные, но далеко не уверенные губы. А выше всё шло крупней — и нос, и глаза, и лоб особенно. И проседь. И как будто в вечном покое застыло всё это. Но тлелся под неподвижностью беспокой.

И прорвалось, вспомнил командующий:

— Да! сам на себя наговариваю... Приказ фронта: место штаба армии менять пореже и только по разрешению! Вот и потолкуйте с ними.

— Как же вы сноситесь с корпусами?

Полковник всё вложил, чтоб этот вопрос был не инспекторский, а дружеский. Но Самсонов насупился.

— Да плохо. Конные связные, трёхкрестовый аллюр, еле-еле за сутки доходят. Песок глубокий, автомобиль вязнет.

Этот полковник, конечно, считает себя умнее всех и здесь и в Ставке. Он наверняка думает: эх, пустили б его командовать! Он никогда не поверит и не представит: могут так закрутить, что этих шести переходов просто не успеешь заметить.

— А лётчики?

— Да все неисправны, чинятся. А то без бензина. А немецкие всё время летают.

— А телеграф?

— Только частью,— чмокнул Самсонов сожалительно.— Рвутся провода. И не хватает. Честно говоря: Найденбург взяли 9-го, я узнал 10-го. Под Орлау начали бой вчера, я узнал сегодня. Тут о своих не знаешь, не то что о немцах.

Постовский один, без Филимонова, внёс донесения в двух папках.

Каждый день приходили вчерашние письменные донесения о том, что делали корпуса в основном позавчера, и каждый день писались к вечеру приказы на завтра, которые корпусам никак нельзя было выполнить раньше, чем послезавтра.

— Вот! — схватился Самсонов и искал в бумагах сам.— Вы говорите — днёвок...

— А искровки? — добивался всё-таки Воротынцев.

— Искровые телеграммы мы наладили, да,— с удовольствием заявил Постовский.— Правда, только со вчерашнего дня, но уже передаём.

Хоть это.

— Например, от 13-го корпуса пришла искровая телеграмма,— старался подслужиться Постовский.— Авангард продвинулся уже за озеро Омулёв, а противника всё нет.

А у них шнурок фронта проходил южней Омулёва. Не доглядели.

— Вот! — нашёл Самсонов.— Я именно хотел третьего дня все корпуса остановить и подтянуться. И вот что мне Жилинский, телеграмма: «Верховный главнокомандующий — понимаете, не он, а Верховный — требует, чтобы наступление корпусов Второй армии велось энергичным и безостановочным образом. Этого требует не только обстановка на Северо-Западном фронте, *но и общее положение...*»

Палец держа, где остановился, сам смотрел на Воротынцева.

Ну, как тебе, голубчик, командуется? Что бы ты предложил умней? Осёкся?

Да, осёкся. Пожевал губами Воротынцев. Перевёл глаза на сапоги. Потом опять на карту вверх. Есть такие обороты и слова, которые, где б тебя ни застигли, надо покорно переносить, как ливень. О б щ е е п о л о ж е н и е. Это не твоё разумение, не моё, не полководца, не Жилинского, даже не Верховного. Это удел суждений Государя. Это — спасать Францию. А нам — выполнять.

— ...Вашу диспозицию на 9-е августа,— дочитывал Самсонов,— признаю крайне нерешительной и требую...

Туда, наверх, на север, в немое пространство совсем не маленькой Пруссии задрал Воротынцев голову и молчал.

И Самсонов, отдав папки,— туда же, это он не уставал.

А у Постовского были не походные ноги. И он попятился с папками, сел в кресло поодаль.

Ещё они не знали, что Воротынцев их обошёл: в ожидании приёма он не топтался в зальце, а сразу проник в оперативный отдел, оттуда вызвал знакомого капитана и пошептался с ним за колонной десять минут: молодые генштабисты последних лет выучки все знакомы друг с другом и действуют как тайный орден. Почти всё, что Воротынцеву отвечали в кабинете командующего, он уже знал от капитана, и тому только был рад и за то уже полюбил Самсонова, что тот не врал, не прикрашивал.

От дружелюбного капитана, и здесь, у карты командующего, Воротынцев напитался этой обстановкой, этой операцией — так, будто не приехал только что, а все три недели здесь лишь и вертелся,— нет, будто всю жизнь, всю военную карьеру только и готовился к этой одной операции!

Всё, что хоть раз за этот час было произнесено и названо,— Воротынцев своим воображаемым карандашом уже положил прямоугольниками, треугольниками, дужками и стрелками на эту почти пустую карту и легко охватывал нанесенное. Уже ничьи вины, ни заслуги этих генералов не имели для него значения, и отступало даже важное — всеобщая измождённость, сухомятка, жара, безднёвщина, бессонница, дурная связь, отсталость штаба — перед сверхважным: увидеть невидимых немцев, разгадать их план, своим ребром почувствовать укол их штыка задолго прежде, чем он высунется, их первый пушечный выстрел услышать ранее, чем похлюпает в высоком воздухе снаряд. Как красотка чутким телом даже со спины, не оглядываясь, ощущает мужские взгляды — так телом чувствовал Воротынцев эти жадные волны врага, текущие на Вторую армию с немой части карты. Он был уже весь — во плоти Второй армии, его покинутый стул в Ставке — ничто, бумажка, подписанная великим князем,— ноль, она не давала ему права переставить здесь ни одного солдата, а трепет его был — угадать, а рок его был — принять решение, а такт его был — представить командующему, что это — его, Самсонова, решение.

Надо всей Восточной Пруссией подвешены были роковые часы, и их десятивёрстный маятник то в русскую, то в немецкую сторону слышно тукал, тукал, тукал.

И вдруг подняв руку, как древне-римское приветствие, только левую, в откос перед собою, слева к карте, Воротынцев лопастью изогнул кисть, вниз медленно повёл её по нижней внешней дуге с выворотом и остро подал ладонью с запада — к Сольдау и Найденбургу. И держа так ладонь при карте, кинжалом на Сольдау, повернул голову к командующему:

— Ваше высокопревосходительство! А в о т т а к вы не ожидаете?

Это не была чистая догадка его, в Ставке он узнал агентурные сведения о немецких военных играх прошлого года (успел ли узнать их Самсонов?): избрали немцы как наилучший план: отрезать наревскую русскую армию с Запада. Вряд ли их план изменился, а сейчас многое в неясной обстановке помогало туда ж.

Большеголовый, большелобый генерал внимательно следил, видел весь объёмный жест, видел широкий кинжал ладони. Его глаза моргнули:

— Так ведь если был бы хоть мой 1-й корпус! Артамоновский корпус в Сольдау — если стал бы мой из резерва Верховного! Не дают!

— Как не дают? Он теперь... ваш.

— Да не дают! Прошу — отказывают! Не разрешено его выдвигать дальше Сольдау.

— Да нет! — освобождённой рукою-кинжалом уже у своей груди был Воротынцев.— Уверяю вас! Я сам присутствовал, когда великий князь подписал

распоряжение: вам «разрешается привлекать 1-й корпус к участию в боях на фронте Второй армии».
— Привлекать...?
— ...к участию в боях.
— А дальше Сольдау выдвигать?
— Ну, если «на фронте Второй армии» — так вы его можете хоть и направо перекинуть? Я так понимаю.
— А не отберут? Как остальные? Как гвардейский? — сперва «не выдвигать дальше Варшавы», потом забрали?
— Да наоборот же: привлекать к боям!
Самсонов раздался, раскрылся, кажется вырос плечами, колыхнулся:
— И — когда это подписано?
— Когда?.. Позвольте... По-за-по-за-вчера. Восьмого вечером.
— Так уже трое суток?! — заревел Самсонов.— Пётр Иваныч!
Постовский встал.
— Вы слышите? Есть такое распоряжение о 1-м корпусе?
— Никак нет, Александр Васильич. Отказано.
— Так Северо-Западный от меня скрывает? — загромыхал Самсонов. И переступая уже рамки службы: — Да шут его раздери! Зачем вообще нам навязали этот Северо-Западный? Над двумя армиями?
Воротынцев незатруднённо поднял брови:
— А над двумя дивизиями — зачем корпус? А в дивизии — зачем две бригады? В дивизии — не слишком много генералов?
Верно, далеко это шло. Густовато начальников и штабов.
Да, сам Бог послал этого полковника. Не только всё понимает, не только расположенный и быстрый,— но вынул из кармана и подарил армейский корпус!
Самсонов шагнул к нему крупно:
— Ну, голубчик!..— Положил ему обе руки медвежьих на плечи: — Разрешите, я вас...
И поцеловал волосато.
Стояли так, Самсонов выше, ещё не отняв рук.
— Только я должен проверить...
— Да проверяйте! Ссылайтесь на меня. На распоряжение от 8 августа.— Мягенько-мягенько Воротынцев вывернулся из-под медвежьих рук, и снова к карте.
— Всё-таки как понять: «привлекать к боям»? — жался Постовский.— Это надо запросить.
— Да не надо запрашивать! Понимайте, как вам выгодно: давайте полный приказ, вот и всё! Ну, не пишите *выдвинуться* севернее Сольдау, пишите *находиться* севернее Сольдау, так и обойдём.
— Но почему он может держать трое суток, злыдень? — гневался командующий.
— Ну, почему? — лишняя отдельная часть, без неё падает значение фронтового командования.— Полковник это говорил по поверхности, а думал уже вперёд, и вот что: — Вот что. Ничего не выясняйте — а пишите приказ Артамонову, я ему сам отвезу.
Ещё изумил!
— Как отвезёте? Вы разве — не в Ставку?
— Со мной — поручик, я с донесением в Ставку пошлю его. А сам...
Предусмотрел Воротынцев и этот случай. Да никто, начиная с Верховного, не понимал, что всю посылку двух полковников изобрёл именно Воротынцев и втолковал другим. Потому что жутко было томиться высшим писарем высшего штаба, ничего не имея, кроме шелеста карт и донесений, опоздавших на сорок восемь часов, да в окошко смотреть, как кавалергард Менгден, ещё самый деятельный из шести бездельников адъютантов Верховного, свистит, не осаждает голубей у своей голубятни, поставленной под окнами великокняжеского поезда; остальные адъютанты не делают и того. Задохнуться можно было писарем в Ставке, когда в Пруссии начался самый опасный и самый крылатый манёвр: при всех свободных флангах сходящихся армий. Когда на северном фланге Ренненкампфа уже допущены помрачительные и может быть неисправимые ошибки, и лучше б не было той гумбиненской победы (но не смел Воротынцев передавать Самсонову плохое о Первой армии, чтоб не подорвать командующего дух). Да пока и слишком мало узнал Воротынцев в штабе Второй, чтобы с этим возвращаться к Верховному. Остриё тревоги кололо с самого западного фланга — туда и надо было ехать.
— ...Рассматривайте меня, ваше высокопревосходительство, как лишнего штабного работника, оперативно приданного вам.
Самсонов смотрел на него с самым тёплым одобрением.
И Воротынцев, как будто почтительно:
— Почему мне нужно ехать именно к 1-му корпусу — потому что именно там может что-то начать выясняться.
Там! Верно, там! — подтверждал и Самсонов:
— И правда, голубчик, поезжайте. Помогите мне 1-й корпус забрать.
— Из вашего штаба для связи никого нет в 1-м?
— Полковник Крымов, мой генерал для поручений.
— Ах, там Крымов?!. — охладился Воротынцев.— Он, кажется, и в Туркестане был у вас?..
— Всего полгода. Но я его полюбил — и советчик, и солдат.
(Один Крымов и был ему в штабе свой, присердечный.)
Колебался Воротынцев.
— Ну, хорошо. Пишите туда приказ! Только что ж писать, когда... Аэроплана не можете дать?
— Чинятся,— извинился Постовский.
— Из двух автомобилей как раз один у Крымова,— развёл руками Самсонов.
— А как ворона летает, как ворона летает...— мерил Воротынцев,— тут девяносто вёрст. Без дорог. По дорогам — сто двадцать.
— И очень запущенная местность,— рад был предостеречь генерал Постовский.— Её так и держали, заслоном от немцев. Топкий песок, заболоченные речки, плохие мосты, мало питьевой воды.
И там-то прошагали их корпуса!..
— Вам лучше поездом через Варшаву,— благоразумно советовал начальник штаба.— На Млаву там сообщение одноколейное, но к утру в среду будете, и отдохнувшим.
— Нет,— оценивал Воротынцев,— нет. Дайте мне хорошего коня, двух коней с солдатом,— и я поеду гоном, сам.
— Но какой же смысл? — удивлялся Постовский.— То ж на то и будет, только без сна.
— Нет,— уверенно качал головой Воротынцев.— Из поезда я выйду со вздором, а так всё сам посмотрю.
Стали собираться. Писали Артамонову распоряжение. (Что писать — нельзя было даже придумать: как можно было *привлекать к боям*, но не командовать полностью?) Писал и сам Воротынцев в Ставку, и объяснял своему поручику. К склеенной карте Воротынцева подклеивали ещё два листа. Это было уже при Филимонове, в оперативном отделе. Воротынцев попросил дать ему шифр искровых телеграмм для 1-го корпуса. Филимонов насупился: какой шифр? мы не шифруем. Воротынцев пошёл к Постовскому. Начальник штаба уже уставал от него, да ведь так и ужинать не даст:
— Ну, не шифруем, что за беда? Да ведь в этом коде чёрт ногу сломит, батенька. Что у нас искровые — гимназии кончали? Они ещё не тренированные, перепутают, переврут, больше будет неразберихи.
— Нет! — не понимал Воротынцев.— И расположение соседних корпусов и задачи — всё посылаете открытым текстом?
— Да не знают же немцы точного времени наших передач! — сердился Постовский. (Уж в *эти* штабные подробности мог бы приезжий носа не совать!) — Что ж они, круглые сутки ловят, что ли? Да может в их сторону искра и не идёт, не пойдёт... Смелому Бог помогает.
И видя изумлённое охолодение Воротынцева:
— Да мы искровки редко. Мы телеграфом больше. Но когда телеграф перерван — что ж, лучше совсем не передавать?
Собрались ужинать. Самсонов вздыхал, что плохо, конечно, надо код разрабо-

тать и ввести, прямая задача начальника службы связи, просто ещё не успели. Да ведь искровые телеграммы только вчера и передавать начали, не такая беда.

Посматривал Воротынцев на приветливого взрачного командующего, на энергично-враждебного Филимонова, на затёртого, невыразительного Постовского, всех троих, сроднённых однако большим аппетитом. Понимал ли командующий, как его обманули таким штабом? Настоящий штаб обязан из пучины предположений выведать и поднять гряду, по которой шагает решение. Все сомнительные донесения он шлёт офицеров проверить на месте. Он выпукло отбирает сведения, он заботится, чтобы важные не утонули в малозначущих. Штаб не заменяет волю командующего, но помогает ей проявиться. А этот штаб — мешал.

Предлагали Воротынцеву выбрать себе лучшего солдата, но он брал только сопровождающего с возвратом (про себя понимая, что *лучшего* солдата не в штабе армии надо искать, скорей возьмёт он в полку). Он не мог войти в их обстоятельный обрядный ужин с устойчивой сервировкой. Он ел наскоро, ни рюмки не выпил, лишь крепкого чая. Он просидел, сколько было прилично, не чувствуя той кулебяки, отсутствуя.

— Да уж вы бы, голубчик, оставались до утра! — радушно настаивал Самсонов.— Что уж вы, не присевши, не отдохнувши — и дальше? Этак не навоюешь! Оставайтесь, посидим, потолкуем.

Ему, правда, очень хотелось придержать Воротынцева; обидно казалось, что так торопится. Он встал проводить полковника и обещал завтра же до обеда переезжать в Найденбург.

Не совсем было понятно, как же они уговорились, и как теперь снесутся. Что-то из опасностей и возможностей было недосказано между ними, но по суеверию и не надо было досказывать. Поймётся там само.

Вернулись к ужину, и Постовский с Филимоновым дружно возражали командующему, что и думать нельзя перевозить завтра штаб, это значит всю работу под откос, а т а м голыми руками корпусам не поможешь.

Налётный самоуверенный полковник из Ставки был, промелькнул, уехал, а своим чередом надо сноситься со штабом фронта, запрашивать, получать разъяснения и перетолковывать их корпусам.

Тут притёк от Жилинского новый приказ: во изменение предыдущего разрешается командующему Второй армии принять для корпусов общее направление на север, но для прикрытия правого фланга непременно оставить на прежнем направлении 6-й корпус Благовещенского, а для обеспечения левого фланга не продвигать 1-й. (С 1-м опять непонятно: как же его считать? Но всё же намёк, что принадлежит.)

Ещё сегодня утром Жилинский запрещал растягивать фронт. Теперь он рекомендовал растягивать. При всех случаях он будет прав...

А всё-таки: в *направлении* уступал. И слава Богу. И этого надо держаться.

Пока переработали в распоряжения корпусам — была уже ночь поздняя, телефон-телеграф куда не работал, куда и не было. Чтобы не задержать утренние марши корпусов, в те штабы послали распоряжения — искровыми. Незашифрованными.

Не должны были немцы перехватить — не могли ж они подслушивать всю ночь, не спамши.

12

Дали Воротынцеву хорошего каракового жеребца и, в сопровождение, унтера на кобылке. Выезд из города надо всегда расспросить точно, но унтер знал. Тяготясь по тихой тёплой ночи шинелью и полевой сумкой, Воротынцев приторочил их к седлу и ехал налегке.

Годами нося в груди как мечту недостижимое стратегическое совершенство (не тебе, но кому-то, один раз в столетие, удаётся его осуществить!),— подходишь к каждому генералу, входишь в каждый штаб с дрожью надежды, что это —

о н ! что это — з д е с ь ! И каждый раз — разочарование. И почти всегда с отчаянием видишь, что нет единого ума и воли — сковать и направить к единой победе заблудившиеся тысячи.

Как будто усвоенный-переусвоенный закон, а всякий раз удручался им Воротынцев: чем выше штаб, чем выше по армейской лестнице, тем отстранённей от касания к событиям, и тем резче, непременнее жди там — самолюбов, чинолюбов, окостенелых, любителей жить как живётся, только бы есть-пить досыта и подыматься в чинах. Не одиночки, но целая толпа их, кто понимает армию как удобную, до блеска чищенную и ковром выстланную лестницу, на ступеньках которой выдают звёзды и звёздочки.

Так — было и в Ставке. И такое же донеслось в последние дни из Первой армии, чем не хотел Воротынцев расстроить Самсонова. Армия Ренненкампфа была всего три корпуса, но к ней придано — пять с половиной кавалерийских дивизий, вся гвардейская кавалерия, цвет петербургской аристократии. И командовавший ею Хан Нахичеванский получил приказ: идти по немецким тылам и рвать коммуникации, тем лишая противника передвижений по Пруссии. Но едва он двинулся 6 августа — сбоку показалась всего одна немецкая второстепенная ландверная бригада, 5 батальонов. И вместо того, чтобы мимо неё, заслонясь, спешить по глубоким немецким тылам,— Хан Нахичеванский под Каушеном ввязался в бой, да какой — сбил на 6-вёрстном фронте четыре кавалерийских дивизии, и не охватывал бригады с флангов на конях, но спе́шил кавалерию и погнал её в лоб на пушки — и понёс ужасающие потери, одних офицеров больше сорока,— сам же просидел бой в удалённом штабе, а к вечеру и всю конницу отвёл далеко назад. И тем — пригласил немцев двигаться на пехоту Ренненкампфа. И так на следующий день, 7 августа, произошло Гумбиненское сражение. Отдать честь Ренненкампфу — с шестью пехотными дивизиями против восьми немецких он одержал победу! — хотя неполную, должно было дорешиться на следующий день. Но и победа эта не спасала, ибо по стратегическому русскому плану само́го решительного сражения Ренненкампф не должен был по началу давать — но лишь служить для восточно-прусской армии притягивающим магнитом, наступать же, им в спину, должен был Самсонов. А на утро после Гумбинена — немцы исчезли! они скрылись в глуби Пруссии. А Ренненкампф не кинулся преследовать их — отчасти из-за больших потерь в пехоте (но сколько же есть кавалерии!), отчасти — оттого что не стало снарядов и не подвозили их, тут и сказалась неготовность тылов, наша самоубийственная жертвенная спешка для Франции; отчасти и потому, что не поддавался дёрганью Жилинского, а предпочитал не торопиться. В оправданье он утверждал, что немцы никуда не ушли, а укрепились близко от него. И двое суток после Гумбинена — Ренненкампф не двинулся, разве лишь вчера,— но уезжая сегодня утром из Ставки, Воротынцев ещё не знал, заметно ли тот двинулся.

Эти дни между Ставкой и штабом Первой армии натянулись другие напряженья: после Каушенского боя Ренненкампф в гневе отрешил Хана Нахичеванского от конного корпуса, а тот — любимец великого князя и всего гвардейского Петербурга,— и Николай Николаевич *просил* Ренненкампфа дать Хану реабилитироваться. А из Петербурга уже неслись первые проклятья за гибель стольких гвардейских офицеров — и все на Ренненкампфа. А Ренненкампф вдобавок ещё отрешил от бригады и младшего брата Орановского — и старший Орановский в штабе Северо-Западного негодовал.

И за этими мельтешениями скрылась главная загадка: куда же делись немцы в Пруссии? В ком не течёт суворовская нетерпеливая кровь — того не раздирает до небес эта загадка: к у д а д е л и с ь ? что случилось с ними?

В этой обстановке Воротынцев и устроил, чтобы послали Коцебу в Первую армию, а его — во Вторую. Там, в Первой, оставалось много неясного, но главная загадка уже залегала вокруг Второй.

А что в штабе Второй? Никто тут не охватывал мгновенности сегодняшней войны, её отзывчивой обоюдной связи. Вторая армия шла на манёвр, достойный только Суворова,— стремительный марш, отрезать Восточную Пруссию, начать войну ошеломительно для Германии! — и начинала на *кое-какстве*! Разведка!..— ждут сводки из штаба фронта, а те — «по словам местных жителей». Да Самсонов и никогда в разведке не был силён, в двадцати верстах не находил конни-

цею японской пехоты, об этом уже и немцы пишут, уже есть и русский перевод в Петербурге. Они знают, кто против них стоит,— и не ждут напора. Куропаткинская школа, «терпение» в ореоле, мы — кутузовцы... Длинноухие!.. Иметь три кавалерийских дивизии — и ни одной из них перед фронтом армии, чтобы найти же исчезнувших немцев! Окружать противника — да какого! — столько же понимая в окружении, сколь медведь понимает, как гнуть дуги для упряжи. Но такая дуга по лбу хлопает.

И под Орлау — что ж за победа? Нашли противника! удача! Но две с половиной тысячи уложили, узнали, что противник не там, куда идёт Вторая армия, и топают себе по-прежнему не туда!

Это — Жилинский, это он!.. Но не разорваться навсюду. Рапорт — поехал к великому князю. (А великий князь, кажется, пока поехал в Петербург.) Воротынцев — едет вперёд.

Унтер не соврал, вывел точно к каменному мосту через Нарев. (Только мог бы в седле сидеть посвободней. Ста вёрст ему не проехать, придётся вернуть.)

С другой стороны подводил к мосту, видимо, объезд, прозначенный по Остроленке так, чтобы громыхание обозов от железнодорожной станции на Янувское шоссе не беспокоило штаб армии. Именно сейчас на мост вливалась голова длинного обоза. Все телеги пароконные были как одна. Все они были нагружены выше грядок мешками и покрыты парусиною. Обоз, видно, только что вышел с места, повозочные ещё не уселись на телеги, шли рядом (в штабном городе, пожалуй, наскочишь на начальника: зачем лошадей моришь безо времени?), иногда соединялись по двое, кто курил, кто перебранивался беззлобно, и все были настроены заметно весело. Выезд в путь безлунной, но тихой ночью, вызвавший бы неохоту у мирного человека, им был даже по душе. При сытых лошадях, хоть, может, ещё и не съезженных, сытые сами, не предвидя себе опасности в ближайшие дни (ещё двое суток до границы), и такие здоровяки, что хороши были бы и в пехоту, они без нужды широко размахивали руками, а один даже исхитрялся на ходу приплясывать по булыжнику, смеша товарищей.

— Не доплясал, вишь, со своей паненкой...

— Братцы, да ведь жалко-то как,— безо всякой жалобы в голосе оправдывался плясун,— с главной-то ночки и сорвали...

— Ты вот что, Ониська,— густо советовал третий ездовый.— Твоя соловая и одна потянет, так за моими и пойдет, а гнеденькую ты отпрягай, отпросись у фельдфебеля, да ворочайся, доведи дело... А к утру нагонишь... На старость лет кормилец лишний будет...

Гоготали. Но увидя всадника на породистом жеребце, обгоняющего по мосту, смолкали тут же.

Шутки солдат всего медленней меняются в армии — медленней, чем оружие, чем форма и устав. Такие же шутки Воротынцев слышал и в японскую войну, такие, наверно, были и в крымскую, да и в ополчении Пожарского такие же. Они веселили не содержанием, а той освобождённой лихостью, с которой вышумливались.

Омрачённому Воротынцеву развязная уверенная бодрость ездовых пришлась кстати. И, уже мост переехав, он остановился и без надобности окликнул проворного фельдфебеля, бегущего вдоль обоза и кричащего ругань передней телеге. Тот метнул на бегу глазами, в четвертьсвете звёзд и речной ленты разглядел от земли на небо, что здесь штаб-офицер, круто повернул свой бег и с такой готовностью отпечатал последние шаги по торной земле и с такой точностью остановился на уставном расстоянии, будто для этого всю дорогу и бежал.

— Чей обоз?

— Тринадцатого армейского корпуса, ваше высокоблагородие!

— От станции — сколько своим ходом?

— Пятые сутки, ваше высокоблагородие!

— Что везёте?

— Сухари, гречку, масло, ваше высокоблагородие!

— А — печёного хлеба?

— Никак нет, ваше высокоблагородие!

Ещё на эти неповоротливые «высокоблагородия» уходило столько солдатского времени, сколько нельзя было в войне XX века! Но не Воротынцеву было их

отменять. Он тронул коня, унтер за ним. Фельдфебель развернулся, ещё уставно, а там пустился рысью вперевалку, крепче голося передней телеге.

Станция Остроленка — отсюда в версте, а они пятые сутки своим ходом! Пять суток позади — да шесть переходов впереди! А и на шесть переходов не езда, корпусному транспорту не дать круговорота. А армейского нет. В штабе на картах стрелки дивизий черти-не-черти — вот этими колёсами тележными решается сражение неслышно.

Однако весёлые, крепкие эти солдаты, признанные негодными к строевой; и лихой фельдфебель; и кони крепкие; и парусина, подвёрнутая от дождя; и хорошо подкованный жеребец под ним, скалящий зубы, когда отставала кобылка унтера,— всё это веселей и спокойней настраивало Воротынцева, чем он из штаба вышел; сильна, неисчерпаема была Россия. И силу эту чувствуя, он сам усилялся.

Эта война началась при изумительной народной дружности, какой в японскую не было ни дня, какой Воротынцев никогда и не помнил. В Петербурге, рассказывали, в первый день войны, без всякого сговора и оповещения, народ выходил из домов и двигался к Зимнему, дожидался там царя, и студенты даже. Бастовавшие петербургские рабочие окончили в день все забастовки. В Москве Воротынцев пробыл недолго, но каждый день шла к градоначальству манифестация, и всюду на улицах — единодушие чувств. Мобилизация грянула в горячие дни страды — и повалила деревня к воинским начальникам: «царь позвал!» Такой слитный порыв — как можно разронить? Но уже в первых штабах в первые дни хлюпались наземь первые плески, проливались первые вёдра.

Та ковровая лестница возвышений — она должна бы обязывать больше, чем награждать. Кто легко нахватывает чинов, тому серьёзно в голову не приходит, что существует какая-то *наука* управления войсками, и она меняется каждое десятилетие, и надо всё время учиться, меняться и поспевать. Если сам военный министр хвастается, что за 35 лет, от академической скамьи, не прочёл ни одной военной книжки,— так ещё кому ж куда? Выслужив генеральские эполеты — куда им ещё поспевать? Ведь устроена лестница так, что лучше продвигаются по ней не волевые, а послушные, не умные, а исполнительные, кто больше сумеет понравиться высшим. Если ты действовал строго по уставам, директивам, приказаниям — и потерпел неудачу, поражение, отступил, разбит, бежал,— никто тебя не обвинит! и тебе не надо ломать голову, отчего произошло поражение. Но горе тебе, если ты от приказаний отступил, если ты действовал по собственному уму, по смелости,— тут тебе, пожалуй, и удачи не простят, а при неудаче сгрызут совсем.

Да ещё же губит русскую армию это *старшинство*! верховный неоспоряемый счёт службы, механического течения возраста и возвышения по чинам. Только бы ты ни в чём не провинился неприлично, только бы не рассердил начальство,— и сам ход времени принесёт тебе к сроку желанный следующий чин, а с чином и должность. Исключительные надо заслуги, как у генерала Лечицкого, или уж близость ко двору, чтоб обойти старшинство. И так уже все приняли эту разумность старшинства, наряду с постепенным ходом небесных светил, что полковник о полковнике, генерал о генерале первое спешат узнать — не в каких он был боях, а с какого года, месяца и числа у него старшинство, стало быть, в какой он фазе перехода в очередной чин.

Сразу после моста мощёнка оборвалась, но дорога стала как раз для копыт хороша. Она вилась под звёздами чуть светлеющей, отличимою явно полосой, с мягкими закругленьями, забирая вверх сейчас, а потом пойдёт вниз, вилась по спокойной спящей стране с угасающими последними огоньками, с загадками тёмных кущиц по сторонам. Выспрашивать нечего было. Всадники пошли бодрою ходой, но не шибче, чтобы кони к утру не притомились.

В этом бодром движении по тёмной, тихой, тёплой стране на Воротынцева быстро нисходила та прекрасная лёгкость, известная каждому военному человеку (нет, солдату реже, а именно офицеру, кто и живёт для одной войны), когда непрочные нити, припутавшие тебя к постоянному месту, обрезаны начисто, тело воинственно, руки свободны, приятно чувствуешь тягу оружия на себе, голова занята прямой задачей. Воротынцев знал в себе, любил это состояние.

Потому и не мог он ехать поездом через Варшаву, что ко всей земле, прой-

денной корпусами, ему надо было тоже прикоснуться, иначе он ничего понимать не будет. Потому что и смелый, и решительный, и сообразительный офицер — это тоже ещё не настоящий офицер. Ещё должен он постоянно ощущать тягу и нужду солдата, чтобы тёрло и его плечи, пока не все солдаты скинули заплечные мешки на ночлег; чтоб не шла ему в горло ни вода, ни еда, если без воды и еды осталась хоть рота в дивизии.

Прикоснуться потому нуждался Воротынцев, что жгла его, не ослабляя паленья, ещё японская война, так десять лет и жгла, не утихая. Безумное русское общество могло радоваться тому поражению — как безрассудный ребёнок радуется болезни, чтоб сегодня чего-то не делать или не есть, а не понимает, что грозит ему от той болезни на весь век остаться калекою. Общество могло радоваться и всё валить на царя, на царизм, но патриоты могли только скорбеть. Два-три таких пораженья подряд — и искривится навсегда позвоночник, и погибла тысячелетняя нация. А два подряд уже и были — крымское и японское, лишь слегка прополосенные не такою уж славной, не такой уж великой турецкой кампанией. Оттого наступившая война могла стать или началом великого русского развития или концом всякой России. Оттого-то ошибки японской войны особенно саднили сейчас истинных военных — и тянулись они, и содрогались они, как бы тех не повторить!

Прикоснуться к тому, что случится в Восточной Пруссии со дня на день и с часу на час, особенно потому нуждался Воротынцев, что в прошлые годы он был среди немногих генштабистов, кто допускаем был к обсуждению общих планов войны и составлению частных проектов, на которых потом, безымянных, годами ставили, ставили подписи и визы генералы и великие князья, а после тех лет «Соображения» были издаваемы несколькими номерными экземплярами, хранимы в несгораемых шкафах и даваемы читать, кому ведать надлежит.

Именно после японской войны, когда в армии, раскалённой поражением, разгорался «военный ренессанс»,— в Академии генштаба создалась и сплотилась малая группа военных, кто уразумел и почувствовал XX военный век, в котором ни петровские штандарты, ни суворовская слава нисколько не могли укрепить Россию, ощитить её, помочь ей,— а только сегодняшняя техника, сегодняшняя организация и быстрый кипучий разум.

Лишь это узкое братство генштабистов да ещё может быть кучка инженеров знали, что весь мир и с ним Россия невидимо, неслышимо, незамечаемо перекатились в Новое Время, как бы сменив атмосферу планеты, кислород её, темп горения и все часовые пружины. Вся Россия, от императорской фамилии до революционеров, наивно думала, что дышит прежним воздухом и живёт на прежней Земле,— и только кучке инженеров и военных дано было ощущать сменённый Зодиак.

Пока в государстве строились баррикады, собирались и разгонялись Думы, издавались исключительные законы и искались мистические выходы в тусторонний мир,— эта группка капитанов-полковников, обозванная «младотурками», осознавала себя, читала германских генералов и набирала сил, никем не преследуемая, но как будто и не нужная никому. Она сплотилась, но и тут же расплотилась, ибо не могли они без конца сидеть в Академии, и единого штаба такого для них создано не было, а надо было по назначению ехать каждому в разные гарнизоны и, может быть, никогда уже не увидеться друг с другом, хотя повсюду чувствовать себя частью целого, клеточкой русского военного мозга. Ещё держалось ядро «младотурок» — группа профессора Головина, но в прошлом году завладел Академией вкрадчивый Янушкевич — и этих последних неуслужливых разгромили, разослали тоже. Никто из них не получил реальной власти, никто не получил даже дивизии (Головина — сослали командиром драгунского полка) — ведь была долгая череда ожидающих по старшинству службу, по стажу бездарности и по придворным протекциям. Но сами между собой и перед собой они были ответственны теперь за будущее русской армии и, более всего по оперативным отделам штабов рассеянные, точностью своих разработок и убедительностью предложений рассчитывали всю армию повернуть, куда надо.

Именно они, бездолжностные и бесправные, подняли перчатку императора

Вильгельма. Именно они — не балтийские бароны, не приближённые императорской семьи, не генералы с иконостасами орденов от шеи до пупа, именно они только и знали сегодняшнего врага — и восхищались им! Они знали, что германская армия — сильнейшая в сегодняшнем мире, что это армия — со всеобщим патриотическим чувством; армия с превосходным аппаратом управления; армия, соединившая несоединимое: беспрекословную прусскую дисциплину — и подвижную европейскую самодеятельность. Такие точно офицеры, подобные кучке наших генштабистов, там были во множестве, и в силе, и во власти, даже до командующих армиями. А начальники генерального штаба не меняются там, как у нас, за 9 лет чехардою из шестерых, но — за полстолетия четверо, да не меняются, а наследуют, Мольтке-старшему Мольтке-младший. А «Положение о полевом управлении войск» не утверждается там за два дня до всеобщей мобилизации, как у нас, 16 июля.

И семилетняя программа вооружения принимается не за три недели до начала войны.

Конечно, куда веселей было бы состоять с Германией в «вечном союзе», как учил и жаждал Достоевский. (И как Воротынцев тоже бы предпочитал.) Куда веселей было бы так же развить и укрепить наш народ, как Германия — свой. Но — сложилось воевать, и гордость наших генштабистов была — воевать достойно.

А достойно — значит: не только короткие задачи этого дня и этой ночи понимать и выполнять наилучше, но понять и проверить от самых истоков, от основания: вообще тут ли наступать? и, ещё ранее,— н а с т у п а т ь л и вообще?

Это доктрина германского генштаба: наступать во что бы то ни стало! И у Германии есть основания её избрать. Но, глядь, её перехватили французы. Глядь, её перехватили и наши: только вперёд! всегда вперёд! как красиво! — и мотыльку Сухомлинову приятно. Однако есть у военной науки принцип и повыше вперёда: чтобы задача отвечала средствам.

По договору с французами мы сами вольны себе выбирать операционные направления. Годами шло сравнение естественных двух: на Австрию и на Германию. Граница с Австрией легко проходится, озёра же Пруссии выгодны для обороны, стеснительны для наступления. Наступать на Германию — много сил, а надежд мало. Наступать на Австрию — большие успехи, разгром всей их армии, всего государства, передвижка половины Европы,— а тем временем против Германии легко обороняться малыми силами, подсунуть им наше приграничное бездорожье да широкую колею. Так и выбрали. Так и готовился Палицын, цепью крепостей Ковно-Гродно-Осовец-Новогеоргиевск.

(И конь Воротынцева, всё вязче ступая в песчаную дорогу, подтверждал: для того и дорог не строили тут, ни единой.)

Но пришёл в генеральный штаб Сухомлинов и с легкомысленным невежеством (столь похожим на решительность) *примирил* спор направлений: будем и туда и сюда наступать, одновременно! Из двух он выбрал наихудшее — оба. И сменивший его Жилинский в позапрошлом году уже обещал французам. сверх договора, от себя как от России: обязательно будем и на Германию наступать — или на Пруссию, или на Берлин. И как же, наша доблесть, наша честь теперь перед союзниками — чтобы их не обмануть!

А ты, осветив истоки, сам уже вою *достойно*...

Но *или-или* томит русский ум, как это — или на Пруссию, или на Берлин? Чего проще — валяй и туда, и сюда! И в эти самые дни, когда Первая и Вторая армия только-только входили в Пруссию и всё сраженье ещё было впереди,— уже на письменных столах Ставки сколачивали Девятую армию — на Берлин. И для того-то (не знал бедняга Самсонов) отобрали у него гвардейский корпус, и не разрешали Артамонова выдвигать дальше Сольдау, и, ещё замедляя его тылы, перегоняли поперёк их новые части к Варшаве.

Да что там, в прошлом году Жилинский Жоффру уже и срок начала, за счёт России, сдвинул щедро: начнём не на 60-й день мобилизации, и даже не на 30-й, но, при полной неготовности,— на 15-й! Ведь друзьям плохо, для друга слазь и в грязь, а англичане когда ещё через пролив спопáшатся!

Но как в частной жизни не должна переходить дружба в самовыстилание, это

никогда не отблагодаривается,— так и тем более в государственной... Эту жертву русскую, эту нашу кровяную подать долго ли будет Франция помнить?

А ты пока — воюй достойно.

За полтораста вёрст вперёд, за темнотою ночи, за местностью, не виданной иначе, как по карте, за покачкою крупной жеребцовой головы и за округлостью земли на градус широты — предполагал, ощущал, представлял и просто видел Воротынцев десятки таких же генштабистов, только немцев, да едущих через ночь по твёрдым шоссе на быстрых автомобилях, да связанных сплошным телеграфом, да кладущих рядом с картами точные разведывательные данные с аэропланов, уколом булавки и точною стрелкой — откуда и куда мы на них идём, да понятливых отзывчивых генералов, да решения, принимаемые в пять минут и в согласии с разумом,— а сзади был Жилинский, со вознесенным самоуверенным подбородком; Постовский с папками аккуратных третьеводнишних бумаг; Филимонов с бесплодной честолюбивой энергией — для себя одного; затруженный, медленный Самсонов; попереди — потерянные в песках и озёрах корпуса. И в приближении этого грозного столкновения Воротынцев мог только в огненной памяти разглядывать карту да подгонять жеребца и то не слишком, чтобы хватило ему сил.

Спешить! Конечно надо было спешить в этой операции, да не от Белостока же пеший марш начинать. Спешить, да не так же, как клоун спешит на арену, не терять же ботинок и штанов, сперва подпоясаться, зашнуроваться. И как же можно было начинать с разрывом: посылать Ренненкампфа, когда Самсонов ещё не готов? Весь смысл плана — мерк, уничтожался.

...На разговоры с унтером и времени не осталось. Проезжали населённые пункты, иногда было кого спросить, а иногда присвечивал на карту и соображал Воротынцев сам. Часа два он думал напряжённо, потом сбивчиво: и о корпусе Благовещенского, что так оторвался направо, как если бы, правда, переходил к Ренненкампфу; и ещё хуже — о 2-м корпусе, который застрял против немых пустых озёр, не помогая ни Первой армии, ни Второй; и о том, что по фамилиям генералов судя — фон-Торклус, барон Фитингоф, Шейдеман, Рихтер, Штемпель, Мингин, Сирелиус, Ропп — никак не счесть было Вторую армию русской, да ещё этой весной назначался командовать ею Рауш-фон-Траубенберг, то-то бы звучало!

Это немецкое преобладание уже так привычно распространено, что мы даже не задумаемся: да ведёт ли Россия последние два века своё отдельное национальное существование? Или, с Петра, направляют его немцы?

И о том русском генерале Артамонове думал, к кому лежал его путь сейчас и от которого завтра может быть зависеть будет вся честь России. Артамонов ещё и ровесник Самсонову, уже потому будет обидно подчиниться. Служил Артамонов долго в штабах, да «для поручений», да «в распоряжении», был почему-то комендантом Кронштадтской крепости, хотя сухопутник, даже главным руководителем крепостных работ,— и вот теперь на армейском корпусе.

Немцы это всё себе переписывают, переписывают и смеются: у этих русских Главный Штаб даже не ведает такого понятия — военная специализация. Всё, что не конь и не пушка,— всё у них инфантерия...

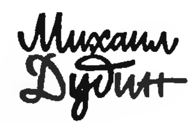
Думал Воротынцев и о генштабисте полковнике Крымове, который опередил его в 1-м корпусе, и может быть уже всё исправляет, а может быть не видит и губит. Лично они не встречались. Но отъезжая из Ставки, Воротынцев по справочнику генералов и полковников просмотрел службу каждого, с кем приведётся встретиться тут. Крымов был на пять лет старше Воротынцева, и настолько ж опережал его в полковницком чине. Можно было заключить, что служил он как-то неровно: туповато в конце того века, полтора года мог ведать батарейным хозяйством, да и потом не острей. Но всё ж раскачался на Академию и успешно кончил её перед Японской. Воевал, видимо, храбро, бой за боем отмечены наградами. А потом лет на пять снова задремал делопроизводителем да начальником отделения мобилизационного отдела Главного Штаба. Там были и какие-то труды у него о запасных войсках, это всё нужно для великой армии, но опять: как совмещается в одном офицере?

Путь в холодающей звёздной ночи стелился и стелился. Иногда дорога была обсажена, иногда гола, а в песке — всё время. Черно и мягко миновались редкие хутора, очепы колодцев, придорожные высокие распятия. Тиха, мирна спала северная Польша, совсем не по-военному. Правда, в двух деревнях стали на ночь обозы, окликались их дозорные. А так никто не обгонял, никто навстречу не катил. Утомлялись кони, но ещё больше унтер скквашивался. Перед утром думал Воротынцев коней покормить, два часа поспать, да унтера отправить назад, а дальше уже одному.

Постепенно мысли его углаживались, не жгли, не так быстро выпрыгивали, не толкали друг друга. Приходили совсем другие, и все их приятно было сейчас дояснять, додумывать в долгом ночном успокаивающем движении.

Нисколько не тяготила Воротынцева бессонная ночь, и ещё завтрашний долгий путь, и потом, может быть, сквозная безумная неделя — ибо такой обещала быть Прусская битва, и может быть со смертью впритирку. Это и был его жребий. Это и были его высшие дни — те дни, для которых и живёт кадровый офицер. Ему не только не тяжко — ему крылато-легко было сейчас, и не могло иметь значения: спит он или не спит, ест или не ест.

Продолжение следует



НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД ПЕЧАЛЬНЫ ВРЕМЕНА

...Неужели я жил только затем, чтобы люди убедились на моем примере в том, как не надо жить.

Из частного письма

* * *

Звезда сквозь ночь проглянет стыло
И остановится в окне.
Я все забуду то, что было.
И все забудет обо мне —

Моей судьбы земная местность.
Моей заботы окоем...
И дверь прикроет неизвестность
За одиночеством вдвоем.

И будет ничего не надо
От жизни этой для меня:
Ни юной музыки, ни взгляда,
Ни тьмы ночной, ни света дня.

Пусть все, что не было и было,
Молва забвению предаст,
Но то, что ты меня любила,
Пусть вечность в вечность передаст.

* * *

У жизни нет начала,
У разума — конца.
У нового причала
Сменяет сын отца.

И в океан рассвета
Из голубой весны
Кидается ракета
За птицей новизны.

И я за птицей этой
По звездному лучу
Судьбой любви неспетой
Вне времени лечу.

Лечу, как тень от тени
Земного сна, через
Туманные ступени
Тоски семи небес.

Лечу в пустыню света
За птицей новизны,
Но только птицы этой
Не догоняют сны.

* * *

Когда, и где, и из каких пород
Застывшей от бессмертия природы
Какие боги создали народ,
Каких богов придумали народы?

Что из того! Тем и другим нельзя
Существовать без обоюдной связи.
И каждому — не выбиться в князья,
Но каждый мнит свой путь из грязи
в князи.

Гармония единства далека.
Но на бессмертном празднике природы
Богам и людям светит сквозь века
Одна для всех Ответственность Свободы.

Михаил Александрович Дудин (р. 1916 г.) — русский советский поэт, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, участник Великой Отечественной войны, один из защитников и признанный певец обороны полуострова Ханко.

Является автором многих поэтических и прозаических книг, составивших собрание сочинений.

* * *

О близком благоденствии страны
Болтают лихо верные сыны.

И от стараний этих болтунов
Мы можем оказаться без штанов.

И без краюхи хлеба на столе.
Но с гибелью в нацеленном стволе.

И слово с делом потеряло связь.
И день вчерашний превратился в грязь.

Как будто стали верные сыны
Достойными сынами сатаны.

Все громче раздается болтовня
Над горьким горем завтрашнего дня.

* * *

Здесь был пустырь.
И здесь команда сучья
Производила массовый расстрел.
Теперь здесь лес.
И злой туман на сучья
Над тайною навис и загустел.

Но прошлого прорывы не случайны.
И как бы злой туман ни нависал:
«Земля кругла.
На ней не скроешь тайны» —
Так я давно когда-то написал.

Здесь был пустырь. Заросшую могилу
По доброй воле отыскал палач.
В ней мертвые умолкли через силу
И недобитых оборвался плач.

Признания не оказались лживы.
И в правилах судеб сторожевых
Записано о том, что люди живы
Упрямой связью мертвых и живых.

Здесь был пустырь.
Здесь память в чаще рыщет
Над жутким откровением судьбы.
...А мы, по неопознанным кладбищам
Гуляя, ищем белые грибы.

* * *

Тревоги и страха «Большие дома»,
Из ваших подвалов видна Колыма.

Видна Воркута и видны Соловки.
И ваши заплечные в деле ловки.

Вас много настроено было — не счесть.
В вас Совесть стонала и мучилась
Честь.

В вас люди и стены сходили с ума.
Вы помните это, «Большие дома»?

Нет, вы не сгорели, «Большие дома»,
Стоит в ваших окнах кровавая тьма.

И призрачной ночью у ваших ворот
Толпится невинно убитый народ.

И слушает вдов несмолкающий плач
Живущий на пенсии старый палач.

* * *

Несбывшихся надежд печальны времена.
Всех дел развал, и на душе разруха,
И прошлого пред будущим вина —
В сознании ворочается глухо.

Великих слов утрачена цена
На ярмарке тщеславия. И ловко
Мотается вокруг веретена
Высоких чувств — разменная дешевка.

И где-то там внутри идут дожди
Осенние и непролазна слякоть.

Но не отчаивайся! Подожди —
Еще не время новым вдовам плакать.

И не гадай: была иль не была,
В отчаянье почесывая темя.
Разбитые гудят колокола,
Тоски и смуты предрекая время.

И эхо поднимается со дна
Земных глубин раздробленного лона,
Где мертвым сном уснули письмена
Торжественной гордыни Вавилона.

* * *

Великую башню из рабства и тьмы,
Из крови страдания строили мы.

Мы строили башню на радость времен
Единством народов и малых племен.

Мы строили новой судьбы Вавилон
Под пенье оркестров и шелест знамен.

Усердием и мастерством ремесла,
Как гордость, великая башня росла.

Как страх и как слава друзей
и врагов,
С далеких и близких видна берегов.

И встала над башней Победы заря.
...Но башню мы все-таки строили зря.

Открытый позор нашу башню трясет
От самых глубин и до самых высот.

И с самого верха, кричи не кричи,
В строителей башни летят кирпичи.

В тяжелом раздумье живые молчат,
А мертвые в братских могилах кричат.

Без громких оркестров,
без гордых знамен,
Уже распадается наш Вавилов.

И новых строителей новый призыв
Не слышит в легенду ушедший Сизиф.

И в неизвестность на гребне веков
Плывет потихоньку корабль ....

* * *

Скалу на гору волочит Сизиф,
Усердье на лице изобразив.

Трудна задача. Непосилен труд.
И все сильней канаты плечи трут.

Скала—огромна. Высока—гора.
Дневная изнурительна жара.

Кровавый пот по ссадинам течет.
Песок летучий ссадины сечет.

Змея от солнца прячется в норе.
И Люцифер смеется на горе.

И все-таки, как утверждает миф,
Скалу на гору водрузил Сизиф.

Но труд его напрасен! И с горы
Скала опять ползет в тартарары.

И вновь Сизиф, как некий реквизит,
Скалу опять на гору водрузит.

И так — всегда! И так из века в век
Свой груз познанья тащит человек,

Пока пред ним не распахнет врата
Гармонии вселенной красота

И радость жизни неоткрытых сфер.
...Пусть на горе хохочет Люцифер!

* * *

Такой уж вы народ!
Существованья ради
Не ломитесь вперед
И не плететесь сзади.

Не в забытьи молвы,
Не у молвы в помине,
Довольствуетесь вы
Во всем на половине.

Как бы закрыв глаза,
Без разных сантиментов,

Все сразу — руки «За!»
И — гром аплодисментов!

И — возражений нет!
И — тянется сквозь годы
Холодный полусвет
Тоски полусвободы.

А в сумраке былья
С надеждой благодатей
Неведомый Илья
Еще не слез с полатей.

* * *

На памяти моей была пора,
Какой, наверно, не бывало плоше:
Со всеми вместе я орал «Ура!»
И до мозолей отбивал ладоши.

Безумное неистовство толпы
Командовало нами и владело,
Когда обожествленные столпы
Нас призывали на благое дело.

Мы строили для всех
прекрасный мир
И верили в обманчивую фразу.

Мы создавали собственный кумир,
А сами гибли по его приказу.

Нас мало уцелело. Горький час
Прозрения переосмыслил годы.
Нет, не свобода обманула нас,
А наша безответственность свободы.

Но жизнь идет. Река времен течет,
Равно чужда презренья и почета.
...Мой юный друг,
печален мой просчет,—
Не повторяй ты этого просчета.

* * *

Власть Справедливости
и Справедливость Власти —
Пусть всем распоряжаются они.
Не разрывай гармонию на части,
Своей судьбой ее оборони.

Он неразъединим и безначален,
Материальный и духовный мир.

Для Человека ход времен печален:
Сопровождает Время — конвоир.

И времена не думают о сроке,—
Век незаметно переходит в век.
И только в человеческом потоке
Бессмертье обретает Человек.

И мысль его в извечном непокое
Меняет направленье и волну.
Одно преображается в другое,
С поверхности уходит в глубину.

Века спешат. И мохом ошивают
Следы катастрофических разрух.
Века летят. И камни — оживают.
И — каменеет беспокойный дух.

* * *

У жизни есть своя потреба
Преображений и потерь.
Идет грабеж земли и неба.
И вечность в вечность ищет дверь.

И встреча требует разлуки.
И, сдержанность преодолев,
Тоска развязывает руки,
И баламутит душу гнев.

Приемля новую затею
В жестоком жизненном кругу,
Я жить без веры не умею
И быть ненужным не могу.

Наш вечер тих, и скромен ужин,
И, как дневному свету тень,
Я был тебе сегодня нужен
И нужен буду в новый день.

От ненависти и от лести
Самих себя обороня,
Мы встретим этот праздник вместе
В загадке завтрашнего дня.

* * *

То — геноцид, то — Сумгаит,
То — гром землетрясения.
Всё кровь и кровь. И всё — болит
В твоей судьбе, Армения.

Но достает тебе равно
На хлеб и песню рвения.
И я люблю тебя давно
За веру в жизнь, Армения,

Но и Россия этих дней,
По опыту живучести,
Живет еще куда трудней
Твоей нелегкой участи.

Растут между былой родни
Противоречий надолбы.
А нам в смурные эти дни
Стоять поближе надо бы.

* * *

Все в жизни держится трудом:
Любовь, семья и дети,
Свой край родной, и отчий дом,
И лучший хлеб на свете.

И каждый ищет свой черед,
Свой правый путь к свободе:
И в Человечестве — Народ,
И Человек — в Народе.

* * *

Закручен и заверчен
Мой невеселый путь.
...Я буду вновь доверчив
Опять когда-нибудь.

И я опять поверю
В таинственный туман,
В находку и потерю,
В надежду и обман.

Но так же, как и прежде,
У ложных слов в плену,
Тебя в твоей надежде
Опять не обману.

На зависть пересудам
Сегодняшнего дня
Ты будешь вечным чудом
Загадки для меня.

За радости — в ответе
Печаль очей твоих.
...А жизнь на белом свете
Исходит от двоих.

* * *

Воспоминаний пестрый луг
Еще цветет меня вокруг.

Тот луг, как жизни круг второй,
Мне дорог легкою игрой.

Я там во сне и наяву
Прошедшим в будущем живу

И отчуждения межу
Внимательно перехожу.

Мне там из завтрашнего дня
Видней вчерашнего меня,

А череда идущих дней
Из дня вчерашнего видней.

Потом и та и эта даль
В одну сливаются печаль.

Но я опять в глазах твоих
Не вижу сразу нас двоих.

* * *

Моря Черного катится медленный гул.
В темных волнах Юпитер таинственно светит.
Безутешно обманутый плачет Катулл.
И я слышу его через двадцать столетий.

Что ж ты сделала, Лесбия? Ты изменила ему?
Неужели тебе страстью тешиться с ним надоело?
Волны Черного моря уходят во тьму,
Обнажая Земли беспокойное тело.

Улыбнись ему, Лесбия! Легкие руки простри
И губами закрой ненасытные губы Катулла.
Страсти Черного моря его распирают внутри,
И прибрежные скалы дрожат от подземного гула.

Утоли его страсть неземную на двадцать веков,
Чтобы он навсегда позабыл о вчерашней измене.
Поднимается Солнце. Встает над грядой облаков.
И Венера купается в розовой пене.

* * *

В черемухе забытого кладбища
За непроглядной белизной ветвей
Над чьим-то первым поцелуем свищет
И щелкает бессмертный соловей.

И нас с тобой заставил он когда-то
Глаза в глаза от страха замереть.
...Над смертною погибелью солдата
Пел соловей и полковая медь.

Но весь огонь, направленный прицельно,
Жизнь победила — и была права.

И проросла на бруствере смертельно
Прекрасная весенняя трава.

И жизнь опять у радости во власти.
И я ее дыхание ловлю.
И время петь и ликовать от страсти
В черемухе цветущей соловью.

И он поет. И столько нежной боли
Для всех живых открыто напоказ!
...Но что-то часто пахнет поневоле
Черемухой слезоточивый газ.

* * *

С безумной мысли взятки гладки,
Она куда быстрей, чем свет,
Неразрешимые загадки
Плодит и требует ответ.

И вне законов постоянства,
Но постоянно вместе с тем
Она обследует пространства
Внегалактических проблем.

И, чтоб не погрузились в Лету
Плоды моих бессонных мук,
Свой нос засовывает в смету
Моих печалей и разлук.

Считает вывихи и лихи,
То взбеленится, то уснет,
И над тоской неразберихи
Небесной ясностью блеснет.

* * *

Нет, не оптический обман,
Не наважденье фальши,—
Уводит капля Океан
За горизонт. И дальше

Он следует за ней, клубясь
Чудовищным потоком.
...Давно когда-то эта связь
Окончилась потопом.

* * *

И дикого осла не приарканишь,
И не приучишь опытную ложь.
И, сам того не понимая, канешь
На дно веков и снова не всплывешь.

И жизнь твоя останется как опыт
Познания (отмеченный «тире»),
Который время для чего-то копит
Грядущему в своем календаре.

И за «тире» своей судьбой в ответе,
Бездумно тратя время, страсть и пыл,
Я жизнью всей любил тебя на свете,
И был твоим, и этим счастлив был.

Я был самим бессмертием. Вселенной.
Галактикой. Я между звезд парил.
Твоей судьбе за этот миг мгновенный
Своей судьбы бессмертие дарил.

И если ты ко мне по воле слова
Дотянешься по звездному лучу,
Я соберусь. Я оживу. И снова
«Остановись, мгновенье!» — закричу.

1989

Александр Житинский

Типичный представитель

Исповедь конформиста

1

Очень много приходится врать.

Даже не лгать, а именно врать. По мелочам, ради спокойствия или ерундовой выгоды. Не думайте, что я такой плохой, а вы хорошие. Все мы одинаковы. И все считаем себя в душе честными людьми.

Труднее всего сказать правду о себе. Я несколько раз пытался, но ничего не выходило.

Казалось бы, чего проще? Берешь чистый листок бумаги и пишешь что-нибудь в таком роде: «Я, Верлухин Петр Николаевич, родился тогда-то. Жил там-то, учился там-то...» Родители, брат, сестра. Жена, дети... И все это будет чистой правдой. Особенно, если приложить к этому листку заполненную анкету и заявление о приеме на работу. В любом отделе кадров такой чистой правды полный шкаф.

Но попробуйте написать о себе честно, не стараясь показаться хорошим. В сущности, мы только и делаем, что стараемся показаться лучше, чем есть. Сколько вранья нагромождено, чтобы окружающие наконец сказали: «Да, это честный и добрый парень!» Ради этого мы здорово изворачиваемся. Сколько компромиссов с совестью, сколько полусогласий и полупоступков! Как изящно обманываем мы самих себя, убеждая в собственной непогрешимости! Дипломатические разговоры с порядочностью ведутся на столь высоком уровне, что наивная наша совесть наконец засыпает, и мы уходим от нее на цыпочках, боясь потревожить.

Впрочем, буду говорить о себе.

Правда заключается в том, что я боюсь правды. И в то же время страшно хочу ее узнать. Я хочу знать о себе все досконально, хотя понимаю, что это не принесет мне счастья и не доставит радости.

2

Мой род не уходит корнями в древность.

Сейчас редко у кого он уходит туда корнями. Хотя, если рассуждать логически, цепочка предков не имеет права прерываться. Наверняка мои прямые предки существовали во времена Екатерины, присутствовали при крещении Руси и даже охотились на мамонтов. У меня в голове это не укладывается.

Трудно себе представить, что целая армия моих прямых предков боролась за существование, трудилась и растила детей, чтобы в результате появился я.

Житинский Александр Николаевич родился в 1941 году в Симферополе. Окончил Ленинградский политехнический институт. Занимался научной работой. Первый рассказ опубликовал в 1970 году. Автор многих повестей, рассказов, сценариев, а также романа и книги стихотворений. Член СП. Живет в Ленинграде.

Обидно, что никаких сведений об этих людях я не имею. Кроме исторических, разумеется. Очень интересно было бы знать, как мой прямой предок по отцовской линии относился к декабристам. Если, конечно, он не жил где-нибудь в Испании.

Дело в том, что мои предки мало заботились, чтобы оставить следы с автографом. То есть создать нечто такое, что до меня дойдет. Например — летопись, икону, храм, скульптуру, стихотворение. Возможно, у них были другие задачи. Они пахали, сеяли, воевали, строили избы, производили детей и умирали. В результате я ничего про них не знаю.

Лишь какие-то цари, короли и герцоги имеют возможность прослеживать свою генеалогию достаточно далеко. Правил один, потом царствовал другой, затем свергли третьего. Мне кажется, это несправедливо. У нас теперь демократия, и каждый должен знать своих предков.

Человечество пока не додумалось до одной простой вещи. Давным-давно пора было создать генеалогический архив. После смерти каждого человека туда следовало бы вкладывать маленькую карточку. На ней нужно писать имя человека, даты жизни и — что человек сделал. Не то, что он хотел сделать или обещал, а только — что сделал. Каким он был — добрым, злым, покладистым, милым, душевным, нетерпимым — не имеет значения. Это интересно современникам. А потомков интересуют дела.

Но такого архива нет, и поэтому представление о моем роде не заходит глубже второй половины прошлого века. И то благодаря моей бабушке. Бабушка находилась в столь преклонном возрасте, что помнила живьем поэта Надсона. Она помнила времена, когда не было самолетов, радио, телевидения и ракет. Вообще ничего не было. Насколько спокойнее тогда жилось людям!

С детства я расценивал бабушку как исторический памятник, находящийся под охраной. Бабушка утверждала, что нашими предками были достойные и уважаемые люди. Часть из них занималась физическим трудом, а часть — умственным. Были и такие, которые ничем не занимались. Они назывались дворянами. Так что с точки зрения наследственности картина получается запутанная. Не знаю — чего во мне больше? Каких качеств? Это предстоит еще выяснить.

Бабушка говорила, что я похож на дедушку. Дедушка тоже ничего не добился в этой жизни и умер очень давно. Только он не добился ничего в то время, а я сейчас.

3

Говорят, я родился в воскресенье. Почему-то мне это приятно.

Конечно, был чрезвычайно великолепный день. На редкость. Мама вынесла меня в стеганом одеяле и передала в руки папе. Папа меня взял, поцеловал маму, а потом мы сели в автомобиль и поехали домой. Это было за несколько месяцев до войны.

Существует и другая версия. Согласно ей, меня несла на руках бабушка. Тогда она была еще способна это делать. День все равно был хороший, и это что-то там знаменовало.

Кстати, была зима, и я не простудился.

Вторая легенда, чуть подлиннее, связана с моим крещением. Это подпольная легенда, потому что папе нельзя было, чтобы меня крестили. Мой папа был военным. А бабушке было, наоборот, нужно. Мне было тогда еще наплевать.

Тайком от папы, который узнал обо всем много лет спустя, бабушка повезла меня в церковь. Батюшка меня окрестил и назвал церковным именем. Имени никто не знает, даже бабушка, потому что она забыла. Кажется, батюшка сказал что-то насчет моей будущей счастливой и знаменитой жизни. Пользуясь случаем, довожу до его сведения, что он ошибся.

Такого рода легенды постоянно излагались мамой или бабушкой на семейных торжествах. Всем очень бы хотелось, чтобы я родился в рубашке. Однако этого не произошло. Вероятно, по недоразумению.

Далее следуют легенды, свидетельствующие о моей необычайной одаренности в детстве. Интересно, куда она девалась? Вообще, одаренных детей существует огромное количество, если верить родителям. А потом из них получаются вполне заурядные взрослые.

Читать я научился так рано, что еще не умел говорить. Читал про себя. Потом сразу заговорил стихами Чуковского. Их я рассказывал маме перед сном, пока она не засыпала. Тогда уже была война, и засыпать иногда приходилось в бомбоубежище. Там на меня однажды, пользуясь темнотой, села какая-то тетка и чуть не раздавила.

Однажды я случайно глотнул уксусной эссенции и чуть не умер.

Однажды я заблудился в лесу и чуть не потерялся совсем.

Однажды я был искусан собаками и чуть...

Таких «чуть» было довольно много. Представляется невероятным, что я выжил. Все семейные легенды имеют счастливый конец. Думаю, что они сильно приукрашены. Я за них не отвечаю, потому что сам ничего не помню.

4

У отца было две сестры — тетя Зика и тетя Мика. Они были бабушкиными дочерьми. Относительно тети Зики я всегда догадывался, что ее настоящее имя — Зинаида. С тетей Микой было сложнее. В детстве я думал, что ее полное имя — Микстура. На самом деле тетю Мику звали Татьяной, но об этом я узнал позже. Имя Микстура подходило к ней гораздо больше.

Как мне теперь кажется, в нашей семье сохранялись следы патриархального быта. Его хранительницей была бабушка. Она предполагала, что мы происходим из дворян. Отцу не нравился этот тезис. До войны он его активно опровергал. Происходить из дворян в то время было опасно.

Зато тетя Зика и тетя Мика всячески подчеркивали наше мнимое дворянство. Уходя и приходя, они говорили что-то по-французски бабушке. Маме это не нравилось, потому что она родилась в кубанской станице и жила в ней до сознательного возраста. Бабушка смеялась по-французски и рассказывала еврейские анекдоты. Между мамой и бабушкой всегда ощущалась международная напряженность.

— Ты хочешь загнать меня в гроб,— говорила бабушка маме.

— Вы, мама, сама кого угодно загоните и гроб,— отвечала мама.

Скандалы, как это ни странно, возникали редко, и поэтому окончательно загнать в гроб ни одну сторону не удавалось. Тетки Зика и Мика появлялись в нужный момент, когда назревал гол. Они действовали как голкиперы, предохраняя гроб от попадания в него бабушки или мамы. Им хотелось, чтобы они жили мирно. Кроме альтруизма ими руководило вполне осознанное нежелание жить с бабушкой, если не дай бог что-нибудь случится с мамой.

Последнее словосочетание в детстве обозначало смерть. На Пушкинской улице жил дедушка Шамраев, отец бабушкиной двоюродной сестры, а потом с ним «не-дай-бог-что-нибудь-случилось». Дедушка Шамраев был ужасно старый и очень пугался, когда садился на воздушный шарик. Шарик в кресло подкладывали мы с двоюродными братьями, сыновьями тети Зики и тети Мики, будучи в гостях у дедушки. Посещение дедушки Шамраева и его дочери тети Сони считалось почему-то хорошим тоном.

Тетя Соня работала в детском издательстве. Она была старой девой. Эти слова произносились мамой с уважением. Тетя Соня посвятила свою жизнь дедушке Шамраеву и детским книжкам. Она была худой, с черными выпуклыми глазами, в облаке папиросного дыма, вечно окружавшем тетю Соню. Тетки Зика и Мика ее боялись. Тетя Соня дарила нам книги с автографами детских писателей. В писательских надписях на книгах чувствовалось уважительное заискивание. Тетя Соня проработала в издательстве со дня его основания до семидесяти шести лет, не уходя на пенсию. Она была очень умна, строга и добра, что я понял уже взрослым.

К сожалению, не могу сказать того же о других родственниках. Даже тогда, в детстве, я чувствовал некоторый недостаток доброты и ума в словах и поступках близких. Меня и сейчас более всего изумляет человеческая глупость, но я привык с нею мириться.

Многочисленная родня с маминой стороны жила на Кубани. К десяти годам я научился наконец разбираться в маминых сестрах. Их было пять. Все они жили

в станице и имели многочисленных детей, моих двоюродных братьев и сестер, точное количество которых я не знаю и сейчас.

Родня с маминой стороны негласно считалась родней второго сорта. Возможно, это мнение создала бабушка. Может быть, и мама в глубине души стала думать так, когда отцу присвоили звание полковника.

На Кубани я был один раз в двенадцатилетнем возрасте. Тетки откармливали меня жареными гусями с яблоками. Мужья теток были украинцами. Они называли меня «дывысь-який-гарний-кацанчик». Все четыре слова я не понимал. Вернувшись с Кубани, я долго произносил звук «гэ» мягко, на украинский манер.

Самый старший двоюродный брат с маминой стороны не так давно стал генералом. Вот вам и родня второго сорта! Этот факт не смог проникнуть в мою голову. Он постучался, но я его туда не впустил. Я не могу себе представить брата-генерала, увольте! Тем более, что я видел его один раз двадцать пять лет тому назад.

А вообще, мои родственники, как и предки, образуют полный спектр социального излучения. Среди них есть колхозники, врачи, лаборанты, военные, рабочие, пьяницы, есть брат в тюрьме, есть свояк — сотрудник органов, есть кандидаты наук. И есть один генерал — начальник политуправления крупного воинского соединения.

Где-то ближе к инфракрасной области спектра — области малых энергий — нахожусь я сам.

5

Мое детство прошло в эпоху домработниц.

Здесь требуется пояснение для молодежи, которая не совсем хорошо знает, что такое «домработница».

Когда-то давно во многих домах жили служанки и гувернантки. Я не совсем ясно понимаю значение последнего слова. Для меня гувернантка — это служанка с высшим образованием, воспитывающая детей. Домработницы объединяли служанку и гувернантку в одном лице. И без всякого высшего образования.

Наташа приехала из деревни в восемнадцатилетнем возрасте. Мне тогда было восемь. Мы жили в трехкомнатной квартире. Наташа спала в кухне на раскладушке. В те времена социальное происхождение хозяйки и домработницы часто было одинаковым. Между моей матерью, бывшей кубанской казачкой, и Наташей, приехавшей из-под Тулы, установились своеобразные отношения. Несмотря на молодость, Наташа имела собственные взгляды на воспитание детей, то есть нас с братом и сестры. Мама и Наташа часто вступали в дебаты, сопровождавшиеся обоюдными криками и слезами. Наташа подхватывала на руки мою малолетнюю сестру и убегала с нею из дома. Этим она выражала протест против неправильного воспитания. Мама бросалась за нею, а вечером жаловалась папе. Наташа всячески защищала нас от посягательств родителей.

Между прочим, моя старшая сестра, умершая в младенчестве, была бы ровно на десять лет старше меня. И я воспринимал Наташу как старшую сестру, появившуюся в доме после восемнадцатилетнего отсутствия.

По субботним вечерам Наташа с соседской домработницей гуляли в парке с солдатами. Они одевались в крепдешиновые платья с жакетками, завивали волосы щипцами и уходили твердой вздрагивающей походкой. Когда солдаты бросали их, домработницы плакали, но недолго.

Первый год Наташа купала нас с братом в ванне. Брату было пять лет. Мы устраивали морские сражения. Уже через год я отказался от этих купаний и научился мыться самостоятельно. Во мне просыпался отроческий стыд.

Кроме стыда просыпалось и еще что-то — какие-то тайные и жгучие желания. Когда мне исполнилось двенадцать, я стал подсматривать за Наташей. Между туалетом и ванной комнатой было высокое окошко, перегороженное наклонными деревянными планочками. Я вставал на унитаз и, вытянувшись на цыпочках, смотрел в щель между планочками на моющуюся Наташу. Она задумчиво терла мочалкой маленькие круглые груди, похожие на шарики мороженого. Мне было стыдно за себя, но желания были сильнее стыда.

6

В этой повести сюжета не будет — не ищите. Самый естественный, хотя и самый неправильный сюжет — это жизнь человека. В данном случае моя.

Само собой, в надлежащее время я отправился в школу. Школа была специальной. В ней со второго класса изучали французский язык. Я до сих пор помню слово «стол» по-французски. Ля табль. Я был чистеньким мальчиком из порядочной семьи. К таким раньше брали гувернеров. Уж они научили бы меня французскому! Но гувернеры, как я уже упоминал, исчезли задолго до моего рождения. Поэтому я французского не знаю.

Отца переводили служить то туда, то сюда. Я менял школы, как башмаки, из которых вырастала нога. Все это слилось в общее воспоминание, как капельки ртути сливаются в одну дрожащую каплю. В ней отражается моя стриженная под ноль голова, торчащая на предпоследней парте, в окружении сорока таких же голов. Ни единой косички, потому что школы тогда были раздельными.

Прошу отметить это обстоятельство. До четырнадцати лет я знал о девочках только понаслышке. Ну, видел, конечно, на улицах или в кино. Но не более.

Мы жили тогда в Москве, и отец брал меня на Красную площадь смотреть парады. На Мавзолее стояли люди. Один из них был Сталин.

Сталин был самым главным в нашей стране. Он был им долгое время, и последний кусочек я застал. Он много чего сделал, в том числе и ошибок. Ему на это справедливо указали. Правда, потом, когда он уже не мог их исправить.

Сталин был нашим отцом до пятого класса. Затем он умер и перестал быть нашим отцом. Это было большое горе.

На улицах повесили траурные флаги. В школе устроили почетный караул перед портретом. Я стоял рядом с толстыми усами Сталина и думал, что же будет дальше. Казалось, что ничего хорошего не предвидится. Было страшно.

7

Уровень жизни в то время был похуже, чем сейчас. А главное — он был более дифференцирован. Это теперь неизвестно, кто больше получает и живет богаче — уборщица или доцент, мясник или научный сотрудник. Хотя в последнем примере я, пожалуй, немного переборщил, как выражается моя мама. Тут как раз все ясно.

В те годы деление на имущих и неимущих было четким.

На окраине тогдашней Москвы построили короткую улицу, потеснив деревянные домишки и бараки. Сейчас это далеко уже не окраина, а чуть ли не центр Москвы. Но тогда улица имела в длину метров двести и насчитывала около десятка серых четырехэтажных домов. Их и теперь называют «сталинскими». Там жили военные и интеллигенция — врачи, писатели, журналисты-международники, профессора и прочие.

В глубине дворов продолжали стоять бараки, которые до поры до времени не сносили.

Люди старшего поколения помнят эти бараки. Это были длинные одноэтажные здания с одним входом в каком-нибудь из концов. Вдоль барака тянулся узкий тусклый коридор, пропахший жаренной на постном масле рыбой. Слева и справа были двери. За каждой дверью в комнатке жила семья. Три, пять, семь человек. Конец коридора скрывался в синеватом чаду.

В бараках жили рабочие, мелкие служащие, лица без определенных занятий, бывшие урки и тому подобные. От бараков веяло преступностью. Поселившаяся рядом интеллигенция боялась бараков как огня.

Сферы деятельности людей из бараков и обитателей «сталинских» домов были совершенно различны. Линия соприкосновения между ними проходила в школе, где мы — дети военных, профессоров и писателей — учились вместе с детьми рабочих и лиц без определенных занятий.

Как и во взрослой жизни, мы занимали руководящие посты, а барачные дети были движущей силой. Я был звеньевым, а мой товарищ — сын журналиста-

международника — председателем совета отряда. Другие звеньевые, староста и члены совета отряда тоже проводили свое детство в «сталинских» домах.

Мы воспитывали барачных и старались сделать из них людей. Мы вызывали их на заседания совета отряда, прорабатывали за двойки, хулиганство, курение и матерщину. После заседаний мы вместе с прорабатываемыми шли в заброшенный парк над грязной речкой Таракановкой, которую потом упрятали в подземную трубу, и с наслаждением курили и матерились. В пятом классе я курил какие-то вонючие папироски и матерился, как извозчик.

Я испытывал страшный стыд за свое социальное происхождение.

Для меня не было более обидных слов, чем «маменькин сынок». Когда в школе спрашивали, кто у меня отец, я всегда отвечал — военный. Никакая сила не могла заставить меня сказать, что он полковник. Раза два отец приходил в школу в форме. Я прятался под лестницей, в закутке, где нянечка хранила тряпки и небольшие картонные ящички мела.

Вот вам пожалуйста — нянечка!

Где они теперь, нянечки? Как их называют сейчас в школах? Уборщицы? Технические работницы? Может быть, их вообще уже нет?

А у нас были нянечки. Они знали нас по именам.

Стремясь доказать свою пролетарскую сущность, многие мальчики «сталинских» домов превзошли барачных. Мой одноклассник, сын писателя, загремел в колонию. Я был осторожен и хранил самодельную финку дома, за репродукцией картины Шишкина «Корабельная роща».

На школьных переменах в просторных кафельных туалетах устраивались «стычки до первой кровянки». Это были честные состязания. Два противника, желавшие выяснить отношения, дрались в тесном кругу, пока у одного из них не появлялась кровь под носом. Бой прекращался. Боец с целым носом объявлялся победителем.

Стычки никогда не возникали стихийно. Они тщательно готовились. Уже за три дня становилось известно, что в пятницу на большой перемене Яша Тайц стыкается с Хамсой из параллельного пятого «в» класса. Что они там не поделили — я забыл. Мы опасались только, что наш огромный, кучерявый и самый сильный в классе Яша Тайц, сын врача-профессора, может нечаянно убить барачного Хамсу и тоже загреметь в колонию.

Хамса был ниже Яши на голову. Он вряд ли мог достать кулаком до Яшиного носа и добиться «кровянки». Голова его по форме напоминала огурец.

Стычка была серьезная и принципиальная — до звонка на урок. Перемена длилась пятнадцать минут. Это означало, что Яша Тайц и Хамса проведут пять боксерских раундов без перерыва.

Каково же было наше изумление и огорчение, когда Хамса побил Яшу Тайца! Юркий и ловкий Хамса увертывался от квадратных Яшиных кулаков, которые тяжело утюжили воздух над его головой. Сам Хамса не переставая молотил Яшу в живот. Улучив момент, Хамса подпрыгивал и концом своего белобрысого огурца бил Яшу по крупному носу. После второго удара у Яши пошла кровь. Хамса снова и снова бил по носу Яши прилизанной макушкой, отчего она покраснела. Яша, как раненый, истекающий кровью бык, безуспешно пытался хоть раз зацепить Хамсу. Прозвенел звонок, и противники бросились к кранам — отмывать кто нос, кто макушку. Яша появился в классе бледный, поверженный, поколебавший нашу уверенность в превосходстве силы над смекалкой.

Я боялся стычек и стыдился своей боязни.

Как вы уже заметили, я часто чего-то стыдился. Не знаю, как другие, но я испытывал это чувство постоянно. В моей памяти глубже всего отпечатались моменты, когда мне было стыдно. Стыдно за свою чувственность, ложь, страх, тайное честолюбие, стремление быть похожим на других, за родственников, за школу, за страну, в конце концов.

Самый страшный стыд — это стыд за страну. Он возник позже, в юности — я об этом еще расскажу. Стыд уравновешивался гордостью, когда были причины гордиться. Гордость и стыд, как мне кажется, соединенные вместе, составляют любовь. Я хочу сказать, что это патриотические чувства. Одна сплошная гордость еще не является любовью к родине. Здесь, как и везде, диалектика проявляется в единстве противоположностей.

Гордость за свое благородное происхождение и стыд перед ним.

Гордость за великие идеи свободы, равенства и братства — и стыд перед их реальным воплощением.

Но я отвлекся. Страшно было, когда мы всем классом били одного. На нашем языке это называлось — «обламывать». У нас был предмет для «обломов» — мальчик по фамилии Горюшкин. Его участь блестяще подтверждала фамилию. Горюшкин сидел со мною за одной партой, и я подтягивал его по русскому языку. Надо сказать, что Горюшкина били не зря. В школе почти никогда не бьют зря. Он был фискал, во всем его облике было что-то подленькое, нагловатое и трусливое. Когда созревала мысль в очередной раз побить Горюшкина, мы караулили его после уроков во дворе школы. Горюшкин безошибочно чувствовал созревание мысли и не выходил из школы до темноты. Он маялся там в коридоре, несчастный Горюшкин, и тосковал, а мы терпеливо сидели во дворе на своих портфелях и смотрели на окна школы. Наконец в темноте выходил Горюшкин, слабо надеясь, что товарищи забыли его и разошлись. Но товарищи бросались на Горюшкина и били его пыльными портфелями по голове. Я старался быть в задних рядах и лишь имитировал участие. Мне было жаль Горюшкина. И стыдно было невыносимо, потому что я не находил в себе сил противостоять толпе. Горюшкин никогда на меня не жаловался, хотя и видел среди нападавших. Некое благородство присутствовало в Горюшкине. Он не напоминал мне о моем участии в битве, когда мы занимались с ним русским языком. Вероятно, Горюшкин понимал, что вел бы себя так же, если бы мы поменялись ролями.

Где ты теперь, Горюшкин? Прости меня.

Все это — и курение, и матерщина, и самодельные финские ножи, и стычки, и «обломы» — происходило в школьное средневековье, с третьего по шестой класс, и прошло, как корь, к седьмому классу.

Как раз в это время воссоединили мужские и женские школы. Это было первой ощутимой мною переменой после смерти Сталина.

8

Я оказался в бывшей женской школе. Так получилось, потому что она была ближе.

В женской школе были свои традиции. Там на переменках не «стыкались», как у нас. Все ходили по коридору парами, отдыхая от умственной работы. У меня было впечатление, что я попал в музей. В класс входили учительницы с буклями и, ужасаясь, взирали на представителей мужского пола. Для них это воссоединение было как снег на голову.

Мы быстро приспособились и стали расшатывать устои. Между прочим, девочки охотно помогали нам их расшатывать. Вот тут и случилась первая любовь. Она была из параллельного класса.

Любовь из параллельного класса — это немного неудобно. Во-первых, видишься редко, на переменах. Во-вторых, необходимо как-то познакомиться. Нужны посредники. И посредники нашлись.

Меня приняли в кружок бальных танцев, где занималась также и она. Ее звали Ира. Кружок бальных танцев существовал для привития нам чего-то возвышенного, розового и душистого, как туалетное мыло. Кроме галантности, распространяемой между нами, нас учили танцевать менуэты, па-де-патинеры, мазурки, полонезы и прочую дребедень, будто мы собирались служить при дворе Людовика Четырнадцатого или играть в опере «Иван Сусанин». Насколько мне известно, судьба у всех сложилась иначе.

И вот меня стали учить правильно подходить к даме, протягивать ей руку с легким поклоном головы, на что она отвечала элегантным книксеном, и вести ее на танец. В танце полагалось тянуть носочки и смотреть на даму с великосветской полуулыбкой.

Два раза в неделю я танцевал с Ирой менуэты. Постепенно мы стали встречаться и помимо менуэтов. Мы гуляли компанией, потому что гулять вдвоем было слишком откровенно. Я старался понравиться. Она, кажется, тоже.

Запрещенными танцами в то время были фокстрот и танго. Господи, как мне

хотелось научиться их танцевать! Во время танго допускалось обнять даму за талию. Это казалось мне верхом счастья.

Ира пригласила меня на день рождения. Я долго мучился, что бы ей подарить, и подарил брошку в виде рыбки и книгу «Дон Кихот» писателя Сервантеса. На книге я что-то написал. Она была идейным приложением к брошке.

Не так давно я держал эту книгу в руках. Передо мной сидела взрослая Ира, моя первая любовь. Я смотрел на свою дарственную надпись и удивлялся этой безжалостной штуковине, которая называется «время».

А танго я все-таки научился танцевать. Только позже.

9

Мой отец был военным летчиком.

Я всегда гордился тем, что он летчик, и стыдился его высоких званий. Мне казалось, да и сейчас кажется, что одного слова вполне достаточно, чтобы определить человека. Летчик. Физик. Врач. Писатель. Учитель...

Это существительные, отражающие, как им и положено, существо дела. Всякие же звания — суть прилагательные или эпитеты, указывающие на качество предмета. Хороший летчик — это полковник. Плохой — лейтенант. Хороший физик — академик, физик так себе — младший научный сотрудник.

Если бы это всегда было так!

Но я опять отвлекся. Мой отец, по отзывам сослуживцев, был прекрасным летчиком еще в звании лейтенанта. Когда он стал полковником, он прекратил летать по возрасту, ибо наступила эра реактивной авиации.

Знаете ли вы, что такое запах аэродрома?

На аэродромах росла редкая желтая трава. Земля была в крупных масляных пятнах. Взлетные полосы были грунтовыми, а иногда набирались из фигурных железных полос с отверстиями, из которых торчала все та же колючая трава.

Бортмеханик брался за узкую лопасть винта и проворачивал его на полтора-два оборота. Летчик кричал из кабины: «От винта!» — и бортмеханик отбегал назад, забирался по железной лесенке в самолет, затем втягивал лесенку за собою и захлопывал дверцу.

Пропеллер начинал вращаться. За самолетом возникало желтое облако пыли, в котором струилась аэродромная трава. Гром раскатывался вокруг. Самолет выруливал на полосу. Он ехал, мягко покачиваясь на дутиках и на ходу шевеля элеронами, как бы разминая мышцы перед полетом. Потом он взлетал, втыкаясь в небо с упрямым ревом.

В детстве я летал с отцом на многих марках военных бомбардировщиков и транспортных самолетов. До сих пор названия «бостон», «Ту-4», «ЛИ-2», «каталина» — волнуют мне слух. «Каталиной» назывался огромный гидросамолет, который взлетал с воды и садился на воду. Его пропеллеры были вынесены высоко над плоскостями, чтобы не задевать волн. От этого «каталина» казался удивленным самолетом, у которого глаза вылезли на лоб.

Я стал физиком и знаю принцип реактивного движения. Но я не люблю реактивных самолетов и стараюсь на них не летать. В душе я не понимаю, как может летать самолет с дырками вместо пропеллеров. Действительность не убеждает меня. Меня убеждает детство, от которого осталось в ладони ощущение острой и теплой лопасти пропеллера.

Отец стал летчиком в те годы, когда зарождалась советская авиация. Он учился на летчика в Севастополе и летал на фанерных самолетах, которые вывозились из ангаров лошадьми. На боку каждой лошади был написан номер, соответствующий номеру самолета. Самолеты часто разбивались. У отца в альбоме я видел групповую фотографию курсантов. Около трети группы были помечены крестиками. Эти курсанты погибли еще до войны.

Отец тоже чуть не погиб до войны, но по другой причине. В тридцать седьмом году его арестовали и объявили врагом народа. Потом поняли, что он слишком молод для этой роли. Его выпустили и восстановили в звании и должности. Два года знакомые обходили маму стороной, и ей было трудно устроиться на работу.

Если бы отца не выпустили, я мог не родиться вообще, хотя мне в это не верится. Мне кажется, что все, кто должен родиться, непременно рождаются. Более того, если они рождаются, чтобы выполнить какое-нибудь дело,— они его выполняют, несмотря ни на что.

Отец не любил вспоминать тридцать седьмой год. Об этом периоде я узнал, когда мне было шестнадцать лет, то есть после двадцатого съезда.

Дальше его судьба складывалась более или менее удачно. Он воевал, имел много наград, достиг высоких званий и командовал разными авиационными соединениями. Потом он вышел в отставку и вскоре умер от инфаркта.

Ни я, ни брат не пошли по стопам отца.

И опять раздвоение души. Детство и юность прошли у меня в обстановке военных городков, среди людей в форме, приказов и воинской субординации. Я любил летчиков. Даже сейчас, встречая человека в военной форме, я гляжу на его погоны и радуюсь, замечая голубую окантовку. Мне кажется, что летчики вылеплены из особого теста. Их спокойный и добродушный фатализм восхищал меня. Обстановка в авиации в смысле воинской дисциплины и чинопочитания всегда была более демократичной, чем в других родах войск. Может быть, исключая флот.

И все же я с детства невзлюбил армию как систему. Я еще ничего не понимал в жизни, но уже ощущал огромный и точный в мелочах механизм армии, остающийся бестолковым по самой своей сути.

Сознание того, что миллионы людей на земном шаре заняты тем, что учатся убивать друг друга все более эффективно, не умещается в моей голове. Если таковы исторические законы развития, то я отказываюсь принимать глупость таких исторических законов.

На этом можно поставить точку в главе об отце.

Мой отец был хорошим летчиком и мудрым человеком. Он понимал больше, чем я. Он отдал армии всю жизнь, и не его вина, что сын остался пацифистом.

10

Мы уехали из Москвы.

Мы ехали долго, через всю страну, и оказались во Владивостоке. Дальше ехать было некуда. Там наша семья стала жить. Место жительства заслуживает описания.

Это был специальный дом для военных начальников. Он стоял на склоне берега Амурского залива, а вернее, бухты Золотой Рог. На центральную улицу выходил лишь верхний третий этаж. Остальные этажи смотрели окнами во двор, куда с улицы вели дверь и каменная лестница. Двор был окружен глухим железным забором.

За этим забором прошла моя юность.

Во дворе дома всегда стоял матрос-часовой с карабином. В полуподвальном помещении жила караульная команда во главе с мичманом. Матросы, которые нас караулили, дружили с детьми военных начальников, играли с ними в футбол и другие игры. Служба не очень их обременяла. Во дворе жила также сторожевая овчарка.

Слева от подъезда, выходившего во двор, стояли гаражи, заполненные черными машинами марки «ЗИМ», а справа были площадки для игр и забав детей. В доме насчитывалось около десятка детей разных возрастов.

Дети не стыдились своего происхождения. Они запросто обращались с часовым. Мичман заискивал перед ними, опасаясь, что они могут пожаловаться отцам. Мои детские переживания значительно усилились в доме за железным забором. Новые школьные товарищи определенно опасались заходить ко мне. Правда, были среди них и такие, которым нравилась избранность, и они гордились знакомством с высокопоставленными детьми. Но они не нравились мне.

Только через год или два я привык к часовым и меня перестало удручать наше житье.

Любимым развлечением мальчишек двора было следующее. Вечерами мы прокрадывались за гаражи к забору. Нашим главарем был десятиклассник Витька, сын адмирала. В этом месте забор был деревянным, с узкими щелями между

досками. Он отгораживал двор от матросского клуба, где по субботам и воскресеньям были танцы. Прильнув к щелям, мы наблюдали за темными аллеями и кустами, примыкавшими к забору. На аллеях стояли скамейки. В кустах и на скамейках мы видели матросов в белых бескозырках. Матросы обнимали подруг. Когда какой-нибудь матрос, осмелев от темноты, предпринимал решительные действия, мы начинали свистеть и улюлюкать. Подруга вскакивала со скамейки, поспешно оправляя юбку, а злой матрос с ругательствами подбегал к забору, желая вступить с нами в непосредственный контакт. Мы не убегали, потому что забор был высоким, генералы и адмиралы были еще выше забора и часовой с карабином охранял наши игры.

Покрутившись у забора и высказав все, что он о нас думает, матрос бросался искать убежавшую подругу.

Наши действия казались нам остроумными.

Эти забавы увлекали меня в восьмом классе. Уже в девятом я ушел с адмиральского двора в народ.

11

Но сначала о радиолюбительстве.

В первое лето на Дальнем Востоке мы жили на казенной даче. Я еще не определился в школу и занимался на даче техническими поделками. Я выпиливал лобзиком фигурные полочки из фанеры. Работа требовала терпения, но не удовлетворяла результатами. Что-то было в этом несерьезное.

Рядом с дачным поселком находилась авиационная часть. Она входила в подчинение к отцу. Я побывал там и зашел в мастерские. Обилие инструментов, приборов и деталей поразило меня. Мне страстно захотелось заниматься радиолюбительством. В те годы оно было популярно.

Я обложился журналами «Радио» и брошюрками типа «Как самому сделать радиоприемник». Между прочим, радиоприемник у меня был. Но оказалось, что радиоприемник, сделанный своими руками, отличается от купленного в магазине так же, как собственный глаз от вставного.

Теорию я усвоил сносно, но практика оказалась сложнее. Нужно было научиться паять, гнуть железо, сверлить, наматывать катушки, дроссели и трансформаторы, клеить каркасы, производить монтаж и еще многому другому.

Отец попросил старшину из мастерских приходить к нам на дачу и обучать меня практическому радиолюбительству.

Тогда я не подумал, что просьба начальника — это приказ. Мне показалось естественным, что по вечерам к нам на дачу стал приходить усатый старшина-сверхсрочник, который знал все о радио.

Впрочем, он сам, кажется, был доволен таким оборотом дела. Отец в скором времени помог ему с жильем. У старшины была семья.

Я до сих пор не знаю, как относиться к взаимным услугам. Казалось бы, это естественнейшая вещь. Люди, по-доброму относящиеся друг к другу, делают то, что в их силах. В силах старшины было обучить сына начальника техническим навыкам. В силах начальника было дать старшине жилплощадь.

Я уверен, что мой добрый старшина ни о чем не просил. Отец сделал сам.

От старшины я узнал массу интересных и полезных вещей. Мы собирали приемник прямого усиления. Списанные детали приносил старшина. Однако почти все, включая шасси и силовой трансформатор, я сделал своими руками. Целую неделю я мотал трансформатор, считая витки и перекладывая обмотки слоями тонкой конденсаторной бумаги.

Мой первый силовик сгорел. Из него пошел дым. Я взялся за второй.

Старшина научил меня залуживать провода, крепить детали, чертить монтажные схемы, распаивать панельки радиоламп. От него я узнал волшебную фразу: «Каждый красный охотник желает знать, сколько фазанов село в болоте».

Вы, наверное, ее не знаете. А я знаю.

Эта фраза давала ключ к цветной маркировке конденсаторов и сопротивлений. Такая маркировка давно отменена, но тогда на деталях, в особенности

американских, можно было видеть цветные пояски и точки, обозначавшие величину емкости или сопротивления.

Начальные буквы слов фразы обозначали цвета и соответствовали цифрам от единицы до девятки. Коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, белый.

И я ощущал себя красным охотником, желающим знать, сколько фазанов село в болоте.

12

Увлечение помогло мне найти друга. Не знаю, сошлись ли бы мы без радио. Мы начали дружить, меняясь деталями.

Его звали Толян. Он был очень высоким, под два метра, черным, худым и в очках. Когда Толян повзрослел, стали говорить, что он похож на Збигнева Цыбульского. Но тогда мы о Цыбульском не знали.

Его невозможно было звать Толей, Толькой или Толиком. Он был Толян. Он рано развился физически и в восьмом классе уже брился. Отец у Толяна был бурят, а мать русская. Когда Толян получил паспорт, мы узнали, что он тоже бурят. Вообще же в школе мы совершенно не обращали внимания — кто какой национальности.

Толян был младше меня на месяц. Но и тогда и теперь я отношусь к нему как к старшему другу. Вернее, как к старшему брату.

До этого у меня уже был друг в Москве. Мы и теперь поддерживаем отношения и по привычке называемся друзьями. Но сейчас мы уже не друзья.

После Толяна я приобрел еще двух-трех друзей в институте. Я не знаю, сколько положено иметь друзей. Хорошо, что они есть. Хорошо, что я встретил Толяна.

Мне трудно о нем писать. Любая правда выглядит подозрительной. Он был взрослый и застенчивый. Он стеснялся своего роста и бритого подбородка. В классе жила легенда о том, как Толян занял первое место в городе по боксу. Это было в четвертом классе. Толян оказался единственным в своей возрастно-весовой категории. Физрук выставил его и не промахнулся. Толян был единственным чемпионом по боксу, которого никто не ударил.

Его любили и уважали. Он был бессменным старостой нашего класса. Довольно быстро мы перешли от обмена деталями к совместной работе. Каждый наш проект назывался «утопией» и имел порядковый номер. Некоторые из утопий осуществлялись. Например, мы радиофицировали школу и обслуживали школьные танцы, сидя в радиорубке. Наши экспонаты регулярно выставлялись на технических конкурсах.

Учительница физики Глория Федоровна гордилась нами и просила подготовить очередной экспонат перед каждой городской выставкой. Снабжать нас деталями Глории Федоровне не приходило в голову, несмотря на то, что физический кабинет был набит списанной с флота техникой.

Детали приходилось красть.

Честность Толяна была изумительной. Тем не менее он шел на операции в интересах дела. Мы оставались в физическом кабинете после уроков. Толян как наиболее честный из нас беседовал с Глорией Федоровной об очередном физическом законе. Это радовало физичку, и они совместно обсуждали тонкости. Я делал вид, что жду друга. На самом деле я выполнял черновую техническую работу.

Прислушиваясь к их голосам, я бродил по кабинету с кусачками и отверткой в кармане. Я работал профессионально. Откусить от схемы конденсатор или сопротивление, вынуть из панельки лампу, отвинтить дроссель, сунуть за пазуху прибор непонятного назначения — все это было делом секунд. Толян не успевал исчерпать запас знаний Глории Федоровны, а я уже был набит деталями. Мы вежливо прощались и шли делить добычу.

Через месяц детали возвращались в физкабинет в виде звукового генератора, приемника или УКВ-радиостанции. Глория Федоровна торжественно несла их на выставку. Школа получала дипломы. Ни разу ни одна из похищенных деталей не была опознана Глорией Федоровной. Это утешало нашу совесть.

Мы модернизировали процесс подсказки. В классе, в щелях между половицами, мы протянули провода, которые кончались контактами у доски. В подошвах своих башмаков мы тоже сделали контакты. Тонкие провода вели под одеждой от ботинок к воротнику, где был спрятан маленький телефон. Система была примитивной, но работала. Правда, трудно было одеваться с проводами.

Еще труднее было попасть ботинками на контакты у доски.

Толян водил машину и знал ее назубок. Он умел работать на станках. Он мог сделать своими руками любую деталь любого технического прибора. Мне не хватало терпения, я чаще генерировал идеи, чем доводил их до блеска. По-моему, мы хорошо дополняли друг друга. Толян научил меня тому, чему не успел научить старшина-сверхсрочник.

Толян любил девочку из нашего класса. Мне казалось, что он излишне ей предан и давно пора выкинуть ее из головы. Но Толян ходил с нею до десятого класса, и она привыкла к нему. Они вместе поступили в институт, проучились до конца и стали работать в одном институте.

А потом она вышла замуж за другого. Через некоторое время женился и Толян. Это произошло уже гораздо позже моего отъезда из Владивостока. Не знаю — что у них там произошло. Мы никогда не разговаривали с Толяном на такие темы.

Десять лет назад Толян утонул в Амурском заливе, поехав на рыбалку. Он не увидел своего сына, который родился через пять месяцев. Сына назвали Толей.

13

Живя в доме за железным забором, я остро чувствовал свой комплекс полноценности. У меня было все, что можно пожелать. Здоровье, недурная внешность, обеспеченные родители, отдельная комната для занятий, увлечения делами и любовные (о них вскоре), друг и товарищи, брат и сестра. Часовой с карабином охранял мой сон.

Я знал, что многие мои одноклассники этого не имеют.

Отношение школьных учителей ко мне было двояким. Одни относились к комплексу спокойно, другие нет. Последние не упускали случая, чтобы кольнуть меня высоким положением отца. Мол, некоторые полагают, что им все дозволено. Это меня огорчало и было ложкой дегтя в бочке моего комплекса.

Среди сверстников по-прежнему ценились личные качества: сила, ловкость, смелость, предприимчивость.

Как и в детстве, я страстно хотел завоевать авторитет товарищей личными качествами. На этот раз я избрал не курение и матерщину, а нечто совершенно противоположное. Я выбрал спорт.

Я записался в секцию легкой атлетики и начал регулярно ее посещать.

Очень скоро я открыл в себе новые качества: азарт и честолюбие. Сейчас я понимаю, что они необходимы и полезны. В разумной мере, конечно. Но тогда я испытал неловкость, потому что приписал их тому же комплексу полноценности.

Я с азартом вступал в любые состязания и непременно хотел их выиграть. Конечно, я немного хитрил. Я уклонялся от состязаний, требующих грубой силы,— толкания ядра, например — и с удовольствием соревновался в беге, прыжках, спортивных играх, требующих ловкости, быстроты и сообразительности. У меня обнаружились хорошие физические данные.

Таким образом, испытывая некоторую неловкость от наличия комплекса, я всеми силами старался его укрепить. И мне это удалось.

Вскоре я уже был чемпионом и рекордсменом школы. Еще через год я выиграл первенство края и попал в состав сборной. К концу десятого класса я был чемпионом края среди взрослых, спортивной звездой первой величины, и мой портрет висел в краевом Доме физкультуры.

Оказалось, что избавиться от комплекса полноценности так же трудно, как от противоположного.

Я гордился тем, что заслужил собственную славу и выбрался из-под начальственной тени отца. На самом деле — помнили и то и другое. «Конечно, дорога

в институт тебе открыта,— говорили те же учителя.— Мало того, что у тебя отец, ты и сам великий спортсмен...»

И я снова испытывал гордость и стыд.

Мне кажется, что комплексы являются врожденными. Я и теперь обладаю комплексом полноценности и считаюсь удачливым, счастливым человеком с легким характером и мизерными проблемами.

Насчет характера не спорю. Не вижу в этом ничего дурного.

Относительно же проблем — давайте не будем! Давайте не будем ставить себя в исключительное положение. Давайте не будем отказывать в праве на страдание улыбающимся людям. Им просто неловко рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом в непосредственной близости от окружающих. Они делают это дома, запершись в ванной и рассматривая свое опостылевшее лицо в зеркале эмалированного шкафчика, измазанном зубной пастой.

Право на страдание есть у всех, как на труд и на отдых.

А что касается профессиональных страдальцев и нытиков — я их презирал и буду презирать.

14

Настало время рассказать о любовных увлечениях в юности. Делаю это с удовольствием. Почему-то всегда приятно вспоминать, каким ты был ослом.

Тут я, возможно, буду путать понятия любви и чувственности, потому что не умею проводить между ними границу. Я хочу сказать, что являюсь обыкновенным продуктом эпохи, никак не образованным в науке отношений между полами.

Мою первую любовь, Иру из седьмого класса, я забыл быстрее номера ее телефона. Передо мной открывались юность и Дальний Восток, похожий на Дикий Запад. Меня ждали туземки и индианки.

Воспоминания о первой индианке — это сплошная чувственность. Извиняться не буду. В конце концов, мне надоело извиняться. Я не хочу приукрашивать свой портрет.

На дачу, о которой я уже упоминал, приехали гости. Это были друзья отца. Они привезли с собою дочь семнадцати лет. Мне в то лето еще не исполнилось пятнадцати. Дочку звали Вера. Она была уже вполне оформившейся девушкой, как я сейчас понимаю.

Не помню, чем мы занимались днем. Вероятно, Вере было скучно с малышами — мною и моим одиннадцатилетним братом. Вечером нас уложили спать в одной комнате. Вера заняла кровать брата, я спал на своей, а брат устроился на раскладушке. Между мною и Верой был стол.

Я никак не мог заснуть. В комнате было темно. Вера не шевелясь лежала в постели. Брат заснул сразу. Я водил языком по пересохшему нёбу. Язык тоже был сухим.

— Принеси воды,— вдруг тихо приказала Вера.

Я встал и на цыпочках направился в кухню. Дом уже спал. Подушечками пальцев я ощущал холодный крашеный пол. Я ни о чем не думал, только боялся, что проснется мама. Сердце стучало в майку. Я зачерпнул кружкой воды из ведра и пошел обратно, не слыша себя.

— Вот,— прошептал я, протянув руку в темноту.

Ее пальцы коснулись моего локтя и, спустившись по руке, нашли кружку. След этих пальцев ослепительно вспыхнул в темноте. Она взяла кружку, а я остался стоять с протянутой рукой. Мне казалось, что рука стала бесконечной и превратилась в ее длинное прикосновение.

Так я стоял, пока холодная кружка не ткнулась мне в ногу повыше колена.

— Попей,— сказала Вера.

Я опустил руку и схватил кружку за ободок. Постукивая зубами о край кружки, я глотнул воду. Что мне делать дальше — я не знал.

— Чего ты стоишь? — спросил ее голос.

Я вдруг улегся на стол животом и свесил голову к ее подушке. Рука с кружкой существовала где-то в пространстве. Другой рукой я держался за край стола.

Из темноты выплыло ее лицо. Оно коснулось моей щеки, и мягкие губы

поползли по ней к моим губам. Я повернул голову, и ее губы оказались у другой моей щеки. Рука с кружкой вдруг вернулась ко мне. Я почувствовал, что она напряженно застыла в воздухе над раскладушкой брата.

— Поставь кружку,— сказала она.

Легко сказать! Я не знал, куда ее поставить. Тогда Вера снова избавила меня от кружки, поставив ее на пол. У меня появилась рука, ладонь и пальцы.

Дальше были прикосновения — без слов и без поцелуев. Моя свободная рука нашла ее и тихо-тихо двинулась в путь, ужасаясь происходящему. Рука думала отдельно. Я же не думал совсем, а только касался ее лица неподвижными губами. Рука нашла пуговку на спине и удивилась. Ее пальцы пропутешествовали по моему затылку к шее. А мои пальцы поехали куда-то по узенькой и гладкой полоске материи. Уши горели. Одним из горячих ушей я ощущал жар ее дыхания. Моя рука пробралась к ее груди, и я почувствовал, что теряю сознание.

Тут проснулся брат и приподнялся на раскладушке.

— Ты чего на стол залез? — спросил он.

Мы с Верой отлетели друг от друга бесшумно, как тени. Я услышал, как противно скрипнуло о пол днище кружки. Кружка полетела по воздуху, и раздался глубокий спасительный звук глотка.

— Жарко...— вздохнула Вера.— Хочешь воды? — спросила она брата.

Сонный брат нехотя выпил воды. Я стал сползать по столу на животе к своей кровати и упал в нее наоборот, оказавшись ногами на подушке. Переворачиваться я не решился, а только перетянул по себе подушку к голове, перевел дух и прислонился щекой к ледяной никелированной спинке кровати. Потом я заснул.

На следующий день Вера вела себя так, будто ничего не случилось. Вообще ничего. Мне даже стало казаться, что это был сон. Я ощущал досаду. Я был уверен, что ночная тайна связала нас на всю жизнь. Но напомнить об этом я не решался.

Оказалось, что близость — а это и было тогда близостью для меня — не имеет решающего значения. Открытие меня ошеломило и продолжает ошеломлять до сих пор, правда, в сильно разбавленном виде. До сих пор я испытываю недоумение, когда обнаруживаю, что ночные страсти, прикосновения, разговоры — наутро исчезают куда-то, затихают, обесцвечиваются и, во всяком случае, не способны перевернуть жизнь вверх дном.

Мы с Верой пошли на пляж и купались. Потом мы укрылись в душевых кабинках, чтобы смыть соленую морскую воду. Женская и мужская кабины разделялись деревянной перегородкой, в которой были просверлены дырки. Они не были даже замаскированы.

Я прильнул к одной из них глазом. Холодная вода падала на меня из душа. Я трясся всем телом, зубы стучали. За перегородкой в тонких струйках воды стояла Вера. Плавными движениями рук она омывала тело. Не знаю, приходило ли ей в голову, что перегородка усеяна отверстиями. Во всяком случае, она вела себя совершенно спокойно и артистично.

Я же дрожал, повторяю.

В мою кабину вошел какой-то мужик, и я отпрянул от дырки. Мужик стукнул меня кулаком по заду, ухмыльнулся и сам припал глазом к отверстию. Я в ужасе выскочил из кабинки, едва успев натянуть трусы.

Этот опыт чувственности не повлиял заметно на мою жизнь. В последующие два года ничего похожего не случалось. Были школьные увлечения, которые проносились с пугающей быстротой. Я был тщеславен. Девочки из нашего класса меня не интересовали. Но я совершенно преображался, когда чувствовал внимание посторонних девочек.

В девятом классе я испытал любовь десятиклассницы. Ее звали Таня. Она пела эстрадные песенки на школьных вечерах, то есть была в некотором роде звездой. Я тоже был звездой, но спортивной. Мне передали, что она интересуется мною. Я испытал страшную гордость и возвысился в собственных глазах.

На очередном вечере я пригласил ее танцевать, а потом пошел провожать. Мы молчали. Возможно, что-то зарождалось в наших душах, но зародиться не успело. У подъезда ее дома стояли двое. Когда мы подошли, я узнал в них ее одноклассников. Один из них без лишних слов стукнул меня в грудь. Я покачнулся, но не ответил. Я понимал незаконность своих притязаний.

Таня молча скользнула в подъезд, оставив нас выяснять отношения. Но выяснять было нечего. Второй тоже сунул мне кулаком в грудь, однако не очень сильно. Он явно выполнял формальность. Я вяло ударил его в плечо, и мы тут же разошлись.

Вот так кончилась эта любовь. Пожалуй, она была рекордно короткой.

Следующей была девочка на год младше меня. Она училась в восьмом классе. Ее подружки передали мне записку — удивительно глупую и претенциозную. Я тогда этого не понимал. Мне льстило женское внимание.

Мы пошли с нею в кино. Фильм оказался хорошим. Он назывался «Дом, в котором я живу». После сеанса я шел и думал о людях, которых увидел на экране, о девушке, которая погибла, и в голове у меня вертелась простая и трогательная песенка из этого фильма.

И тут моя подружка сказала какую-то чепуху и глупо захохотала. Этого оказалось достаточно, чтобы любовь, не успев вспыхнуть, снова погасла. Мне стало досадно.

— А у меня завтра день рождения,— сказала она.— Я тебя приглашаю. Ты придешь? придешь?..

И стала заглядывать мне в глаза.

— Приду,— буркнул я.

Я подумал: «Ладно уж, приду, так и быть, а то получается что-то слишком ветрено с моей стороны». Я полагал, что будет обычный день рождения: мальчики, девочки, танцы под радиолу... Как бы не так!

Я пришел с большой коробкой конфет и с цветами. Как жених. Дома были она и ее родители. Небольшой круглый стол был накрыт на четверых. У меня упало сердце. Я почувствовал, что сравнение с женихом не слишком преувеличено.

Отец помог мне снять плащ и повесил его на вешалку. Мать смотрела на меня добрым испытующим взглядом. Он накладывал на меня великую ответственность за все, что произошло и когда-либо произойдет с ее дочерью.

Меня усадили за стол и открыли шампанское. Жуткая тоска проникла в мое сердце. Дверца мышеловки захлопнулась. Теперь я как честный человек обязан был жениться. Эта мысль предстала предо мною во всей неотвратимости. Мне стало жаль себя — слишком юного, не успевшего вкусить.

Между тем родители повели со мною светскую беседу. Я отвечал учтиво, но без душевного подъема. Я старался показаться скучным и туповатым субъектом. Это давало маленький шанс на спасение.

— Леночка, угости Петю печеньем,— сказала мама.— Вы знаете, Леночка сама его пекла,— обратилась мама ко мне.

Я покорно взял печенье. С трепетом я ожидал рокового вопроса: «Когда же свадьба?» — или чего-нибудь в этом роде. Но вопрос почему-то не прозвучал. Мне удалось вырваться на улицу. Я шел домой и пел песни, с удовольствием вдыхая юный воздух свободы.

Потом я стал избегать Лену.

Я прятался от нее как мог — в школе и на улице. Она записалась в мою спортивную секцию и дважды в неделю являлась на тренировки в черных широких трусах, обтягивавших ноги резинками. Эти трусы окончательно стерли остатки теплых чувств в моем сердце. Я не разговаривал с нею, словно вспомнил вдруг, что мы незнакомы.

Она поймала меня на предмет серьезного разговора после зимнего первенства города. Я занял первое место и шел домой в упоении. Брат тащил рядом мою спортивную сумку, как оруженосец. Вдруг я услышал позади противный мелкий стук каблучков. Я сразу догадался.

Она поравнялась со мною и, придав брату легкий, но повелительный импульс в спину, сказала ему:

— Оставь нас наедине!

Брат посмотрел на меня с сочувствием, но повиновался.

Она изобразила на лице сложную гамму чувств. Я ничего не изобразил, кроме унылого ожидания. И тут она выдала классическую сцену оскорбленной и покинутой невинности. Я почувствовал себя законченным подлецом. Вместе с тем решимость никогда и ни при каких условиях не жениться на ней — окрепла необычайно.

Она заплакала натуральными слезами, чем только ожесточила мое сердце.

— Я никогда, никогда больше не встречу никого! — всхлипывала она.— Это останется со мной на всю жизнь.

— Встретишь... — вяло возразил я.

— Не смей так говорить! — топнула она ножкой.

С трудом удалось ее успокоить. У своего дома она утерла слезы и попыталась улыбнуться.

— Расстанемся друзьями,— сказала она вычитанные где-то слова.

Как я узнал позже, она выскочила замуж сразу после выпускных экзаменов на аттестат зрелости.

Вышеперечисленные любови были исключительно целомудренны, хотя едва не привели к женитьбе. Во всяком случае, не было даже поцелуев. Это обстоятельство огорчало меня, потому что целоваться хотелось. То есть не то чтобы хотелось — просто являлось общепринятым. Отсутствие поцелуев делало любовь неполноценной.

Я твердо решил избавиться от этого недостатка и поцеловать какую-нибудь девушку. Очень кстати явилась и девушка. Это было после девятого класса, на той же даче, где я два года назад несколько ускорил события в ночном приключении с Верой. На соседней даче отдыхала семья капитана первого ранга. Его дочка была черненькой, хорошенькой, пухлощекой, с роскошной косой.

Мы качались на качелях, и она обнимала руками широкую юбку. Мы гуляли по вечерам, и наши щеки пылали. Рядом с нами всегда вертелся мой брат. Вообще, во всех моих любовных начинаниях или окончаниях брат играл скромную, но постоянную роль.

Очень скоро он стал нам мешать. Во взглядах и движениях моей новой возлюбленной появилась досада. Каникулы кончались. Вскоре она должна была уехать с семьей в свой военный городок, где была военно-морская база, а поцелуй медлил исполнением.

Произошло все внезапно. Однажды, в очередной раз проводив ее вечером до калитки, я увидел, что брата отвлекли поиски светляков. Он шарил в траве, выискивая и пряча в горсти крупные синеватые звездочки. Я уже отпустил возлюбленную за калитку, не выпуская, впрочем, ее руки из своей, но мгновенно оценил обстановку, притянул девушку к закрытой калитке и быстро чмокнул в щеку, на которой лежал изящный маленький завиток. Собственно, чмокнул в завиток.

Она с готовностью подставила лицо, прикрыла глаза, и мы стали целоваться уже всерьез, пока не заметили, что нам что-то мешает. Это была калитка с заостренными полосками штакетника, которая находилась между нами. Ребра штакетника весьма чувствительно упирались в грудь, а заостренные концы вонзались в подбородок. Однако открыть калитку было нельзя, ибо для этого пришлось бы хоть на миг оторваться друг от друга. Так мы обнимались — возлюбленная, я и калитка,— пока брат не принес полную пригоршню светляков. Я одарил ими возлюбленную. Она украсила свою черную широкую косу и ушла по дорожке, мерцая в темноте, как маленькое удаляющееся созвездие.

После этого до последнего дня каникул мы целовались каждый вечер с отчаянной добросовестностью дилетантов, которым поручили трудную профессиональную работу. Брат был тактичен и предан. Он истребил всех светляков в поселке. В его взгляде я читал стойкое непонимание необходимости наших долгих и бессмысленных занятий.

И эта возлюбленная испарилась из моей памяти быстрее летнего утреннего тумана, выражаясь изысканно и фигурально.

Если вам не надоело мое безудержное донжуанство, могу сообщить, что подобных романов до моей женитьбы было еще несколько. Все они стремительно развивались до первого поцелуя, а дальше замирали в недоумении. Что могло быть дальше?.. Я этого не знал. Обрывки искаженных сведений о жизни мужчин и женщин, почерпнутые на улице, образовывали в моем сознании грубую и пугающую картину. Интимная жизнь казалась стыдной и непристойной.

Все это привело к тому, что я женился двадцати лет на девушке, которая имела еще более туманные представления о любви. О наших совместных поисках истины можно написать отдельную поучительную книгу. Это была бы очень

смешная и грустная книга. Это была бы книга о том, как двое молодых людей, знакомых с функциями Лагранжа и историческим материализмом, вынуждены были самостоятельно изобретать велосипед. Я опять выражаюсь фигурально. К сожалению, в нашем языке слишком мало слов, которыми можно пользоваться для описания всех этих дел, не нарушая приличий.

15

Сейчас я хочу рассказать о тех общественных потрясениях, которые заметно повлияли на мое мировоззрение.

«Мировоззрение» — пожалуй, слишком громкое слово. Я до сих пор не уверен — есть ли оно у меня. В таком случае, если угодно, я расскажу о событиях, которые привели к отсутствию мировоззрения.

В детстве я был тихим конформистом. Мои родители были членами партии. Я занимал небольшие руководящие посты в школьной пионерской организации. Я любил гладить утюгом шелковый красный галстук и сам пришивал к рукаву белой рубашки лычку звеньевого.

В вестибюле школы висел большой транспарант. На нем было написано: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» На пионерских слетах и торжествах я пел в составе мужского квартета. Мы пели песню «По улицам шагает веселое звено» и еще одну, текст которой сейчас утерян. Восстанавливаю его по памяти. Мы пели так:

Русский с китайцем — братья навек.
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек.
Сталин и Мао слушают нас.

Здесь все ложь — от первого до последнего слова. К сожалению, я узнал это значительно позже. А тогда я пел, выпятив грудь с галстуком, и мне казалось, что Сталин и Мао и впрямь нас слушают.

Однажды произошел эпизод, который я запомнил. Что-то я ощутил в тот момент. Я понял, что не все так безоблачно, как написано на транспаранте. В те годы я еще не знал, что отец сидел в тридцать седьмом году.

Так вот. На первомайских парадах над Красной площадью пролетали самолеты. Было известно, что первый самолет, четырехмоторный бомбардировщик типа «летающая крепость», ведет Василий Сталин, сын Иосифа Виссарионовича. Василия Сталина обычно сопровождал эскорт истребителей.

Направляясь к Красной площади, Сталин пролетал над крышей нашего дома. В тот день отец не пошел со мною смотреть парад, и мы прогуливались с ним во дворе. Вокруг была музыка первомайского дня, воздушные шарики, леденцы на палочке и бумажные мячики, набитые опилками. Мячики прыгали на тонких резинках.

Я бросал мячик, и он возвращался ко мне. Внезапно послышался гул самолетов. Я поднял голову и увидел «летающую крепость», по бокам которой, чуть впереди, неслись две пары истребителей.

Истребителям положено было лететь чуть позади. Эскорт явно опережал Василия Сталина и мог прибыть на площадь раньше него.

— Сталин отстал! Сталин отстал! — завопил я в восторге, тыча в небо пальцем.

Отец подбежал ко мне и зажал мне рот ладонью. Это было так неожиданно, что я растерялся. Отец побледнел. Я впервые увидел на его лице выражение страха.

— Не ори глупости! — тихо сказал он и снял ладонь с моего рта. Потом он вдруг покраснел, засунул руки в карманы, резко повернулся и ушел. Я остался стоять с открытым ртом. Я даже не спросил — почему нельзя обратить внимание окружающих на забавный эпизод в небе.

Память у меня, надо сказать, дырявая. Но этот случай я помню очень хорошо.

Смутно запомнилось еще какое-то «дело врачей». В журнале «Крокодил»

были нарисованы противные люди в белых халатах, с длинными хищными пальцами, с которых капала кровь. Примерно в то же время из нашего класса ушел Яша Тайц. Он жил по соседству в красном кирпичном доме, где было много профессоров, а потом уехал жить куда-то в другое место.

Затем Сталин умер. Об этом я уже упоминал. В скором времени разоблачили Берию. Мы пели частушку «Берия, Берия вышел из доверия!». И нас не очень занимал вопрос — каким же образом ему удалось войти в доверие?

Сталина положили в Мавзолее рядом с Лениным. Это было естественно и справедливо. Сталин лежал в форме генералиссимуса. Там еще оставалось много места. Я ходил с отцом смотреть Сталина. Тогда я подумал, что Мавзолей специально сделали попросторнее, чтобы хватило на всех. Теперь я думаю, что он не такой просторный, как кажется.

Двадцатый съезд случился, когда мне шел шестнадцатый год. Это было уже во Владивостоке. И вот тут-то я ощутил тот великий стыд, о котором уже говорил. Я читал газеты и думал. Я разговаривал с отцом. «Как же так? Неужели никто не знал?» — спрашивал я с юношеским негодованием. «Кто-то знал. Кто-то догадывался. Большинство думало, что так надо»,— сказал отец. «Но почему же никто не сказал правду?» — «Когда ты вырастешь и захочешь сказать свою правду, ты поймешь, что это не так просто».

Сейчас я это понимаю.

Мне дали хороший урок безверия. Я чувствовал себя виноватым перед расстрелянными и замученными. Так, вероятно, бывает, когда узнаешь о предательстве любимого человека.

Я опять испытал стыд и гордость. Гордость за то, что правда сказана, и стыд перед всем миром, что она так долго была беспомощна перед ложью. Потом я стал думать, что все относительно,— нет ни правды, ни лжи, а есть лишь меняющаяся точка зрения. Ради удобства можно называть правдой любую ложь, можно даже заставить себя поверить в нее, и все-таки...

Все-таки правда абсолютна. В ее основе лежит чувство справедливости. Правда, как и Бог,— одна. Не случайно он ее видит, но не скоро скажет.

Предвижу яростные возражения и нападки. Особенно со стороны философов, которых, честно сказать, не люблю. Они способны запутать любое дело. А правда, кроме всего прочего,— проста.

Прошу также помнить, что я человек без мировоззрения. Мне его заменяет ирония.

Я не думаю, что ирония лучше мировоззрения. По правде сказать, она мне здорово надоела. Ирония — опасное состояние ума, разъедающее душу. Она очень удобна, когда речь идет о том, чтобы выжить в обстановке беспросветной глупости и лжи. Она улыбается над всякой позицией, требующей активных действий. Ирония пропитана скепсисом, как губка, которую подавали умирающему Христу,— уксусом.

Скепсис и уксус — очень похожие слова.

Отец говорил мне, что я аполитичен. Это его огорчало. А-политичен, бэ-политичен, вэ-политичен и так далее, до конца алфавита... Я-политичен.

Мне очень хотелось бы узнать — каким образом из пионерского мальчика с искренним выдохом на губах «Всегда готов!» — получился рефлексирующий ироничный субъект, готовый разве что грустно улыбаться над явлениями жизни. Когда это произошло? Кто виноват в этом?

16

После легких и приятных волнений юности настала пора избрать жизненный путь. В вопросах выбора этого пути существует явная недоработка. Я хорошо и ровно учился по всем предметам. Меня увлекали на разных этапах математика, физика, химия, девушки, спорт и литература.

История меня тоже увлекала, как вы поняли из предыдущей главы.

Спорт и девушек в качестве направляющих жизненного пути я отбросил сразу. Правда, по-настоящему это удалось сделать только со спортом. Девушки еще долго влияли на конфигурацию жизненного пути. Но хватит об этом.

Почему-то в то время из поля зрения входящего в жизнь юноши совершенно выпадали такие нормальные человеческие занятия, как хлебопашество, слесарное или столярное дело, строительство, торговля и многие другие. Я говорю о юношах из так называемых «приличных» семей.

Выбор был таков: наука, искусство, военное дело.

Последнее, если говорить обо мне, фигурировало чисто номинально как наиболее простое. Отец легко мог составить мне протекцию в любое высшее военное училище. Именно поэтому мысль о таком жизненном пути сделалась мне ненавистной. Кроме того, я уже говорил о своем отношении к армии.

Я считал и считаю сейчас, что распространенная идея — идти по стопам своего отца — является неплодотворной. Она неплодотворна во всех случаях. И в том, когда отец добился на избранном поприще известных высот, и в обратном.

Порассуждаем на эту тему подробнее.

Допустим, что отец достиг в своей области совершенства или весьма к нему приблизился. Так обстояло дело у меня. Тогда дорожка оказывалась проторенной. Сын долгое время мог следовать по ней, находясь в начальственной тени отца. Имя сына вливалось в имя отца, ничего не прибавляя ни тому, ни другому. Быть всю жизнь лишь сыном своего знаменитого отца — скучная перспектива для честолюбивого юноши. А я, напомню, был честолюбив. Сыновьям известных отцов трудно утверждаться и легко жить. Может быть, одно вытекает из другого.

Вы скажете, что бывает иначе. Сын может превзойти отца. Да, но тогда это будет как раз обратный случай. Следовательно, отец не добился крупного успеха, и сын со временем затмил его. Такое бывает реже или просто менее известно. Этот случай, казалось бы, благоприятный для сына, тоже чреват неудобствами. Он не совсем этичен по отношению к отцу. Последнему, может быть, и все равно — но каково сыну? Каково ему думать об отце как о неудачнике и ощущать себя стоящим на его плечах?

Каково сознавать, что жизнь отца свелась лишь к расчистке пути?

Короче говоря, я настоятельно советовал бы молодежи уклоняться от жизненного пути отца и искать себя на других тропинках. По крайней мере, никому не будет обидно.

Мы выбрались из рассуждений и вернулись туда, откуда начали. То есть к моменту окончания мною десятого класса. Мы шли с отцом по берегу Амурского залива и говорили о будущем. Мое будущее рисовалось отцу блестящим — он верил в меня. Мне оно виделось тоже не менее грандиозным — но в какой области?

Архитектор? Журналист? Математик? Физик? Писатель, черт возьми?!

Сейчас мне тридцать семь лет. Я никогда не выезжал за границу. Моя фамилия известна на этажах дома, где я живу, и института, где я работаю. Тем не менее я довольно-таки счастлив, потому что этой известности я добился сам.

И дело вовсе не в известности.

Я стал физиком. В то время многие хотели стать физиками, химиками и инженерами. Сейчас почему-то нет. Кажется, я руководствовался желанием проникнуть в тайны материи. В тайны я не проник, но точные науки дали мне необходимое для жизни ощущение истины. Сознание того, что свою правду можно экспериментально проверить и математически доказать, очень помогает жить. Другими словами, мне радостно думать, что есть незыблемые вещи, вроде закона сохранения энергии, над которыми не властны мнения, постановления и исторические оценки. В окружающей нас жизни тоже есть такие вещи, но — господи! — сколько воды утечет, пока правда восторжествует.

17

Я был бы неправ, если бы в своей исповеди ни словом не обмолвился о жене. Собственно, уже обмолвился.

Я перевелся в Ленинград, окончив два курса института. Перевод был связан с новой службой отца. Я по-прежнему был комнатным домашним растением. Жизнь вне семьи пугала меня.

Менее чем через год я женился на девушке, которая училась со мною в одной группе.

Методика выбора жены еще менее разработана, чем методика выбора профессии. Я смутно надеялся, что судьба в нужный момент сведет меня с той, которая... И тому подобное. Я не прикладывал к этому никаких усилий. Моя будущая жена еще менее того. Она даже активно сопротивлялась. Но судьба сделала свое дело на самом высоком уровне, направив нас друг к другу и бережно подталкивая до самых дверей Дворца бракосочетания.

Внешне все выглядело исключительно безответственно. Но в этой безответственности проглядывала неукоснительность, характерная для законов материи.

Она мне понравилась. Я ей не очень. Это меня обескуражило. Я привык нравиться. Клянусь, она не кокетничала. Она не умела и не умеет этого делать.

Я стал ходить за ней. Она стала бегать от меня. Я убеждал ее, что в нашей встрече есть какой-то смысл. Ее упрямство могло поколебать мой комплекс полноценности, к которому я уже привык. Мы занимались физикой и математикой. Мы доказывали вместе теорему Коши. Поясню для непосвященных — это знаменитая и довольно тонкая теорема о существовании и единственности решения системы дифференциальных уравнений. Мы успешно доказали ее на экзамене.

Вот уже семнадцать лет мы доказываем теорему о существовании и единственности нашей семьи. Мы запаслись такими крепкими аргументами, как двое детей, общий круг друзей, дружба и понимание. Не говоря о квартире и хозяйстве.

Я уверен, что задача имеет решение. Но доказательство много труднее того, что придумал Коши. Оно требует постоянных душевных сил и терпения.

А началось все с того, что после весенней сессии нам вздумалось вместе поехать на юг. Мы сообщили об этом родителям. Тогда еще было принято это делать. Мои родители пожали плечами. Ее родители изумились. Они напомнили нам, что мы не муж и жена, а следовательно, не имеем права на подобные поездки.

— Ах, так! — сказал я.— В таком случае доставим им это маленькое удовольствие.

Таким образом женитьба стала способом проведения летних каникул. Дальше мы не заглядывали. Я думаю, что если бы мы заглянули дальше, то стали бы раздумывать и сомневаться. Но в двадцать лет не раздумывают — и правильно делают.

Я взялся за дело с присущей мне в те годы энергией.

Сначала я обработал маму. Ее легко убедить. Потом мы вместе навалились на отца. Он был недоволен. Ранний брак мог помешать моему блестящему будущему. В конце концов он сказал — делай как знаешь.

Мы познакомили родителей. Об этом нужно писать отдельно. Дело было улажено, и мы стали готовиться к свадьбе. Кажется, мы оба испытывали неудобство и смущение от своего раннего брака. Нам казалось, что над нами будут смеяться.

Надо сказать, что тогда сначала договаривались жениться, а потом выясняли некоторые подробности, связанные с браком. Я не уверен, что это самый правильный способ, но и другой вызывает во мне смущение.

Отец уехал в командировку. Мы сидели рядышком и строили планы. Ее родители были на даче. Вечером я позвонил маме и решительно заявил, что домой сегодня не приеду. Мама только охнула в трубку. Конечно, если бы дома был отец, я никогда бы не решился на такой дерзкий шаг.

Я остался у моей милой и любимой, чтобы начать с нею поиски истины, о которых уже говорил. Учитывая нашу теоретическую подготовку, это было смешное и трогательное занятие.

Утром я впервые в жизни проснулся в незнакомой постели. Рядом спала моя жена. Она была очень хороша во сне — волосы разметались по подушке, лицо светилось.

Но разглядывать ее не было времени, потому что проснулся я от того, что в замке поворачивался ключ. Я вскочил с кровати и одним движением натянул трусы, дико озираясь. Жена мгновенно проснулась и прошептала:

— Это папа! Я думала, он не приедет...

— Думала, думала! — прошипел я.— Лучше скажи — куда мне деваться?

Она вдруг уронила руки и засмеялась совершенно безответственно. Мне же было не до смеха. Ее отец уже шаркал ногами в прихожей. Я вылетел на балкон и прижался лопатками к кирпичной стене.

Сейчас я представляю, каким идиотом выглядел я в тот момент на балконе. Вид снизу: молодой человек в синих сатиновых трусах, прижавшийся спиною к стене, будто балансирующий на карнизе. На лице сумасшедшее выражение. Кстати, оно возникло в первую же секунду, когда в голове промелькнула мысль: «Ботинки!» Конечно, мои ботинки сорок второго размера все еще торчали посреди прихожей. Они наверняка не догадались выпрыгнуть в окно. Равно как и брюки.

— Ну, выходи! Простудишься,— раздался голос ее отца из комнаты.

Я вышел и вытянулся перед ним, потупившись. Голый человек совершенно беспомощен перед одетым. Жена спряталась с головой под одеялом. У меня мелькнула мысль, что сейчас нам не разрешат жениться. Хотя теперь-то на этом стоило бы настаивать.

Мы выслушали небольшую лекцию о нашем моральном облике. До свадьбы было девятнадцать дней. Жена заплакала под одеялом. Ей было стыдно. Мне разрешили надеть брюки. Ко мне вернулось самосознание.

После свадьбы мы почему-то не поехали на юг, а отправились в деревню. Мы спали на сеновале, а днем бродили по лесу. Вокруг звенел и жужжал июль. Солнце каталось по небу слева направо. Мы падали в траву, как скошенные цветы, и касались друг друга лепестками. Задумчивые божьи коровки взлетали с наших ладоней, как с аэродромов. «Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают конфетки». На облаке сидел бородатый бог и укоризненно покачивал головой. Впрочем, он одобрял нас. Браки заключались на небесах, как я выяснил позже. Вероятно, богу весело и забавно было смотреть на детей в высокой траве.

Через месяц жена сказала, что у нас будет дочка.

Я не оговорился насчет дочки. Жена всегда знает все наперед. Когда я прошу объяснить мне научно источники ее знания — она только беспомощно улыбается. Видимо, у нее завязались дружеские отношения с господом богом еще там, в деревне, посредством божьих коровок.

18

Я думаю, что пора заканчивать автобиографию. К двадцати годам человек накапливает почти все, необходимое для выживания. Дальше он начинает понемногу терять. О некоторых потерях я уже говорил.

В сущности, достаточно иметь очень немного. Одну мать, одного отца, одного брата, одного друга, одну любовь, одну жену, одно дело, одну страну, один язык.

Обо всем этом я и рассказал.

И множество обстоятельств жизни, из которых получаются взгляды и сомнения.

Меня берет сомнение — кому нужна моя исповедь? Не злоупотребил ли я вниманием? Я не космонавт, не олимпийский чемпион, не народный артист, не академик и не Герой Социалистического Труда. Я вообще не герой. Героического крайне мало во мне.

У каждого хватает своих забот. У многих жизнь складывается так, что им недостает даже того малого, что есть у меня. Так зачем, спрашивается, я лезу со своей исповедью, если точно такая же есть в запасе у вас, вашей жены и друзей? Не лучше ли было сочинить что-либо необыкновенное и потешить публику исключительным и неповторимым?

Этак каждый начнет писать исповедь!

Я отвечу — и прекрасно! Пускай каждый напишет о себе правду и даст почитать другому. Мне кажется, что это будет способствовать взаимопониманию. Кроме того, пишущий исповедь убедится, что ничего исключительного в нем нет, что все мы похожи в главных чертах и каждый является типичным представителем своего поколения и социальной группы.

Как убедился в этом я.

Все мы в школе писали сочинения о типичных представителях. Могло создаться мнение, что типичный представитель — это нечто вроде унифицированного блока телевизора. Он построен из стандартных деталей по стандартной схеме. Между тем каждый типичный представитель у классиков имел свой дом, свою бабушку и маму, свои приключения и находки. Что же делало его типичным представителем?

Образ мыслей.

Удивительное дело — мысли у всех разные, а образ мыслей один. Я долго сопротивлялся тому, чтобы признать себя типичным представителем. Мне казалось, что во мне есть нечто неординарное, и мысли иной раз приходили в голову дерзкие и решительные. Я смотрел телепередачи, читал книги про тружеников наших полей и заводов и думал, что мое лицо не такое. Вот они и есть типичные представители, а я нетипичный, особый, ищущий и размышляющий.

Мне казалось, что я все понимаю. А иногда казалось, что я ничего не понимаю. Я не понимал, почему мы сами себя хвалим, почему черное то и дело называют белым и почему мой образ мыслей — как бы выразиться поточней? — мало соответствует общепринятому образу мыслей советского человека. Последнее меня огорчало. Я уже готов был поверить в то, что мои глаза устроены как-то иначе. Они устроены негативно и видят белое черным, в то время как нормальные люди видят правильно. Белое — белым, а черное — тоже белым.

В таких условиях я не мог считать себя типичным представителем.

Чтобы не выделяться, я начал прикидываться дурачком. Оказалось — это удобно. С дурачка какой спрос? Он даже если что и ляпнет невпопад, и назовет черное черным — так это по дурости. Над ним можно посмеяться.

Мне не нравилась моя двойственность, потому что в душе я считал себя человеком серьезным, и сердце у меня болело по поводу глупостей и лжи.

Я склонен был винить себя. Мне очень хотелось пристроиться и шагать в ногу, с песнями, с большой и широкой гордостью за себя и страну.

Но присмотревшись повнимательнее, я увидел, что напрасно приписываю себе оригинальность. Оказалось, что большинство людей видят то же, что вижу я. И вовсе не прикидываются при этом дурачками. Они просто делают свое дело, а сердце болит у них не меньше моего.

Написав исповедь, я окончательно убедился в том, что являюсь типичным представителем. Ничего не было в моей жизни такого, чего бы не было ни у кого. Различия характеров не имеют значения. Все или почти все размышляют о жизни и приходят к невеселым выводам.

Я же пришел все-таки к одному веселому выводу. Нас много, типичных представителей. Мы сумели, оставаясь типичными представителями, не озлобиться, не потерять веры в людей и не стать циниками.

И это самая громкая фраза, какую я могу себе позволить.

19

С чувством глубокого удовлетворения заканчиваю я свой рассказ. Как и все советские люди, я не лишен некоторых недостатков и постарался по возможности честно о них написать. Весь наш народ и его вооруженные силы вряд ли прочтут мою исповедь. Да им и не надо.

Вот видите? Снять маску дурачка так же трудно, как избавиться от употребительных словосочетаний.

А насчет удовлетворения — оно у меня средней глубины. Я не знаю, добился ли я своей цели. А цель состояла в том, чтобы написать о себе, не стараясь показаться хорошим. По-моему, я все-таки старался. Как сказал один юморист — проблема положительного героя легко решается, если сочинение автобиографично. А оно у меня именно таково. Мне не хотелось бы внушать вам отвращение.

Я еще исправлюсь, если смогу.

1978 г.

Стихи молодых

Сергей Скверский

* * *

Когда б вы знали, из какого сора —
Что там стихи — мы сами проросли.
Травою времени средь низости и вздора —
Вовсю пылали щеки от позора
И гнева — сколько мы перенесли

От подлого, как нас оно топтало,
От скольких не осталось ни следа.
Но то, что выстояло в нас,— произрастало
Назло ему, чтоб всем понятно стало —
Не лопухи. Не лебеда.

* * *

Какой-то странный он и даже глуповатый —
Чуть глуховатый, чуть подслеповатый,
Сосредоточенный все время на своем,
Рассеянный, немножко инфантильный —
Смешной чудак, кочующий по фильмам
Конца тридцатых. Помнишь? — Соловьем
О жизни радостной поет энтузиастка,
Рабочий мудрствует, со лжегероя маска
Слетает нам на радость, а под ней —
Лицо врага, мильоны сильных на параде —
Статисты на гигантском маскараде,
Мифический народ великих дней.

И этот вот — запуганный, осмеянный
Жилец из коммуналки на Бассейной.

Он тем и странен им, что хочется понять,
А не дано: «Что ж все они, интеллигенты,—
Слегка копни — буржуйские агенты.
Ишь дармоеды, все б им книжки сочинять».
О чем он думает, до срока огражденный
Нелепым образом, о том, что мир рожденный
Для счастья, счастью этому не рад?
Галоши, зонт, козлиная бородка
И шляпа — жаль, была б уместней сковородка,—
Вагон отцепленный везет его назад.

* * *

Числу или лучу все больше уступая,
Медлительная ртуть взбирается на «ноль»,
И старая зима, дремучая, тупая,
Уходит из меня, как головная боль.

И город наш, как мы, зимой переболевший,
Как будто постарел — осунулся, продрог,
Щетиною кусты на лике посеревшем,
И холоден подъезд, и тверд его порог.

Конечно же — весна и радость обновленья,
Он чувствует ее, но на восторги скуп.
Глаза его блестят, в них свет и оживленье,
Но горечь — в уголках привычно сжатых губ.

Александр Танков

* * *

Когда укроет декабря ручное кружевце
Тусклые увечья предзимией поры,—
Господи, отчего голова так кружится,
Куда плывут проходные дворы,
Их изнанка в школьную клетку?
Переулок больничный пролетев
до конца,
Уткнешься лицом в кирпичную
восьмилетку,
Как в жилетку ласкового
немыслимого отца.
Огоньки смысла полузадуты.
Натягивают байковое одеяло тьмы
Ребра деревьев,
замызганные субпродукты,
Жалкое вторсырье зимы.
По какому маслянистому каналу
Плывут лодочки, фонарики, огоньки?
Вот и жизнь проплыла, и меня не узнала
В этом тусклом, стареющем.
Не протянула руки.
Где-то сваи бьют, и глухим ударам
Вторит сердце жадное. В речное дно,
В этот сумрак тинистый...
Детство даром
И бессмертье нищее, заодно.

* * *

Говори, говори! По заблудшим кустам,
По садовым дорожкам, по крышам,
Говори, расставляй ударенья не там,
Наплевать, говори, мы услышим.
Говори, мы поймем, мы найдем
словари,—
Рубероид — плохой переводчик,
Все равно на каком языке говори —
Мы поймем, мы прочтем между строчек.
Повторяясь, сбиваясь, спадая с лица,
Говори — мы промокнем до нитки,
Но поймем твою речь до конца —
от крыльца
До зеленой и мокрой калитки.

* * *

Обыск! Ищут, ищут золотое,
Страшное. Последняя мечта,
Виноградным светом залитое.
Каторга страдальческого рта,
Мука рук. Разняли позвоночник,
Растопили, как церковный воск,
В ящике стола нашли подстрочник
Жизни. Разобрали темный мозг.
Вот оно! Перевели добычу
На мычащий, стонущий язык,
Соловьиный стон, надсаду бычью,
Золотой, слепой, победный крик.

Виктор Менухов

* * *

Тихо плакал отчим, умирая,
понимал — уходит навсегда,
знал: вот-вот погаснет над сараем
лишь ему известная звезда.
Мучился, что избу не достроил
и в долгу остался у земли...
Стены мы — а дело не простое —
через год под крышу подвели.
Два окна прорублены на поле,
где покойный хлебушек растил...
А обиды давние и боли
он еще при жизни нам простил.

* * *

Зерно без устали лопатим,
чтоб не «сгорело» на току,
и катим, будто волны, катим
его к заборному лотку.
Поет надсадно сортировка,
переходя порой на хрип.
Жара!.. И в этой обстановке
нас тешит байкой дед Архип...

Мелькают согнутые спины,
и мы мечтаем об одном:
скорей бы погрузить в машины
мешки тяжелые с зерном!
А после смены... После смены,
как утки, плещемся в реке,
спецовки, будто чьи-то тени,
лежат устало на песке.

* * *

Да... Стареют наши мамы.
И уходят в мир иной.
Нет надежды самой малой,
что остаться суждено.

Вот они — в извечной думе
о судьбе своих детей...
Я безропотно бы умер,
только б маме жить моей.

Если скажет кто — не верьте,
что устал от глаз родных.
Это ложь! До самой смерти
мы нуждаться будем в них.

Дмитрий Быков

ПИРОСМАНИ

...Сколько мне друзья ни объясняли,
Тонко разбираясь, всем на зависть,—
Почему-то «Пасха» Пиросмани
Безысходно мрачной мне казалась.

В окруженье крашеных яичек,
Выписанных кистию подробной,
Там высокий, с крестиком, куличик
Был похож на памятник надгробный.

Дело не в таинственном законе
Зрения. И не в душевной боли,
А в непобедимо черном фоне,
В черноте клеенки. И не боле.

Что поделать, если ни картона,
Ни холста, натянутого звонко,
Если не нашлось другого фона —
Только и осталось, что клеенка?

Сквозь фигуры, лица и посуду,
Сквозь кутеж, пейзаж,
сквозь сельский праздник —
Черный фон, глядящий отовсюду,
Фон, который небом не закрасить.

...Растворится жизнь, как птичья стая
Растворяется в древесной кроне,
Растворится, по себе оставя
Нежные мазки на черном фоне,—

Так и есть: не по холсту рисуем,
Так и будет: не листок мараем,—
В том и суть, что все — по нашим судьбам,
А судеб своих не выбираем,—

И ни живописца, ни поэта
Не кори, красотка Маргарита:
Что поделать, если для портрета
Негде взять другого колорита.

* * *

Выйдешь в ночь — заблудиться несложно,
Потому что на улице снежно,
Потому что за окнами вьюжно,
Я люблю тебя больше, чем можно,
Я люблю тебя больше, чем нежно,
Я люблю тебя больше, чем нужно.

Так люблю — и сгораю бездымно,
Без печали, без горького слова...
И надеюсь, что это взаимно,
Что само по себе и не ново.

Татьяна Никольская

* * *

А в марте зачем-то охотно верится в то,
Во что в феврале не верил и разуверишься в мае.
Казалось бы, много ль меняешь — пальто на пальто,—
А словно рождаешься заново, мир принимая.
Это потом, когда год будет не так уже юн,
И в смене его времен уже не увидишь загадки,
Тогда с равнодушием нервным проводишь белый июнь,
Махнешь рукой на июль, преждевременно август загасишь.
Пусть лучше подмостки сыпучие строит метель,
Резинкою тянется осень, темна и ненастна.
Самые страшные месяцы — март и апрель,—
Зачем они мучат, зачем обещают напрасно?
Все это знаешь, но небо, оттаяв, блеснет синевой,
Сугробы покроются коркою скользкою и черной,—
И станешь тревожно и весело ждать неизвестно чего,
Опыту прошлых годов не доверяя упорно.

* * *

Все, что сейчас тебе скажут, кажется скучным заранее.
Предпочитаешь экскурсию смотреть, как немое кино,
Хотя ничего и не знаешь о Закавказском крае,
Кроме того, что здесь грабил банки Камо.
Назначенье туриста — коллекция сведений и ощущений,
Но тебе далеко до жизни его полноценной,
Если живешь
На три четверти прошлым и будущим
И лишь на остаток — ветром, с Каспия дующим,
Запахом нефти густым, тающей в сумерках пеной,
Завистью к людям веселым, их тайнам волнующим.

Александр Фролов

РОСЯНКА

Как сказочно капли блестят! Так и тянет водицы
этой испить. Освежиться. Нельзя, шепчу,— но как хочется!..
Да что ты, комарик, глупыш, самоубийца,
разве не знаешь, чем наслаждение кончится?

Вот тельце твое скользит по буграм и складкам;
нежные руки несут его к душистой могиле...
...А я и не знал, что смерть может быть такой сладкой,
такой заботливой, обволакивающей; без крови и гнили.

Видишь, ведь видишь,— это совсем и не страшно!..
(Так приглашают цикутой смочить пересохшие губы...)
Ну да, только попробуй, измученный жаждой,—
и все, и влип. как этот комарик глупый.

Нет, не хочу! Не хочу — ни сладкой, ни благоуханной!
Ведь не будет же ничего — ни белого, ни голубого;
ни этих щетинистых листиков с их лаской обманной,
ни этого знойного полдня, ни леса сквозного.

Ну, что ты кричишь? Лист развернулся; останки
сдул ветерок; сияют цветки расписные...
И смерти нет никакой — спроси у росянки,—
все это чушь болотная, сказки лесные...

КАШТАН ЦВЕТЕТ...

Каштан цветет — не говори: знакомо!..
Белесый сумрак скрадывает тени.
Но в час утраты цвета и объема
Нас дарит ночь чредою превращений.
И так — как будто натянули ширму,
и на просвет рисунок монохромный —
каштан цветет, как шелковая Бирма:
сто тысяч пагод, миллион укромных
воздушных ниш;
и в каждой вздох и трепет,
и обмиранье сладкое до дрожи...
Вот видишь — это ночь чудит и лепит,
и совладать с объемами не может.
Построенный веселым птичьим гамом,
листвой, и ветром,
и пыльцой цветочной,
то облаком прикинувшись, то храмом,
то колокольней — в завитках —
барочной;
то, спрятавшись опять за рябью ткани,—
каштан цветет, презрев и смысл
и форму,
вне объяснений и обоснований,
вне наших схем и неподъемных формул.

Иван Стремяков

ПОЛОВОДЬЕ

В сером небе звенит, не смолкая,
одинокого лебедя крик.
Половодье — беда-то какая
подступила под самый кадык.
Хорошо, что деревья да крыши
выручают, а то бы — каюк.
В тишине настороженной слышу
ледохода пугающий звук.
А глаза по-весеннему зорки:
шапка, ватник, прокуренный рот —
мой сосед, будто Ной, на моторке
разъезжает, спасая народ.
Он руками работает резво,
и кричу я ему с высоты:
«Все живое с земли бы исчезло,
Пал Иванович, кабы не ты!»
Вот сидим мы и курим «Родопи»
под стрехою его корабля,
а вокруг о всемирном потопе
вспоминает, наверно, земля.

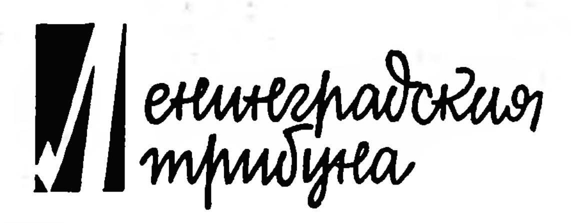
МАТЬ

Фантастика, но это было,
и не могло иначе быть.
Сумела Каменку кобыла —
стреноженная — переплыть.

Кобылу, страх, бывало, мучил,
и, чтобы за реку попасть,
ее лупил, бывало, кучер,
а тут тебе такая страсть.

Метался «шеф» ее, отчаясь,
но дотянула, доплыла
и вышла на берег, качаясь,
поскольку матерью была.

Поскольку там, среди сосенок,
и голоден, и одинок,
стоял и плакал жеребенок —
ее забытый сосунок.



Борис Никольский

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ПАРАДОКСЫ

Субъективные заметки о выборах — накануне выборов

1

8 февраля 1989 года я, волнуясь и тщетно пытаясь сдержать, подавить волнение, подходил к ленинградскому кинотеатру «Призыв», где должно было состояться окружное предвыборное собрание...

Впрочем, нет, начинать все-таки надо не с этого дня, и даже не с января, когда моя кандидатура в народные депутаты СССР была впервые названа на заседании правления Ленинградской писательской организации. Начинать надо гораздо раньше — с того времени, когда проходили выборы делегатов на XIX Всесоюзную партийную конференцию. Именно тогда исподволь было заложено многое из того, что реализовалось затем, позже, во время избирательной кампании. Без тогдашнего пробуждения политической активности, без попыток понять, насколько лозунги о демократизации соответствуют реальному положению дел в партии, в обществе, наверно, не могло бы быть и теперешней бурной весны.

В те дни я тоже оказался кандидатом в кандидаты в делегаты на XIX партийную конференцию. «Кандидат в кандидаты», да, именно такая формула, коверкающая русский язык, была тогда в ходу. То есть хоть тебя и выдвинули, и проголосовали за тебя, пусть даже и единогласно, ты все равно еще не настоящий кандидат в делегаты — быть тебе им или нет, решит обком. Разумеется, с самого начала я понимал, что шансов стать делегатом партконференции у меня практически никаких: моя кандидатура не была заранее ни предусмотрена, ни рекомендована бюро обкома — я не вписывался в тот предварительный список, который уже был составлен в обкомовских кабинетах. И все-таки я решил бороться: от меня этого требовали и коммунисты Ленинградской писательской организации, и сотрудники журнала «Нева». Считалось, что окончательный состав ленинградской делегации на партконференцию определит пленум обкома — путем тайного голосования. Однако уже накануне пленума я знал, что моей кандидатуры в списке для голосования не будет. Конечно же, никто официально меня об этом не ставил в известность — просто меня не пригласили на пленум. Тех, кому предстояло баллотироваться и стать делегатами, пригласили, а тех, чья участь уже была решена заранее,— нет. Так, в тогдашнем понимании ленинградского обкома, и должны были, вероятно, проходить истинно демократические выборы. Впрочем, как это делалось и какие чувства испытывал я в то время, лучше всего расскажет открытое письмо тогдашнему главному редактору «Литературной газеты» Александру Борисовичу Чаковскому, избранному делегатом на конференцию от ленинградской областной партийной организации. Это письмо было написано мною сразу после пленума обкома и прочитано на открытом собрании коммунистов-писателей Ленинграда, созванном, кстати, специально для того, чтобы выразить свой протест против недемократической процедуры выборов. Итак, текст письма:

«Уважаемый Александр Борисович!

Я с большим интересом и даже, признаюсь, с некоторой долей восхищения следил за тем, как остро и принципиально писала Ваша газета о фактах нарушения принципов партийной демократии при выборах делегатов на XIX Всесоюзную партийную конференцию. Особенно досталось от «Литературной газеты» Киевскому обкому партии. Напомню, о чем шла речь:

«...В соответствии с нормой представительства от областной организации в Москву должны были отправиться 32 коммуниста, а было выдвинуто 42 кандидата. Казалось бы, в данной ситуации конкурс на делегатские места более чем соответствовал принципам демократизации общественной и политической жизни страны. Однако бюро Киевского обкома распорядилось иначе. На его заседании, состоявшемся за три дня до Пленума, 10 человек из 42 были им просто «отсеяны». И понятно, что голосование за 32 из 32 более всего напоминало беспроигрышную лотерею. В чем же причина подобной подмены настоящей демократии ее видимостью? Ова проста: 11 делегатских мандатов были заранее отданы ответственным работникам обкома партии, председателям облисполкома и облсовпрофа, первому секретарю обкома комсомола и другим».

Сказано, может быть, и резко, но зато вполне определенно и справедливо. Однако я не случайко решил напомнить Вам эти строки. Меня интересует: помнили ли Вы их, когда — вот уж ирония судьбы! — Вас точно таким же способом, столь страстно осужденным Вашей газетой, избирали в делегаты партконференции на пленуме Ленинградского обкома партии? Вас это не смущало? Вы не чувствовали себя неловко? Ведь бюро Ленинградского обкома партии тоже, говори словами Вашей газеты, «распорядилось иначе», и тайное голосование — выборы 176 делегатов из 176 кандидатур — тоже оказалось беспроигрышной лотереей. И точно так же, как и в Киеве, более трети мандатов было отдано партийной и советской номенклатуре. Почему тогда Вы, Александр Борисович, промолчали, почему как кандидат в делегаты и, если не ошибаюсь, член ЦК не выразили своего несогласия с подобной практикой? Или Ваша личная позиция расходится с позицией Вашей газеты?

Или, может быть, Вы скажете, что Вам, не будучи членом Пленума, неудобно было выступать по этому поводу? Но как же тогда быть с постоянно повторяющимися декларациями о том, что каждый будущий делегат обязан выразить свою позицию, свою программу, свои взгляды на перестройку? И потому разве не самое время было именно здесь, на Пленуме, сказать о том, чем настоящая демократия отличается от ее видимости? Ведь именно об этом писала Ваша газета. Почему же на Пленуме не прозвучал Ваш голос?

Разумеется, у меня не было бы необходимости задавать Вам эти вопросы письменно, если бы все происходило так, как и должно, вероятно, происходить в эпоху гласности и демократизации. То есть если бы Вы, баллотируясь от Ленинграда и являясь секретарем Правления СП СССР, сочли нужным прежде всего побывать у коммунистов-писателей Ленинграда, выслушать их мнения, узнать, что их волнует и тревожит. Или для кандидата, идущего по особому «центральному» списку это не обязательно? И для нас, рядовых коммунистов, существует одна демократия, а для Вас — другая?

Впрочем, я не знаю, возможно, Вы вообще не появлялись в Ленинграде и Вас выбирали заочно. Вполне может быть и такое.

Да, я действительно не знаю, были ли Вы на Пленуме, но зато я точно знаю другое: меня, кандидата в делегаты XIX партийной конференции, единогласно избранного партийным собранием писателей и столь же единогласно поддержанного Пленумом Дзержинского райкома КПСС, пригласить на Пленум обкома вообще не сочли нужным. Да и правда — зачем? Ведь все уже было решено заранее. Все развивалось по той самой схеме, которая была описана Вашей газетой, применительно к Киеву. Да, тогда Ваша газета, повторяю, высказалась недвусмысленно.

Что она скажет теперь — вот что мне хочется знать».

Письмо это в тот же день, сразу после собрания, было передано в «Литературную газету». Однако опубликовано оно так и не было. И мои вопросы остались без ответа. Как, впрочем, остались без ответа и резолюции партийного собрания, посланные в ЦК и обком партии. Что, мол, поделаешь — поезд-то уже ушел. Вообще, это выражение тогда оказалось очень в моде. Чуть что — сразу: к чему лишние страсти, поезд-то уже ушел. Прямо-таки универсальное оправдание и объяснение — на все случаи жизни. Вроде бы и сочувствуют даже тебе, но помочь ничем не могут.

А я ощущал тогда себя так, словно столкнулся с неким бездушным, действующим по своим законам механизмом. Похожее ощущение мне уже довелось однажды испытать на перроне Московского вокзала, за несколько лет до этого. Я шел по платформе, чтобы встретить приезжающего к нам писателя. Шел, задумавшись, и вдруг ощутил, как меня бесцеремонно отшвырнули в сторону. Тот, кто профессиональным движением отбросил меня, даже не взглянул в мою сторону,— как будто сработал автомат, робот. Как будто некая слепая сила отшвырнула меня с пути — для нее я не существовал как личность, я был лишь посторонним предметом, который мешал и который следовало убрать. Сначала я даже не сообразил, что произошло, в чем дело. А потом понял. Мимо меня по платформе прошел член Политбюро, тогдашний первый секретарь Ленинградского обкома партии Г. В. Романов. Вот этот случай и возник теперь у меня в памяти. Так же точно, как не существовал я для тех, чьей профессиональной задачей было обеспечить безопасность члена Политбюро, расчистить ему дорогу, освободить ее от возможных помех, так же не существовал я — со своими личными качествами, взглядами, со своей политической программой, которую всерьез по наивности излагал перед партийным собранием,— для аппарата, чьей главной задачей и заботой было обеспечить соответствие списка делегатов заранее выданной разнарядке. Все остальное не имело значения.

Да, тогда мы потерпели поражение. Но все же, как я понял позднее, те, кто утверждал, что «поезд уже ушел», были неправы. Поезд, что называется, еще только-только набирал пары. Все еще было впереди. События тех дней не прошли даром, не канули бесследно в прошлое, эхом они отозвались на выборах 26 марта. Мы получили уроки, мы приобрели опыт. И один из главных уроков заключался в следующем: наивно было надеяться, что партийная бюрократия, партийный аппарат будет при-

---

Никольский Борис Николаевич (1931 г. р.) — член Союза писателей. Автор книг «Жду и надеюсь», «Белые шары, черные шары...», «Формула памяти», «Воскрешение из мертвых» и др. Сотрудничал в журналах «Аврора», «Звезда», «Костер», «Смена». Награжден орденом Дружбы народов. С 1984 года — главный редактор журнала «Нева». С 1989 г.— член Верховного Совета СССР.

ветствовать истинную демократизацию, не станет оказывать ей сопротивления.

И еще: что-то сдвинулось, что-то изменилось в нас самих. Мы были уже не те, что прежде. Попробуй-ка раньше — собери подряд одно за другим два-три собрания — кто явится? А тут трижды собирались коммунисты и беспартийные по собственной инициативе на протяжении десятидневки — для того чтобы выразить свой протест против нарушения демократических норм. Эра безгласности и абсолютной послушности миновала. Писательская организация в те дни бурлила, другие творческие союзы поддержали ее — это были дни настоящей политической активности. Ощущение заинтересованной, энергичной поддержки со стороны товарищей, единомышленников, атмосфера борьбы — борьбы за демократизацию не на словах, а на деле,— все это значило для меня очень многое. Неслучайно именно тогда, на том первом собрании, когда была выдвинута моя кандидатура в качестве «кандидата в кандидаты», я впервые старался сформулировать свою политическую программу, впервые попытался определить ее основные цели и задачи, за которые считал необходимым бороться. Именно так я понимал перестройку. И пусть тогда это был еще во многом чисто эмоциональный порыв,— слово, что называется, было произнесено, начало положено. По сути дела, как я теперь понимаю, это и был первый шаг, с которого начался мой путь в народные депутаты. Хотя сам я тогда еще не догадывался об этом.

2

В декабре 1988 года мне позвонили из Физико-технического института, из знаменитого ленинградского физтеха, и сообщили, что среди ряда общественных деятелей Ленинграда, кого сотрудники института считали бы возможным назвать кандидатами в народные депутаты СССР, фигурирует и моя фамилия. Меня приглашали встретиться с общественностью института. Этот телефонный разговор и это приглашение имели для меня особое значение. До тех пор я всерьез не задумывался над возможностью моего выдвижения кандидатом в депутаты. Вернее, над его реальностью. Опыт выборов на XIX партконференцию еще хорошо помнился мне. И теперь то обстоятельство, что первыми о моем выдвижении заговорили не в моей собственной редакции и не в Союзе писателей, а в таком, казалось бы, далеком от литературных дел и страстей научном учреждении, как физтех, было для меня необычайно важно. Этот факт означал прежде всего признание общественно-политической роли журнала «Нева», его вклада в дело перестройки. Ибо судить о моей деятельности, о моей общественно-политической позиции сотрудники института могли только по журналу. Авторитет же журнала к этому времени — если судить по читательской почте и по подписке — действительно вырос, прежде всего благодаря публикации романа Владимира Дудинцева «Белые одежды». Сама фамилия этого писателя, его судьба имели для тех, чья молодость пришлась на конец пятидесятых, особый смысл. К тому же многие читатели уже знали, что опубликование романа далось редакции не без труда. Об этом, пожалуй, стоит рассказать подробней.

История публикации романа В. Дудинцева явилась и для меня лично, и для редакции переломным моментом, она укрепила меня в убеждении, что перестройка не спускается к нам сверху, по мановению руководства, что за перестройку надо бороться, причем бороться упорно, не без риска для собственного благополучия. А было так. Роман В. Дудинцева «Белые одежды» должен был печататься в «Новом мире» — именно с этим журналом у писателя был заключен договор. Роман писался долго, трудно: почти двадцать лет своей жизни в общей сложности отдал ему писатель. Впервые роман анонсировался «Новым миром» еще тогда, когда журнал редактировал Александр Твардовский. Принес же его в редакцию В. Дудинцев в те времена, когда у руководства журналом стоял Владимир Карпов. Роман вроде бы понравился, в его адрес были сказаны хвалебные слова, но... Тут-то и возникло весьма существенное «но». Чтобы опубликовать роман, следовало получить визу Комитета государственной безопасности, ибо в сюжетных перипетиях романа немалую роль играли сотрудники госбезопасности — речь шла о тех преследованиях, которым в годы сталинизма подвергались ученые-генетики. Роман, а точнее, соответствующие главы из романа были переданы в Комитет, и оттуда через некоторое время пришел такой отзыв, что Владимиру Карпову оставалось только руками развести: «Считайте меня перестраховщиком, Владимир Дмитриевич, но в таком виде роман я напечатать не могу...» Вспомним, что дело происходило в 1986 году. В. Дудинцеву было предложено либо убрать ту сюжетную линию романа, где действуют сотрудники госбезопасности, либо передать их функции какой-либо другой государственной организации. Писатель на это не согласился. И стал искать другие возможности опубликовать роман — благо принципы перестройки уже были провозглашены партией. Так рукопись и оказалась в «Неве». И роман этот стал для нас своего рода пробным камнем: мы были убеждены — сумеем его напечатать, добьемся, значит, на собственном опыте почувствуем, что перестройка, гласность пробивают себе дорогу, не сумеем — значит, все это лишь пустые разговоры, ничего не изменилось. Мы и сами решили следовать при этом двум принципам: коллегиальности и гласности. Роман был прочитан и отрецензирован двенадцатью членами редколлегии. Обсужден. И все без исключения члены редколлегии высказались за его публикацию. Прочли роман и в Ленинградском обкоме партии. Мне тогда сказали так: «Вы готовы нести полную ответственность за публикацию романа?» Я ответил: «Да, готов».— «Тогда у нас нет возражений». Это был уже значительный сдвиг, но главное, я знал, ожидало нас впереди. Согласится ли горлит или, проще говоря, цензура подписать роман в печать без визы Комитета госбезопасности? — вот от чего теперь все зависело.

Роман был сдан в производство, был набран и сверстан первый номер «Невы» 1987 года — в этом номере и начиналась его публикация. Мы отослали номер в горлит. И вот уже дня через три мне позвонил начальник горлита. «Я не спал сегодня всю ночь, дочитывал роман, не мог оторваться,— сказал он.— Роман мне нравится. Но подписать в печать я его не могу».— «Почему?» — «Нужна виза госбезопасности». Итак, круг замкнулся. Однако я решил не отступать. Я официально заявил, что категорически отказываюсь посылать роман на отзыв в Комитет госбезопасности. «Действие романа,— доказывал я,— относится к 1949 году, когда, как известно, органами госбезопасности допускались грубые нарушения социалистической законности, впоследствии осужденные партией. Почему же теперь именно это ведомство должно выносить свое суждение о романе? Где тут логика? Уж если непременно кто-то должен решать за нас, то пусть решают партийные органы». Кажется, поначалу мне удалось убедить обком. «Хорошо,— сказали мне.— Не посылайте, пусть горлит прорабатывает этот вопрос по своим каналам». И началась «проработка вопроса». Роман словно бы канул в неизвестность. Кто и где читает его, было нам неведомо. Сколько продлится эта «проработка», тоже никто не мог сказать. Создалась, как мне казалось, довольно типичная для тогдашнего времени ситуация, когда никто уже не решался сказать «нет», запретить, но и сказать «да», взять на себя ответственность тоже никто не хотел. А время шло. И мы, в редакции, начинали нервничать. Истекали все сроки, срывался график. А выпасть из графика — это для журнала смерти подобно. Издательство тоже нервничает, типография вне себя. И тон начальника горлита постепенно стал меняться. Если сначала он говорил: «Да не беспокойтесь, я уверен, все будет в порядке, потерпите еще день-другой...» — то теперь в его голосе появилась холодная официальность: «Лучше заменяйте Дудинцева. Роман, возможно, вообще не будет подписан». Я ответил, что роман может быть заменен только вместе с главным редактором. Я и правда не мыслил себя на этом посту, если роман не удастся напечатать.

Мы, конечно, не теряли времени даром. Мною, в частности, была послана телеграмма заведующему отделом культуры ЦК, дана телефонограмма в отдел пропаганды, написана и передана подробная докладная первому секретарю Ленинградского обкома партии, наконец, направлена телеграмма секретарю ЦК КПСС А. Н. Яковлеву. Впрочем, видимых результатов все это не приносило. Более того — именно тогда я обнаружил, что наш Центральный Комитет — если иметь в виду его аппарат — страдает бюрократическими болезнями не меньше, чем любое другое ведомство. Отдел пропаганды кивал на отдел культуры, ссылаясь на то, что журналы находятся не в его ведении, отдел культуры в свою очередь ссылался на отдел пропаганды — мол, Главлит культуре не подотчетен. А следов телеграммы, посланной секретарю ЦК, я и вообще не сумел обнаружить. Во всяком случае, до самого секретаря или до его приемной она не дошла. На мои вопросы, куда она могла деться, мне отвечали весьма неопределенно: может быть, в общем отделе, а может, в отдел культуры передали, короче говоря, неизвестно... Пришлось впоследствии мне посылать вторую телеграмму. А ведь речь шла ни много ни мало — о срыве выпуска журнала, которого ожидали около трехсот тысяч подписчиков! Впрочем, в Москве тогда занимались подготовкой к январскому Пленуму ЦК, всем, как я понял, было не до нас с нашими проблемами. Итак, все сроки были уже сорваны, приближался конец декабря. В эти дни я получил уведомление из горлита: нам уже официально предлагалось заменить роман В. Дудинцева другой рукописью. Я ответил категорическим отказом.

Между тем в последних числах декабря на свое очередное заседание собралась редколлегия «Невы». Предстояло обсудить итоги года. Однако разговор, естественно, вращался только вокруг создавшейся ситуации. Настроение у всех было скверное. Что делать? Смириться? Ждать исхода событий, сложа руки? Нет, такой путь нас не устраивал. Решили, что остается один выход — послать телеграмму М. С. Горбачеву. Если не ошибаюсь, это предложение внес Д. Гранин. Телеграмма была тут же составлена, подписана и в этот же вечер отправлена в Москву.

Прошло два или три дня — результата не было. Наступило 30-е декабря. Надежды на то, что вопрос решится до праздников, уже не оставалось. В конце рабочего дня я поздравил сотрудников с Новым годом — нетрудно догадаться, с каким настроением я это делал,— а сам еще немного задержался в редакции. У меня было такое

ощущение, будто я уже прощаюсь с «Невой». В половине седьмого — я хорошо запомнил это время — вдруг зазвонил телефон, смольнинская «вертушка». Я снял трубку и услышал: роман разрешен к публикации, разрешен полностью, без каких-либо изъятий и поправок.

На следующий день утром номер уже был подписан горлитом. Так завершилась эта история, имевшая и для меня, и для всей редакции принципиальное значение. Честно говоря, я так до сих пор и не знаю, что именно или кто именно сыграл решающую роль в этом деле. Возможно, все наши усилия вместе взятые. Правда, теперь на встречах с читателями, когда я рассказываю эту историю, меня иной раз спрашивают: что же, значит, по поводу каждого романа вы шлете телеграммы Горбачеву? И я отвечаю: «Нет, к счастью, теперь уже нет». И действительно, после «Белых одежд» «Нева» опубликовала такие произведения, как повесть Л. Чуковской «Софья Петровна», как роман А. Кестлера «Слепящая тьма», как «Записки народного судьи Семена Бузыкина» В. Курочкина... И за них нам уже не приходилось вести такую борьбу, какую мы вели за роман В. Дудинцева. Изменилась атмосфера в стране. И в то, что эти перемены произошли, я думаю, свой, пусть скромный, вклад внесла и «Нева». А главное, у журнала определилась своя позиция. И если верно, что главный редактор во многом определяет лицо журнала, то так же верно, что и журнал, в свою очередь, во многом формирует главного редактора. Процесс этот взаимозависим. Так или иначе, но, конечно же, именно «Неве» я обязан тем, что моя фамилия прозвучала среди возможных кандидатов в народные депутаты СССР.

3

На встрече в физтехе — а это было не выдвижение, это были лишь своего рода «смотрины», предварительное знакомство — меня, естественно, спросили о моем отношении к выборам депутатов от общественных организаций. Я ответил, что к подобным выборам отношусь отрицательно, считаю их недемократичными, уже хотя бы потому, что по существующему положению в выборах народных депутатов участвуют лишь руководящие органы, рядовые же члены общественных организаций оказываются, таким образом, лишены права голоса — где же тут демократия?

Я говорил так и еще не знал, что очень скоро жизнь подвергнет мои рассуждения проверке. Это произошло в начале января на заседании правления Ленинградской писательской органи́зации. Правление должно было назвать фамилии тех, кому впоследствии, возможно, предстояло стать кандидатами в народные депутаты СССР от Союза писателей. Надо сказать, что сама эта процедура выглядела весьма непродуманной и неясной. Толком никто не знал, как будет осуществляться отбор кандидатов, как будут затем проходить сами выборы. Тем не менее Москва, Секретариат правления СП СССР торопили нас, и Правление приступило к делу. И вот тут-то одной из первых была названа моя фамилия. Мне надо было решать, как поступить. Отказываться? Просить самоотвод? Честно говоря, был момент, когда я заколебался. Был мгновенный соблазн предоставить все на усмотрение правления. Пусть поступает так, как сочтет нужным. Ведь быть выдвинутым от такой сильной и большой писательской организации, как Ленинградская, само по себе — даже независимо от того, будешь ты потом выбран или нет,— кое-что да значит.

Однако согласись я на такой шаг, чего тогда будут стоить мои слова, произносимые еще совсем недавно? Чего будут стоить мои убеждения?

Короче говоря, я все же выступил и сказал, что не считаю для себя возможным дать согласие на выдвижение моей кандидатуры от Союза писателей, так как в принципе возражаю против выборов от общественных организаций. Я убежден, что по-настоящему демократичными являются только выборы по территориальным округам на альтернативной основе. И тогда кто-то из членов правления — кажется, это был Борис Стругацкий — спросил: «Значит, баллотироваться по территориальному округу вы согласились бы?» — «Да,— ответил я.— Согласился бы». Этот вопрос и этот ответ, по-моему, и решили дело. Состоялось обсуждение, и на этом же заседании правления я был единогласно выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР по Смольнинскому территориальному округу № 58. Кандидатом по национально-территориальному округу был назван писатель Михаил Чулаки. Впрочем, в тот момент я еще не был уверен, что выдвижение действительно состоялось, что оно будет признано законным. Слишком глубоко, основательно, оказывается, заложена в нас убежденность, что все должно быть непременно санкционировано сверху. А тут вроде бы собрались сами, сами выдвинули, ни с кем заранее не посоветовавшись, не получив разрешения.

До сих пор мы ведь не знали другого способа выдвижения кандидатов в депутаты, как выдвижение по разнарядке, когда загодя все уже было расписано: где должен быть выдвинут рабочий, а где писатель, где колхозник, а где ученый, где мужчина, а где женщина, где член партии, а где беспартийный. С трудом верилось, что аппарат откажется от подобного — кабинетно-анкетного — подбора кандидатов в депутаты. Одно дело декларации, а другое — реальная жизнь. Так что в этот день, если признаться откровенно, я вовсе не чувствовал, что в моей жизни произошло нечто значительное. Это чувство пришло позднее. В моих тогдашних сомнениях, как выяснилось, была доля истины. Да и не одинок я был в этих сомнениях: ими, мне кажется, мучились и наш секретариат и партбюро. Уж очень непривычно все было. Во всяком случае, понадобилось около двух недель, чтобы мое выдвижение было признано не противоречащим Закону о выборах, чтобы протоколы наконец были приняты, а сообщение о выдвижении появилось в печати. Однако впереди теперь маячил еще главный рубеж, главное препятствие — окружное предвыборное собрание. Но до того, как оно состоялось, произошли еще некоторые события, о которых надо рассказать.

Как раз на следующий день после заседания правления большой зал ленинградского Дома писателя был заполнен до отказа — здесь по инициативе общественного комитета «Выборы-89» собрались представители неформальных движений Ленинграда. Я тоже получил приглашение. На этом собрании, проходившем весьма бурно и длившемся очень долго, до позднего вечера, назывались, рассматривались, обсуждались различные кандидатуры в народные депутаты, вырабатывалось отношение к ним. Причем в качестве кандидатов были названы и такие известные люди, как академик Д. Лихачев, как писатели Д. Гранин и М. Чулаки, как социолог А. Алексеев, рабочий-фрезеровщик Г. Богомолов, и те, чьи фамилии пока были ведомы лишь узкому кругу неформалов. Названа была и моя фамилия, и я тоже в качестве возможного кандидата выступал на этом собрании и отвечал на вопросы из зала...

Потом, уже во время избирательной кампании, меня не раз спрашивали о моем отношении к комитету «Выборы-89», и я всякий раз говорил, что в принципе поддерживаю деятельность этого комитета, поддерживаю, потому что мне нравится, когда люди не хотят больше оставаться пассивными исполнителями чужой воли, когда они стремятся сознательно определять свой выбор и бороться за него. Если отчего во многом и происходят наши нынешние беды, так это от общей социальной пассивности, от безразличия, от неверия в то, что от нас тоже может что-то зависеть. Комитет «Выборы-89» ставил своей целью разрушить подобное положение. Можно ли было это не приветствовать? Другое дело, я мог не соглашаться с некоторыми рекомендациями комитета, мог не одобрять некоторые методы и способы его действий, но в целом, повторяю, его цели и задачи мне были понятны. А уж чего я не мог разделить, что меня тревожило, так это лишь равнодушие — когда, например, один из моих соседей по дому на вопрос: «За кого вы будете голосовать?» отвечал «А мне без разницы». Вот такая позиция для меня была действительно неприемлема, против нее, по-моему, и боролся комитет «Выборы-89».

Другим, еще более важным для меня событием стало выдвижение моей кандидатуры коллективом Электротехнического института связи им. Бонч-Бруевича. Произошло это, я бы сказал, стихийно и весьма неожиданно для меня. В редакцию позвонили буквально за пять минут до начала институтского собрания и попросили прийти либо меня, либо кого-нибудь из сотрудников, кто мог бы рассказать о своем главном редакторе. Точнее понять что-либо из торопливого телефонного разговора было невозможно. Я пошел туда сам — благо от редакции до института несколько минут хода. Уже подойдя к актовому залу, я обнаружил, что меня, кажется, здесь не очень ждали. И только тут постепенно я понял, в чем дело, какова ситуация. Оказывается, идея выдвинуть мою кандидатуру в качестве альтернативной возникла на одной из кафедр института, возникла по инициативе молодых сотрудников кафедры. Для многих сидящих в зале, по-моему, это тоже было неожиданностью. Основной же и, так сказать, вполне официальной кандидатурой, поддерживаемой партийным бюро института, была кандидатура академика, математика Людвига Дмитриевича Фаддеева. Впрочем, справедливости ради должен сказать, и к появлению альтернативной кандидатуры члены партийного бюро, по-моему, отнеслись весьма лояльно. Во всяком случае, как я заметил, против моей кандидатуры они не голосовали.

Должен признаться, в первые минуты, когда председательствующим была названа фамилия Фаддеева, я испытал чувство некоторой неловкости и растерянности. Я был уже знаком с Людвигом Дмитриевичем, знал его по совместной работе в комиссии по культуре Ленсовета, знал также, каким авторитетом пользуется этот ученый в научном мире — журнал «Нева» как-то даже публиковал беседу с ним. Так что я понимал, что это человек, во всех отношениях достойный стать народным депутатом СССР. И когда чуть позже я начал свое выступление перед собравшимися с того, что испытываю симпатию и глубокое уважение к своему невольному сопернику, я не кривил душой. Так оно и было на самом деле. Понимал я и то, что здесь, в институте, симпатии аудитории скорее всего должны оказаться на стороне ученого с мировым именем, а не гуманитария, писателя, редактора журнала. Без всяких сомнений я бы, конечно, предпочел, чтобы моим соперником оказался кто-либо другой, для меня это было бы проще. Однако отступать теперь было уже некуда.

Все так и оказалось. Академик Фаддеев, знакомя присутствующих со своей программой, отвечая на вопросы, говорил о вещах, как раз очень близких и очень важных для его слушателей: о необходимости перестройки системы высшего образования, о праве научных учреждений самим самостоятельно распоряжаться своим бюджетом, о важности добиться такого положения, когда правительство считалось бы с рекомендациями ученых, о повышении роли науки в жизни нашего общества. Его спокойный тон, его манера держаться, наконец, его ответ на вопрос «Почему вы не вступили в партию?» — «Хотел сохранить свою независимость» — все это, безусловно, импонировало институтской аудитории. Он был здесь свой человек, я же ощущал сейчас себя чужаком, едва ли не самозванцем. Но, возможно, как раз это чувство, чувство, что терять мне нечего, в тот момент и раскрепостило меня. Переломить настроение, убедить аудиторию — вот что было для меня главным.

Так или иначе, но именно тогда, на этом собрании впервые между мною и академиком Фаддеевым начался тот спор, который потом длился всю избирательную кампанию, впервые столкнулись между собой две разных позиции, два разных взгляда, и это очень хорошо ощутила аудитория.

«Политизация общества опасна,— говорил Фаддеев,— она может привести лишь к расколу, она лишит нас главного, в чем мы нуждаемся сегодня,— возможности эффективно работать».

«Без раскрепощения нашего сознания, без политической активности, без реформы политической системы,— говорил я,— все наши усилия будут напрасными...»

И мнение аудитории разделилось, как это бывало потом не раз на предвыборных собраниях.

«Людвиг Дмитриевич — крупный ученый, а нашему обществу как раз не хватает сегодня научного подхода к решению государственных проблем,— говорили одни,— и потому именно такой депутат, депутат-ученый, и необходим нам сегодня!»

«Программа Никольского — это подлинно политическая программа,— не менее горячо возражали другие.— Без политических перемен невозможно добиться решительных сдвигов ни в одной сфере нашей жизни. И потому как раз не столько ученому, сколько политику мы должны отдать сегодня предпочтение!»

И та и другая точка зрения находила немало сторонников. Голосование подвело итог: собрание решило поддержать обоих кандидатов.

Уже потом, позже, я понял, насколько важным для меня оказалось то, что произошло в этот день в Электротехническом институте. И не только потому, что я приобрел лишних выборщиков, чьи голоса могли сыграть решающую роль на предвыборном окружном собрании, но и, как выяснилось впоследствии, главным образом, потому, что именно здесь, в институте, я нашел наиболее энергичных, наиболее инициативных и деятельных своих сторонников, таких, например, как Виктор Львович Таланов и Юрий Паалович Гладков, без чьей помощи и поддержки, без чьего повседневного труда я врнд ли смог бы добиться успеха в избирательной кампании.

4

Отныне все зависело от окружного предвыборного собрания. Какое решение оно примет? Кого из восьми выдвинутых кандидатов предложит официально зарегистрировать? Комитет «Выборы-89» ратовал за то, чтобы зарегистрированы были все выдвинутые кандидаты или, по крайней мере, большая их часть. Право решать — кому из них отдать предпочтение — должно быть за избирателями. И, конечно же, как показали дальнейшие события, такой подход был наиболее справедлив. Но пока в избирательных комиссиях брала верх иная точка зрения.

Первым прошло окружное предвыборное собрание в Петроградском районе, наше должно было состояться вслед за ним. Прямо скажем, первое в городе собрание не вселило в мою душу особых надежд — именно на нем были отвергнуты все кандидатуры, за исключением одной-единственной, той, которая поддерживалась райкомом партии. Возникло реальное опасение, что и остальные окружные собрания могут пойти по этому пути. Аппарат получил в свои руки реальный механизм воздействия на ход выборов, получил, иначе говоря, возможность осуществлять «выборы до выборов» и, конечно. сразу же воспользовался этим механизмом. Тем более, что процесс формирования состава окружных предвыборных собраний так и остался тайной за семью печатями. Точно можно сказать только одно: никаких реальных выборов представителей на эти собрания в микрорайонах не проводилось. Я, например, как житель Выборгского района узнал об окружном собрании лишь постфактум, из газет. Моим мнением при определении состава представителей на этом собрании, естественно, никто не интересовался, я как рядовой избиратель от этого процесса был отстранен. Подобное происходило и в других районах. Короче говоря, я не знаю, как бы прошло наше собрание, окажись оно первым. Но оно, к моему счастью, было вторым. А ход первого собрания весьма критически оценила «Ленинградская правда». И хотя потом оценки газеты оспаривались окружной избирательной комиссией, а корреспондент, написавший о нарушении элементарных демократических норм, уличался — опять же членами избирательной комиссии — в необъективности, эта публикация сделала свое дело. Она показала, что общественность встревожена возможностью превращения окружных предвыборных собраний в послушное орудие в руках аппарата, что люди больше не хотят мириться лишь с одной видимостью демократии, не хотят чувствовать себя обманутыми. Так или иначе, но с подобными настроениями нельзя было не считаться. Это, думаю, и учли организаторы нашего собрания. Во всяком случае, проходило оно с большей демократичностью, чем первое. Если, впрочем, вообще можно говорить о демократичности собрания, которое по сути своей, по замыслу, по цели с самого начала является антидемократичным.

Для меня же это собрание сложилось весьма драматично. До сих пор стоит только мысленно мне обратиться к тому дню, я, кажется, ощущаю высоковольтное нервное напряжение, разлитое по всему душному, набитому до отказа залу кинотеатра «Призыв». Эта повышенная нервность, по-моему, объяснялась еще и тем, что с самого начала кандидаты оказались заведомо в неравном положении. Число выборщиков, то есть людей, пришедших специально для того, чтобы отстаивать своего кандидата, голосовать за него, у каждого из нас было различным. Оно определялось количеством организаций, выдвинувших того или иного кандидата. Лидером здесь был Л. Д. Фаддеев. Его «команда» составляла около ста выборщиков — то есть примерно четверть всего собрания. У меня выборщиков было двадцать, у некоторых кандидатов по тридцать, а у других — по десять. При этом характерно, что кандидатуру Фаддеева, как выяснилось, выдвигали такие разнородные организации, как аптека, школа, горлит... Происходило ли это выдвижение по велению души и сердца или было организовано сверху — остается только гадать. Другая деталь. Еще перед началом собрания участники его получили листовки, призывающие голосовать за академика Л. Д. Фаддеева, а также специальный выпуск многотиражной газеты института им. А. И. Герцена, подробно рассказывающий о другом кандидате — профессоре, директоре Пушкинского Дома Н. Н. Скатове. Опять чувство неравенства. Разумеется, многое проистекало от нашей общей неопытности в подобных делах, от неумения проявить инициативу. Но одновременно и от неравных возможностей. Три ленинградские газеты рассказали о собрании. И все три, конечно, по-разному. Чтобы быть объективным, приведу выдержки из трех репортажей:

«Ленинградская правда». «...Равнодушных не оказалось. Даже поначалу невозмутимых крепких парней с нарукавной повязкой «ДНД» и тех потом захватило соперничество кандидатов. Единственный человек, который стоял спокойно, скрестив руки на груди,— врач «скорой» С. В. Перфильев. Он был на службе. И когда страсти вскоре накалились, напряженно всматривался — не сделалось ли кому худо в душном помещении кинотеатра «Призыв».

Многого требует демократия. И, честное слово, я очень сожалею, что ярким, одухотворенным выступлениям кандидатов внимало всего 430 ленинградцев, представляющих 260 тысяч избирателей трех центральных районов... Но увы... Не нашлось места в зале даже для свободных микрофонов, ставших на собраниях уже традиционными.

О чем же спорили кандидаты, судили-рядили их сторонники и противники, вступив в дискуссию? В моем блокноте тремя жирными линиями подчеркнуты слова Н. Н. Скатова, который так оценил своих оппонентов по предвыборной борьбе:

— Мы не соперники, а соратники,— заявил ученый, имея в виду принципиальное сходство платформ соискателей депутатского мандата.— И вы будете голосовать не за программы,— сказал он, обращаясь к делегатам,— а за их носителей. Время разбрасывать камни, и время собирать их — строить!»

«Вечерний Ленинград». «...Крупный ученый с мировым именем Л. Д. Фаддеев, заместитель директора Ленинградского отделения Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР, выступил против проекта переброски северных рек еще тогда, когда на это решались не многие. Такой человек никогда не пойдет против совести, а честность его позиции не оставляет сомнения. Фаддееву веришь. Излагая свою платформу, он назвал интенсификацию науки и образования как один из краеугольных камней, высказав в этом вопросе свою солидарность с позицией другого кандидата в депутаты — директора Института русской литературы АН СССР Н. Н. Скатова. Но он развил те положения своей программы, которые никем другим представлены не были...»

«Смена». «... После того, как истекло время, отведенное по регламенту редактору журнала «Нева» Борису Никольскому, выступавшему предпоследним, в зале в первый раз за весь вечер прозвучало: «Продлить время!» Писатель как раз и продемонстрировал образец концептуального мышления. Взгляд не просто эмоционально переживающего наши беды современника, а политолога — человека, анализирующего, дающего политические прогнозы. Не удержусь, чтобы не привести некоторые из его тезисов. Борис Никольский говорил о том, что каждый гражданин нашей страны имеет право на полноту всей информации, касающейся как судеб страны, так и отдельных граждан. Отсутствие такой информированности предоставляет власть имущим безграничные возможности для манипулирования сознанием людей. Вот

конкретный пример: после введения советских войск в Афганистан ни один депутат Верховного Совета СССР не осмелился задать на сессиях ни единого вопроса по этому поводу — первоначально и сами депутаты верховного органа власти пребывали в неведении о происходящем. В стране не должно быть анонимных решений. ...Далее: Верховный Совет должен иметь право ставить вопросы о доверии членам правительства, руководству страны. Поразительно, но факт: за все годы советской власти у нас ни одно руководство не сменилось законным, демократическим путем. Эпохи в политике отмерялись либо смертью руководителя, либо «дворцовыми переворотами». Требуются всеобщие, прямые и тайные выборы главы государства.

Разумеется, можно понять, почему после выступления Б. Никольского никакой поддержки не получили призывы из программы управляющего трестом «Спецгидроэнергомонтаж» Героя Социалистического Труда Г. Лохматикова...»

Конечно, газетные строки не в состоянии передать всей остроты, всей драматичности того, что происходило в зале.

Теперь, перечитывая тезисы своего выступления, я поражаюсь тому, как стремительно изменяется, уходит вперед время: то, что недавно, всего лишь полгода назад произносилось с трибуны едва ли не впервые, было свежим и смелым словом, сегодня уже воспринимается как нечто вполне естественное, даже привычное. И это прекрасно. Ибо был уже Съезд народных депутатов, были острейшие теледебаты, были новые яркие публикации в печати, но тогда, в февральские дни все это было еще впереди, избирательная кампания лишь начиналась, и именно нам, тем, кто первыми вступил в предвыборную борьбу, предстояло прокладывать эту дорогу.

Каждый оратор знает, что есть особое и очень важное для успеха чувство — чувство контакта с залом. В тот день на окружном предвыборном собрании я ощущал его. Но вот выступление было закончено, регламент исчерпан, начались вопросы. И тут я почувствовал, как потянуло холодным ветерком враждебности. Характер вопросов, тон, каким они задавались, говорили сами за себя. «Как могли вы, являясь членом партии, допустить, чтобы ваша кандидатура была выдвинута комитетом «Выборы-89», в который входит и враждебный партии «Демократический союз»?» «Как вы расцениваете появление в вашем журнале статьи Сергея Андреева, написанной с антипартийных позиций и направленной против решений XIX партконференции? Соединимо ли это с тем, что вы являетесь членом горкома партии?» И приходилось объяснять, что среди тех членов комитета «Выборы-89», которых я знаю, нет членов «Демократического союза», что ни один из них не выступал в мою поддержку на собрании в Доме писателя, что статья Сергея Андреева, по моему мнению, вовсе не направлена против решений XIX партконференции, а наоборот, как раз отвечает ее духу — если под духом партконференции подразумевать стремление к открытости, диалогу, к поискам новых путей развития нашего общества. Я еще не предполагал тогда, что эти или подобные им вопросы будут преследовать меня на протяжении всей избирательной кампании, что найдутся политические обвинения и похлеще, что отыщутся люди, которые специально позаботятся об этом...

Собрание между тем двигалось к своему завершению. И если первая его часть, по моему ощущению, была выиграна мною, то заключительная складывалась явно неудачно для меня. Чаши весов заколебались. Я отчетливо чувствовал это. Сторонники мои никак не могли пробиться к трибуне, зато пенсионер, представитель жэковской парторганизации, получив слово, сообщил, что «по слухам» Никольского собираются еще избрать и руководителем Ленинградской писательской организации (не странная ли осведомленность для постороннего к Союзу писателей человека?) — так что не достаточно ли для него должностей и обязанностей? Не хватит ли, мол, как во времена застоя, перегружать одного человека различными постами и званиями? И зал отозвался на этот вопрос сочувственными аплодисментами. При этом оратор, правда, забыл посчитать, сколько обязанностей и званий у тех кандидатов, за которых он ратовал. Это почему-то его не волновало. Впрочем, подобные риторические филиппики звучали только в моей душе — зал-то не мог слышать этих аргументов. Семя же сомнения было брошено. А тут еще едва ли не силой пробившийся наконец к микрофону писатель, взвинченный тем, что ему не давали слова, допускает явно неудачный, нетактичный выпад в адрес Фаддеева — и это тоже очко не в мою пользу... Короче говоря, когда наконец завершается тайное голосование и счетная комиссия удаляется подсчитывать бюллетени, я уже почти твердо убежден в своем поражении. Меня так и тянет уйти, не дожидаясь результатов голосования. Я с трудом пересиливаю это желание.

И вот, после долгого ожидания члены комиссии появляются в зале. Результаты объявлены. Из восьми кандидатов борьбу за депутатский мандат продолжат трое: Л. Д. Фаддеев, Н. Н. Скатов, Б. Н. Никольский.

5

В тот момент, когда я, еще не остывший от пережитых волнений, вместе с двумя своими соперниками принимал поздравления, я, конечно же, не предполагал, какая трудная, ожесточенная борьба ожидает впереди нас троих, сколько нервной энергии, сколько напряжения и сил она потребует. Мои представления об этой борьбе, как вскоре выяснилось, были весьма далеки от реальности. Да и слово «борьба» поначалу казалось мне здесь не очень уместным. То, что предстояло нам, рисовалось в моем воображении как нечто, похожее на политический диспут, как заинтересованная дискуссия вокруг наших программ, как деловое их сопоставление и на страницах газет, и на экране телевизора, и непосредственно перед избирателями. Главной проблемой в то время мне казалась всего одна — собрать и привлечь к подобным предвыборным встречам самих избирателей. По опыту прошлых лет было хорошо известно, сколь неохотно идет наш избиратель на такие мероприятия. Перед самой первой встречей с избирателями мои доверенные лица и сотрудники редакции сами писали открытки-приглашения и сами разносили их по домам. Ведь особенно надеяться на официально назначенных агитаторов не приходилось. Во-первых, за долгие годы у людей уже прочно выработалось чисто формальное отношение к подобным обязанностям. Во-вторых, агитационные коллективы, созданные, как и прежде, на крупных предприятиях, пребывали в состоянии растерянности. Если кандидатов трое, а не один-единственный, то как себя вести, за кого агитировать? За блок коммунистов и беспартийных? Но ведь все трое мы и были представителями этого блока. Так за кого же именно? Кому и по какому принципу отдать предпочтение? Руководствоваться личными симпатиями? Или, может быть, хранить строгий нейтралитет? Превратиться лишь в беспристрастных разносчиков повесток? И не лучше ли уж тогда, не логичнее ли каждому кандидату и депутату иметь свою «команду», свой агитационный коллектив?.. Опыт первой избирательной кампании показал, что это, конечно, было бы всего разумнее. Так оно и получалось на деле.

А средства наглядной агитации? Листовки? Материалы с программами и биографиями кандидатов? Кто изготовит их? В какие сроки? Кто возьмется распространять? На первый взгляд, регулировать и направлять этот процесс должна была избирательная комиссия. Но если исходить из того, что и для самой избирательной комиссии все происходящее было внове, непривычно, если исходить из той традиционной нерасторопности, с какой все обычно делается, если исходить, наконец, из тех реальных, в общем-то мизерных финансовых возможностей, которыми располагала комиссия, то избиратели вполне могли остаться на голодном пайке. Во всяком случае, знакомить с кандидатами, агитировать за них никто особенно не торопился.

Так что и здесь инициативу приходилось брать в свои руки. Каждый из нас прекрасно понимал, что утраченное время — это утраченные голоса избирателей. Впервые борьба за голоса избирателей превратилась из чисто теоретической, умозрительной в реальную. Где напечатать листовки? Сколько? Как их составить? Как распространить? Все это надо было решать на ходу, не откладывая, быстро. Впрочем, война листовок еще только начиналась, подлинного накала она достигла позже, ближе к дню выборов. А пока основные события разворачивались в клубах и домах культуры на встречах с избирателями округа.

6

После одной из встреч с избирателями я сказал в шутку: «Кажется, я уже могу составить целую книгу из ваших записок и своих ответов на них». В этой шутке была значительная доля истины. Записок действительно накопилось много — целых три битком набитых больших папки. Теперь они хранятся у меня дома как память о тех днях. Вопросы самые разные: от «Как вы оцениваете деятельность М. С. Горбачева?» до «Как вы относитесь к переходу на летнее время?» Записки эти дают богатую пищу для размышлений. Главное ощущение, которое выносишь, перебирая, перечитывая их заново, неизменно: люди говорили, спорили, спрашивали с такой степенью откровенности, о которой недавно еще и помыслить было нельзя. Споры кипели вокруг самых серьезных, самых болевых, самых глубоких проблем: партия и общество, гласность, правовое государство, социальная справедливость...

Вот одна из характерных записок. «Товарищ Никольский! Чем объяснить, что вы, являясь членом партии, занимаете более радикальную, критическую позицию по отношению к некоторым аспектам партийной жизни, чем беспартийный Фаддеев?» Я ответил: «Да как раз тем и объяснить, что я являюсь членом партии! И именно потому гораздо острее, ближе к сердцу, больнее и критичнее воспринимаю все то, что роняет авторитет партии в глазах народа. Так, я не могу не испытывать тревогу, если вижу, что процесс демократизации в партии идет гораздо медленнее, чем хотелось бы, чем это необходимо. Противоречивость ситуации, на мой взгляд, заключается в том, что, с одной стороны, партия, прежде всего в лице ее центрального руководства, безусловно, выступает сегодня как революционная сила общества — именно она, партия, провозгласила курс на перестройку, на отказ от старых догм, на коренное преобразование политической системы, на демократизацию и гласность. Но, с другой стороны, именно в партии, в партийном аппарате

сконцентрированы сегодня и наиболее консервативные силы — те, что сопротивляются подлинной демократизации, страшатся истинной гласности. Эти люди рады были бы предпочесть перестройке лишь косметический ремонт. Да, на словах и они выступают за демократизацию, и они провозглашают правильные лозунги, однако на деле они за такую демократизацию, которая регламентировалась бы аппаратом, которая покорно укладывалась бы в отведенные ей рамки, привычно сводилась бы к знакомому набору организационных мероприятий. Стереотипы старого мышления еще очень сильны. Да они и удобны для аппарата. Иначе чем объяснить, например, что до сих пор ни один секретарь Ленинградского обкома или горкома не избирался на альтернативной, конкурсной основе? А ведь ныне люди особенно остро реагируют на расхождение между словом и делом, на несоответствие провозглашаемых принципов реальным делам. Или одни принципы для низших звеньев, а другие — для высших? Иначе как, скажем, объяснить людям, почему Центральный Комитет партии, справедливо призывая к демократизации, к состязательности на выборах, к выдвижению альтернативных кандидатур, сам на своем Пленуме оставил ровно сто кандидатов на сто депутатских мандатов? И не это ли решение послужило своего рода сигналом областным партийным руководителям, стало своего рода сигналом областным партийным руководителям, стало своего рода примером для подражания, которому незамедлительно последовал партийный аппарат, стараясь во что бы то ни стало оградить своих первых лиц от возможных соперников в их предвыборной борьбе? Ведь подобные вещи не могут остаться незамеченными людьми, люди задумываются над ними и делают свои выводы». А каковы эти выводы — мы увидели в день выборов 26-го марта. Работает ли все это на авторитет партии? Нет, не работает. И мне как коммунисту не говорить об этих вещах, послушно закрывать на них глаза было бы, думаю, неверно.

Я знаю, кое-кто готов характеризовать подобные рассуждения не иначе, как «нападки на партию». С таким подходом мне приходилось сталкиваться и во время предвыборных собраний. И такие — сердитые — записки хранятся у меня. Однако пора бы, по-моему, отказаться от подобной терминологии, от практики навешивания ярлыков. Действительно, почему, спрашивается, когда мы резко критически судим о деятельности партии времен Хрущева или Брежнева — это считается вполне нормальной, допустимой и даже поощряемой теперь критикой, а когда мы говорим о дне сегодняшнем, подвергаем состояние дел в партии критическому анализу — это уже «нападки на партию», «очернительство» и т. п.? Надо понять, что без трезвого, критического анализа, без критического, бесстрашного взгляда на происходящее мы далеко не уйдем. Весь опыт нашего прошлого говорит об этом. Не стоит забывать о том, что конец хрущевской «оттепели», конец задуманных им перемен начался именно тогда, когда желаемое мы стали принимать за действительное, когда «потемкинские деревни», радующие глаз высокого начальства, стали поощряться куда больше, чем правдивое слово о реальном положении страны.

Авторитет партии, вопреки мнению некоторых ее рьяных защитников, подрывается не отдельными «негативными» высказываниями или статьями. Авторитет партии подорван тем положением, в котором оказалась наша страна и за которое несет ответственность именно партия. Уйти нам от этого некуда. А завоевывается авторитет тоже не словами, не лозунгами, в которых партия славит сама себя, не хвалой, произносимой от имени «благодарного» народа, не обещаниями, а лишь реальными усилиями, реальными переменами к лучшему, реальными результатами перестройки. Будут такие результаты — будет и авторитет.

(Замечу в скобках, что именно эти мои рассуждения, наверное, и побудили одного энергичного защитника партийной чести, ученого-обществоведа, с гневным пафосом воскликнуть: «Как мы можем доверить мандат депутата человеку, который предает партию, в которой состоит!» Да, кое-кому, видно, очень хотелось повернуть предвыборные встречи именно в такую обличительно-проработочную плоскость. Совсем в духе старых времен. Однако не получилось.)

Примечательно, что вопрос о том, как независимость народного депутата, самостоятельность его позиции соотносится с его партийной принадлежностью, с партийной дисциплиной, возникал едва ли не на каждой встрече с избирателями. (Кстати, в той или иной форме поднимался он и на Съезде народных депутатов, и на сессии Верховного Совета — так что волнует он не только избирателей, но и самих депутатов.) «Как вы поведете себя,— настойчиво спрашивали меня в записках,— если мнение партийной группы разойдется с волей ваших избирателей? Как вы поступите?» Я отвечал так: «Убежден, что для народного депутата решающей должна быть воля его избирателей, воля народа». И тут однажды тоже нашелся оппонент, решивший так истолковать мои слова: «Значит, ради того, чтобы завоевать популярность у избирателей, вы готовы поступиться партийными интересами, а следовательно, и партийным билетом? Где же ваша принципиальность?» Мне пришлось ответить этому человеку, что речь идет вовсе не о завоевании популярности у избирателей, а о выполнении депутатом их воли — это две разные вещи. В конечном счете не народ служит партии, а партия — народу, из этого и только из этого и следует исходить. И не случайно партия провозгласила сегодня приоритет общечеловеческих ценностей над узкогосударственными, узкопартийными и узкоклассовыми интересами. Этот принцип имеет основополагающее значение в новом мышлении.

А вот другая — и тоже очень многочисленная — группа записок: спрашивают, как я отношусь к Закону о выборах, какие вижу в нем достоинства и недостатки, за какие поправки в Законе буду бороться, если меня выберут народным депутатом. Отвечать на эти записки было проще, ибо ответы на них, в сущности, содержались в моей предвыборной программе. Да, Закон о выборах я считаю значительным шагом вперед в процессе демократизации нашего общества. Не будь его, говорил я, не было бы и этих бурных предвыборных встреч. Однако я выступал и выступаю прежде всего за то, чтобы выборы главы государства в нашей стране проводились путем всеобщего, прямого, тайного голосования. Хотим мы это признавать или нет, но фактически у нас сложилась президентская форма правления, так давайте уж тогда и президента избирать всем народом. Пока же народ при смене руководства страны, говоря словами Пушкина, безмолвствовал. Так не пора ли наконец дать право народу выбирать главу государства — человека, в чьих руках сегодня сосредоточивается огромная власть? Именно потому этот человек должен находиться под контролем народа. Да и, кроме того, прямые выборы главы государства неизбежно приведут к росту общей социальной и политической активности народа, что тоже очень важно. Далее я убежден, что выборы в Верховный Совет СССР должны быть прямые, а не двухступенчатые, как это предусмотрено Законом сейчас. (Тогда бы, кстати, не мог возникнуть «парадокс Ельцина», когда депутат, избранный волею миллионов москвичей, все-таки поначалу не оказался в Верховном Совете.) Здесь возникает и еще одна тонкость. Я практически не знаю сейчас, говорил я на предвыборных встречах, от чьего имени даю избирателям свои обещания: от имени будущего народного депутата СССР или от имени будущего народного депутата СССР и члена Верховного Совета СССР? Вряд ли есть смысл доказывать, что возможности в том и другом случае у меня окажутся различными — особенно, когда это касается непосредственной работы над законами. Вопрос «Хотите ли вы работать в Верховном Совете? Будете ли добиваться своего избрания туда?» звучал на встречах с избирателями очень часто. Здесь моя позиция и позиция Л. Д. Фаддеева расходились. Я отвечал: «Да, хочу. Да, буду». Л. Д. Фаддеев говорил: «Нет». Почему я отвечал именно так? Я считал и считаю, что сам характер моей предвыборной программы, ее политическая направленность, которая могла быть реализована только принятием целого ряда законов, обязывали меня ставить своей целью работу в Верховном Совете СССР.

Ну и, конечно, двух мнений не оказывалось ни у меня, ни у избирателей, когда речь заходила о выборах от общественных организаций. Да, безусловно, общественные организации должны быть представлены на Съезде народных депутатов СССР, но пусть их представители борются за свои мандаты в территориальных округах. А то ведь в некоторых общественных организациях выборы скорее походили на назначения, чем на реальную борьбу за депутатские мандаты.

Равные выборы и должны быть равными. Это главное. Никакой социальный слой общества, никакая общественная организация не должны здесь иметь никаких искусственно создаваемых преимуществ. Уже с нынешних позиций я бы к этим словам добавил следующее. Когда теперь порой раздаются сетования по поводу того, что, мол, усилиями «крикунов и демагогов» рабочий класс оказался недостаточно представлен в высших органах власти, когда делаются намеки на то, что это, мол, интеллигенция сумела оттереть представителей рабочего класса, для меня подобные рассуждения не что иное, как попытка переложить вину с больной головы на здоровую, как попытка аппарата снять с себя прямую ответственность за происшедшее. Кто, спрашивается, мешал рабочим таких гигантов, как Ижорский завод, как «Большевик», как Невский завод, выдвинуть кандидатами в депутаты своих товарищей, своих лидеров? Кто приложил все усилия, чтобы в Невском рабочем районе баллотировался лишь один-единственный кандидат — партийный руководитель области? Кто на Ижорском заводе обеспечивал своего рода «зеленую улицу» мэру города, не получившему затем доверия избирателей? Может быть, об этом заботилась интеллигенция? Нет, именно аппарат. И будет очень печально, если сегодня под видом заботы об интересах рабочего класса кто-то попытается провести линию раскола между рабочим классом и интеллигенцией.

«Правовое государство — как вы его понимаете?» Тоже один из весьма типичных вопросов. Я говорил, что правовое государство — это такое государство, где правит закон, а не личность. У нас же, в нашем обществе мы продолжаем пока еще во многом зависеть не от закона, а именно от личности. Не потому ли мы с гораздо большим волнением и душевным трепетом воспринимаем перемещения в составе политбюро, чем принятие новых законов?.. Мы обрели гласность, но гласность пока еще не защищена у нас законом. Мы осудили культ личности, но до сих пор не выработали ме-

ханизм, защищающий нас от его повторения. И таких примеров можно привести немало. Недостаточно провозгласить свободу слова, свободу совести, свободу печати — нужно дать реальные возможности, реальные гарантии осуществления этой свободы. Создать правовое государство — значит еще и изменить психологию общества, а это не просто. Не могу в этой связи не вернуться к истории публикации романа В. Дудинцева. Когда горлит официально предложил нам снять роман, я тоже официально ответил, что категорически настаиваю на подписании в печать номера в том виде, в каком он представлен нами. В противном случае, писал я, я буду рассматривать действия горлита как нарушение статьи Конституции СССР о свободе печати. И вот что самое примечательное. Когда я прочел свое письмо в редакции, один из сотрудников сказал мне: «Вы все написали очень хорошо, но только, ради бога, не ссылайтесь на Конституцию. На Конституцию у нас ссылаются одни диссиденты». И ведь действительно, как бы анекдотично ни звучали эти слова, в них была горькая правда. Так что воспитание правового сознания — это безусловно одна из главнейших наших задач. Это ведь еще и воспитание достоинства человека.

Записки... Записки... Вопросы вопросам рознь. Были среди них и такие, которые задавались не ради того, чтобы выяснить истину, чтобы узнать мою или другого кандидата точку зрения на ту или иную проблему, нет, их цель была иная: скомпрометировать, уязвить, поставить в трудное положение. Причем одни и те же вопросы порой кочевали с одной встречи на другую и записки писались даже иной раз одним и тем же почерком. Николай Николаевич Скатов как-то даже воскликнул, не выдержав: «Вы бы хоть почерк меняли, что ли!» Разумеется, такие вопросы задавались не ради ответов, ведь ответы авторам записок уже были хорошо известны.

«Товарищ Никольский! Где вы были раньше, почему молчали как депутат Ленсовета?»

«Что такого особенного вы совершили, являясь депутатом Ленсовета, чтобы теперь рваться в Верховный Совет?»

Было ли что рассказать мне о депутатской работе в горсовете? Да, конечно. И я рассказывал. Но главное все-таки заключалось не в этом. «Главное,— говорил я,— что именно опыт моего пребывания в составе Ленсовета привел меня к глубокому убеждению в необходимости кардинальной реформы всей нашей политической системы. Дело сегодня не в том, хорош или плох депутат, активен он или не активен, дело в неэффективности, заформализованности самой системы. Необходимо подлинное народовластие, а не его иллюзия, не его видимость. Только если местные Советы будут обладать реальной властью, а депутаты будут действительно избираться на демократической альтернативной основе, будут действительно зависимы лишь от своих избирателей — только тогда с депутата можно будет спрашивать по-настоящему. Сейчас же депутату чаще всего отводится роль статиста, и в этом не его вина. Потому так важно, в частности, выработать новый действенный статус народного депутата».

А вот и вопросики иного рода:

«Назовите национальный состав вашей редакции?»

«Сколько евреев работает в «Неве»?»

На такие вопросы зал, как правило, довольно единодушно требовал не отвечать. Так что любителям подобных записок пришлось искать другие методы борьбы против неугодного им кандидата. Какие это были методы, рассказал в своем репортаже корреспондент газеты «Смена» уже незадолго перед вторым туром голосования: «Почти одновременно со мной в редакцию журнала «Нева» пришла немолодая женщина. «Вот, только что сняла с дверей винного магазина»,— положила она на стол секретарю редакции листовку. «Спасибо, такого в нашей коллекции еще нет»,— спокойно ответила секретарь, прочитав кривые строчки. Уникальная это была гнусность, приправленная сногсшибательной информацией: оказывается, главный редактор журнала «Нева» чуть не с детства скрывается под чужим именем.

А у станции метро «Чернышевская» по Борису Николаевичу уже устраивают «поминки» — несколько человек держат портрет Никольского, обрамленный черным крепом...»

И не случайно, подводя итоги предвыборной борьбы, я тогда же сказал корреспонденту «Смены»:

«Я никогда раньше не сталкивался с проявлением такой враждебности, прямой ненависти. В ход идут любые средства, вплоть до грязной лжи, клеветы. Когда этим занимаются люди, относящиеся к обществу «Память», это понятно. Им давно не нравится журнал, и они на все горазды. Хуже, когда к дезинформации прибегают некоторые работники партийного аппарата. За моей спиной они обвиняли меня в том, что я скрытый «дэсовец», обличали в неискренности целый ряд моих заявлений. Я вовсе не против жесткой предвыборной борьбы, я только хочу, чтобы она велась открыто и честно...»

Оборвем, впрочем, цитату, у нас еще будет возможность вернуться к этой стороне дела. Добавлю лишь одно. Мне как русскому человеку, как человеку, имеющему свои корни в русской интеллигенции, всегда были и остаются глубоко отвратительны всякие спекуляции на национальном вопросе, продиктованные прежде всего невежеством, всякие проявления черносотенства и шовинизма.

Первое время наши встречи с избирателями напоминали своего рода дуэль между нашими сторонниками и противниками, походили на перекрестный артобстрел кандидатов, где в качестве снарядов использовались именно записки. В такой накаленной обстановке рядовые, обычные избиратели, не принадлежащие, что называется, ни к тому, ни к другому лагерю, оказывались, к сожалению, далеко не главными действующими лицами. Им-то труднее всего было пробиться к микрофону, изложить свои наказы кандидатам. Да поначалу, мне кажется, их в зале бывало меньше, чем тех, кто приходил с определенной целью: поддержать или ниспровергнуть того или иного кандидата. Однако постепенно ситуация менялась, интерес к подобным встречам все возрастал, все отчетливее звучал голос избирателей, стремящихся рассказать о своих нуждах, о своих горестях и бедах, желающих поглядеть в глаза своим кандидатам, услышать их мнение.

Я никогда, например, не забуду встречи в клубе «Энергетик». Обстоятельства сложились так, что из трех кандидатов на встречу пришел один я. Два других вынуждены были, по объективным причинам, прислать своих доверенных лиц. И это вызвало такую бурю негодования, такую бурю страстей, которую никогда прежде ни на каком подобном мероприятии мне не приходилось видеть. Да, люди, жаждущие рассказать о своих бедах, не всегда решались выйти на трибуну, но зато после встречи они окружали меня, протягивали свои письма, со слезами на глазах рассказывали о своих обидах. Блокадники, старики, одинокие, забытые люди...

В своем интервью «Ленинградской правде», которое так и не было напечатано, я, в ответ на традиционный вопрос «Почему вы решили бороться за избрание народным депутатом», говорил так: «...Незадолго до предвыборной кампании судьба свела меня с одной старой женщиной, блокадницей, участницей войны, ветераном труда. Всю жизнь она честно работала, но теперь ей восемьдесят пять лет, и она заболела. Однако в больницу ее не кладут, ссылаясь на то, что болезни, мол, у нее старческие — разве что удастся поставить на очередь на «бытовую» койку, да и то дожидаться этой очереди нужно несколько месяцев. С горечью, с болью в голосе старая женщина спрашивала меня: «Почему на войне, в блокаду мне место находилось, почему после войны у станка мне место находилось, а почему же теперь в больнице для меня места нет?» Действительно — почему? Пока будут звучать подобные вопросы, наша совесть не может быть спокойна. Частный, казалось бы, случай, но за этим частным случаем встает общая проблема, проблема социальная, политическая — пренебрежение бюрократической системы по отношению к человеку, беспомощность, беззащитность, бесправие человека перед этой системой. Бюрократическая система маскируется бумажными лозунгами, на словах повторяя «все для человека», а на деле попирает и унижает этого самого человека. Цель свою как народного депутата я вижу в борьбе против подобной системы, в ее разрушении.

Разве та же проблема коммунальных квартир, проблема невозможности выбраться из городских трущоб — это опять же не проблема бесправия человека? Я помню, как моя тетка, блокадница, перенесшая в Ленинграде самые тяжелые дни осады, засыпанная во время бомбежки в Гостином дворе и чудом спасенная из-под развалин, я помню, как она уже перед концом своей жизни мечтала лишь об одном: о собственном угле, о пусть крошечной, но собственной отдельной комнатенке. Ее мечта так и не исполнилась, она так и умерла в комнате, где мы жили вчетвером: она, моя мать и мы, двое сыновей, двое уже взрослых мужчин. «Не положено»,— отвечали ей. С тех пор чувство горечи и невольной вины навсегда сохранилось в моем сердце. (Кое-кто из моих оппонентов потом пытался иронизировать над моей якобы склонностью рассказывать избирателям «жалостливые» истории. Что ж, пусть эта ирония останется на их совести.) Только иронизируй не иронизируй, а когда и сегодня больного старого человека, блокадника ставят на многотысячную очередь, это ведь не забота — это насмешка. Когда старый человек вынужден жить рядом с дебоширом, пьяницей, превращающим квартирный быт в пытку, и когда из этого положения практически нет выхода — ни поменяться, ни переехать,— это уже не беда, это трагедия. Когда для старых одиноких блокадников город до сих пор не сумел построить по-настоящему хороших, благоустроенных пансионатов — это уже не чьи-то просчеты, это чиновничье ледяное бездушие...

И во время встреч с избирателями я не раз ощущал, как перед подобными людскими бедами, рядом с глазами стариков, глядящими на тебя с последней надеждой, вдруг меркли иные политические страсти, которые еще недавно казались тебе столь важными...

7

Казалось бы, очень простая задачка.

С одной стороны — беспартийный академик Л. Д. Фаддеев.

С другой — главный редактор журнала, коммунист, член горкома партии Б. Н. Никольский.

Спрашивается, кого, судя по всему, должны поддерживать партийные органы? Ответ для неискушенного человека вроде бы ясен.

Но на деле все выходило наоборот. Разумеется, я вовсе не жаждал, не искал для себя каких-то преимуществ, я вовсе не рассчитывал, не надеялся на поддержку партийного аппарата. И все же... Я не отрицал и не отрицаю права, к примеру, райкома партии выразить свое отношение к тому или иному кандидату, будь он коммунист или беспартийный.

Вполне допускаю, что мог даже собраться пленум райкома и призвать коммунистов поддерживать именно Л. Д. Фаддеева (тем более, что в биографии его как то промелькнула фраза о том, что Людвиг Дмитриевич, «хотя и беспартийный, но в душе настоящий коммунист»), и наоборот — не поддерживать Никольского. Это право райкома — иметь свою позицию, свой взгляд. Я только за то, чтобы это делалось открыто. И чтобы я как кандидат в депутаты, как коммунист тоже знал об этом. Чтобы я мог защититься. Чтобы обвинения не возводились за моей спиной. А то ведь что получалось? На встрече с избирателями меня спрашивают: «Известно ли вам, что работники райкома инструктируют агитаторов, чтобы те призывали голосовать за Фаддеева и против Никольского? Потому что, мол, Никольский — скрытый „дэсовец"». Нет, отвечаю, мне, естественно, ничего об этом не известно. Мне даже не хотелось бы, честно говоря, в это верить. Но приходится. И возникает у меня желание спросить: а почему бы в таком случае комунибудь из работников райкома не выступить на моих встречах с избирателями, не сказать об этом прямо, вслух, открыто? Почему они молчат? Я задавал этот вопрос публично во время встреч, но ответа на него так ни разу и не получил, видно, работники аппарата привыкли действовать своими — аппаратными — методами. К чему это привело, и показали результаты выборов. Зато открыто выступила против меня газета горкома партии «Вечерний Ленинград». Не парадоксально ли — единственным кандидатом, кого газета сделала своей мишенью, против кого выступала трижды, оказался член горкома партии? Не удивительно ли?

Впрочем, о средствах массовой информации и об их роли в избирательной кампании стоит поговорить подробнее.

Мне кажется, поначалу и газеты, и телевидение, и радио были в некоторой растерянности. Слишком непривычная задача стояла перед ними. Кандидатов в народные депутаты много, все они разные — как справиться с этим потоком материала? Как соблюсти принцип равных возможностей? Кем должен регулироваться этот процесс? Избирательными комиссиями? Обкомом?..

Как-то, еще в самом начале избирательной кампании, мне позвонил знакомый журналист и сказал: ему точно известно, что существует список тех кандидатов в депутаты, чьи программы, по мнению обкома партии, не следует пропагандировать. В этом списке, сказал он, есть и ваша фамилия. Я ответил, что не верю в существование такого списка, наверное, это только слухи. Во всяком случае, работники обкома, с которыми доводилось разговаривать, утверждали: их единственная забота — предоставить всем кандидатам равные возможности. И вообще, все, мол, решают избирательные комиссии. И вдруг — такой список! Нет, думал я, не может быть. Однако прошло дня три, и мне позвонили снова. На этот раз звонил сотрудник радио — речь опять шла о существовании такого списка. Более того, он утверждал, что ответственный работник обкома партии провел специальное совещание по этому поводу в радиокомитете. Там были названы неугодные кандидаты. В узком кругу, разумеется. И опять я не поверил. Но события, с которыми вскоре мне пришлось столкнуться, заставили меня заколебаться. Давайте вместе проследим за этими событиями, сопоставим их и уже тогда попытаемся определить, кто же все-таки был ближе к истине в этой загадочной истории.

Факт первый. Предоставим для краткости слово документу. 7-го марта я был вынужден написать заявление в окружную избирательную комиссию. Привожу его текст полностью:

«Уважаемые товарищи!

Я категорически протестую против той дискриминации, которая была осуществлена по отношению ко мне Ленинградским телевидением. 6-го марта в студии было записано мое обращение к избирателям. Именно тогда я предупредил, что настаиваю на том, чтобы мое выступление, как и выступления других кандидатов в депутаты, *обязательно* было анонсировано. Избиратели должны заранее знать, когда выступает кандидат в депутаты именно их округа,— в противном случае такие выступления теряют смысл, оказываются формальностью. Мне было обещано, что такое предварительное объявление будет дано. Уходя из студии, я спросил редактора А. В. Аристархову, на какое число планируется мое выступление. «Я вас обязательно поставлю в известность»,— был ответ. Однако все произошло по-другому. Запись моего выступления была пущена в эфир без всякого предварительного объявления уже на следующий же день — 7 марта. И меня об этом также никто не поставил в известность. Естественно, не могли знать об этом и избиратели округа (Не случайно потом на встречах с избирателями я не раз получал записки: «Когда состоится ваше выступление по телевидению?») Но главное даже не в этом. Главное, что мое выступление было поставлено на то самое время, когда по первой программе шла последняя серия фильма «Рабыня Изаура», который, как хорошо известно, смотрит бóльшая часть телезрителей. Таким образом, я намеренно был лишен аудитории (самое забавное, что еще до этой истории я как-то пошутил: если телевидение захочет, чтобы кандидата в депутаты не услышали избиратели, этого добиться сейчас очень легко — достаточно пустить его выступление параллельно с «Рабыней Изаурой». Пошутив так, я, что называется, как в воду глядел). Да, я утверждаю, что это было сделано намеренно, ибо иначе трудно объяснить, каким принципом определялась очередность наших выступлений. Алфавитным? Но Н. Н. Скатов выступал передо мной. По очередности записи? Но Л. Д. Фаддеев записывался раньше меня. Однако именно его выступление было анонсировано на 9 марта.

Итак, формально мне была предоставлена возможность обратиться к телезрителям, но по существу же меня лишили этой возможности. Поэтому я требую повторить выпуск в эфир моего выступления, непременно дав предварительное о нем объявление. Прошу комиссию поддержать это мое требование».

Скажу сразу: окружная избирательная комиссия признала справедливость моих требований и обратилась к телевидению с предложением повторить выпуск в эфир выступлений всех трех кандидатов по Смольнинскому округу. К сожалению, телевидение эту рекомендацию так и не выполнило.

Не могу, конечно, судить в точности, чего здесь было больше — специального умысла или чисто формального отношения к делу, идущего от тех времен, когда выступления кандидатов в депутаты носили дежурный характер и практически не имели почти никакого значения ни для самих кандидатов, ни для их избирателей. Теперь ситуация резко изменилась. Но на первых порах телевидение, казалось, не захотело или не смогло почувствовать этого. Во всяком случае, восемь минут, отводимые каждому кандидату для статичного выступления перед камерой, никак не могли соответствовать тому накалу предвыборной борьбы, который вовсю давал себя знать в городе. К чести телевидения, оно, на мой взгляд, все-таки сумело перестроиться на ходу и после 26-го марта, словно сбросив с себя официальное оцепенение, уже блестяще справлялось со своими обязанностями. Недаром за теледебатами, которые вел Ю. А. Николаев, зрители следили с таким интересом, с каким не следили ни за одним самым острым спортивным поединком.

Факт второй. Радио. И тут не обошлось без сложностей. Еще в самом начале предвыборной борьбы на вопрос избирательной комиссии, намерен ли я выступать по радио, я ответил: «Да, непременно». Меня заверили, что пожелание мое принято. Однако через некоторое время я случайно обнаружил, что никто на радио не собирается записывать меня — в списках выступающих кандидатов меня не было. Понадобились определенные усилия, чтобы запись была осуществлена.

Факт третий. Как мне объяснили в избирательной комиссии, обкомом партии было решено, что части кандидатов будет предоставлена возможность выступить на страницах «Ленинградской правды», части — на страницах «Вечернего Ленинграда». (На мой взгляд, это решение само по себе уже было неверным: во-первых, у этих газет разные читатели, во-вторых, избирательная кампания стала столь важным событием в жизни нашего общества, предвыборная борьба так сильно занимала умы и сердца ленинградцев, что — почувствуй это газеты — и они должны были бы максимум своей площади отдавать под предвыборные материалы, а не ограничиваться, как это произошло, весьма стандартными и весьма лаконичными интервью.) Я выразил желание выступить в «Ленинградской правде». Материал был своевременно подготовлен и передан в редакцию моими доверенными лицами. И что же? Материал так и пролежал в редакции вплоть до 26-го марта, места для него не нашлось. Не нашлось для него места и после 26-го марта. Газета сочла свою миссию выполненной, опубликовав лишь небольшое письмо, подписанное Д. Лихачевым, В. Конецким и другими писателями, в мою поддержку. Возможности же познакомиться с моей предвыборной программой, пусть даже в самом кратком, тезисном изложении, читатели «Ленинградской правды» были лишены. Сознательно это было сделано или опять сработала случайность? Думаю, что вполне сознательно.

Зато в эти же дни газета преподнесла мне другой сюрприз. В номере от 14-го марта под крупным заголовком «Что произошло у Казанского собора?» «Ленинградская правда» рассказала о попытке «Демократического союза» провести несанкционированный митинг в центре города. И первое, что бросалось в глаза любому, развернувшему газетную полосу,— это крупная фотография кандидата в народные депутаты Б. Н. Никольского с микрофоном в руках, заверстанная как раз в самый центр статьи, повествующей о событиях у Казанского собора! По-моему, никогда прежде я не удостаивался столь крупного изображения на газетных страницах! И лишь внизу, под статьей мелким шрифтом шла подпись: «Кандидат в народные депутаты СССР Б. Н. Никольский выступает на митинге на стадионе „Локомотив"» (!). Раньше бы мы сказали, что это типичный прием из арсенала буржуазной прессы. По фактам вроде бы все верно, не придерешься, в суд не подашь, а по существу явное намерение вызвать у читателя определенные ассоциации, связать в его сознании события у Казанского собора с личностью кандидата в народные депутаты. Так, во всяком случае, и расценило эту публикацию партий-

ханизм, защищающий нас от его повторения. И таких примеров можно привести немало. Недостаточно провозгласить свободу слова, свободу совести, свободу печати — нужно дать реальные возможности, реальные гарантии осуществления этой свободы. Создать правовое государство — значит еще и изменить психологию общества, а это не просто. Не могу в этой связи не вернуться к истории публикации романа В. Дудинцева. Когда горлит официально предложил нам снять роман, я тоже официально ответил, что категорически настаиваю на подписании в печать номера в том виде, в каком он представлен нами. В противном случае, писал я, я буду рассматривать действия горлита как нарушение статьи Конституции СССР о свободе печати. И вот что самое примечательное. Когда я прочел свое письмо в редакции, один из сотрудников сказал мне: «Вы все написали очень хорошо, но только, ради бога, не ссылайтесь на Конституцию. На Конституцию у нас ссылаются одни диссиденты». И ведь действительно, как бы анекдотично ни звучали эти слова, в них была горькая правда. Так что воспитание правового сознания — это безусловно одна из главнейших наших задач. Это ведь еще и воспитание достоинства человека.

Записки... Записки... Вопросы вопросам рознь. Были среди них и такие, которые задавались не ради того, чтобы выяснить истину, чтобы узнать мою или другого кандидата точку зрения на ту или иную проблему, нет, их цель была иная: скомпрометировать, уязвить, поставить в трудное положение. Причем одни и те же вопросы порой кочевали с одной встречи на другую и записки писались даже иной раз одним и тем же почерком. Николай Николаевич Скатов как-то даже воскликнул, не выдержав: «Вы бы хоть почерк меняли, что ли!» Разумеется, такие вопросы задавались не ради ответов, ведь ответы авторам записок уже были хорошо известны.

«Товарищ Никольский! Где вы были раньше, почему молчали как депутат Ленсовета?»

«Что такого особенного вы совершили, являясь депутатом Ленсовета, чтобы теперь рваться в Верховный Совет?»

Было ли что рассказать мне о депутатской работе в горсовете? Да, конечно. И я рассказывал. Но главное все-таки заключалось не в этом. «Главное,— говорил я,— что именно опыт моего пребывания в составе Ленсовета привел меня к глубокому убеждению в необходимости кардинальной реформы всей нашей политической системы. Дело сегодня не в том, хорош или плох депутат, активен он или не активен, дело в неэффективности, заформализованности самой системы. Необходимо подлинное народовластие, а не его иллюзия, не его видимость. Только если местные Советы будут обладать реальной властью, а депутаты будут действительно избираться на демократической альтернативной основе, будут действительно зависимы лишь от своих избирателей — только тогда с депутата можно будет спрашивать по-настоящему. Сейчас же депутату чаще всего отводится роль статиста, и в этом не его вина. Потому так важно, в частности, выработать новый действенный статус народного депутата».

А вот и вопросики иного рода:

«Назовите национальный состав вашей редакции?»

«Сколько евреев работает в «Неве»?»

На такие вопросы зал, как правило, довольно единодушно требовал не отвечать. Так что любителям подобных записок пришлось искать другие методы борьбы против неугодного им кандидата. Какие это были методы, рассказал в своем репортаже корреспондент газеты «Смена» уже незадолго перед вторым туром голосования: «Почти одновременно со мной в редакцию журнала «Нева» пришла немолодая женщина. «Вот, только что сняла с дверей винного магазина»,— положила она на стол секретарю редакции листовку. «Спасибо, такого в нашей коллекции еще нет»,— спокойно ответила секретарь, прочитав кривые строчки. Уникальная это была гнусность, приправленная сногсшибательной информацией: оказывается, главный редактор журнала «Нева» чуть не с детства скрывается под чужим именем.

А у станции метро «Чернышевская» по Борису Николаевичу уже устраивают «поминки» — несколько человек держат портрет Никольского, обрамленный черным крепом...»

И не случайно, подводя итоги предвыборной борьбы, я тогда же сказал корреспонденту «Смены»:

«Я никогда раньше не сталкивался с проявлением такой враждебности, прямой ненависти. В ход идут любые средства, вплоть до грязной лжи, клеветы. Когда этим занимаются люди, относящиеся к обществу «Память», это понятно. Им давно не нравится журнал, и они на все горазды. Хуже, когда к дезинформации прибегают некоторые работники партийного аппарата. За моей спиной они обвиняли меня в том, что я скрытый «дэзсовец», обличали в неискренности целый ряд моих заявлений. Я вовсе не против жесткой предвыборной борьбы, я только хочу, чтобы она велась открыто и честно...»

Оборвем, впрочем, цитату, у нас еще будет возможность вернуться к этой стороне дела. Добавлю лишь одно. Мне как русскому человеку, как человеку, имеющему свои корни в русской интеллигенции, всегда были и остаются глубоко отвратительны всякие спекуляции на национальном вопросе, продиктованные прежде всего невежеством, всякие проявления черносотенства и шовинизма.

Первое время наши встречи с избирателями напоминали своего рода дуэль между нашими сторонниками и противниками, походили на перекрестный артобстрел кандидатов, где в качестве снарядов использовались именно записки. В такой накаленной обстановке рядовые, обычные избиратели, не принадлежащие, что называется, ни к тому, ни к другому лагерю, оказывались, к сожалению, далеко не главными действующими лицами. Им-то труднее всего было пробиться к микрофону, изложить свои наказы кандидатам. Да поначалу, мне кажется, их в зале бывало меньше, чем тех, кто приходил с определенной целью: поддержать или ниспровергнуть того или иного кандидата. Однако постепенно ситуация менялась, интерес к подобным встречам все возрастал, все отчетливее звучал голос избирателей, стремящихся рассказать о своих нуждах, о своих горестях и бедах, желающих поглядеть в глаза своим кандидатам, услышать их мнение.

Я никогда, например, не забуду встречи в клубе «Энергетик». Обстоятельства сложились так, что из трех кандидатов на встречу пришел один я. Два других вынуждены были, по объективным причинам, прислать своих доверенных лиц. И это вызвало такую бурю негодования, такую бурю страстей, которую никогда прежде ни на каком подобном мероприятии мне не приходилось видеть. Да, люди, жаждущие рассказать о своих бедах, не всегда решались выйти на трибуну, но зато после встречи они окружали меня, протягивали свои письма, со слезами на глазах рассказывали о своих обидах. Блокадники, старики, одинокие, забытые люди...

В своем интервью «Ленинградской правде», которое так и не было напечатано, я, в ответ на традиционный вопрос «Почему вы решили бороться за избрание народным депутатом», говорил так: «...Незадолго до предвыборной кампании судьба свела меня с одной старой женщиной, блокадницей, участницей войны, ветераном труда. Всю жизнь она честно работала, но теперь ей восемьдесят пять лет, и она заболела. Однако в больницу ее не кладут, ссылаясь на то, что болезни, мол, у нее старческие — разве что удастся поставить на очередь на «бытовую» койку, да и то дожидаться этой очереди нужно несколько месяцев. С горечью, с болью в голосе старая женщина спрашивала меня: «Почему на войне, в блокаду мне место находилось, почему после войны у станка мне место находилось, а почему же теперь в больнице для меня места нет?» Действительно — почему? Пока будут звучать подобные вопросы, наша совесть не может быть спокойна. Частный, казалось бы, случай, но за этим частным случаем встает общая проблема, проблема социальная, политическая — пренебрежение бюрократической системы по отношению к человеку, беспомощность, беззащитность, бесправие человека перед этой системой. Бюрократическая система маскируется бумажными лозунгами, на словах повторяя «все для человека», а на деле попирает и унижает этого самого человека. Цель свою как народного депутата я вижу в борьбе против подобной системы, в ее разрушении.

Разве та же проблема коммунальных квартир, проблема невозможности выбраться из городских трущоб — это опять же не проблема бесправия человека? Я помню, как моя тетка, блокадница, перенесшая в Ленинграде самые тяжелые дни осады, засыпанная во время бомбежки в Гостином дворе и чудом спасенная из-под развалин, я помню, как она уже перед концом своей жизни мечтала лишь об одном: о собственном угле, о пусть крошечной, но собственной отдельной комнатенке. Ее мечта так и не исполнилась, она так и умерла в комнате, где мы жили вчетвером: она, моя мать и мы, двое сыновей, двое уже взрослых мужчин. «Не положено»,— отвечали ей. С тех пор чувство горечи и невольной вины навсегда сохранилось в моем сердце. (Кое-кто из моих оппонентов потом пытался иронизировать над моей якобы склонностью рассказывать избирателям «жалостливые» истории. Что ж, пусть эта ирония останется на их совести.) Только иронизируй не иронизируй, а когда и сегодня больного старого человека, блокадника ставят на многотысячную очередь, это ведь не забота — это насмешка. Когда старый человек вынужден жить рядом с дебоширом, пьяницей, превращающим квартирный быт в пытку, и когда из этого положения практически нет выхода — ни поменяться, ни переехать,— это уже не беда, это трагедия. Когда для старых одиноких блокадников город до сих пор не сумел построить по-настоящему хороших, благоустроенных пансионатов — это уже не чьи-то просчеты, это чиновничье ледяное бездушие...

И во время встреч с избирателями я не раз ощущал, как перед подобными людскими бедами, рядом с глазами стариков, глядящими на тебя с последней надеждой, вдруг меркли иные политические страсти, которые еще недавно казались тебе столь важными...

7

Казалось бы, очень простая задачка.

С одной стороны — беспартийный академик Л. Д. Фаддеев.

С другой — главный редактор журнала, коммунист, член горкома партии Б. Н. Никольский.

Спрашивается, кого, судя по всему, должны поддерживать партийные органы? Ответ для неискушенного человека вроде бы ясен.

Но на деле все выходило наоборот. Разумеется, я вовсе не жаждал, не искал для себя каких-то преимуществ, и вовсе не рассчитывал, не надеялся на поддержку партийного аппарата. И все же... Я не отрицал и не отрицаю права, к примеру, райкома партии выразить свое отношение к тому или иному кандидату, будь он коммунист или беспартийный.

Вполне допускаю, что мог даже собраться пленум райкома и призвать коммунистов поддерживать именно Л. Д. Фаддеева (тем более, что в биографии его как то промелькнула фраза о том, что Людвиг Дмитриевич, «хотя и беспартийный, но в душе настоящий коммунист»), и наоборот — не поддерживать Никольского. Это право райкома — иметь свою позицию, свой взгляд. Я только за то, чтобы это делалось открыто. И чтобы я как кандидат в депутаты, как коммунист тоже знал об этом. Чтобы я мог защититься. Чтобы обвинения не возводились за моей спиной. А то ведь что получалось? На встрече с избирателями меня спрашивают: «Известно ли вам, что работники райкома инструктируют агитаторов, чтобы те призывали голосовать за Фаддеева и против Никольского? Потому что, мол, Никольский — скрытый „дээсовец“». Нет, отвечаю, мне, естественно, ничего об этом не известно. Мне даже не хотелось бы, честно говоря, а это верить. Но приходится. И возникает у меня желание спросить: а почему бы в таком случае комунибудь из работников райкома не выступить на моих встречах с избирателями, не сказать об этом прямо, вслух, открыто? Почему они молчат? Я задавал этот вопрос публично во время встреч, но ответа на него так ни разу и не получил, видно, работники аппарата привыкли действовать своими — аппаратными — методами. К чему это привело, и показали результаты выборов. Зато открыто выступила против меня газета горкома партии «Вечерний Ленинград». Не парадоксально ли — единственным кандидатом, кого газета сделала своей мишенью, против кого выступала трижды, оказался член горкома партии? Не удивительно ли?

Впрочем, о средствах массовой информации и об их роли в избирательной кампании стоит поговорить подробнее.

Мне кажется, поначалу и газеты, и телевидение, и радио были в некоторой растерянности. Слишком непривычная задача стояла перед ними. Кандидатов в народные депутаты много, все они разные — как справиться с этим потоком материала? Как соблюсти принцип равных возможностей? Кем должен регулироваться этот процесс? Избирательными комиссиями? Обкомом?..

Как-то, еще в самом начале избирательной кампании, мне позвонил знакомый журналист и сказал: ему точно известно, что существует список тех кандидатов в депутаты, чьи программы, по мнению обкома партии, не следует пропагандировать. В этом списке, сказал он, есть и ваша фамилия. Я ответил, что не верю в существование такого списка, наверное, это только слухи. Во всяком случае, работники обкома, с которыми доводилось разговаривать, утверждали: их единственная забота — предоставить всем кандидатам равные возможности. И вообще, все, мол, решают избирательные комиссии. И вдруг — такой список! Нет, думал я, не может быть. Однако прошло дня три, и мне позвонили снова. На этот раз звонил сотрудник радио — речь опять шла о существовании такого списка. Более того, он утверждал, что ответственный работник обкома партии провел специальное совещание по этому поводу в радиокомитете. Там были названы неугодные кандидаты. В узком кругу, разумеется. И опять я не поверил. Но события, с которыми вскоре мне пришлось столкнуться, заставили меня заколебаться. Давайте вместе проследим за этими событиями, сопоставим их и уже тогда попытаемся определить, кто же все-таки был ближе к истине в этой загадочной истории.

Факт первый. Предоставим для краткости слово документу. 7-го марта я был вынужден написать заявление в окружную избирательную комиссию. Привожу его текст полностью:

«Уважаемые товарищи!

Я категорически протестую против той дискриминации, которая была осуществлена по отношению ко мне Ленинградским телевидением. 6-го марта в студии было записано мое обращение к избирателям. Именно тогда я предупредил, что настаиваю на том, чтобы мое выступление, как и выступления других кандидатов в депутаты, *обязательно* было анонсировано. Избиратели должны заранее знать, когда выступает кандидат в депутаты именно их округа,— в противном случае такие выступления теряют смысл, оказываются формальностью. Мне было обещано, что такое предварительное объявление будет дано. Уходя из студии, я спросил редактора А. В. Аристархову, на какое число планируется мое выступление. «Я вас обязательно поставлю в известность»,— был ответ. Однако все произошло по-другому. Запись моего выступления была пущена в эфир без всякого предварительного объявления уже на следующий же день — 7 марта. И меня об этом также никто не поставил в известность. Естественно, не могли знать об этом и избиратели округа (Не случайно потом на встречах с избирателями я не раз получал записки: «Когда состоится ваше выступление по телевидению?») Но главное даже не в этом. Главное, что мое выступление было поставлено на то самое время, когда по первой программе шла последняя серия фильма «Рабыня Изаура», который, как хорошо известно, смотрит бóльшая часть телезрителей. Таким образом, я намеренно был лишен аудитории (самое забавное, что еще до этой истории я как-то пошутил: если телевидение захочет, чтобы кандидата в депутаты не услышали избиратели, этого добиться сейчас очень легко — достаточно пустить его выступление параллельно с «Рабыней Изаурой». Пошутив так, я, что называется, как в воду глядел). Да, я утверждаю, что это было сделано намеренно, ибо иначе трудно объяснить, каким принципом определялась очередность наших выступлений. Алфавитным? Но И. Н. Скатов выступал передо мной. По очередности записи? Но Л. Д. Фаддеева записывался раньше меня. Однако именно его выступление было анонсировано на 9 марта.

Итак, формально мне была предоставлена возможность обратиться к телезрителям, по существу же меня лишили этой возможности. Поэтому я требую повторить выпуск в эфир моего выступления, непременно дав предварительное о нем объявление. Прошу комиссию поддержать это мое требование».

Скажу сразу: окружная избирательная комиссия признала справедливость моих требований и обратилась к телевидению с предложением повторить выпуск в эфир выступлений всех трех кандидатов по Смольнинскому округу. К сожалению, телевидение эту рекомендацию так и не выполнило.

Не могу, конечно, судить а точности, чего здесь было больше — специального умысла или чисто формального отношения к делу, идущего от тех времен, когда выступления кандидатов в депутаты носили дежурный характер и практически не имели почти никакого значения ни для самих кандидатов, ни для их избирателей. Теперь ситуация резко изменилась. Но на первых порах телевидение, казалось, не захотело или не смогло почувствовать этого. Во всяком случае, восемь минут, отводимые каждому кандидату для статичного выступления перед камерой, никак не могли соответствовать тому накалу предвыборной борьбы, который вовсю давал себя знать в городе. К чести телевидения, оно, на мой взгляд, все-таки сумело перестроиться на ходу и после 26-го марта, словно сбросив с себя официальное оцепенение, уже блестяще справлялось со своими обязанностями. Недаром за теледебатами, которые вел Ю. А. Николаев, зрители следили с таким интересом, с каким не следили ни за одним самым острым спортивным поединком.

Факт второй. Радио. И тут не обошлось без сложностей. Еще в самом начале предвыборной борьбы на вопрос избирательной комиссии, намерен ли я выступать по радио, я ответил: «Да, непременно». Меня заверили, что пожелание мое принято. Однако через некоторое время я случайно обнаружил, что никто на радио не собирается записывать меня — в списках выступающих кандидатов меня не было. Понадобились определенные усилия, чтобы запись была осуществлена.

Факт третий. Как мне объяснили в избирательной комиссии, обкомом партии было решено, что части кандидатов будет предоставлена возможность выступить на страницах «Ленинградской правды», части — на страницах «Вечернего Ленинграда». (На мой взгляд, это решение само по себе уже было неверным: во-первых, у этих газет разные читатели, во-вторых, избирательная кампания стала столь важным событием в жизни нашего общества, предвыборная борьба так сильно занимала умы и сердца ленинградцев, что — почувствуй это газеты — и они должны были бы максимум своей площади отдавать под предвыборные материалы, а не ограничиваться, как это произошло, весьма стандартными и весьма лаконичными интервью.) Я выразил желание выступить в «Ленинградской правде». Материал был своевременно подготовлен и передан в редакцию моими доверенными лицами. И что же? Материал так и пролежал в редакции вплоть до 26-го марта, места для него не нашлось. Не нашлось для него места и после 26-го марта. Газета сочла свою миссию выполненной, опубликовав лишь небольшое письмо, подписанное Д. Лихачевым, В. Конецким и другими писателями, в мою поддержку. Возможности же познакомиться с моей предвыборной программой, пусть даже в самом кратком, тезисном изложении, читатели «Ленинградской правды» были лишены. Сознательно это было сделано или опять сработала случайность? Думаю, что вполне сознательно.

Зато в эти же дни газета преподнесла мне другой сюрприз. В номере от 14-го марта под крупным заголовком «Что произошло у Казанского собора?» «Ленинградская правда» рассказала о попытке «Демократического союза» провести несанкционированный митинг в центре города. И первое, что бросалось в глаза любому, развернувшему газетную полосу,— это крупная фотография кандидата в народные депутаты Б. Н. Никольского с микрофоном в руках, заверстанная как раз в самый центр статьи, повествующей о событиях у Казанского собора! По-моему, никогда прежде я не удостаивался столь крупного изображения на газетных страницах! И лишь внизу, под статьей мелким шрифтом шла подпись: «Кандидат в народные депутаты СССР Б. Н. Никольский выступает на митинге на стадионе „Локомотив“» (!). Раньше бы мы сказали, что это типичный прием из арсенала буржуазной прессы. По фактам вроде бы все верно, не придерешься, в суд не подашь, а по существу явное намерение вызвать у читателя определенные ассоциации, связать в его сознании события у Казанского собора с личностью кандидата в народные депутаты. Так, во всяком случае, и расценило эту публикацию партий-

ное собрание Ленинградской писательской организации.

Факт четвертый. Позиция «Вечернего Ленинграда», который, как я уже писал, сумел за время избирательной кампании трижды выступить против меня и против редактируемого мной журнала. Это если не считать еще двух-трех мелких уколов.

Что же так рассердило уважаемую газету? Оказывается, статья Сергея Андреева «Структура власти и задачи общества», помещенная в первой книжке «Невы» за 1989 год. Конечно, право газеты и ее постоянного автора, кандидата экономических наук, проректора Ленинградской высшей партийной школы А. Сидоренко иметь свой взгляд на эту статью. Даже если взгляд этот отличается от мнения подавляющего большинства читателей. В конце концов, и большинство иной раз может заблуждаться. Удивительно лишь другое. Почему, рассуждая о необходимости свободной дискуссии, о плюрализме и прочем, газета так и не сочла возможным предоставить слово этому большинству. А ведь письма такие в распоряжении редакции «Вечернего Ленинграда» были, и не одно, не два, об этом свидетельствуют их копии, предусмотрительно направленные авторами в редакцию «Невы». Ну почему бы, действительно, не напечатать «Вечернему Ленинграду» такое, например, письмо (я цитирую лишь заключительный фрагмент его):

«...Чем же завершает А. Сидоренко «товарищескую дискуссию»? Он пишет: «Полагаю, что статья С. Андреева «Структура власти и задачи общества», несмотря на ряд «открытий», обществоведение, образно говоря, из кризиса не выведет. Думаю, что это должна была видеть и редколлегия журнала, принимая ее к публикации. Кроме того, ей следовало бы побольше заботы проявлять об «экологической» чистоте «Невы», имея в виду не только содержание статьи (хотя это чрезвычайно важно — ведь два члена редколлегии выдвинуты кандидатами в народные депутаты СССР), но и форму изложения».

Тов. Сидоренко! «Экологическую» чистоту на берегах Невы уже наводили — в журналах «Звезда» и «Ленинград»! Если будет вновь наводиться эта «экологическая» чистота, то я, по крайней мере, буду точно знать, кто явился инициатором очередной чистки! И не дам забыть об этом своим внукам и внукам их внуков! Чтобы они не стучались потом в архивы, а поименно знали бы вдохновителей, от меня лично.

Вы уверены, т. Сидоренко, что вам никогда не придется краснеть за этот застойно пахнущий каламбур с невской экологии? У ленинградца вряд ли бы рука поднялась такое написать!

Мое мнение о вашей статье: вы доказали, что умение открыто вести товарищеский диалог — не самая сильная ваша черта, что альтернативное мышление вам недоступно, что ваш устремления — призывать к чистке и топать ножкой на все, что мало-мальски выходит за рамки строго очерченной столбовой дороги с указателями.

А вообще-то, спасибо вам, ибо до вашей статьи я еще колебалась — за кого буду голосовать в марте. Теперь я это знаю твердо.

Потомственная ленинградка (в четвертом поколении) *Сафронова И. Л.*».

Нет, такие письма газета не печатала. Вместо этого она предпочла во второй раз предоставить слово все тому же А. Сидоренко, чтобы теперь он мог свой критический пафос обратить уже не столько против С. Андреева, сколько против кандидата в депутаты.

Впрочем, посочувствуем А. Сидоренко: несмотря на все его старания, пальму первенства в своем стремлении опорочить кандидата в депутаты (чего только стоят многозначительные намеки на взаимные симпатии между мной и «Демократическим союзом»! Знакомые мотивы, не правда ли?) он явно уступил А. Стерликову, чей оскорбительный, полный передержек и подтасовок материал газета сочла возможным опубликовать перед самым вторым туром голосования в качестве своего рода послесловия к моему выступлению на ее страницах. Неэтичность подобного шага, к сожалению, не покоробила редакцию. Зато читатели опять очень точно определили, что к чему. Вот только одно из писем:

«Уважаемый Борис Николаевич!

Однажды на фронте осенью 1942-го года я подобрал фашистскую листовку. Подбирал, испытывая интерес, но, едва начав читать, бросил. Вместо интереса ощутил чувство крайней брезгливости и омерзения.

6-го апреля один мой знакомый заговорил о статье в «Вечернем Ленинграде», где шельмуется ваше имя, газету ту он держал в руках. Я попросил газету без интереса, так, от нечего делать выхватил несколько строк и почувствовал то давнее, забытое ощущение отвращения, что испытал осенью 42-го в лесу, подобрав фашистскую листовку.

Я желаю вам счастья и отдаю вам свой голос.

Г. Браиловский».

Таких писем у меня немало. Так что, наверное, вслед за потомственной ленинградкой И. Л. Сафроновой я могу теперь, оглядываясь назад, лишь сказать спасибо «Вечернему Ленинграду» — своими публикациями он добился результатов, обратных тем, к которым стремился. И это тоже уроки прошедшей избирательной кампании. Ее, так сказать, поучительные парадоксы.

Что же касается ответственного сотрудника обкома со списком неугодных кандидатов в руках, то был ли он мифической фигурой или нет, пусть судят сами читатели.

8

Чем ближе подходила предвыборная борьба к финишу, тем больше выплескивалась она на улицы и площади, к станциям метро, тем большее количество людей втягивалось в эту борьбу. Откровенно говоря, я никогда не подозревал, что у меня, у журнала может оказаться столько добровольных бескорыстных помощников. Буквально каждый день ленинградцы — прежде мне совершенно не знакомые, неведомые — заходили или звонили в редакцию с одним и тем же вопросом: чем мы можем помочь? Они переписывали, печатали и разносили листовки, в любую погоду выставляли «вахты» у специальных стендов, тоже сооруженных энтузиастами, возле станций метро, убеждали, рассказывали, агитировали... Слово «агитатор» вдруг приобрело совсем новый, а точнее — свой истинный смысл. И оказалось: для того, чтобы агитировать, чтобы убеждать других, надо прежде всего верить самому. Люди очень быстро отличали, где искренность, личная убежденность, а где — лишь обязанность, бесстрастно-вынужденное исполнение общественного поручения. Официальные агитаторы, агитаторы «по должности» сразу проигрывали рядом с теми, кто вкладывал в дело всю свою душу, кто воспринимал будущую победу или будущее поражение своего кандидата как свою собственную победу или как свое собственное поражение. Этого нельзя было не почувствовать.

Если в самом начале избирательной кампании моя группа поддержки насчитывала от силы полтора десятка человек, то к концу ее, когда мы попытались всех этих людей собрать вместе, зал Дома писателя, рассчитанный на 200 с лишним мест, едва вместил их.

Официальная же борьба за кандидатов порой велась неуклюже и вызывала совсем не ту реакцию, на которую была рассчитана. Не знаю уж, кому в голову пришла эта идея, но накануне дня голосования по Смольнинскому району разъезжала черная «Волга» с синей милицейской мигалкой, и из машины через мегафон раздавались призывы: «Голосуйте за академика Фаддеева, он — единственный беспартийный кандидат!» Вряд ли сам академик поблагодарил бы инициаторов подобной затеи за такую услугу! Зато у большинства избирателей подобные усилия не могли не вызвать усмешку: с каких это, спрашивается, пор беспартийность в глазах официальных органов превратилась в главное достоинство?

Да что там «Волга» с милицейской мигалкой, если сама предвыборная борьба порой раскручивалась по законам настоящего детективного сюжета, если некие скрытые, движущие ее пружины так и остались до сих пор окутаны тайной?.. Ну вот, например, «Комитет за неизбрание Б. Н. Никольского» — что это за анонимная организация? Кто в нее входил? Кто ее поддерживал? Получить ответ на этот вопрос мне так и не удалось. А ведь этот комитет сумел выпустить не сотни, а тысячи, даже десятки тысяч листовок, направленных против неугодного ему кандидата! Листовки эти разносились по домам, опускались в почтовые ящики, расклеивались на стенах. И ведь не от руки они были написаны, не на пишущей машинке напечатаны! Кто же, спрашивается, дал этому таинственному комитету «за неизбрание» доступ к множительной технике, кто поощрял тиражирование ксерокопий — ведь любого да каждого у нас не подпустят к копировальной машине, тут уж простой самодеятельностью не обойдешься. И характерно, что борьба против главного редактора «Невы» велась примерно по тому же самому сценарию, что и борьба против главного редактора «Огонька», почерк был тот же... Примечательно, что и доверенные лица Л. Д. Фаддеева, и доверенные лица Н. Н. Скатова, обоих моих соперников, не раз категорически отрицали свою причастность к подобного рода деятельности. Так кто же тогда?

История эта разворачивалась следующим образом. Своего рода первый сигнал к атаке прозвучал уже на первой же моей встрече с избирателями в Центральном лектории. Тогда некий мужчина достал из своего портфеля заранее заготовленные ксерокопии начальной страницы моей давней статьи о книгах Л. И. Брежнева, напечатанной в журнале «Звезда». Эти ксерокопии он охотно демонстрировал и раздавал окружающим. Отметим про себя: вспомнить об этой — десятилетней давности — статье, отыскать ее в старом журнале, снять с нее ксерокопии — ради этого действительно надо было немало постараться! Очередной этап: листовки с заголовком «Метаморфозы Никольского» и с цитатами из той же статьи расклеиваются в фойе Дома культуры пищевиков перед началом встречи с избирателями. И, наконец, завершающая операция: листовки размножаются многотысячным тиражом, распространяются по почтовым ящикам, появляются на стенах домов. «Нужен ли нам такой депутат?» — вопрошают анонимные авторы этих листовок.

Итак, уязвимое место, по мнению моих противников, найдено. Отныне именно эти цитаты становятся их козырной картой. Создать образ человека, легко меняющего свои убеждения, сегодня говорящего одно, а завтра — другое, этакого конъюнктурщика от перестройки,— вот какую цель ставили те, кому очень и очень хотелось не допустить моей победы на выборах.

На кого был рассчитан подобный прием? Конечно, прежде всего на людей неосведомленных, малоинформированных, мало или вовсе ничего не знающих о моей прежней и нынешней деятельности.

Что ж, я не снимал и не снимаю с себя ответственности за написанное, пусть даже и десять лет назад. Написанное пером не вырубишь топором — лишний раз прихо-

дится убедиться в справедливости этой пословицы. Тебе может казаться, что сказанное тобой когда-то слово уже забыто, уже не имеет никакого значения, но нет — оказывается, оно всплывает из прошлого, и тебе приходится краснеть за него, приходится испытывать укоры совести. Никуда не денешься от этого. И хотя в те времена я оправдывал себя тем, что раз уж человек волею обстоятельств или волею истории поставлен во главе такой огромной мировой державы, как наша, то мемуары его не могут не представлять интереса (да и не знали мы тогда и десятой доли того, что потом узнали о Брежневе и его семействе, об истинном положении страны), все же чувствовал я зыбкость подобных оправданий перед самим собой. Но что написано — то написано.

«Пожалуйста,— отвечал я своим анонимным противникам,— цитируйте, снимайте ксерокопии, но будьте объективны. И уж если вам нравится снимать ксерокопии с моих трудов, то снимите их и с моей «Повести о рядовом Смородине, о сержанте Власенко и о себе», с большим трудом опубликованной в журнале «Юность» в 1962 году и подвергнутой жестокой критике со стороны военных за якобы допущенное «очернительство» по отношению к армии; снимите ксерокопию и с тех страниц, которые выбрасывались из моего романа «Жду и надеюсь» (кстати, речь на этих страницах шла как раз об избирательной кампании прежних лет); снимите ксерокопию и с моего выступления на VIII съезде писателей, где я говорил о забвении решений XX съезда партии; снимите ксерокопии и с тех произведений Дудинцева, Чуковской, Кёстлера, которые не без моих усилий удалось напечатать в «Неве»,— положите все это на одну чашу весов, а на другую — собранные вами цитаты. И решайте, что перевесит. Вот это, наверное, и будет единственно правильный, единственно честный разговор...»

Впрочем, говорил я это, конечно, не для своих анонимных противников. Спорить с анонимами вообще дело, лишенное смысла. Наивно было бы рассчитывать, будто они прислушаются к моим доводам. Так что обращался я не к ним. Я обращался к избирателям. И они, казалось, отвечали мне пониманием.

А у станций метро, у самодельных стендов, у газет и листовок тем временем продолжали кипеть споры...

9

День 26-го марта принес следующие результаты:

Б. Н. Никольский: за — 48,1 %

Л. Д. Фаддеев: за — 36,4 %

Н. Н. Скатова: за — 7,3 %

Начинался заключительный, решающий виток избирательной кампании.

10

Если не ошибаюсь, 28-го марта мне позвонила референт Л. Д. Фаддеева и сказала, что Людвиг Дмитриевич сейчас в Москве, что на следующий день он приезжает и просил выяснить, когда я буду в редакции — ему необходимо со мной увидеться. Я назвал время. Но встреча наша не состоялась, никаких вестей о себе и о своих намерениях Людвиг Дмитриевич больше не подавал. Так я и не знаю, что именно означал этот звонок и о чем хотел поговорить со мной Л. Д. Фаддеев. Зато усиленно стали распространяться слухи, будто он снимает свою кандидатуру. Вскоре мне сообщили об этом официально. На пятницу было назначено заседание окружной избирательной комиссии, которая должна была принять решение о проведении повторного голосования. Однако и тут не обошлось без сложностей. В четверг я получил новую информацию: заседание откладывается. Почему, отчего — я не знал. Вроде бы доверенные лица Л. Д. Фаддеева подали ряд протестов, и их необходимо рассмотреть. Все это, конечно же, создавало излишнюю нервозность. Время шло, а даже элементарных сообщений о том, что им предстоит в следующее воскресенье, избиратели не получали. Избирательная кампания в нашем округе на время словно бы замерла. Ко мне поступали сведения, что некоторые избирательные участки вообще свернули свою работу. Исчезли вывески, указатели, не было больше агитационных материалов. Это не могло не беспокоить. Тем более, что ситуация в округе, как выяснилось, создалась нестандартная, не предусмотренная Законом о выборах. И существовали, оказывается, разные точки зрения на то, как следует поступить дальше.

Кое-кто даже считал, что после снятия Фаддеевым своей кандидатуры выборы в нашем округе следует признать несостоявшимися и начинать все опять с самого начала. Была и другая, противоположная, позиция. Как известно, при повторном голосовании, чтобы одержать победу, уже не нужно обязательно набирать больше половины голосов, достаточно относительного большинства. Таким образом, если кандидат остался один, ему уже наверняка обеспечено это относительное большинство и, следовательно, без дополнительного голосования он должен быть провозглашен избранным. И, наконец, существовала третья точка зрения: повторное голосование проводить, но для победы считать необходимым получить кандидату более пятидесяти процентов голосов. Именно эта точка зрения в конечном счете была поддержана Центральной избирательной комиссией и Президиумом Верховного Совета СССР. Да, оказывается, именно Президиуму Верховного Совета СССР пришлось сказать последнее слово.

И вот я официально приглашен на заседание окружной избирательной комиссии. Оглашается заявление Л. Д. Фаддеева. В своем заявлении он пишет, что поскольку, как показали результаты голосования, его программа не получила поддержки у избирателей, он считает дальнейшее свое участие в избирательной кампании лишенным смысла.

Если признаться честно, я психологически вполне мог понять это его решение. На предвыборную борьбу каждым из нас было потрачено столько нервов, эмоциональной энергии, сил и времени, что подвергать себя вновь в течение двух недель этим испытаниям, уже без особой надежды победить, человеку, обремененному руководством институтом, занятому серьезными научными проблемами, действительно было бессмысленно. Хотя ряд горячих сторонников Л. Д. Фаддеева упрекали его за подобный шаг, считая, что борьбу следовало продолжать до конца, и даже обращались к академику с соответствующим письмом. Но Л. Д. Фаддеев настоял на своем.

Итак, решение избирательной комиссии принято: 9-го апреля состоится повторное голосование. В бюллетень будет включена одна фамилия. И чтобы победить, мне обязательно необходимо набрать больше пятидесяти процентов голосов. Таким образом, как это ни парадоксально, но, лишившись соперника, я оказался в более сложном положении. Тем более, что не могло не тревожить и еще одно обстоятельство: прошедшие 26-го марта выборы показали, что наличие в бюллетене одной-единственной, безальтернативной кандидатуры воспринималось ленинградцами крайне негативно. Многие принципиально отвергали «выборы без выбора». Как они отнесутся теперь к сложившейся ситуации, как поступят? Не станут ли вычеркивать мою фамилию лишь оттого, что она окажется единственной? И другая забота не оставляла меня и моих сторонников: придет ли теперь, во второй уже раз, достаточное количество избирателей, чтобы выборы были признаны действительными? Ведь для большинства всё, что происходило — и второй тур голосования, и необходимость снова голосовать за того человека, за которого один раз они уже отдали свой голос,— было внове, а порой и не очень понятно. Так что оснований для волнений у меня было вполне достаточно. А тут еще все тот же анонимный комитет «за неизбрание», совершив поворот на 180 градусов, не преминул воспользоваться ситуацией и выпустил новую листовку: «Граждане! Вас опять хотят обмануть, вам опять подсовывают выборы без выбора. Партийный аппарат, стремясь взять реванш за свое поражение на выборах, вынудил беспартийного кандидата Л. Д. Фаддеева снять свою кандидатуру с тем, чтобы протащить в депутаты члена горкома партии Никольского...» И так далее и тому подобное. Поистине, цель оправдывает средства.

Накал предвыборной борьбы не остывал, не снижался до самого последнего дня, до самого последнего часа. Последний выпад против меня на страницах «Вечернего Ленинграда», последнее мое интервью на страницах «Смены», давшей мне возможность в канун выборов обратиться к избирателям, последнее мое выступление в прямом эфире по телевидению...

И наступает 9-е апреля. Теперь мне остается только ждать.

11

Вечером 9-го апреля один из самых моих горячих и энергичных сторонников, ленинградец, рабочий, прокричит в телефонную трубку ликующим, срывающимся от волнения голосом:

— Мы победили!

А сотрудник редакции, позвонивший вслед за ним, тоже не сдерживая, не пряча волнения, скажет:

— Вы даже не представляете, что здесь в редакции делается! Идут и идут! Полно народу!

И хотя до той минуты я вовсе не собирался выходить из дома, тут я возьму такси и через весь город помчусь в редакцию: я почувствую, что в эти мгновения должен быть рядом с теми, кто помогал мне, кто не терял веры, кто прошел вместе со мной весь этот нелегкий путь... Да, эти глаза, эти лица стоило увидеть. И дело не во мне лично, не в моей победе. Просто мне казалось, я наконец увидел, как обретают люди достоинство, свободу и независимость, как сбрасывают наконец казенно-однотипные маски и из-под них проступают живые, истинно-человеческие черты...

Через день в газетах будет опубликовано официальное сообщение:

Никольский Б. Н. — за: 83,6 %.

Отшумела, окончилась предвыборная борьба. Начиналась трудная, повседневная работа.

Публицистика

Егор Гайдар

СОБЛАЗН ПРОСТЫХ ОБЪЯСНЕНИЙ

Пришла пора искать виноватых. Резкое ухудшение положения на потребительском рынке, ускорившийся рост цен у всех перед глазами. Демократизация общественной жизни открыла каналы проявления массового недовольства. Общество все настойчивее требует объяснений, ответа на вопросы: что и, особенно, кто тормозит начатые преобразования в экономике.

Поколебавшись в поисках ответственных (на эту роль пытались предложить мафию, масонов, ученых-экономистов...), общественное мнение, кажется, твердо связало пробуксовку реформы с интересами управленческого аппарата.

1

М. Вебер, работы которого положили начало серьезному изучению бюрократической организации в западной социологии, исходил из того, что иерархическая организация нейтральна относительно задач, реализуемых с ее помощью. Опыт убедительно показал, что это не совсем так. Как только угроза нависает над интересами самого аппарата, социальных слоев, с которыми он тесно связан, вступает в действие целый набор методов, позволяющих торпедировать намеченные преобразования. Хорошо известна роль немецкой бюрократии в противодействии реформам социал-демократов в период Веймарской республики, французской — правительству Народного фронта, американской — реформам Нового курса и т. д.

Методы, при помощи которых бюрократия тормозит реформы, затрагивающие ее интересы, также давно перестали быть секретом. Наиболее распространена тактика затягивания времени. Чиновники обещают выполнить указание политического руководства, но на каждом уровне иерархии необходимые практические шаги предпринимаются очень медленно. Несвоевременное исполнение указаний объясняется разнообразными объективными причинами, а ответственность перекладывается с одного органа на другой. Стандартными аргументами в пользу отсрочки реформ служит неподготовленность к ним персонала, его перегрузка срочными текущими делами. Надежное оружие в руках аппарата — и ограничение достоверной информации, поступающей политическому руководству. Попытка же вникнуть в детали парализуется лавиной бумаг, которые трудно не только осмыслить, но и прочитать. Как правило, эта тактика позволяет добиться сохранения стабильности, не проявляя демонстративной нелояльности.

Влияние интересов управленческих групп на торможение процесса перестройки в экономике, убедительно показанное в работах новосибирских социологов, проводившихся под руководством Т. И. Заславской и И. Я. Рывкиной, переоценить трудно. Однако, как показал опыт, можно. Постепенно убеждение в том, что за всеми трудностями на пути реформы стоят происки нового класса — бюрократии, не желающей терять контроль над средствами производства и присвоением прибавочного продукта, получило широчайшее распространение. Причины популярности такого подхода очевидны. Он опирается на реальные и общеизвестные факты (система привилегий, широкое распространение непотизма, яростная борьба за сохранение сложившихся управленческих структур при любом изменении их названия) и соответствует стереотипным представлениям, десятилетия внедрявшимся в общественное сознание (марксизм в предельно упрощенном варианте школьного курса обществоведения). К тому же он предлагает наглядный образ врага (начальники) и понятный путь преодоления трудностей (свергнуть власть бюрократии).

Слабости этой концепции являются продолжением ее достоинств. Предельно упрощенная модель современного советского общества не приспособлена для серьезного анализа происходящих в нем процессов. Ну как, например, оставаясь в ее рамках, исследовать социально-экономические реформы, объективно направленные на ограничение всевластия иерархической организации? Особенно если учесть, что преобразования инициировались сверху, политическим руководством (с точки зрения логики данной концепции — «верхушкой класса бюрократов») в условиях сохраняющейся социально-политической стабильности.

Концентрация внимания на бюрократическом противодействии перестройке, вполне понятная в политической полемике, была бы непозволительной роскошью для науки — ведь, встав на эту позицию, можно закрыть глаза на комплекс других объективных противоречий осуществляемой реформы.

А проблемы, стоящие на ее пути, не имеют простых и однозначных решений. И все же, дабы сложность эта не застилала глаза в отделении принципиально возможного от исключенного, приведу несколько положений, значимых для оценки современной ситуации и вместе с тем настолько тривиальных, что ни один грамотный экономист не станет, думаю, с ними спорить.

Сломать административно-командную систему управления экономикой можно, лишь активно задействовав механизм рыночного регулирования. Только рынок может заменить армию чиновников, занятых дележкой миллионов видов продукции между миллионами потребителей. Динамика рыночных цен определяется соотношением добровольных сбережений и инвестиций, доходов и расходов бюджета, темпами увеличения денежной массы. Попытки удержать цены ниже уровня, обеспечивающего баланс спроса и предложения, приводят либо к тому, что продукцию надо делить (и тут незаменим чиновник), либо она, по меткому выражению В. Новожилова, «распределяется в порядке общей свалки». В нынешней финансовой ситуации — при дефиците бюджета, превышающем 7 процентов валового национального продукта, слабой заинтересованности в добровольных сбережениях, бурном росте денежной эмиссии — решительное размораживание цен, последовательный отказ от их административного контроля неизбежно переведут инфляцию из подавленной формы в открытую. Проще говоря, вызовут лавинообразный рост цен.

Именно поэтому последовательные сторонники борьбы с бюрократизацией экономики, сторонники немедленных мер, направленных на углубление реформы, предлагают забыть об административном контроле цен и смириться с теми темпами их роста, которые предопределены нынешней финансовой ситуацией. Они возлагают надежды на то, что перестройка системы хозяйствования, резервы, ею высвобожденные, позволят раньше или позже поправить положение.

С этой позицией можно спорить. Можно показать, что сам рынок в условиях неконтролируемой инфляции деформируется, не создает достаточных стимулов к повышению эффективности. Что многие страны, имеющие, в отличие от нас, длительную и непрерывную традицию использования рыночных механизмов в сходной финансовой ситуации десятилетиями не могут затормозить рост цен, составляющий десятки и сотни процентов в год. Но надо признать, что это честная, последовательная позиция, опирающаяся на осознание реальных социально-экономических альтернатив. Больше того: если проводимая денежная политика будет и в дальнейшем столь же непоследовательной и противоречивой, то этот путь, при всей его тяжести, может оказаться единственным.

Однако не видно, чтобы сегодня такой выбор получил широкую общественную поддержку. Популярнее иной подход: за радикальную экономическую реформу и против бюрократических интриг, направленных на повышение цен! И это также реальность, с которой нельзя не считаться. В отличие от положений о необходимости расширения хозяйственной самостоятельности предприятий в формировании производственной программы, системы хозяйственных связей, переходе к оптовой торговле, которые входят в программу реформы в качестве их неотъемлемой составной части, отношение к рыночному ценообразованию, абсолютно необходимому для того, чтобы все эти меры можно было реализовать на практике, остается по меньшей мере сдержанным, положение о перестройке системы цен формулируется туманно. В основе подобного подхода лежат в первую очередь не идеологические стереотипы, а опасения неконтролируемого роста цен, его тяжелых социально-политических последствий.

Таким образом, для того чтобы обеспечить устойчивость реформ, необходимо ввести реальные элементы рыночного саморегулирования и, одновременно, осуществить комплекс действенных антиинфля-

---

Гайдар Егор Тимурович. Родился в 1956 году. Окончил МГУ, экономический факультет. Выступает в печати со статьями по вопросам экономики и политики с 1978 года. Живет в Москве.

ционных мероприятий. На уровне общих принципов путь к решению этой задачи банально прост. Требуется всего лишь решительно ограничить объем кредитования. Чтобы резко сократить дефицит бюджета — а без этого в нынешней ситуации разговоры об антиинфляционной политике просто беспредметны,— необходимо ограничить объем инвестиционной деятельности, начать свертывание неэффективных отраслей и предприятий. Беда в том, что сделать это, не задевая интересы миллионов людей, занятых в тех сферах, откуда придется изымать ресурсы, невозможно.

В той обедненной картине мира, где бюрократии, сопротивляющейся реформам, противостоит народ, их добивающийся, нет места и еще одному очевидному факту: общество разделено в себе самом, заинтересованности в ограничении налогового бремени и низких темпах роста цен противостоит в нем стремление сохранить те экономические структуры, которые только и могут существовать за счет непомерных налогов и быстрого роста государственного долга.

Именно эта противоречивость интересов и позволяет легко парализовать реформы. Попытки сократить аппарат, обойтись без бюрократии, не создав необходимых предпосылок эффективного функционирования рынка, оборачиваются резким обострением противоречий (расстройство хозяйственных связей, диктат поставщиков, вымывание товаров дешевого ассортимента), и общество вновь готово устремиться в объятия спасителя-начальника, который остановит рост цен и призовет поставщиков к порядку.

2

Структурные перестройки экономики, свертывание ставших неэффективными, неконкурентоспособными отраслей и производств нигде в мире не идут легко, они повсеместно связаны с серьезными социально-политическими проблемами. Отрасли, оказавшиеся в тяжелом положении вследствие долгосрочного изменения тенденций научно-технического прогресса, потребительского спроса, усилившейся импортной конкуренции, пытаются добиться получения субсидий, ограничения импорта. Широко используются при этом аргументы, связанные с необходимостью сохранить занятость, со стратегическим значением выпускаемой продукции.

Опыт показывает, что там, где политика направлена не на облегчение процесса структурной перестройки экономики, а на сохранение сложившихся отраслей, ее результатом становится падение темпов роста эффективности.

Известный пример — развитие американской экономики с середины шестидесятых годов. В этот период конкурентоспособность американских фирм, занятых в текстильной, обувной, сталеплавильной, автомобильной промышленности, производстве телевизоров, стала снижаться. Были предприняты энергичные попытки защитить эти отрасли при помощи набора протекционистских мер («добровольное» ограничение импорта странами-конкурентами, помощь, предоставляемая компаниям, находящимся на грани банкротства, широкий спектр субсидий, кредитных гарантий, индивидуальных налоговых льгот). Такая политика затормозила упадок кризисных отраслей, но не остановила его. Вместе с тем она существенно осложнила развитие перспективных отраслей, способствовала общему ослаблению позиций американской экономики в системе мирохозяйственных связей.

Сейчас, когда пороки традиционных форм централизованного управления экономикой у всех перед глазами, велик соблазн искать объяснение любых экономических неурядиц во вмешательстве государства, ограничении рыночного саморегулирования.

Этот тезис лежит в основе еще одной популярной гипотезы, предложенной для объяснения трудностей, встающих на пути перестройки. Суть этой гипотезы в том, что в силу глубокого внутреннего антагонизма планового и рыночного регулирования реформировать социалистическую экономику якобы в принципе невозможно. Преобразования, не предусматривающие отказа от социалистических ценностей, обречены на неудачу.

Наиболее весомый фактор, способствующий распространению подобных взглядов,— это серьезные проблемы, с которыми сталкиваются в настоящее время все социалистические страны, в том числе и те, которые давно встали на путь экономических реформ. Опыт — весомый аргумент, и противостоять ему может также только опыт. Лишь в том случае, если реформы позволят на практике сочетать социальную справедливость с высокой эффективностью экономики, неоконсервативные взгляды утратят свою интеллектуальную привлекательность.

Но достоверность выводов о глобальных социально-экономических процессах, полученных на основе сравнительно краткосрочного периода, опасно переоценивать.

Первые десятилетия после Великой французской революции убедительно, казалось бы, свидетельствовали о внутренней нестабильности республиканского устройства. К середине тридцатых годов нашего века тот же опыт давал веские основания считать, что капиталистическое общество зашло в тупик, а социализм оказался способным обеспечить динамичное развитие экономики. И на тот период опыт убедительно свидетельствовал об ошибочности построений экономистов, доказывавших нежизнеспособность социалистического хозяйства.

А ведь теоретическая парадигма, лежащая в основе тезиса о неспособности социализма решать задачи экономического развития, не претерпела с тех пор каких-либо серьезных изменений. Уже одного этого факта достаточно для того, чтобы поставить под сомнение достоверность таких построений.

Если же перейти от оценки глобального опыта, существенное влияние на который оказывали специфические исторические обстоятельства, к конкретному социально-экономическому анализу, то в глаза бросается отрыв этих концепций от реальностей современного капиталистического общества.

Нетрудно убедиться, что примерно тот же набор теоретических аргументов можно бы привести и в доказательство того, что японская экономика в принципе не способна эффективно использовать ресурсы. Действительно, в секторе крупных корпораций здесь деформирован рынок рабочей силы (система пожизненной занятости), решающую роль в функционировании рынка капитала играет государство, активно влияющее на структуру распределения и цену частного кредита («управление у кассового окошка»), роль индивидуальных собственников — акционеров — в руководстве подавляющим большинством крупных корпораций пассивна, а их влияние на процесс принятия решений несущественно.

Тот общеизвестный факт, что японская экономика так же, как, скажем, и шведская, продемонстрировала способность к быстрым и эффективным структурным сдвигам (в сочетании, кстати, с сохранением высокого уровня занятости), и продемонстрировала именно в то время, когда в экономике США или Великобритании (а там распределение финансовых ресурсов гораздо ближе к модели финансового рынка капитала) в течение десятилетий усиливались инерционные тенденции,— заставляет искать иные факторы, определяющие способность адаптироваться к изменяющимся условиям, факторы, не связанные однозначно с мерой активности государства в регулировании хозяйственной жизни.

Большой интерес в этой связи представляет круг идей, развиваемых в работах экономистов институционалистской школы, исследовавших функционирование иерархических структур, формирующихся в рыночной экономике. М. Олсон, в частности, показал, что позиции социальной группы в процессе распределения общественных ресурсов зависит от ее способности к организации. Таким широким группам, как потребители, налогоплательщики, безработные, организоваться, добиться адекватного представительства своих интересов трудно. Гораздо сильнее позиция хорошо организованных групп, представляющих интересы отдельных отраслей и регионов, перераспределительных коалиций. Но как раз влияние последних и затрудняет адаптацию общества к новым технологиям, реструктуризацию ресурсов в соответствии с изменившимися условиями, а потому сдерживает экономический рост.

Чтобы противодействовать соответствующим консервативным тенденциям, необходимо обеспечить адекватное представительство интересов широких социальных групп, за счет которых собственно и осуществляется перераспределение средств. Именно там, где складывается адекватная для этого структура, создаются наиболее благоприятные предпосылки для обеспечения прогрессивных культурных сдвигов. Так, именно широкий, всеохватывающий характер профсоюзных, предпринимательских организаций, характерный для Скандинавских стран, обеспечивает поддержку субсидий, направленных на повышение мобильности ресурсов, а не на поддержание убыточных предприятий.

Если с этих позиций проанализировать механизм функционирования сложившейся у нас системы управления, можно сделать вывод, что здесь создается идеальная среда для формирования перераспределительных коалиций. Они организационно оформлены, существуют специальные органы, представляющие интересы отраслевых и региональных структур. Политизация хозяйственной деятельности приводит к тому, что наиболее широкие организации, призванные представлять интересы общества в целом, сами оказываются объектом влияния перераспределительных коалиций, их аппарат тесно переплетается с хозяйственным аппаратом.

Не удивительно, что политика, направленная на свертывание тех или иных видов деятельности, реализуется при этом гораздо медленнее, чем того требуют соображения экономической эффективности.

Характерное свидетельство — реакция на резкое изменение цен на нефть в середине семидесятых годов. Все ведущие капиталистические страны существенно сократили импорт нефти (не менее чем на 10 процентов, а в большинстве случаев примерно на 25—30 процентов). Среди европейских социалистических стран импорт нефти в этот период сократила только Венгрия, в остальных он продолжал расти. Так же заметно сократилась во всех развитых капиталистических странах и переработка нефти, но из социалистических стран это произошло лишь в Венгрии. В условиях новых ценовых пропорций импорт нефти с последующим производством из нее мазута или использование нефтетоплива для производства электроэнергии стали разорительно дороги. В ведущих капиталистических странах, полностью зависимых от

импорта нефти, производство мазута сокращается как минимум в два раза. Но в социалистических странах производство мазута немного сократилось лишь в Польше, а в Румынии оно даже выросло.

Импульсы к сокращению импорта и переработки нефти были наиболее сильными. Там, где ресурсные ограничения были менее жестки, процессы структурной перестройки шли еще медленнее. Например, в черной металлургии развитых капиталистических стран с 1975 года обозначился процесс сокращения производства чугуна. В социалистических странах в 1975—1985 годах оно повсеместно (кроме ВНР) росло. Экономическая неэффективность мартеновского производства стали заставила развитые капиталистические страны, уже начиная с шестидесятых годов, сокращать его использование, а в семидесятых-восьмидесятых практически полностью от него отказаться. В США объем выплавки стали в мартенах в 1970—1986 годах сократился в 14 раз. В СССР и Румынии выплавка стали в мартенах за эти годы увеличилась, в других социалистических странах сокращение за 16 лет не превышало 40 процентов.

Еще одна характерная черта динамики структуры производства в социалистических странах — отсутствие прямой связи объема капиталовложений, направляемых в отрасль, с эффективностью их использования. Наоборот, если высокий приоритет отрасли сочетается с комплексом факторов, снижающих эффективность, вступает в силу механизм ресурсной компенсации — низкая отдача стимулирует выделение дополнительных средств. Характерный пример — положение, сложившееся в аграрном секторе советской экономики. Направленные сюда огромные капиталовложения позволили резко увеличить ресурсообеспеченность сельского хозяйства, но оказали крайне слабое влияние на получаемые результаты. Однако тот факт, что подавляющая часть этих затрат, с точки зрения конечных результатов развития народного хозяйства, оказалась бросовой, не повлек за собой сокращение ресурсного потока. Напротив, он продолжал увеличиваться.

Связь особенностей структурного развития экономики со сложившимися формами хозяйствования несомненна. Но она отнюдь не столь проста, как это может показаться на первый взгляд.

Вспомним, что та же (по своим основным характеристикам) система управления, которая в последние десятилетия продемонстрировала полную неспособность перераспределить неэффективно используемые ресурсы из сельского хозяйства для обеспечения форсированного развития производств, определяющих темпы научно-технического прогресса, позволила в свое время осуществить структурную перестройку за счет ресурсов именно данной отрасли.

Социалистическая революция в России привела к власти партию, ориентированную на глубокую трансформацию экономики и общества. Доставшееся в наследство хозяйство воспринималось как чуждое и неэффективное, его перестройка (индустриализация) — как важнейшая политическая задача, решение которой позволит вырваться из тисков отсталости, укрепить основы новой власти.

Существовало широкое согласие по вопросу о необходимых направлениях структурных сдвигов. Идеи, сформулированные по этому вопросу в 1919 году проф. В. Г. Гриневецким, не испытывавшим ни малейшей симпатии к большевикам, в книге «Перспективы послевоенного развития русской промышленности» по важнейшим направлениям очень близки к тем, которые легли затем в основу плана ГОЭЛРО.

Это согласие базировалось на осмыслении опыта более развитых стран, уже прошедших этап второй промышленной революции, принесшей с собой охват машинным производством основных рабочих процессов, широкомасштабное использование электроэнергии, массовое производство стали, электросвязь, механизацию сельского хозяйства, минеральные удобрения, цемент и железобетон. Масштабы технологического оптимизма тех лет, веру в могущество передовых технологий демонстрирует известная книга К. Баллода «Государство будущего», первое издание которой вышло в 1895 году. Эта работа ко времени Октябрьской революции считалась наиболее серьезным исследованием будущей организации социалистического хозяйства, на нее неоднократно ссылался В. И. Ленин. В ней автор доказывал, что рациональная перестройка современного хозяйства Германии позволит в короткое время удовлетворить все значимые материальные потребности населения, сократив занятость в производстве до 5 лет (трудовая повинность с 17 до 22 лет).

Главная проблема, стоявшая в центре экономико-политических дискуссий двадцатых годов,— как обеспечить ресурсами формирование современного сектора экономики, позволяющего в полной мере использовать открывающиеся технические возможности. Причем источник их был принципиально ясен — ресурсы можно было взять только из сельского хозяйства. Дискуссии в политическом руководстве шли лишь о масштабах и формах перераспределения.

В этой ситуации сами задачи органов, в ведении которых находилось сельское хозяйство, носили перераспределительный, фискальный характер. На первом этапе индустриализации значимые для высших органов управления цели связывались не с развитием сельского хозяйства (для этого пока нет средств), а с максимально возможной мобилизацией ресурсов для форсированного становления тяжелой промышленности.

Чтобы определить, сколько ресурсов можно выкачать из аграрной сферы, используется максимально жесткий способ, издревле применявшийся при установлении дани, метод проб и ошибок, где цена «ошибки» — жизнь миллионов людей, ставших жертвами голода в начале тридцатых годов. Экспорт сельскохозяйственной продукции продолжался, несмотря на сокращение производства, и обеспечивал увеличение импорта машин и оборудования.

Конечно, и в период индустриализации свобода высших органов управления в выборе направлений использования мобилизованных ресурсов не была абсолютной. Характерными чертами формирующейся экономической структуры были: упор на развитие крупных предприятий (центру значительно легче контролировать использование ресурсов по ограниченному кругу объектов); максимально возможное упрощение производственных связей, ориентация на создание универсальных машиностроительных предприятий с развитым натуральным хозяйством; форсированное развитие отраслей, позволяющих в максимально возможной мере использовать неквалифицированный труд, ресурсы которого легче всего мобилизовать из аграрной сферы или на основе массовых репрессий. На чем делать акцент в использовании подобных ресурсов — на строительстве каналов, гидроэлектростанций или на развитии дорожной сети, что политической поддержки не получило,— это было предметом выбора, но само их наличие задавало поле возможных стратегий хозяйственного развития.

Но раньше или позже отставание сельского хозяйства от новых потребностей общества начинает оказывать серьезное сдерживающее влияние на экономическое развитие, удовлетворение элементарных потребностей населения. Приоритеты меняются — первоочередной задачей становится ликвидация дефицита сельскохозяйственной продукции. Соответственно изменяются и ориентиры в деятельности органов, отвечающих за эту отрасль,— они, как и органы, управляющие другими отраслями, становятся равноправными борцами за выделение народнохозяйственных ресурсов для обеспечения поставленных задач.

За время индустриализации взаимоотношения управленческой иерархии и структуры хозяйства претерпели радикальные изменения. Теперь она является реализацией господствовавших тогда представлений об эффективно организованной экономике, овеществленным воплощением экономико-политических приоритетов того времени.

Изменяются и основы социального согласия, обеспечивающего устойчивость сложившейся системы политических институтов. В период индустриализации политическая структура опиралась в первую очередь на мобильные группы, способные адаптироваться к быстро изменяющейся ситуации, использовать широкие возможности социального продвижения. В последующие годы все большую роль играет опора на консервативные группы, ориентированные на сохранение сложившихся социально-экономических условий. Соответственно и в идеологии акцент постепенно переносится со стереотипов вражеского окружения, светлого будущего и мудрого руководства, знающего к нему дорогу, на стабильность и социальные гарантии. Получают широкое распространение представления о «собесовском» социализме, в котором слабые стимулы к труду являются следствием избытка социальных гарантий, не имеющие ничего общего с реалиями периода индустриализации.

Теперь предложение забыть о развитии наименее эффективных, традиционных отраслей, использовать их как источник ресурсов для форсированного формирования современного сектора экономики, наиболее тесно связанного с новейшими тенденциями научно-технического прогресса, кажется столь же нереалистичным, сколь естественным представлялось воплощение аналогичных идей несколько десятилетий назад.

В отличие от рыночной экономики, где владелец денег может вступать в сделку с любым хозяйственным звеном, апеллируя к его материальной заинтересованности, основной ресурс иерархической экономики — власть ограниченно-конвертируемая. Наладить обмен деятельностью в рамках части иерархии, где все хозяйственные звенья непосредственно подчинены общему начальнику, легче — регулирование возникающих между ними противоречий не требует участия перегруженных высших уровней управления.

Формирование ведомственных систем является поэтому важнейшим стабилизирующим фактором в иерархической экономике. Но оно же усиливает и ее инерционность, ограничивает возможности перераспределения ресурсов.

Отрасли, сформировавшиеся к моменту исчерпания ресурсов сельскохозяйственного сектора, как правило, продолжают расти вне зависимости от эффективности производства, дефицита соответствующей продукции.

В сформировавшейся социально-политической структуре частные иерархии, отвечающие за развитие соответствующей отрасли или региона, в наибольшей мере способны обеспечить реализацию своих интересов. Именно их представители составляют большую часть высших коллективных органов власти и управления. Они имеют свою печать, широкие возможности мобилизации общественной поддержки.

Иные, непроизводственные интересы (финансовые, экологические, интересы различных групп потребителей и т. д.) оказывают гораздо меньшее влияние на принятие экономико-политических решений.

По многим направлениям интересы ведомств и региональных органов противостоят друг другу (роль местных органов в контроле над деятельностью предприятий центрального подчинения, доля перераспределяемых ими ресурсов и т. д.). Там же, где они совпадают, преодолеть их совместное давление трудно. Подобная ситуация складывается, например, в вопросе о реализации крупных инвестиционных проектов.

Для региональных органов это даровой поток ресурсов, значительную часть которого можно направить на местные нужды (строительные материалы, техника, горючее и т. д.). Регионы выступают в качестве конкурентов в торге за эти средства. Результат торга, выбор места реализации нужного ведомству проекта в значительной мере определяется тем, какую поддержку местное руководство может оказать в проведении необходимого решения. Мощному лобби, выступающему за реализацию проекта, как правило, не противостоит какая-либо коалиция сил, жизненно заинтересованная в том, чтобы его остановить.

Если совокупность ресурсов, необходимых для реализации инвестиционных программ, санкционированных решениями высших уровней иерархии, существенно превышает реальные возможности экономики, то определяющее влияние на структуру капиталовложений оказывает способность ведомства израсходовать формально выделенные в его распоряжение средства. В благоприятном положении оказываются хозяйственные звенья, развитие которых может осуществляться на основе относительно простых, хорошо отработанных технологий, не предполагающих организации сложной межотраслевой кооперации. Любой санкции высших органов иерархии вполне достаточно для того, чтобы широко развернуть работы по подобным проектам. Другой путь обеспечения инвестиций ресурсами — комплектные поставки оборудования по импорту, в первую очередь из развитых капиталистических стран.

Первостепенная проблема в обеспечении начала реализации нужного ведомству проекта — добиться включения его в постановление правительства или совместное партийно-правительственное постановление наряду с прочими стройками, многие из которых потом даже не будут начаты. Эффективность подобного постановления как ценной бумаги, предоставляющей права на ресурсы, варьируется от 0 (объект не входит в сферу интересов ни одной из ведомственных систем, контролирующих ресурсы, и не настолько значим, чтобы привлекать постоянное внимание высших органов управления) до 100 % (ведомство заинтересовано в объекте; он позволяет занять высвобождающиеся ресурсы наиболее выгодным с точки зрения максимизации показателей объема производства образом, необходимый набор ресурсов находится в распоряжении ведомства или легко доступен).

Обосновывая целесообразность проекта, ведомство, наряду с тем, что строительство уже предусмотрено предшествующими решениями высших органов управления, обычно подчеркивает:

1. Дефицит соответствующего вида ресурсов. Как правило, это соответствует действительности, так как подавляющая часть производственных ресурсов дефицитна, по крайней мере относительно предъявляемого на них платежеспособного спроса. Но если сейчас реального дефицита нет — не беда, доказывают, что в долгосрочной перспективе он неизбежно появится, если не принять решительных мер. При сложившихся масштабах отклонений реальных тенденций от плановых и произвольности гипотез роста потребностей, закладываемых в долгосрочные отраслевые прогнозы, они позволяют доказать что угодно.

2. Отставание соответствующей отрасли от произвольно избранного аналога (капиталовложения в другие, быстро растущие отрасли, уровень развития соответствующего вида деятельности в других странах, ранее принятые решения) и неисчислимые бедствия, которые обрушатся на страну, если не выделить немедленно дополнительные ресурсы для исправления положения.

3. Огромную экономическую эффективность проекта. Для ее доказательства также используется завышение ожидаемых результатов, выбор абсолютно произвольных альтернатив, с которыми сопоставляется предлагаемое решение, и т. д. Расчеты, как правило, не подтверждаются практикой, но это не оказывает никакого влияния на обоснование аналогичных проектов в последующие годы.

4. Наличие реальных возможностей начать работы.

Наиболее серьезным является четвертый аргумент. Если ведомство заинтересовано в проекте и возможность начать работы реальна, никакие изменения, перечеркивающие аргументацию по трем первым пунктам, не имеют принципиального значения, они лишь заставляют перестроить систему доказательств.

Куда серьезней, чем доказательство народнохозяйственной целесообразности соответствующего проекта, задача обеспечения поддержки или по крайней мере нейтрализация противодействия прочих отраслей и регионов, интересы которых он задевает. Для этого используется перераспределение части ресурсов в их пользу (передача части проектных, строительных работ, в которых заинтересована смежная отрасль, расходование ресурсов на территории смежных регионов и т. д.), механизм оказания взаимных услуг (другие отрасли также нуждаются в содействии их проектам).

Очень важно обеспечить максимально возможную закрытость готовящегося решения. Лучше всего, если руководство общеэкономических органов, отвечающих за сбалансированность экономики (Госплана, Минфина), узнает о нем либо как о свершившемся факте, либо как о предрешенном полученной политической поддержкой вопросе.

После того, как соответствующий проект удавалось включить в партийно-правительственное постановление, вопрос о его эффективности снимался: решение принято, его надо выполнять. Теперь ведомство может снять с себя ответственность за целесообразность стройки — оно лишь дисциплинированно выполняет то, что предписано свыше. Даже обсуждение обоснованности подобного проекта в печати раньше было в большинстве случаев невозможным: принадлежащие партийным комитетам средства массовой информации не имеют права обсудить принятые ими решения.

В условиях гласности обеспечить закрытость информации, избежать обсуждения стало сложнее. Высшие органы управления получают доступ к независимым источникам информации, в том числе о реальных результатах аналогичных проектов, что традиционно являлось величайшей ведомственной тайной. Основным оружием ведомства в этой ситуации является упорство (в отличие от средств массовой информации и общественности иерархия не знает усталости в защите своих интересов), демагогия (содержательные аргументы, связанные с фактической эффективностью использования ресурсов в реализованных проектах, как правило, не обсуждаются, дискуссия переводится в заведомо бессодержательную форму рассуждений о необходимости отрасли для народного хозяйства и «кознях» ее врагов) и точное знание законов аппаратной борьбы, возможность выбрать удачный момент и форму, позволяющую переложить ответственность на политическое руководство.

Особый вопрос — формирование приоритетов в политике импорта. Во внешнеторговой деятельности — две стороны, и в объяснении происходящих здесь процессов необходимо учитывать не только интересы наших ведомств, но и цели, которые ставят перед собой капиталистические корпорации.

Наиболее сложные проблемы, стоящие на пути экспансии крупных капиталистических корпораций, связаны с ограниченным спросом на производимую ими продукцию. Поэтому существенным фактором, определяющим динамику структуры производства, в капиталистической экономике является возможность манипулировать спросом, влиять на его формирование, используя в этих целях рекламу и политическое лоббирование.

Цели западных корпораций и социалистических ведомственных структур прекрасно дополняют друг друга. Первым необходимо прибыльно реализовать продукцию, для вторых соображения, связанные с ценой закупаемой продукции и ее реальной экономической эффективностью, играют второстепенную роль — им важно доказать необходимость контракта, получить под него валютные ресурсы. В результате включается двусторонняя система политической поддержки контрактов.

Конечно, существенную роль в заключении контрактов играют субъективные факторы, наличие неформальных рычагов политического влияния. В начале восьмидесятых годов Мингазпром обосновывал закупку во Франции системы управления газопроводом Уренгой—Помары—Ужгород. Контракт, по которому наша страна получила за 107 миллионов инвалютных рублей неработающую систему, был заключен с фирмой, практически не имеющей опыта в автоматизации мощных газотранспортных систем. Выбор фирмы легче понять, если учесть политический вес компании, ее тесные связи с правительством Франции в этот период.

Но все же определяющее значение имеют объективные интересы. Привлекательность советского рынка для капиталистических корпораций в числе прочего определяется относительно низкими требованиями к эффективности и гарантированной платежеспособностью. Но интерес к проникновению на него различается в зависимости от конъюнктуры соответствующего рынка. Эта заинтересованность существенно усиливается, когда возникают серьезные проблемы с реализацией продукции.

Так, трудности, с которыми сталкивается черная металлургия развитых капиталистических стран в условиях структурной перестройки экономики и быстрого роста выпуска пластмасс, стали в семидесятых годах хроническими. Производство проката в США и Великобритании сокращается начиная с середины, а в ФРГ, Франции, Японии — с конца семидесятых. Импорт проката из развитых капиталистических стран в СССР возрос с 0,5 миллиона тонн в 1970 году до 4,1 миллиона тонн в 1980-м и 5 миллионов в 1985 году.

С аналогичными проблемами сталкиваются фирмы, выпускающие стальные трубы. С 1980 по 1986 год их производство сократилось в США с 8,3 до 2,5 миллиона тонн, во Франции — с 2 до 1,5 миллиона, в Японии — с 12,3 до 10,5 миллиона. Из крупных капиталистических стран-производителей лишь ФРГ удается сохранить достигнутый объем производства (4,7 миллиона тонн в 1980—1986 годах). И импорт

труб из развитых капиталистических стран в СССР быстро растет, в том числе за счет кредитов, полученных под сделку «газ — трубы». В 1970 году — 0,5 миллиона тонн, в 1980—2,5, в 1986—4,8 миллиона тонн.

С этой точки зрения становится прозрачно ясной и история превращения СССР в мировой центр экологически вредного производства аммиака, выпуск которого в развитых капиталистических странах с середины семидесятых годов сокращается; форсированного развития отрасли по производству белково-витаминных концентратов, предпринимаемые в последние годы усилия, направленные на ускоренное развитие в СССР производства серы из высокосернистых газов.

Лишь в двух крупных отраслях промышленности, находившихся к началу пятидесятых годов в СССР в зачаточном состоянии, в последующем периоде были обеспечены темпы роста производства, существенно превышающие среднемировые показатели. Это производство минеральных удобрений и газовая промышленность. В развитии и той и другой отрасли широкое использование простейших технологий (земляные, трубоукладочные работы, перемещение породы) сочеталось с масштабными закупками продукции, в реализации которой на западном рынке фирмы-производители сталкивались с серьезными трудностями.

Мощная двусторонняя поддержка масштабных проектов, предусматривающих осуществление советскими ведомствами крупных объемов земляных, бетонных, трубоукладочных работ, а со стороны капиталистических корпораций — поставки низкокачественной, неконкурентоспособной на мировом рынке техники, за которую приходится расплачиваться природными ресурсами страны, почти обрекают их на успех.

Влияние интересов частных производственных иерархий на процесс принятия экономико-политических решений проявилось и в том, что резкий, неожиданный рост объема мобильных ресурсов, которым мог бы распоряжаться экономический центр (вследствие повышения цен на нефть в семидесятых годах), не был использован для эффективной структурной перестройки, то есть для формирования новых отраслей, определяющих темпы научно-технического прогресса, свертывания устаревших производств и смягчения соответствующих негативных социальных последствий. Экспансия всех отраслей, способных к росту, продолжалась.

Главная угроза для системы управления, уверенно повернувшей экономику страны спиной к потребностям человека, связана с потенциальным ростом социальной напряженности. В ней существует, однако, набор встроенных стабилизаторов. Это низкие требования к качеству и интенсивности труда, уровню трудовой дисциплины, уравнительность в распределении, стабильность сложившихся форм хозяйственной деятельности. Необходимость менять место работы, переквалифицироваться в соответствии с новыми потребностями хозяйства возникает редко. Вовлечение в оборот богатых природных ресурсов СССР, служивших воспроизводственной основой народного хозяйства большинства стран — членов СЭВ, позволило обеспечивать постепенное повышение жизненного уровня. Но возможности движения по этому пути не беспредельны. Неизбежно нарастает отчуждение социально-активных групп населения от основных социально-политических институтов и символов системы.

Параллельно выявляется влияние неэффективности экономики, отставания по важнейшим направлениям научно-технического прогресса и на параметры, значимость которых высоко оценивается политическим руководством: уровень обороноспособности, внешнеполитический престиж. Так создаются объективные предпосылки формирования социальной коалиции сил, заинтересованных в радикальной экономической реформе, коренной перестройке сложившейся структуры народного хозяйства.

3

Нынешние серьезные трудности в экономике в первую очередь обусловлены глубоким противоречием между мерами, направленными на усиление экономического стимулирования, расширение хозяйственной самостоятельности предприятий, развитие рыночного регулирования, и принципиально противоречащей им кредитно-денежной политикой.

Сейчас особое внимание приковано к проблемам быстрого роста номинальной заработной платы и налично-денежной массы. Но это лишь надводная часть айсберга. Действительно, принятые меры по расширению прав предприятий в оплате труда, развитию кооперативов создали более широкие возможности перевода средств из безналичной в наличную форму. Однако остатки хозрасчетных фондов предприятий растут еще быстрее, чем налично-денежные выплаты.

Ситуация на потребительском рынке и нарастающие диспропорции в производственно-хозяйственных взаимосвязях не позволяют откладывать осуществление решительных мер, направленных на сокращение совокупного спроса, на укрепление рубля. У нас в лучшем случае остались месяцы для того, чтобы поправить положение. Сами по себе усилия по углублению реформы, дальнейшему развитию рыночного регулирования, как бы ни были они необходимы в среднесрочной перспективе, эту проблему решить не могут. Нужны принципиальные экономико-политические решения, и важнейшее из них — резкое сокращение объема капитальных вложений. Предложенное уменьшение плановых капитальных вложений в 1990 году является шагом в правильном направлении, но абсолютно недостаточным.

Нет такой инвестиционной программы, осуществление которой позволило бы компенсировать тяжелейшие последствия провала экономической реформы, всего экономического курса перестройки, неизбежные, если не удастся радикально поправить финансовое положение. Поэтому подход к регулированию капитальных вложений должен быть принципиально изменен. Надо идти не от того, насколько можно их сокращать, не меняя принципиальных установок сложившихся планов, а от того, сколько средств можно мобилизовать на здоровой, неинфляционной основе и каковы наиболее эффективные направления их распределения.

Начало серьезной структурной перестройки экономики, по всей видимости, поведет к краткосрочному падению общего объема производства. Возникает реальная возможность вывести наиболее изношенные фонды в металлургии, электроэнергетике, существенно повысить коэффициент выбытия оборудования, отказаться от эксплуатации наименее эффективных месторождений полезных ископаемых и на этой основе резко сократить убытки в народном хозяйстве.

Проводимая внешнеторговая политика абсолютно нерациональна с финансовой точки зрения. Объемы и направления закупок определяются сложившейся традицией и обслуживают расширенное воспроизводство той структуры экономики, которую и предстоит перестроить. Но сегодня именно накопившиеся во внешнеторговой сфере диспропорции становятся серьезным резервом, позволяющим при решительном пересмотре политики добиться быстрых и существенных результатов.

Общеизвестно, что все экономические чудеса (ФРГ, Япония, Южная Корея, Тайвань и т. д.) в послевоенной истории были основаны на жесткой кредитно-денежной политике, свободных ценах и искусственно заниженном курсе национальной валюты. Нам все равно придется забыть о соображениях ложного престижа и также пойти по пути установления реального курса рубля. Но это задача среднесрочной перспективы.

Основное же направление современного импортного маневра прекрасно показала практика кооперативов, вырвавшихся на внешний рынок. Проведение аналогичной политики, но уже в интересах резкого наращивания доходов государства, предполагает сокращение бюджетно неэффективных закупок машин и оборудования, стали и проката, минеральных удобрений, зерна — при параллельном увеличении импорта промышленных товаров народного потребления и производственных ресурсов, удовлетворяющих тот платежеспособный спрос, который предъявляют предприятия за счет средств хозрасчетных фондов.

Можно было бы организовать валютные аукционы за счет государственных валютных ресурсов с их продажей хозрасчетным предприятиям. Даже самая поверхностная оценка состояния рынка показывает, что валютный курс по таким аукционам в первое время составил бы не более 5—7 инвалютных копеек за рубль хозрасчетных фондов развития предприятий. Это значит, что перебросив всего один миллиард инвалютных рублей с закупаемого сегодня за счет централизованных капвложений оборудования, которое, как правило, вводится после истечения гарантийных сроков и не дает намеченной отдачи, на реализацию через валютные аукционы, мы могли бы получить дополнительно около 20 миллиардов рублей дохода в бюджет и резко сократить нереализованные остатки хозрасчетных фондов, усилив связанные с ними стимулы.

По промышленным товарам народного потребления при обеспечении бюджетно эффективной структуры закупок в развитых капиталистических странах возможность получения дохода бюджетом в размере 10 внутренних рублей на один инвалютный подтверждена опытом и не вызывает серьезных сомнений. Повышение доли импорта этих товаров из развитых капиталистических стран до уровня, который можно назвать минимально приемлемым (20—25 %), означало бы его увеличение примерно на 2—2,5 миллиарда инвалютных рублей и позволило бы радикально поправить положение на потребительском рынке.

Аргументы, связанные с тем, что подобное перераспределение ресурсов означало бы жизнь в кредит, что нам нужно затянуть пояса и бросить дополнительные средства на импорт машин и оборудования, не отражают экономической реальности. Отдача закупленного на валюту оборудования в рамках традиционной системы управления крайне низка.

Самым эффективным использованием средств является такое, которое создает предпосылки углубления экономической реформы, финансового оздоровления. К тому же перераспределение ресурсов создало бы благоприятные предпосылки для углубления хозяйственных преобразований в отечественной легкой промышленности и разрядило бы социальную напряженность.

Можно назвать и другие назревшие антиинфляционные меры. Главное же в том, что только действенные усилия по их практическому осуществлению могут спасти начавшуюся экономическую реформу.

Бытует меланхоличное представление, что остановить рост государственных рас-

ходов и сократить дефицит бюджета в принципе невозможно. Но ведь мы не первые сталкиваемся с подобной проблемой. Вспомним хотя бы экономико-политические баталии периода хозяйственной реформы пятидесятых годов в СФРЮ, шестидесятых — в ВНР. Проанализируем последствия попыток сочетать развитие рыночных механизмов с инвестиционным бумом в ЧССР на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов, в ПНР — в семидесятых. Богатый опыт показывает — добиться краткосрочного сокращения совокупного спроса, необходимого, чтобы запустить механизм экономического регулирования, можно. Успех зависит от политической воли.

Приведем лишь два наиболее известных примера успеха такой политики.

Советская Россия, переход к нэпу. Остановить инфляцию, добиться финансового оздоровления было невозможно, не разгрузив государство от тех предприятий и видов деятельности, для нормального ведения которых не было необходимых ресурсов. Специфика ситуации определялась тем, что на основе ограничения капитальных вложений эта задача не решалась — они и так были пренебрежимо малыми. Приходилось сокращать масштабы действующего производственного аппарата, останавливать заводы, сдавать их в аренду. По этому вопросу развернулась острая борьба, особенно ярко проявившаяся на XI съезде партии в марте-апреле 1921 года.

Народный комиссар финансов Г. Сокольникова доказывает необходимость развития системы аренды, концессий, произвести самое жесткое сокращение расходов всех наркоматов вплоть до военного. Говорит, что добиться успеха можно лишь при условии полной готовности всей партии идти на эти сокращения, на сужение государственного хозяйства, широкое развитие аренды, концессий, в сознании, что другого выхода из финансового кризиса не существует.

Эта позиция встретила решительное сопротивление многих делегатов, доказывавших невозможность и нецелесообразность существенного сокращения государственных расходов. Г. Ломов упрекает Г. Сокольникова в том, что политика Наркомфина не согласуется с политикой производства, политикой ВСНХ. Ю. Ларин выступает за прекращение «антиэмиссионного» азарта. По его мнению, необходимо замедлить переход к стабилизации рубля, не форсировать сокращение эмиссии. Против энергичной антиинфляционной политики выступает и Г. Пятаков: «Политика НКфина, которая сводится к тому, чтобы зажать отпуск средств для промышленности, приведет к величайшему обострению кризиса»; вместо того, чтобы покончить с инфляцией, он предлагает распределить ее тяжесть более равномерно по стране. В. Шмидт: «Тов. Сокольников усвоил спартанскую точку зрения: плавают люди в воде, не умеющие плавать. И он считает, сколько выплывет, сколько потонет. Но ведь тонет хозяйственный груз и народное хозяйство. Его нужно поддержать».

Обращаясь в заключительной речи к делегатам съезда, Г. Сокольников отмечал: «Вы видели картину, когда все требуют этих бумажных денег, и в то же время вы знаете сами, не можете не знать, что именно выпуск этих бумажных денег разрушает наше хозяйство, разрушает экономически и политически... Задача сокращения эмиссии есть основная политическая и экономическая задача, но никак не ведомственная... Если у нас возле Иверской часовни на стене написано: религия — опиум для народа, то я бы предложил возле ВСНХ повесить вывеску: эмиссия — опиум для народного хозяйства» [1].

Принятая съездом резолюция «О финансовой политике», несмотря на наличие в ней ряда компромиссных формулировок, в целом закладывала основы активного противодействия инфляции. Тем не менее многие специалисты весьма скептически оценивали возможности проведения антиинфляционной политики. В этом вопросе позиции экономистов, эмигрировавших из Советского Союза, и экономистов-марксистов нередко сходились. В эмигрантской литературе неизбежный провал усилий, направленных на стабилизацию советской валюты, предрекали постоянно. В то же время С. Струмилин писал: «Пока эмиссия будет давать хоть малейший дополнительный доход — нажим на наркомфин в направлении усилении эмиссии будет практически непреодолимым».

Проект бюджета на 1922/1923 финансовый год действительно разрабатывался в условиях острой борьбы Народного комиссариата финансов с другими ведомствами за ограничение государственных расходов. Руководство НКФ было убеждено, что бюджет не должен превышать 1 миллиарда золотых рублей (по индексу Госплана), аккумулировать большие доходы в подорванном войной народном хозяйстве за счет неинфляционных доходов невозможно. По ведомственным предложениям расходы должны были составить 2,2 миллиарда рублей. В полной мере привести их в соответствие с возможностями экономики Наркомфину не удалось, но плановые расходы были сокращены на 40 процентов, а дефицит бюджета в 3 раза. Важнейшим моментом было то, что масштабы эмиссии в течение финансового года последовательно сокращались.

Ограничение хозяйственной деятельности лишь жизнеспособными предприятиями, для нормального функционирования которых имелись соответствующие материальные и финансовые ресурсы, рассматривалось в качестве одной из важнейших задач с самого начала перехода к нэпу. Без этого остановить лавинообразную инфляцию, стабилизировать рубль было невозможно.

Процесс концентрации производства шел стихийно — предприятия, снятые с государственного снабжения и оказавшиеся неспособными организовать самозаготовки на основе рыночных операций, вынуждены были сокращать производство или останавливать его. Кроме того, велась целенаправленная работа по сосредоточению ресурсов на наиболее эффективных предприятиях, консервации или сдаче в аренду остальных.

Результаты были серьезными. Так, к началу 1923 года в трестах текстильной промышленности числилось 303 фабрики, из них 213 действовало. Было решено оставить за трестами 259 фабрик, из них 177 должны были продолжать работу, 56 подлежали консервации, а 26 ликвидации. В лесной промышленности количество действующих предприятий сокращалось на 32 %, а число занятых на них работников — на 21 %.

Острая борьба вокруг размеров дотаций, предоставляемых государственной промышленности, сокращения всех видов расходов, непосильных для государственного бюджета, велась на протяжении всего периода стабилизации денежной системы. Но в целом Наркомфину в этот период удавалось, несмотря на ожесточенное сопротивление, последовательно проводить свою линию.

К 1924 году финансовое положение социалистического государства заметно упрочилось. Бюджетный дефицит был сведен к минимуму, покрываемому кредитными операциями. Удалось отказаться от использования печатного станка. Выправилось финансовое положение нефтяной промышленности, перестала нуждаться в дотации угольная, потребность металлургии в финансовой поддержке государства сокращалась. Дефицит товаров, их распределение практически исчезли из хозяйственной практики. Розничные цены промтоваров в частной торговле с 1 октября 1923 года по 1 августа 1925 года упали на 20 %.

Вместе с тем, как отмечал Г. Сокольников, выступая на всесоюзном финансовом совещании в июле 1924 года, «...язва прожектерства, язва увлечения авантюристическими предложениями — все это до сих пор отражается на нашем бюджете и все это в известной степени является пережитком старой, дореволюционной бюджетной политики, когда отношение к деньгам было барское». Развитие событий убедительно показало, что такое отношение к финансам связано отнюдь не только с пережитками прошлого.

Анализ того, как резко возрос объем кредитования и денежной массы, как вследствие этого начался быстрый рост розничных цен, проявился острый дефицит средств производства и предметов потребления и вновь начала формироваться система органов, распределяющих дефицитные ресурсы, выходит за рамки предмета данной статьи. Но связь этого процесса с попытками форсировать экономический рост за рамки реальных финансовых возможностей народного хозяйства хорошо известна. Заложенные в план в 1925/1926 годах, вопреки протестам Наркомфина, непосильные масштабы развития капитального строительства и тяжелой промышленности обеспечивались не на основе реального накопления, а за счет эмиссии. Отсюда инфляция, проявившаяся и в товарном голоде, и в повышении цен.

Китай после культурной революции. С 1978 года ускорение темпов роста подкрепляется начавшейся радикальной реформой в сельском хозяйстве. Результаты перестройки хозяйственного механизма в промышленности в конце семидесятых гораздо скромнее, но позитивные сдвиги есть.

На этом фоне резко повышается норма накопления, растет фронт строительства. Одновременно ведутся 65 тысяч строек. Углубляются структурные диспропорции, обостряются финансовые проблемы.

В 1979 году прокламируется смена целей экономической политики. Акцент переносится с ускорения темпов роста на улучшение финансовой ситуации. Производство в легкой промышленности начинает расти быстрее, чем в тяжелой. Однако сократить объем капиталовложений, добиться на этой основе сбалансированности бюджета в 1979—1980 годах не удается.

В 1980 году фронт строительства вновь вырос. Дефицит государственного бюджета составил 12,6 миллиарда юаней, налично-денежная эмиссия — не 3 миллиарда юаней, как планировалось, а 7,6 миллиарда. Цены выросли в 1979 году на 5,8 %, в 1980-м — на 6 %.

Однако реакцией стало не попятное движение от реформы, а резкое наращивание усилий, направленных на финансовое оздоровление экономики. В 1981 году эта политика получила новый импульс. По сравнению с 1980 годом капиталовложения резко сократились. Были существенно сокращены государственные расходы на оборону и управление. Все это позволило обеспечить сбалансированность бюджета, сократить налично-денежную эмиссию. Темпы роста цен упали до 2 %. В короткий срок по ряду важнейших продуктов рынок продавца сменился рынком покупателя.

Конечно, это не было окончательным решением проблемы инфляционного давления в китайской экономике. Она и в дальнейшем оставалась важнейшей. В 1988 году темпы роста цен вновь резко возросли.

---

[1] Одиннадцатый съезд Российской коммунистической партии (большевиков). Стенографический отчет. М., 1922.

Но, как правило, ответом на обострение этих проблем было не свертывание реформы, а мероприятия по ограничению совокупного спроса.

Очевидный и существенный подъем жизненного уровня постепенно повышал порог социально-приемлемого темпа роста цен. Как показывали результаты обследований, массовость поддержки требований контроля всех цен государством постепенно снижалась.

Исследование хозяйственных реформ, осуществлявшихся в социалистических странах, позволяет сделать однозначный вывод, что условием успешного завершения их первого этапа, формирования развитой системы товарных рынков, опосредующих оборот значительной части производственных ресурсов, было хотя бы временное проведение ограничительной финансовой политики, сокращение объема капиталовложений, их частичное перераспределение в пользу отраслей, работающих на потребительский рынок.

Реформа дает серьезный позитивный импульс хозяйственному развитию. Резервы повышения эффективности, ранее скрытые слабой заинтересованностью хозяйственных звеньев, становятся доступными. Резко упрощается решение задач перестройки производства в соответствии с изменяющимся спросом. Насыщенный потребительский рынок создает дополнительные стимулы к труду. Все это сегодня жизненно необходимо, чтобы вывести страну из глубокого социально-экономического кризиса. Но опасно тешить себя иллюзиями. Опыт показывает и то, что с течением времени в реформированной экономике начинает нарастать комплекс специфических противоречий. Если их не удастся урегулировать, страна вновь столкнется с серьезными трудностями.

4

Перестройка инвестиционной политики лишь в ограниченной мере затрагивает базовые интересы неэффективных отраслей и предприятий — ограничиваются возможности их развития. Строительным организациям приходится приспосабливать структуру работ к платежеспособному спросу, ограничивать строительство объектов, единственным серьезным обоснованием создания которых является их выгодность для подрядчика. Предприятия переориентируются на удовлетворение запросов потребителей, повышение рентабельности. Однако в дальнейшем все большее значение приобретает иная, существенно более сложная проблема — что делать с самой сформировавшейся структурой экономики, в первую очередь с теми ее звеньями, которые с точки зрения рыночных критериев неэффективны?

Сокращение объема ресурсов, контролируемых хозяйственным звеном, прекращение его деятельности прямо задевают интересы крупных групп занятых. Возникают серьезные конфликты. Целым трудовым коллективам приходится менять место работы, ее характер. Открываются широкие возможности социальной демагогии.

В рамках хозяйственных реформ, осуществлявшихся в социалистической экономике, свернуть в широких масштабах предприятия, с точки зрения рыночных критериев неэффективные, удалось лишь при переходе к новой экономической политике в СССР. В других странах перераспределение ресурсов, находящихся в распоряжении подобных предприятий и отраслей, обеспечено не было. Мощные инерционные тенденции продолжали действовать и после реформы.

Формирующийся в этой ситуации инфляционный механизм, процесс постепенного ослабления введенных экономических рычагов хорошо прослеживаются на опыте ВНР. Неэффективность сложившейся здесь структуры экономики выявилась уже в конце пятидесятых годов. Диспропорции были связаны в первую очередь с высокой долей отраслей, которым требуются значительные объемы природных ресурсов при крайне неблагоприятных условиях их добычи. Предпринимавшиеся в начале и середине шестидесятых годов усилия, направленные на устранение этих диспропорций, практически остались безрезультатными.

Уже в период, непосредственно последовавший за экономической реформой 1968 года, отмечалось негативное влияние на общеэкономические результаты крупномасштабного перераспределения ресурсов в пользу неэффективных отраслей и предприятий. В то время, однако, даже активные сторонники реформы предлагали на первом этапе решать проблемы селективного развития за счет новых капиталовложений и рассматривали изъятие ресурсов, занятых в неэффективных отраслях, как задачу будущего.

По свидетельству Р. Ньерша, основные позиции в дискуссии о дальнейшем развитии реформы в 1971—1972 годах определялись, с одной стороны, явным успехом проведенных преобразований, ощутимым ростом жизненного уровня, соответствующим усилением позиций политического руководства, с другой — обнажившейся слабостью отдельных секторов экономики. В результате принятые в конце 1972 года решения сохранили введенную систему экономических регуляторов, но остановили процесс развития реформы. Скачок цен на энергоносители, особенно ярко проявивший структурные слабости венгерской экономики, произошел, когда серьезные мероприятия по углублению реформы уже не стояли на повестке дня.

Удар энергетического кризиса оказался весьма болезненным. Однако неблагоприятное влияние изменения ценовых пропорций отнюдь не было беспрецедентным. В Японии, Южной Корее, Испании, Италии соотношение индексов экспортных и импортных цен оказалось еще менее благоприятным. Источником сложнейших проблем, с которыми венгерская экономика вошла в восьмидесятые годы, было не само по себе развитие внешнеэкономической ситуации, а отсутствие адекватных ей изменений в экономической политике и хозяйственной структуре.

В 1973—1978 годах предполагалось, что, опираясь на связи с социалистическими странами, удастся избежать шока, связанного с повышением цен на энергоносители, сохранить сложившиеся темпы роста капиталовложений и уровня жизни. Следствием проведения подобной линии стало быстрое увеличение внешней задолженности.

В 1978 году дефицит платежного баланса составил 1,1 миллиарда долларов. Опасно повысилась норма обслуживания долга. Стало ясно, что проводимую политику необходимо пересматривать. С этого времени на первый план выдвигаются задачи восстановления внешнеэкономического равновесия за счет ограничения объема инвестиционной деятельности и резкого снижения темпов роста жизненного уровня. Но суть проблемы, которая особенно наглядно проявилась в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов, состояла в том, что полученные кредиты не были использованы для осуществления глубокой структурной перестройки экономики. Наоборот, с их помощью решалась задача воспроизводства сложившейся структуры в крайне неблагоприятной ситуации.

Больше того. В условиях отступления реформы реакцией на трудности в структурно слабых отраслях снова стал растущий поток ресурсов, направляемых на их развитие. Ухудшение результатов в обрабатывающей промышленности, снижение ее конкурентоспособности было связано и с мобилизацией значительной части ресурсов на нужды топливно-сырьевых отраслей.

Это понятно. Ведь содержание и развитие неэффективных с точки зрения рыночных критериев отраслей и предприятий требует перераспределения в их пользу финансовых ресурсов. Эта задача решалась в 1973—1978 годах за счет избыточного налогообложения эффективных предприятий, оказывая существенное дестимулирующее влияние на их деятельность, а также за счет внешних источников финансирования. Темпы роста розничных цен удавалось поддерживать на низком уровне. Но с пересмотром внешнеэкономической политики они заметно возросли.

Меры, предпринимавшиеся в 1979—1984 годах, были обусловлены объективно сложившейся к этому времени ситуацией. Слабость экспортных отраслей в сочетании с сформировавшейся высокой задолженностью вынуждала решать проблемы платежного баланса на основе сокращения импорта и снижения темпов экономического роста. Структурная перестройка экономики требовала времени роста задолженности, а она и так уже достигла опасного уровня.

В постановлении декабрьского (1978 года) Пленума ЦК ВСРП предусматривалось, что рестрикционная (ограничительная) экономическая политика будет сочетаться с углублением реформы, в том числе с ликвидацией убыточных предприятий, которые невозможно сделать прибыльными. Однако на практике серьезных изменений опять не произошло. По-прежнему лишь для крайне ограниченного круга хозяйственных звеньев плохие рыночные результаты деятельности становились серьезной проблемой, ибо, обосновывая необходимость благоприятных для них индивидуальных решений (повышение регулируемых цен, предоставление налоговых льгот, субсидий, дополнительных кредитов), предприятия ссылаются на невозможность выполнить без этого международные обязательства и снабжать внутренний рынок, а также на угрозу возможной безработицы. Их поддерживают и местные партийные и вышестоящие государственные органы. Противодействие Госплана, Министерства финансов нейтрализуется ссылками на их собственную ответственность за сложности, с которыми столкнулось предприятие.

Ограничительная политика 1979—1984 годов позволила добиться улучшения внешнеэкономической ситуации. Сальдо внешнеторгового баланса стало положительным. Удалось избежать появления открытой безработицы. Но проблемы, связанные с неэффективностью экономики, продолжали обостряться. Сокращение капиталовложений в сочетании с направлением их растущей доли в топливно-сырьевые отрасли ухудшило положение в инфраструктуре, заставило сократить инвестиции даже в наиболее прибыльные отрасли. Часть финансовых ресурсов предприятий блокировалась. К тому же темпы роста розничных цен оставались высокими. Специалисты указывали на риск превращения рестрикционной спирали в постоянную черту венгерской экономики.

Улучшение внешнеэкономической ситуации в 1983—1984 годах поставило венгерские органы, причастные к формированию экономической политики, перед выбором одного из трех основных вариантов: 1) продолжение ограничения капиталовложений и доходов, с тем чтобы добиться дальнейшего сокращения задолженности; 2) углубление реформы, сокращение платежеспособного спроса, нормативизация финансовых взаимоотношений предприятий с государством, создание валютного рынка; 3) ускорение экономического роста,

не предусматривающее глубоких структурных изменений. По политическим мотивам был выбран третий вариант. В пятилетнем плане предусматривалось повышение темпов роста капиталовложений.

Была продолжена реализация ранее отложенных инвестиционных проектов. Так, наиболее ожесточенные споры в ВНР развернулись вокруг продолжения замороженного строительства крупной ГЭС Габчиково-Надьмерош на Дунае. По мнению многих венгерских экономистов, она неэффективна. Экологическое движение считает ее создание опасным. В печати этот проект связывают с интересами венгерских и чехословацких гидростроителей. После того как экологам удалось остановить строительство новой крупной ГЭС на территории Австрии, к проекту подключилась австрийская гидростроительная фирма, добившаяся выделения на эти цели долгосрочного кредита.

Опасения экономистов, что в реально сложившихся условиях это приведет к нарушению равновесия, оправдались. Положительное сальдо внешнеторгового баланса уже в 1985 году сменилось отрицательным, снова начался рост внешней задолженности. Одновременно ускорилось и повышение розничных цен, впервые в послереформенный период превысившее 10 %. Таким образом, попытка форсировать экономическое развитие, не решив проблем структурной перестройки, окончилась неудачей.

Опыт показывает: если в ходе экономической реформы не удается отладить механизм перераспределения ресурсов, связанных в неэффективных звеньях экономики, то с течением времени неизбежно усиливается инфляция, подрывающая действенность введенных стимулов. Ю. Паестка справедливо отмечал, что социалистическая идеология делает акцент на социальной справедливости, но она никогда не требовала справедливости для предприятий. Государство, мягкое по отношению к предприятиям, неспособное оказать на них достаточное давление, неизбежно будет жестким по отношению к людям.

В последние годы многие венгерские экономисты отстаивают тезис о необходимости резкого сокращения доли инвестиционных ресурсов, распределяемых государством. Вполне возможно, что для конкретных условий современной венгерской экономики эта линия необходима и оправданна. Однако учет более широкого исторического опыта заставляет усомниться в том, что рост доли инвестиционных ресурсов, которыми распоряжаются предприятия, и свертывание централизованных инвестиционных фондов достаточны для обеспечения структурной гибкости социалистической экономики. Расформирование централизованных инвестиционных фондов в ходе реформы шестидесятых годов в СФРЮ этой задачи не решило, зато крайне осложнило макроэкономическое регулирование инвестиционной деятельности. При ограничении государственных средств и сохранении социально-политических факторов, не позволяющих свертывать неэффективные отрасли и производства, ресурсы, обеспечивающие их функционирование и развитие, просто черпаются из кредитной системы. Инфляционные последствия подобной практики очевидны. Поэтому ряд видных югославских экономистов, выступающих за активное использование рыночного регулирования, вместе с тем давно предлагают создать механизмы, которые выполняли бы функции, аналогичные централизованным инвестиционным фондам пятидесятых — начала шестидесятых годов.

Ликвидация отраслевых министерств сама по себе отнюдь еще не подрывает механизмы лоббирования. Соответствующие формальные и неформальные организации вырастают и формируются и на добровольной основе. Поэтому и после экономической реформы принципиальное различие политического веса и влияния сложившейся отрасли и новой, только формируемой, оказывает определяющее влияние на реальное распределение народнохозяйственных ресурсов.

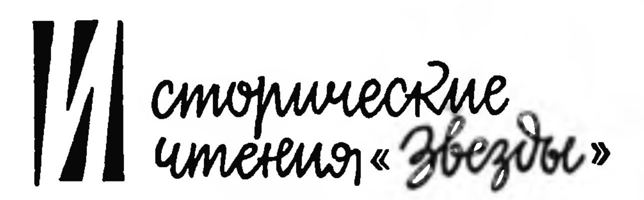
Министерство финансов, государственный банк, отвечающие перед правительством и народом за проведение эффективной антиинфляционной политики и устойчивость национальной валюты, по самой своей природе противостоят частным иерархиям, заинтересованным в перераспределении общественных ресурсов для финансирования экономически неэффективных видов деятельности. Но в условиях традиционной системы управления их роль в формировании экономической политики была весьма скромной. Не случайно руководители финансово-кредитной сферы в социалистических странах практически никогда не входили в состав высшего политического руководства. В реформированной экономике задачи финансово-кредитных органов принципиально меняются. Именно они могут стать важнейшим проводником рыночно-ориентированной политики перераспределения финансово-кредитных ресурсов в пользу быстро развивающихся эффективных отраслей и предприятий. Аналогичные функции должны выполнять и автономные от государственного бюджета и банка финансовые фонды, находящиеся в распоряжении инвесторов, ориентированных не на поддержку той или иной сферы деятельности, а на обеспечение интересов вкладчиков, в частности фонды страховые.

Процесс структурной трансформации в реформированной экономике должен идти постоянно. Разовыми мерами типа ограничения капиталовложений, хотя они и с успехом используются для краткосрочного ограничения совокупного спроса, эту задачу решить нельзя. В отличие от противоречий первого этапа реформы, которые могут быть разрешены в рамках сложившейся социально-политической структуры, здесь без глубоких институциональных преобразований не обойтись.

Реалистичная оценка ситуации заставляет признать: никакие организационно-экономические меры не позволят устранить активное давление отраслевых и территориальных производственных структур, направленное на перераспределение общественных ресурсов в их пользу. Демократизация общественной жизни лишь модифицирует его формы. Именно поэтому так важно создать действенный противовес данным перераспределительным коалициям в лице организаций, представляющих интересы наиболее широких групп населения, связанные с состоянием природной среды, качеством потребительских товаров, уровнем налогообложения, контролем инфляционных процессов.

Речь идет о последовательной дифференциации политической и хозяйственной структур, деполитизации текущей экономической жизни. Понятно и естественно, что правящая партия непосредственно влияет на распределение финансовых ресурсов государства, выбор путей их мобилизации и расходования на социальные нужды, оборону, поддержку тех или иных хозяйственных процессов, подбирает кадры для реализации соответствующей политики. Но важно всемерно ограничивать влияние политических органов на текущее функционирование хозрасчетных предприятий, не допускать подбора кадров их руководителей в зависимости от политической лояльности.

Требования к политическому лидеру и руководителю хозрасчетного предприятия принципиально отличны. Пока подбор кадров хозяйственных руководителей, их карьера прямо определяются политическими факторами, а не профессиональным престижем, успехами в обеспечении прибыльной работы, реформированная социалистическая экономика несет на себе печать традиционной командно-административной системы. Только освободившись от ответственности за функционирование конкретных хозяйственных звеньев, правящая партия действительно сможет проводить экономическую политику, ориентированную на общенародные интересы.



Лев Гумилев

ЭТНОСЫ И АНТИЭТНОСЫ

Главы из книги

«География этноса в исторический период» — так называется новая книга доктора исторических наук Л. Н. Гумилева, выходящая в свет в Ленинградском отделении издательства «Наука». Отдельные главы из этого обширного историко-географического и философского исследования мы и предлагаем читателям «Звезды».

Получить более целостное представление о замысле, оригинальном гумилевском подходе к решению проблемы развития и гибели этносов (народов) Земли поможет, на наш взгляд, отзыв академика Д. С. Лихачева, рецензировавшего книгу:

«Предлагаемое читателю исследование Л. Н. Гумилева является историко-географическим.

Л. Н. Гумилев увязывает воедино исторические процессы Ойкумены от Китая до Испании, проходившие синхронно и интерпретированные диахронно, то есть соответственно фазам этногенеза. Методика автора оригинальна: она географична! Автор смотрит вширь, благодаря чему перед нами наглядно вырисовываются закономерности взлетов и угасаний этносов, заметные только на далеких друг от друга сопоставлениях, на широком пространстве всемирной истории.

Как бы мы ни относились к выводам Л. Н. Гумилева, несомненно одно: его теория «работает» против невольно применяемого всеми историками-европоцентристами подхода. С точки зрения Л. Н. Гумилева, каждый народ (этнос) Земли, без исключения, обладает оригинальной этнической историей, к которой не применимы понятия «хуже» или «лучше», «культурней» или «бескультурней», так как любой этнос, по Л. Н. Гумилеву, в своем развитии подчиняется одним и тем же универсальным закономерностям этногенеза. В этом я вижу высокий гуманизм всей его концепции.

Л. Н. Гумилев внедряет интернационализм в сознание историков и географов, разрушает противопоставление народов Запада народам Востока, традиционный европоцентризм и синоцентризм с их «цивилизованными» центрами и дикой, варварской периферией, куда, по их мнению, входит и Россия. Подход Л. Н. Гумилева в высшей степени актуален, особенно сейчас.

Цель автора — обнаружение того явления, что «цвет времени» меняется закономерно и повсюду».

ЭТНОС: ЕГО СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Человек в биосфере. Поставим вопрос так: почему эта проблема нам интересна? Ведь простое коллекционирование каких-либо сведений никогда не западает человеку в голову и не вызывает интереса. И если уж мы учим что-нибудь и тратим на это силы, то надо знать — для чего? Ответ, по-моему, прост.

Гумилев Лев Николаевич родился в 1912 году в Петербурге, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Ленинградского университета — крупный советский ученый — этнограф, историк, географ. Он — автор многих монографий и научных статей. Живет в Ленинграде.

Человечество, существующее на Земле совсем немного, каких-нибудь 30—50 тысяч лет, тем не менее произвело на ее поверхности перевороты, которые В. И. Вернадский приравнивал к геологическим переворотам малого масштаба. А это очень много. Каким образом один из видов млекопитающих сумел до такой степени видоизменить, и не в лучшую сторону, Землю, на которой живет?

Эта проблема актуальна для нашего поколения, а особенно актуальной станет она для наших потомков, потому что если мы не вскроем причины тех перемен, которые ныне совершаются на всей Земле и которые всей мыслящей частью человечества считаются проблемой номер один, то тогда незачем выходить замуж, жениться, рожать детей, ибо биосфера погибнет и погибнут все и вся. Но для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно исследовать его историю.

Человек как существо биологическое относится к роду Homo. Для этого рода при его появлении на Земле было характерно довольно большое разнообразие видов. Это касается и тех Homo, которых мы, строго говоря, не вправе считать за людей, а именно: питекантропов и неандертальцев.

Почему же вид Homo sapiens распространился по всей суше Земли и всю ее превратил в свою Ойкумену — место, где он живет? За счет чего человек смог распространиться повсюду? Ведь все животные живут в определенных для каждого вида условиях. Так, волк — степной зверь. Он живет в степи или в перелесках, где скрывается, но в глухой тайге волка нет; медведь — лесной зверь, а степи ему делать нечего. А белый медведь? Это другой вид, относящийся к роду медвежьих. Он настолько уже отдалился от своего какого-то прапрапредка, что к современному лесному бурому медведю относится так же, как человек к неандертальцу. Белый медведь приспособился жить в арктических льдах, питается тюленями и рыбой. Но, кроме того, есть гималайский медведь, который так приспособился есть плоды, что живет только на деревьях.

Итак, мы констатируем, что животные, для того чтобы занять другие ареалы, чтобы жить в иных ландшафтных условиях, эволюционируют за пределы вида. Человек же остался в пределах одного вида. Все люди, ныне живущие на Земле, относятся к одному виду, но тем не менее они распространились от Арктики до тропиков. Они живут и в сухих местностях, и в высокогорных, и во влажных, в лесах севера и в тропических джунглях — где угодно, везде адаптируясь в ландшафте.

И ведь человек сумел добиться победы не только за счет техники. В период палеолита техника была еще небогатой. Надо признать, что у человека есть какая-то особая способность — не только социальная, но и природная,— которая также отличает его от животных. Эту способность мы можем характеризовать как повышенную лабильность, пластичность, даже способность к реадаптации, повторному приспособлению. За счет чего такая мобильность?

Мозаичная антропосфера. Обратим внимание на одно обстоятельство. Антропосфера мозаична, и правильнее называть ее этносферой. Антропосфера делится на сообщества, которые мы называем попросту народами, либо нациями, либо этносами. «Народ» — термин неудобный, он слишком полисемантичен. Термин «нация» принято применять только к условиям капиталистической и социалистической формаций, а до этого, считается, что наций не было. Не будем спорить о термине. Но термин «этнос» очень пригоден для того, чтобы им обозначать сообщества, на которые распадается все человечество.

Когда мы сталкиваемся с этой проблемой, кажется, что никакой загадки нет, все очень просто — есть немцы и французы, англичане и итальянцы. Какая разница между ними? Какая-то есть. Когда возникает вопрос, какая же именно разница, то оказывается, что найти ответ сверхтрудно.

Конечно, на то и существует Институт этнографии, и возник он тогда, когда сложность проблемы не стала еще очевидной; каждому было ясно, что есть разные народы и надо их изучать. Но наука развивается. Многое ранее ясное сейчас надо объяснять. Поэтому было избрано самое легкое решение. Как известно, человек — животное общественное. Никто этого оспаривать не собирается. Но верно ли все отношения людей между собой определять только как общественные, то есть социальные? Раз люди делятся на этносы, рассуждают этнографы, то и это тоже явление социальное.

На первый взгляд это как будто звучит убедительно и логично. Но что мы при этом подразумеваем под социальными отношениями? Классики марксизма нас учат, что человек развивается сообразно с развитием производительных сил. Верно. Сначала человек жил в первобытнообщинной формации, потом появились рабовладельческая, феодальная, капиталистическая... Но мы говорим о другом — о развитии этносов. Но при таком формационном делении есть ли место для этнических делений? Феодалом может быть и француз, и англичанин, и сельджук, и китаец, и монгол, и русский.

Точно так же и с крепостными, рабами, наемными рабочими.

Словом, социально-экономическая характеристика человека игнорирует этническую. Но значит ли это, что нет ни французов, ни китайцев, ни персов, что разница между ними иллюзорна, что есть только феодалы и крепостные, буржуа и наемные рабочие — все

остальное не существенно? Если так, то зачем нужен Институт этнографии? Да и сама этнография? И все-таки оказывается, что этнография нужна.

Итак, что такое этнос? Каковы переходы из одного этноса в другой? Какова разница между этносами? Некоторые говорят, что никакой разницы нет. Мол, что написано в паспорте, то и хорошо. Но ведь в паспорте можно написать все что угодно. Скажем, любой может записаться малайцем, но от этого он малайцем не станет.

Есть еще одно определение — лингвистико-социальное. «Все люди говорят на каких-то языках, и поэтому,— сказал мне член-корреспондент АН СССР А. А. Фрейман,— французы — это те, которые говорят по-французски, англичане — те, которые говорят по-английски, персы — те, кто говорит по-персидски, и т. д.».

«Прекрасно,— сказал я ему,— а вот моя собственная родная мама в детстве до шести лет говорила по-французски, а по-русски научилась говорить уже потом, когда пошла в школу и стала играть с девочками на царскосельских улицах. Правда, после этого она стала русским поэтом, а не французским. Так была ли она француженкой до шести лет?»

«Это индивидуальный случай»,— быстро нашелся ученый.

«Ладно,— говорю я,— ирландцы в течение 200 лет, забыв свой язык, говорили по-английски, но потом восстали, отделились от Англии и вовсе не пожалели на это отделение — ни своей, ни чужой. Если судить «по языку», то эти 200 лет они были настоящими англичанами?»

Итак, что есть разные этносы — все знают. Этносы — это французы, немцы, папуасы, масаи, эллины, персы. Но на вопрос «Что же это такое?» — толкового ответа не было. И я его сразу дать не могу. Если бы я мог это сразу сделать, я ограничился бы небольшой статьей, а не предложил бы вниманию читателя книгу.

Поставим и другой вопрос: имеет ли проблема этноса практическое значение? В бытовых случаях мы не путаемся. Если к нам, допустим, приедет английский ученый, мы сразу видим, что это человек иной, чем мы: хоть он говорит по-русски, но не по-нашему, и костюм он носит по-иному. Но в тех случаях, когда эти внешние различия скрадываются, возникает сомнение в значении этнической принадлежности. Например, в трамвай входят 4 человека — одинаково одетых, одинаково хорошо говорящих по-русски и т. д. Допустим, один из этих людей русский, а другие: кавказец, татарин и латыш. Есть между ними разница или нет? Казалось бы, каждому понятно, что есть. Однако один мой оппонент заявил, что если между ними не произойдет какого-нибудь глупого, надуманного национального конфликта, никто не узнает, что между ними есть разница, и вообще, реально ее нет. «Нет,— ответил я,— никакого национального конфликта здесь может и не быть. Просто любое событие может вызвать у этих людей разную реакцию, разный стереотип поведения». Влезает, например, в тот же трамвай буйный пьяный и начинает хулиганить. Что произойдет? Ну, русский, допустим, посочувствует, скажет: «Ты, землик, выйди, пока не забрали». Кавказец, скорее всего, не стерпит, может и ударить. Татарин, по всей вероятности, отойдет в сторону и не станет связываться. Западный человек попытается прибегнуть к милиционеру.

Итак, именно стереотипы поведения у разных этносов всегда более или менее различны, но и эти различия при близких условиях жизни часто скрадываются либо исчезают постепенно.

У нас около Ленинграда живет большое количество финских племен: карелы, ближе к Онеге — вепсы, чухны (чудь белоглазая). Как будто они внешне от русских не отличаются и говорят по-русски правильно. Когда карел или вепс идет по Литейному — его не узнаешь. Но стоит попасть в их родные деревни, и этнические различия выявляются без труда.

На что это похоже? Поставим вопрос: какого цвета воздух? В комнате цвета воздуха не видно, потому что его относительно мало, а посмотрите в окно — голубое небо — это цвет воздуха. Так и здесь: этническая характеристика лучше воспринимается и улавливается в больших массах, нежели в единичных случаях. Но все-таки этнический стереотип выявляется иногда и в единичных случаях.

Этнос — не общество! Что такое «социальный»? Это латинское слово «socium», переводимое как «общество», «общественный»; в таком значении употребляется во всех западно-европейских языках применительно к формам как животной, так и человеческой организации. В советской науке характеристику «социальный» принято относить только к человеческому обществу. Для обозначения животных коллективов применяется термин «сообщество» — комбинация нескольких видов животных и растений, взаимосвязанных «цепью питания». Такое разделение представляется обоснованным, поскольку социальная форма развития свойственна только человеку. Это развитие является спонтанным и прогрессивным, идет по спирали и связано с развитием техники и отношением к труду. Ни техники, ни труда у животных нет... Так является ли этнос феноменом, общим с животными, или нет? Об этом и возник у меня спор с моими московскими оппонентами: они утверждают, что этнос — явление социальное. Я говорю: каким же это образом? Разве

этнос развивается спонтанно и по спирали и связан однозначно с развитием способов производства? Разве хоть какой-нибудь этнос существует с самого начала развития человека? Разве есть такая карта, где бы этносы были показаны ну хотя бы от начала исторического периода? Нет их! Были сарматы — нет ничего, на месте сарматов были половцы (куманы) — и их нет.

Говоря об этносах, мы говорим все время «было». Никакого развития по спирали у этносов нет. Если мы употребляем слово «социальный» в нашем, марксистском смысле, мы должны понимать под этим форму коллективного бытия, связанную с производством,— «общество». А существуют ли у человека коллективы, не являющиеся социальными? Коллективы, кроме и помимо общества? Маркс по этому поводу высказывался довольно точно и определенно. Он называл общество немецким словом Gesellschaft, а кроме общества выделял первичные коллективы. Их он называл Gemeinwesen (Gemein — общий; Wesen — суть, суть дела, существо, основание; по-русски нет такого слова, но смысл понятен). Эти-то первичные коллективы, существовавшие еще до появления у человека материального производства, Маркс считал предпосылкой появления общества.

Первоначальные образования, первоначальные коллективы, особи вида Homo sapiens действительно никакого отношения к еще не существующим производительным силам не имели, просто люди жили коллективами-группами, потому что никто не смог бы выжить один. И это групповое деление с появлением общества, естественно, не исчезло, а, наоборот, постепенно развиваясь, создало те целостности, которые мы называем этносами.

Этнос — не раса! Этнос у человека — это то же, что прайды у львов, стаи у волков, стада у копытных животных и т. д. Это форма существования вида Homo sapiens и его особей, которая отличается как от социальных образований, так и от чисто биологических характеристик, какими являются расы.

Рас, по В. П. Алексееву, шесть. И по внешнему виду, и по психофизическим особенностям представители различных рас весьма отличаются друг от друга. Раса является относительно стабильной биологической характеристикой вида людей, но при этом нам важно здесь подчеркнуть, что она никак не является формой их общежития, способом их совместной жизни. Расы различаются по чисто внешним признакам, которые можно определить анатомически.

Какую-то роль в биологическом процессе видообразования они, видимо, играют, но в отношении того, как людям при этом жить и как устраиваться, как работать, как процветать и как погибать, расовые характеристики значения не имеют.

Посмотрим, как распределяются эти расы на поверхности Земли и какое это имеет значение для судьбы биосферы.

По антропологическим находкам древнейшие представители так называемой белой расы — европеоиды — появились в Европе и распространились из Европы в Среднюю и Центральную Азию, в Северный Тибет и, наконец, перевалив через Гиндукуш, попали в Индию и захватили северную ее часть. Также они издавна населяли северную часть Африки и Аравийский полуостров. В наше время представители этой расы пересекли Атлантический океан, заселили большую часть Северной Америки и значительную часть Южной Америки, Австралии и Южной Африки. Все это — результаты переселения.

Негры, как ни странно, представляются всегда насельниками тропического пояса, потому что считается, что меланин, придающий их коже черный цвет, препятствует ожогам от палящего тропического солнца. Однако, когда летом жарко, какое мы надеваем платье — белое или черное? Известно, что черный цвет слабо отражает солнечные лучи. Следовательно, надо полагать, что негры появились в тех условиях, где было относительно облачно.

И действительно, древнейшие находки так называемой расы Гримальди — негроидной расы, относящиеся к верхнему палеолиту, были обнаружены в Южной Франции, в Ницце, в пещере Гримальди, а потом оказалось, что вся эта территория была в верхнем палеолите заселена негроидами — людьми с большими губами, с черной кожей, с шерстистыми волосами, которые позволяли обходиться без шапки. Это были стройные, высокие, длинноногие охотники за крупными травоядными. А в Африку как же они попали? Да в результате таких же переселений, подобно которым европейцы попали в Америку. Причем Южная Африка была населена негроидами — неграми банту, теми классическими, которых мы знаем,— в очень позднее время; экспансия банту началась в I в. до н. э.— в I в. н. э., то есть первые негритянские лесопроходцы — современники Юлия Цезаря! Уже давно-давно угасли Афины, забыт век Перикла, Египет стал колонией, а они только-только начали захватывать леса Конго, саванны Восточной Африки, вышли на юг к большой реке Замбези и к мутной илистой реке Лимпопо.

Кого же они оттуда вытеснили? Ведь и до них население в Африке существовало. Это третья раса, относящаяся тоже к разряду южных рас, которую называют условно «койсанская» («койсанская» — это еще и особая группа языков). К койсанской расе относятся

готтентоты и бушмены. Причем они отличаются от негров, во-первых, тем, что они не черные, а бурые; у них монголоидные черты лица, сильно развитое веко, у них иначе устроена глотка — они разговаривают не так, как мы, не на выдохе, а на вдохе, то есть они резко отличаются и от негров, и от европейцев, и от монголоидов. Их считают остатком какой-то древней расы южного полушария, но в смысле этническом ничего цельного, несмотря на то что их очень мало осталось, они не представляют.

Бушмены — это тихие и робкие охотники, вытесненные неграми-бечуанами в пустыню Калахари. Живут они там, доживают свой век, забывая свою древнюю, некогда богатую культуру; мифы и искусство у них есть, но уже в рудиментарном состоянии, потому что жизнь в пустыне настолько тяжела, что им не до искусства, надо думать, как утолить голод.

А готтентоты (голландское название этих племен), жившие в Капской провинции, прославились как невероятные разбойники, проводники купцов и большие любители крупного рогатого скота — быков. Когда один миссионер, обративший готтентота в христианство, спросил: «Ты знаешь, что такое зло?» — тот ответил: «Знаю, это если зулусы уводят моих быков».— «А что такое добро?» — «Это если я у зулусов угоню быков». Вот на этом принципе они существовали до прихода голландцев.

С голландцами они довольно быстро нашли общий язык, стали их проводниками, переводчиками, рабочими на их фермах. Когда англичане, захватив Капскую колонию, вытеснили голландцев, то готтентоты примирились и с англичанами, а сейчас они там — «самые бурлящие элементы». Готтентоты не похожи на бушменов. Да, расовые черты и у тех, и у других одинаковые. Но при этом они так же мало похожи друг на друга, как, например, испанцы мало похожи по поведению на финнов.

Четвертая раса, тоже очень древняя,— австралоиды, или австралийцы. Неизвестно, как они попали в Австралию, но живут там издавна. Доевропейское население Австралии (до той поры, пока не захватили ее европейцы) состояло из огромного количества мелких племен с разными языками и совершенно различными обычаями и обрядами. Причем они старались жить друг от друга как можно дальше, потому что ничего, кроме неприятностей, они от соседей не ждали.

Жили они крайне скудно и примитивно, но не вымирали, потому что в Австралии исключительно здоровый климат (там любая большая рана заживает быстрее, чем у нас царапина).

Итак, австралоиды — это особая раса, которая не похожа ни нв негроидов, ни на европеоидов, ни на монголоидов — ни на кого (они похожи сами на себя!). У них при черном цвете кожи огромные бороды, волнистые волосы, широкие плечи, исключительная быстрота реакции. По рассказам, мной не проверенным, но которым я доверяю, кино австралийцам-аборигенам показывают в два раза быстрее, чем нам, потому что если с нашей скоростью пустить ленту, то они видят пробелы между кадрами. Они обладают и другими специфическими чертами, о чем будет сказано далее.

Факт остается фактом, что единая раса, заселяющая единый изолированный континент, попавшая туда при каких-то условиях явно по морю и, по-видимому, из Индии, потому что ближайшие их родственники живут в Деккане (в южной части Индии), составляет огромное количество самых разнообразных этнических группировок.

Пятая раса, самая многочисленная,— это монголоиды, которые разделяются на целый ряд рас второго порядка (подрас): сибирские монголоиды, северо-китайские, южно-китайские, малайские, тибетские; причем ни одна из этих подрас не составляет самостоятельного этноса.

Нетрудно заметить, что каждый этнос, развивающийся, создающий свою культуру, расширяющий свои возможности, состоит из двух и более расовых типов. Монорасовых этносов я не знаю ни одного. Если даже сейчас они составляют единый расовый тип, то это в результате довольно длительного отрицательного отбора, а вначале они всегда состоят из двух и более компонентов. Таковы американоиды — последняя, шестая раса. Сегодня они заселяют Америку — от тундры до Огненной Земли (эскимосы — народ пришлый). Огромно количество языков, так что даже невозможно провести их классификацию. Сейчас сохранено много мертвых языков, потому что племена, языки которых были записаны, вымерли. Американоиды, в общем, совершенно различны и по своему характеру, и по своему культурному складу, и по своему образу жизни, несмотря на то, что все принадлежат к одной расе первого порядка.

Иными словами, расы, на которые распадается вид Homo sapiens,— это условные биологические обозначения, которые могут иметь некоторое значение для нашей темы, но только вспомогательное, как любая классификация, которая ни в коей степени не отражает специфики этнического феномена.

И вместе с этим еще одно важное замечание. Эти расы, как я уже говорил вначале, стабильны по отношению к виду. Мы знаем, что вид Homo sapiens — кроманьонский человек (а мы с вами — кроманьонские люди) — существует 15 тысяч лет на Европейском континенте, и за это время названные расы хотя и менялись местами, но не появилось ни одной новой и не исчезло ни одной старой.

Вы спросите, почему я упустил пигмеев? Это те же негроиды, только живут они в очень плохих условиях тропических лесов, вследствие чего у них сократился рост от недоедания.

Этим, казалось бы, все исчерпано, и если бы расовый момент имел значение для развития и становления этносов, то есть был инструментом взаимодействия между обществом и природой, то тогда истории никакой бы не было, а была бы заранее заданная картина.

Этнос — не популяция! Так же, как не совпадает этнос с расой, не совпадает он и с другой биологической группировкой особей — популяцией. Популяция (цитирую учебник биологии) — «это сумма особей, живущих в одном ареале и беспорядочно между собой скрещивающихся». Например, два роя мух залетели в одну комнату. Они сразу образуют единую популяцию и не борются между собой. Разве этносы сосуществуют таким образом? Во-первых, борьба между этносами — это явление довольно частое, хотя и не обязательное. Между популяциями борьбы быть не может — раз они сбежались в один ареал, как мыши, или слетелись, как мухи, они сразу сольются в одну популяцию. У них нет ограничения скрещивания, отсюда генетики выводят свои закономерности, которые справедливы для животных.

В этносе всегда есть брачные ограничения. Два этноса могут сосуществовать на одной территории веками и тысячелетиями. Могут взаимно друг друга уничтожать или один уничтожит другой. Значит, этнос не биологическое явление, так же как и не социальное. Вот почему предлагаю этнос считать явлением географическим, всегда связанным с вмещающим ландшафтом, который кормит адаптированный этнос. А поскольку ландшафты Земли разнообразны — разнообразны и этносы.

Действительность и логика. Таким образом, при изучении этноса мы рассматриваем явление природы, которое, очевидно, как таковое и должно изучаться. В противном случае мы пришли бы к такому количеству противоречий (логических внутри системы и фактических при изучении действительности), что практически само народоведение потеряло бы смысл.

Инструмент в науке — это методика, способы изучения. Как же можно определить, что такое этнос, и понять, в чем его значение и смысл? Полагаю, что только благодаря применению современной системы понятий, современной системы взглядов.

Древние египтяне, дабы определить, кто есть кто, рисовали негров черными, семитов — белыми, ливийцев — коричнево-красными, себя — желтыми. И им, очевидно, было понятно, кто нарисован. В наше время мы знаем не четыре народа, а значительно больше — не хватит красок! Кроме того, нам уже ясно, что цвет еще мало о чем говорит.

Греки ставили вопрос гораздо проще: есть эллины — «мы» и есть варвары — все остальные: «мы» и «не мы», свои и чужие. Но когда Геродот попробовал написать «Историю в 9 книгах», посвященную девяти музам, то он столкнулся с недостаточностью этой классификации. Когда он, описывая греко-персидские войны, рассуждал: персы, конечно, варвары, а его земляки — афиняне, спартанцы, фиванцы и прочие — эллины. Но куда отнести скифов? Они не персы и не греки. А куда отнести эфиопов или гадрамантов (племя тиббу, и сейчас живущее в южной части Триполитании)? Тоже и не персы, и не греки. Варвары, конечно. Но эта классификация стала явно недостаточной.

В дальнейшем, когда римляне завоевали весь мир, то есть то, что они считали всем миром, они усвоили это же самое понимание термина: римляне — римские граждане, все остальные — либо провинциалы (завоеванные варвары), либо еще не завоеванные варвары, то есть хотя, может быть, и не всегда дикари, но не римляне. И все было просто.

Когда же Римская империя пала во время Великого переселения народов, то оказалось, что такая система определения народов не работает: все они оказались разными, друг на друга не похожими. И вот тогда впервые родилась идея социально-культурного определения людей — средневековая концепция. Согласно этой концепции, все люди в принципе одинаковы, но есть верующие в истинного бога и неверующие, то есть исповедующие истинную религию и не исповедующие. Истинной религией в Европе считался католицизм, в Византии и на Руси — православие, на Ближнем Востоке — ислам и т. д. А в остальном считалось, что люди делятся по известным социальным градациям. И поэтому тюркских эмиров крестоносцы считали баронами и графами, только турецкими, а тюрки считали крестоносцев эмирами или беками, только неверными, то есть французскими. Если же этим эмирам приходилось знакомиться с произведениями такого философа, как Платон, то они считали, что Платон — это просто маг. У них ведь были свои маги. Все получалось очень хорошо: такое «профессиональное» (тоже социальное!) дополнительное деление, очевидно, их устраивало. И даже больше. Когда испанцы попали в Америку и столкнулись там с высокоорганизованными в социальном отношении государствами ацтеков, инков и муисков, то они всех вождей индейских племен зачисляли

идальго, давали им титул «дон», если те были крещены, освобождали от налогов, обязали служить шпагой и посылали в Саламанку учиться. И хотя инки и ацтеки, понятно, не становились испанцами, испанцы закрывали на это глаза. Они женились на индейских красавицах, породили огромное количество метисов и считали, что испанский язык, католическая вера, единая культура, единая социальная общность обеспечивали единство империи. Какой там Анагуак — это Новая Испания, Чибча — Новая Гренада и т. д. Но заплатили они за это умозрительное заблуждение в начале XIX века такой резней, по сравнению с которой все наполеоновские войны меркнут. Причина была в том, что на место естественных процессов и явлений, которые следует изучать, испанцы поставили свои собственные несовершенные представления, которые были, с их точки зрения, логичны, но которые никак не отвечали действительности.

Итак, распространенное мнение, будто этносы сводятся только к тем или иным социальным явлениям, мы считаем гипотезой недоказанной, хотя к этой гипотезе мы будем еще возвращаться неоднократно. Дело в том, что социальные явления при постановке нашей проблемы изучать мы обязаны, ибо, изучая наш предмет, мы только их и видим. Но это не значит, что они исчерпывают проблему.

Поясню свою мысль. Она довольна сложна, хотя мне и казалась совершенно простой до тех пор, пока я не столкнулся с моими оппонентами. Вот, например, электрическое освещение. Феномен, казалось бы, социально-технический: и проводку сделали на каком-то заводе, и монтер — член профсоюза — ее провел, и обслуживает она, скажем, работников университета. И это все важно учесть, рассматривая этот феномен. Но, понимаете, никакого света здесь не было бы, если бы не имело места физическое явление — электрический ток. Электричество же мы никаким образом не можем отнести к явлениям социальным. Это сочетание природного явления с теми социально обусловленными, искусственно созданными условиями, при которых мы природное явление можем констатировать, изучать и использовать. Так же и с этносами.

Субэтносы. Структура — вторая особенность этноса — всегда более или менее сложна, но именно сложность обеспечивает этносу устойчивость, благодаря чему он имеет возможность пережить века смятений, смут и мирного увядания. Принцип этнической структуры можно назвать иерархической соподчиненностью субэтнических групп, понимая под последними таксономические единицы, находящиеся внутри этноса (как зримого целого) и не нарушающие его единства.

На первый взгляд сформулированный нами тезис противоречит нашему же положению о существовании этноса как элементарной целостности, но вспомним, что даже молекула вещества состоит из атомоа, а атом — из протона, электронов, нейтронов и т. п. частиц, что не снимает утверждения о целостности на том или ином уровне: молекулярном, или атомном, или даже субатомном. Все дело в характере структурных связей. Поясним это на примере.

Карел из Тверской губернии в своей деревне называет себя карелом, а приехав учиться в Москву — русским, потому что в деревне противопоставление карелов русским имеет значение, а в городе не имеет, так как различия в быте и культуре столь ничтожны, что скрадываются. Но если это не карел, а татарин, то он будет называть себя татарином, ибо былое религиозное различие углубило этнографическое несходство с русскими. Чтобы искренне объявить себя русским, татарин должен попасть в Западную Европу или Китай, а в Новой Гвинее он будет восприниматься как европеец не из племени англичан или голландцев, то есть тех, кого там знают. Этот пример очень важен для этнической диагностики и тем самым для демографической статистики и этнографических карт. Ведь при составлении последних обязательно нужно условиться о порядке и степени приближения, иначе будет невозможно отличить субэтносы, существующие как элементы структуры этноса, от действующих этносов.

Теперь остановимся на соподчиненности этносов. Например, французы — яркий пример монолитного этноса — включают в себя бретонских кельтов, гасконцев баскского происхождения, лотарингцев — потомков аллеманнов и провансальцев — самостоятельный народ романской группы. В IX в., когда впервые было документально зафиксировано этническое название французы, все перечисленные народы, а также другие — бургунды, норманны, аквитанцы, савояры — еще не составляли единого этноса и только после тысячелетнего процесса этногенеза образовали этнос, который мы называем французской нацией. Процесс слияния не вызвал, однако, нивелировки этнографических черт. Они сохранились как местные провинциальные особенности, не нарушающие этнической целостности французов.

Но во Франции мы наблюдаем результаты этнической интеграции, потому что ход событий эпохи Реформации привел к тому, что французы-гугеноты — продукт дифференциации — вынуждены были в XVII в. покинуть Францию. Спасая жизнь, они потеряли этническую принадлежность и стали немецкими дворянами, голландскими бюргерами и в большом числе бурами, колонизовавшими Южную Африку. Французский этнос избавился от них как от лишнего элемента структуры, и без того разнообразной и сложной (может показаться странным то, что мы приписываем этносу способность к саморегуляции, но ведь ее имеют почти все биологические системы, в том числе биоценозы). Этнос в историческом развитии динамичен и, следовательно, как любой долгоидущий природный процесс выбирает посильные решения, чтобы поддержать свое существование. Прочие отсекаются отбором и затухают.

Все живые системы сопротивляются уничтожению, то есть они антиэнтропийны и приспосабливаются к внешним условиям, насколько это возможно. А коль скоро некоторая сложность структуры повышает сопротивляемость этноса внешним ударам, то неудивительно, что там, где этнос при рождении не был столь мозаичен, как, например, в Великороссии XIV—XV вв., он стал сам выделять субэтнические образования, иногда маскировавшиеся под сословия, но отнюдь не классы. На южной окраине выделились казаки, на северной — поморы. Впоследствии к ним прибавились землепроходцы (как будто просто род занятий), которые, перемешавшись с аборигенами Сибири, образовали субэтнос сибиряков, или челдонов.

Раскол церкви повлек за собой появление еще одной субэтнической группы — старообрядцев, этнографически отличавшихся от основной массы русских.

В ходе истории эти субэтнические группы растворялись в основной массе этноса, но в то же время выделялись новые.

Назначение этих субэтнических образований — поддерживать этническое единство путем внутреннего неантагонистического соперничества. Очевидно, эта сложность — органическая деталь механизма этнической системы и как таковая возникает в самом процессе этнического становления, или этногенеза.

При упрощении этнической системы в фазе упадка число субэтносов сокращается до одного, что знаменует персистентное (пережиточное) состояние этноса.

Но каков механизм возникновения субэтносов? Чтобы ответить, необходимо спуститься на порядок ниже, где находятся таксономические единицы, расклассифицированные нами на два разряда: консорции и конвиксии. В эти разряды удобно помещаются мелкие племена, кланы, корпорации, локальные группы и прочие объединения людей всех эпох.

Условимся о терминах. Консорциями (от лат. Sors — судьба) мы называем группы людей, объединенных одной исторической судьбой. В этот разряд входят кружки, артели, секты, банды и т. п. нестойкие объединения. Чаще всего они распадаются, но иногда сохраняются на протяжении жизни нескольких поколений. Тогда они становятся конвиксиями, то есть группами людей с однохарактерным бытом и семейными связями.

Конвиксии мало резистентны. Их разъедает экзогамия и перетасовывает сукцессия, то есть резкое изменение исторического окружения. Уцелевшие конвиксии вырастают в субэтносы. Таковы упомянутые выше землепроходцы — консорции отчаянных путешественников, породивших поколение стойких сибиряков; старообрядцы — консорции ревнителей религиозно-эстетического канона, в числе которых были боярыня Морозова, попы, казаки, крестьяне, купцы.

В XVII в. они еще не выделялись внешне из прочего населения. Во втором поколении, при Петре I, они уже составили изолированную группу, в конце XVIII в. сохранившую обряды, обычаи, одежду, отличавшуюся от общепринятой. Консорция превратилась в конвиксию, а в XIX в., увеличившись до 8 миллионов человек, стала субэтносом. В XX в. она «рассасывается».

И землепроходцы, и старообрядцы остались в составе своего этноса, но потомки испанских конкистадоров и английских пуритан образовали в Америке особые этносы, так что именно этот порядок можно считать лимитом этнической дивергенции. И следует отметить, что самые древние племена, очевидно, образовались тем же способом, только очень давно. Первоначальная консорция энергичных людей в условиях изоляции превращалась в этнос, который мы ныне именуем «племя».

На этом порядковом уровне заканчивается этнология, но принцип иерархической соподчиненности в случае нужды может действовать и дальше. На порядок ниже мы обнаружим одного человека, связанного с его окружением. Это может быть полезно для биографов великих людей.

Спустившись еще на порядок, мы встретимся не с полной биографией человека, а с одним из эпизодов его жизни.

Источники энергии. Следует помнить, что бесконечное дробление, лежащее в природе вещей, не снимает необходимости находить целостности на заданном уровне, важном для поставленной задачи. В частности, нам еще более важны суперэтнические целостности, стоящие на порядок выше этносов, поскольку наша наука тоже ставит целью достижение практических результатов, а именно: охрану природы... от человека (!), спасение биосферы, в которой мы живем.

Как известно, человек является частью биосферы. Что такое биосфера? Это не только биомасса всех живых существ, включая вирусы и микроорганизмы, но и продукты их

жизнедеятельности — почвы, осадочные породы, свободный кислород воздуха, трупы животных и растений, которые задолго до нас погибли, но обеспечили для нас возможность существования. Все это — энергия, нас питающая. Максимальное количество энергии, которую потребляет Земля, согласно В. И. Вернадскому, это энергия Солнца. Она аккумулируется путем фотосинтеза в растениях, растения поедаются животными, солнечная энергия переходит в плоть и кровь всех живых существ, которые есть на Земле. Избыток этой энергии создает тепличные эффекты, то есть условия очень неблагоприятные. Нам не нужно ее больше, чем требуется, нам нужно столько, сколько мы привыкли осваивать.

Второй вид энергии — это энергия распада внутри Земли радиоактивных элементов. Когда-то давно этих элементов было много. Постепенно идет радиораспад внутри планеты, планета разогревается, и когда-нибудь, когда все эти элементы распадутся, она либо взорвется, либо превратится снова в кусок камня. Радиоактивные элементы действуют на наши жизненные процессы весьма отрицательно (все знают, что такое лучевая болезнь). Но эти явления внутри Земли оказывают на нас большое воздействие локально. Скопления урановых и прочих руд неравномерно распределены по Земле. Есть большие пространства, где радиоактивность ничтожна, а там, где руды близко подходят к поверхности, она очень велика; поэтому воздействие этого вида энергии на животных и людей совершенно различно.

И есть третий вид энергии, который мы получаем небольшими порциями из космоса,— это пучки энергии, приходящие из глубин Галактики и ударяющие нашу Землю, как, скажем, ударяют плеткой шарик, обхватывая какую-то часть ее, молниеносно производят свое энергетическое воздействие на биосферу, иногда большое, иногда малое. Приходят они более или менее редко, во всяком случае не ритмично, а время от времени, но не учитывать их, оказывается, тоже невозможно.

Этот последний вид космической энергии стал исследоваться совсем недавно, и поэтому те ученые, которые привыкли представлять Землю как совершенно замкнутую систему, не могут привыкнуть к тому, что мы живем не оторванными от всего мира, а внутри огромной Галактики, которая тоже воздействует на нас, как и все другие факторы, определяющие развитие биосферы.

Описанное явление и есть механизм сопричастности каждого человека и каждого человеческого коллектива к космосу. Разумеется, это относится не только к людям, но тема наша — народоведение — заставляет нас сосредоточить интерес именно на людях и посмотреть, как влияют эти энергетические воздействия на судьбы каждого из нас и тех коллективов, к которым мы относимся. Что нужно для того, чтобы решить этот вопрос? Оказывается, что нужно тут, как ни странно, знание истории этнической и обыкновенной.

Продолжение следует

К столетию Карела Чапека

Борис Парамонов

ЧАПЕК, ИЛИ О ДЕМОКРАТИИ

Если бы в искусстве существовало понятие прогресса, то на художественной эволюционной лестнице Чапек стоял бы выше, скажем, Шекспира. Прогресс — функция времени: «Мы лучше, потому что новее»; это не только похвальба Пети Верховенского, но логически корректная дедукция из «привременного» (выражение К. Аксакова) понимания прогресса. Далее, критерием прогресса, взятого как «развитие», считается структурная усложненность, дифференцированность; действительно, что писал Шекспир? Пьесы да разве еще сонеты. А Чапек писал все — кроме, может быть, сонетов (да и это, наверное, в юности пробовал). А в этом смысле прогресс в искусстве и впрямь существует: в технике ремесла, в движении его форм и жанров. Да разве и чисто количественное накопление человеческих запасов — пока не случится какой-нибудь очередной «монист» Омар — не может называться прогрессом? Скажем, изобилие продуктов питания и товаров широкого потребления в Чехословакии Масарика вполне прогрессивно по сравнению с нехваткой таковых в коммунистической России как раз того же времени (1918—1937). Но как же в этом случае быть с таким обстоятельством, как появление в русской литературе Андрея Платонова, возведшего в перл создания эту самую нехватку? «Чевенгур» не написать в пражском кафе, ни даже в пражской пивной, это ясно всем и не занимающимся литературой. Нельзя сказать, что у нас не было своих Чапеков; но мы их как-то очень быстро извели (Замятин) или каким-то иным образом нейтрализовали (Эренбург, Каверин). Я имею здесь в виду тип так называемого «среднего» писателя, «не гения». В этом смысле слова Пушкина «о ничтожестве литературы русской» остаются актуальными и сто с лишним лет после Пушкина.

Моэм писал, что величие литературы определяется не столько числом гениев, сколько общим напором ее культурной массы. В Чехословакии Чапек мог бы один представлять всю эту массу — и не потому, что там, кроме него, талантов не было: он наиболее из всех был культурен, персонифицировал самый принцип культуры.

Дело даже не в том, что Чапек был способен писать, и хорошо писать, все: от романов и пьес до газетных фельетонов. Дело в том, что он очень умело обратил литературный труд, этот в высшей степени подозрительный промысел, в занятие культурное, когда этот труд предстал всего-навсего специализированной отраслью общечеловеческой работы. Чапека как-то очень легко подверстать к «научно-техническому прогрессу», в котором заслуги Уэллса неотделимы от заслуг Дизеля. Чапек работал в той же мастерской, что и все «культурное человечество»,— как раз эта работа и стимулировала, как ничто другое, миф о прогрессе, оптимистический миф. Чапек — поэт, взятый в работу, и не каким-нибудь сомнительным «социальным заказом», а собственным пониманием общекультурного значения своего дела. Это очень высокий просветитель; точнее — тип просветителя на высшей эволюционной точке этого движения.

Важно и другое. Чапек — явление демократической эпохи и не мог бы появиться в другую. Скажем резче: он не мог не появиться в демократическую эпоху. И громадное литературное дарование Чапека не развернулось в гениальность именно по этой причине. Чапек слишком был предан идеалам свободы, равенства и братства, чтобы стать гением. По-другому: он был слишком умен, культурен, благовоспитан и порядочен, слишком «хороший человек». В этих бесспорных добродетелях растворился его талант, вернее, был ими разбав-

лен. Питье получилось вполне доброкачественное: не водка, а карлсбадская («карловарская») вода.

У Набокова в «Даре» мелькает персонаж, о котором сказано, что у него слишком добрые глаза для писателя. Эзра Паунд, предпочитавший Муссолини Джефферсону, говорил, что писатель должен быть сукиным сыном. Любимым мыслителем корректнейшего и респектабельнейшего Т. С. Элиота был Шарль Моррас, в послевоенной Франции севший на скамью подсудимых (а ведь Моррас не просто теоретизировал, он создал весьма энергичную организацию Action Française[1], бившую не только стекла, но порой и головы); и если Элиот сам не сел на скамью подсудимых — в отличие от Гамсуна, допустим,— то скорее всего потому, что ему посчастливилось не побывать на оккупированных территориях.

Чапек же — человек Джефферсона: буколический сельский хозяин, правда, знающий, что такое трактор.

В отношении Чапека иногда задаешься вопросом: а какой он, собственно, национальности? Его хочется назвать неким «среднеевропейцем». Кто-то острил в свое время, что Эренбург пишет из жизни среднеевропейско-дипломатической; тогда Чапек, можно считать, пишет из жизни среднеевропейско-буржуазной. Чех? А почему бы не голландец — «малый голландец», конечно? Если Советский Союз называли в стародавние времена отечеством мирового пролетариата, то уж Голландия действительно стоит звания отечества мировой буржуазии. Чехи, Чехия — и впрямь середина. Посредственность? О, нет. Но равнодействующая, общий знаменатель и, если угодно, итог. Культура «исполнилась» в Чехословакии Чапека. «Исполнение» значит также «наполнение». Нужно быть по крайней мере снобом или «блазированным миллионером», как называли Герцена, чтобы испугаться «китайской неподвижности» буржуазного существования,— как испугался Герцен на примере, кажется, той же Голландии. И если продолжать разговор о «национальности» Чапека, то я и Англию даже бы вспомнил. Конечно, страна эта не «малая» и не «средняя», тем более не посредственная; но она особенно важна для Чапека вот по какой причине. Англичане умели делать свою буржуазность эксцентричной, артистичной. А это уже формула Чапека. И еще одно «английское» качество от него неотделимо: уют. Как объяснил сам Чапек, таковой связан как раз с малостью, крошечной изящностью, точнее, с намеренным уменьшением предмета: идея английского садика при town-house[1] или английского же камина. В Англии никогда не будет революции, потому что там некрасивые улицы, писал Чапек; и люди спешат уйти с улиц в дома, к «очагам». «Надстройкой», реактивным образованием была империя (где она сейчас?). А Чехия изначально мала. Она, по определению,— часть Австро-Венгерской империи. Уютным было уже вот это сознание собственной «частичности», ощущение «угла» (отнюдь не медвежьего); отсюда и ностальгия по Габсбургам, хотя бы у Йозефа Рота. Это стимулировало детскость: чтобы построить собственный мир, ребенку достаточно залезть под стол, говорит Чапек. Чехи и всегда «сидели под столом», пока их оттуда насильно не вытащили. Но тогда Чапек умер.

Еще об Англии и еще о детскости. Об англоманстве Чапека рассказывали анекдоты. Оно понятно как идентификация подростка со взрослым, родственную связь с которым он ощущает. Связь эта, как уже сказано,— установка на «уют», сознательная «игра на уменьшение», ироничная у одних, органичная у другого. Легко доказать, что Чапек — подражатель Честертона: и в мировоззрении, и в жанрах. Нужно, однако, подчеркнуть органичность такой имитации. Честертон недаром был врагом империи, защищал ирландцев и буров. Дело не в политике: у него была регрессивная установка, то есть побег в то же детство. Восторг Честертона перед элементарными реалиями бытия — это восторг ребенка, впервые увидевшего мир. Отсюда же чисто детская и, я бы сказал, демократическая доброжелательность, готовность и способность жить в мире с такими интересными людьми, как деревенский столяр или конюх. У Честертона подчеркнута коммунальная основа демократии.

Чапека, однако, не стоит помещать в детсадовскую группу. Это именно подросток, причем подросток деятельный и мастеровитый. Это для него придумана игра «конструктор» и написана книга «Занимательная химия». Он растет в эпоху научно-технического прогресса. Этапы роста: велосипед, автомобиль, аэроплан. Он увлекается фотографией. Естественно, он собирает марки (смутное предчувствие раскрывающегося мира и одновременно — все то же сведение большого к малому). Коллекционирует кактусы и ковры. Даже в этом последнем, вполне буржуазном занятии мы вправе видеть элементы той же подростковой психологии: способность быть увлеченным, забыть про обед, гоняя мяч во дворе.

В том-то и дело, что чехи про обед никогда не забывали. Это, если можно так сказать, солидные подростки, единственное назначение которых — выйти во взрослые люди. Странно, что у Чапека не заметно следов увлечения кулинарией. Он не был толстым, каким вроде бы положено быть чеху, даже на знаменитом пиве не раздобрел. И тут опять — некая червоточина, знак «избранности», следовательно, обреченности. Снова возникает тема ранней смерти. Вспомним, что даже в тридцатые годы не было культа поджарости и полнота, а не худоба считалась признаком здоровья. «Как вы поправились!» — это был комплимент.

«Он был похож на мальчика-толстяка»,— пишет Олеша об Андрее Бабичеве. Именно так: не Кавалеров, но Андрей Бабичев, не поэт, а «творец добрых дел». В отличие от Белинкова, я не стану терять пломбы от последнего определения: такие большевики в свое время были; тогда это называлось конструктивизмом и было впрямую связано с Западом. Западнический уклон в большевизме, несомненно, существовал: Бухарин со «Злыми заметками». Пьянке отказывали не только в моральной санкции, но даже и в поэтичности. Мариэтта Шагинян, примыкавшая к этим самым конструктивистам, учила радоваться жизни при виде хорошо начищенных башмаков. Из всего этого, действительно, мог бы выйти со временем какой-нибудь вполне пристойный социализм. Увы, Россия не Чехословакия. Есенин «гениальнее» Чапека. Хорошо это или плохо? Что нужнее человечеству: великая литература или пристойная жизнь? И кто решится однозначно ответить на этот отнюдь не риторический вопрос?

У Эренбурга в ранних изданиях «Визы времени», в очерках о Польше есть еретическая по нынешним временам мысль: о том, что великое искусство возможно только в большом («великом») государстве, в сущности — имперском. Краков красивей Лодзи или даже Варшавы именно по этой причине. Возражение появляется мгновенно: а Норвегия с Ибсеном, Григом и Гамсуном? Тут можно, однако, сказать если не о величии государственности, то об экстремальности природы, о пресловутых фьордах («Скандинавский альманах»!); да и не вспомнить ли о фашизме в связи с Гамсуном — не как о программе, а как о показателе неумеренности, неблагопристойности гения? Да и чеха вспомнить можно: Гашека; при всей неделанности «Швейка» вещь эта несет на себе печать гениальности — потому что Гашек, в отличие от Чапека, бунтарь, мистификатор и бродяга, а не корректный гражданин корректного демократического государства, не поклонник президента Масарика, а коммунист.

Швейк, в основе, такой же здравомыслящий чех, как и писатель Карел Чапек; но это национальное качество доведено в нем до абсурда, до юродства, до провокации. Швейк выделен и подчеркнут, заострен и гиперболизирован, поэтому он уже не «характер», а миф. А Чапек мифов делать не умел и, следовательно, не желал (это вот и есть возведение нужды в добродетель). У него есть цикл под названием «Апокрифы». Название это обманчивое. С апокрифами мы связываем представление о ереси, а с ересью — гениальность; у Чапека все наоборот. Он здесь переосмысливает великие мифы, пытаясь в сказке обнаружить реалистическое зерно, «психологию», в поэзии ищет прозу, и когда ему удается это — торжествует победу. Главными героями в апокрифах Чапека оказываются не Христос, а Пилат, не Мария, а Марфа. И в этой установке на «прозу» чувствуется даже что-то дерзкое. Во всяком случае, она вызывает уважение.

О циклах Чапека вообще. У него все было «собрано» еще при жизни; а то, что еще не издавалось отдельно, лежало в аккуратных папках с соответствующей надписью. Работа душеприказчикам оставалась минимальная. Тысячи газетных фельетонов были распределены по рубрикам, и каждая рубрика — книга: о погоде, об огороде, о грибах, о собаках, о людях, о вещах... Все это написано чрезвычайно — другого слова здесь не найти — мило, а еще более мило собрано в пачки и перевязано ленточками. Читая Чапека, вы улыбаетесь, и в то же время вам хочется разбить что-нибудь стеклянное. И не за дурацкую страну Россию обидно — вот, дескать, живут же где-то люди,— а за человека, за венец создания: неужели эти аккуратные газетные вырезки — все, что принесли с собой так называемые культура и прогресс?

Конечно, возможна и другая точка зрения, и ее как раз выбрал Чапек: ироническое умиление, «игра с котенком»; самого себя осознать как вот такого культурного котенка. Но это — априорное смирение, радостно принимаемая второразрядность, готовность примириться с судьбой маргиналии и детали. Скажем так — культурная провинция. Для русских это в некотором роде — contradictio in adjecto[1] и в то же время недостижимый идеал: понятна мечта жителя великодержавного Череповца о чешском пиве; но если этого пива — залейся, то неужели можно на том и успокоиться?

У нас ведь тоже, если поискать, были певцы этой обыденности и провинциальности: Розанов, конечно. Но в том-то и дело, что провинцию он любил и воспевал как раз «некультурную», с грязцой и домостроем. Удивляясь, почему в России все аптекари — немцы (еще не евреи!), Розанов тут же находил объяснение: где надо капнуть, там русский плеснет. А чехи преподавали латынь и греческий, и «классики» всех Череповцов и Таганрогов почесывали поро-

[1] «Французское действие», полуфашистская политическая группа, возникшая в 1898 г. под руководством Ш. Морраса и Л. Доде вокруг одноименной газеты в Париже; просуществовала до 1936 г.

[1] Городская квартира (*англ.*).

[1] Противоречие между определяемым и определением (*лат.*).

тые задницы. Культура внедрялась — по Лескову — бойлом. Уверен, что Чапек с удовольствием изучал ту же латынь. А Чехов над ней справил все-таки издевательский триумф: de gustibus aut bene aut nihil [1].

Одна из характернейших вещей Чапека уже своим названием являет некий манифест: «Обыкновенная жизнь» (в сущности, это чешский, то есть благополучный, вариант «Смерти чиновника»). Как и положено добротному провинциалу, Чапек воспроизвел очередную столичную новинку (на этот раз — унанимизм). Но есть здесь и нечто органическое: апофеоз обыденности, малости, тупиковости. Сделано это опять-таки чрезвычайно культурно: конечно же, Чапек обнаружил в добропорядочной жизни анонимного чиновника второй, и третий, и десятый план. Не обошлось без Фрейда: в детстве герой предается тому, что в психоанализе называется «сексуальные исследования», а потом испытывает желание задушить собственную жену. В одном месте даже говорится, что в жизни ему не хватало вшей. Но как все это примирено, какой всему этому дан «синтез»! Примирено тем, что все люди такие — с двойным и тройным дном. Конечно, это «мудро». Жить с таким сознанием удобно. Но книга, воспевающая посредственность, и сама получилась какой-то воинствующе посредственной. Получилась — самопародия.

Никто не будет отрицать у Чапека ни таланта, ни остроты видения. Раздражает в нем — и одновременно умиляет — оптимизм. Это он, можно сказать, придумал выражение «все к лучшему в этом лучшем из миров». Короче говоря, он верит в прогресс: необходимое слагаемое демократического мировоззрения. Однажды Чапеку удалось написать вещь действительно острую — «Из жизни насекомых». Но он не был бы самим собой, если б не снабдил пьесу вариантом оптимистического финала. Возьмем известнейшее и, конечно же, лучшее произведение Чапека «Война с саламандрами». Это, можно сказать, выставка его достоинств: книга чрезвычайно изобретательна в композиции и жанре, лучше сказать, она демонстрирует сразу все жанры, в которых умел работать Чапек; разноголосица остроумно мотивирована позицией архивиста, собирающего материалы по интересующему нас делу. Недостаток книги — коренной, органический, генетический — в ее, странно сказать, достоинстве: легкости, явно неуместной в момент ее написания. Всей этой культурной идиллии оставалось два-три года, а Чапек очень мило острил и улыбался при виде механизированных варваров. Каким-то образом, говоря о фашизме, Чапек этого фашизма не замечал; по-другому сказать, он гнал от себя (заклинал?) трагедию как таковую, как жанр бытия. Он умер в декабре 1938 года, не дожив до самых худших времен; и вот возникает совсем уже странное ощущение: в ие была ли эта смерть (сорокавосьмилетнего человека) неким комфортным выбором?

Вселенная, умершвя вместе с Чапеком, оставалась все еще достаточно благоустроенной вселенной.

Конечно, швейковское есть и в Чапеке: провокативная покорность. Здравомыслие — в том, чтобы не кидаться под танки, но и не наделять эти танки значением фатума. Малому народу и нечего противопоставить имперским мессиям, кроме готовности их пережить, сохраняя при этом подобающее достоинство, а при возможности — и удобства. С чехами все ясно. Но говоря о Чапеке, я не столько чехов имею в виду, сколько вот эту самую «среднюю Европу», то есть, строго говоря, Европу как таковую: в сегодняшнем мире это и есть середина, причем именно золотая. Трудно не согласиться с Кундерой и, наоборот, хочется спорить с Бродским, дезавуирующим оседлость. В конце концов оседлость и создает культуру. Но вопрос жгучий (в стиле Бердяева): последнее ли это дело, культура? Предел ли человеческих возможностей? Это и имел в виду Бродский, для которого слово «номад» синонимично слову «гений». Но вправе ли мы укорять писателя за негениальность?

Итак, культура — «срединное царство» (тот же Бердяев) и дело преимущественно европейское. Ей нужны мирные гарантии со стороны какой-нибудь Лиги Наций — чтобы музы не замолчали. Ничто не может дать культуре гарантий более прочных, чем демократия. Это неверно, что демократия («власть народа») враждебна культуре. Так называемая «великая литература», способная расцветать на любом навозе, даже (и преимущественно) на кладбище, удобренном трупами ГУЛага,— это еще не культура. К двоице синонимов «культура — оседлость» можно добавить третий — «демократию». Демократия гарантирует ту же оседлость под названием Habeas Corpus Act [1]. А культура, можно сказать, по определению всегда охватывает всех, толщу, массу, целостность народа, она именно народна — как национальная физиономия, склад и стиль жизни. Культура, следовательно, необходимо «провинциальна», локальна. «Мировая культура» — абстракция, мавзолей, музей с гипсовыми слепками по стенам (Гете и другие). Культура должна быть, так сказать, «маленькой», чтобы ощущаться. Но то же дóлжно сказать и о демократии. Вечная ее форма, «идея»,— полис, где все знают всех, что и есть провинция. Это доказали «всемирноисторические» (на самом деле сугубо локальные) греки, а потом понял Шпенглер. Нигилисты в петербургском салоне В. П. Ставрогиной обсуждали проект расчленения России; об этом много писал в «Современнике» тамошний публицист Елисеев: демократия должна быть прямой, а не представительной. Что бы мы ни говорили о нигилистах, но России задуматься об этом еще раз придется. Поэтому сказать об Америке, что она демократия, значит не сказать почти ничего,— как о России, что в ней континентальный климат. Это определение необходимое, но не достаточное. Современная Америка — мутант, а генетическая ее основа — Communities, местечковая добродетель. Самое стильное, что я видел в Америке,— это мебель и кухонная утварь шейкеров. Нынешняя Америка отошла от кустарничества, она тиражирует культуру, и это создает совершенно особую атмосферу, когда культура середняком не создается, а потребляется. Важно и то, что здесь существует культ звезд — ни в коем случае не демократический институт, а то ли реликт, то ли проект аристократии. Люди, интимно знающие Америку, в один голос говорят, что это страна для outstanding people [1]; просто здесь середнякам перепадает больше крох, и крохи эти жирнее. Ergo: демократия в Америке (не в смысле системы управления, а как компактная масса, порождающая образ жизни) утратила свою культуротворческую энергию. Очевидно, это и имел в виду Хемингуэй, сказавший: «Это была хорошая страна, но мы ее изгадили». Есть одно простое объяснение вышеочерченному, и к этому я и веду. Америка — страна большая (и потому сильная, а не по той причине, что там существует «всеобщая подача голосов»). На такой территории невозможно сохранить ту «живую теплоту родственной связи», которую наши славянофилы усмотрели в крестьянской общине и которая есть, по существу, лучшая формула для демократии. Но коли так, то демократия должна быть небольшой: «Чехо-Словакия» уже для нее много, просто «Чехия» лучше. Чапек — писатель демократический по самой своей стилевой установке: локально-местечковый, кустарный, «небольшой». Это его качество: хроникер местных будней (отсюда газета), мастер своего дела, «цеховой». Чехи и были демократическим включением в космос средневековья. Певец мирного живота и беспечальной кончины. Чартисты писали в своей петиции: «Мы мирные люди и хотим заниматься своим ремеслом»; вот подлинно демократический лозунг. А мирный человек может быть мастером, но не может быть гением. Он сумеет сделать красивый стул, но чуда он не сотворит. Гений — сверхкультурное явление. Чапек решительно не любил чудес, более того, высмеивал их. У него есть рассказ о том, как человек обнаружил в себе способность летать, а инструктор физкультуры лишил его этой способности; подтекст и ирония здесь в том, что Чапек тайно держит сторону инструктора. Другой рассказ: как сотрудники судебно-медицинской лаборатории, проводя экспертизу, научились печь булочки. Третий: о поэзии бухгалтерского труда, о счастливом миге сведения баланса.

Вот тут и обнаруживается у Чапека элемент самопародии, обесценивающий его незаурядное мастерство. Средневековый кустарь (а из вышеизложенного, надеюсь, ясно, что это комплимент), он работает на современном материале, не требующем мастерства: на конвейере, в газете. Серебряный кубок, которым забивают гвозди. Чапек анахроничен, как римский папа, летающий на самолете; самолет называется «Пастырь-3». Философия, которую Чапек строил в газете, была «карманной» (название сборников газетной эссеистики Арнольда Беннета).

В понятии «современная демократия» содержится если не идейное, то стилевое противоречие. Как стилевой принцип демократия противоречит современному индустриальному обществу. Мы сейчас не говорим о политических экспликациях этой несовместимости, ограничиваясь чисто культурным, даже у́же — эстетическим измерением. И Маяковский, и Пикассо — художники эры тоталитаризма, независимо от того, в каких отношениях состоял тот или другой с тоталитарным строем. Конструктивизм в целом — тоталитарный стиль, стиль эпохи тоталитаризма (см. «А все-таки она вертится!» Эренбурга). Швейцарская уездность демократии сюда явно не идет: не кантоны, а Кантон (три миллиона жителей!). Массовое общество закономерно порождает тоталитаризм (Ханна Арендт). Художник, противостоящий этой тенденции, эстетически реакционен или, скажем мягче, анахроничен. Этот анахронизм можно, однако, удерживать как моральную позицию, как некую благородную «старомодность» (желающие могут при этом говорить о «вечных истинах»). Но эта позиция ведет к уходу из живого искусства: случай Чапека и (конечно же, в более сложном варианте) Томаса Манна. Отсюда начинается путь к пародии (Т. Манн: пародия — это игра с формами, из которых ушла жизнь). Эстетическая значительность в XX веке потребовала «злодейства». Гений — не только талант, но и характер. Там, где характер подменяется благоразумием (под маской «иронии»),— там и начинается пародия: игра с мертвыми формами. Знаменательно, что оба — и Т. Манн, и Чапек — дезавуировали музыку. Демократическая доброде-

---

[1] Пародийное смешение двух латинских пословиц: de gustibus non est disputandum (о вкусах не спорят) и de mortuis aut bene, aut nihil (о мертвых или хорошо, или ничего).

[1] Название закона о свободе личности, принятого английским парламентом в 1679 году.

[1] Незаурядных людей *(англ.)*.

тель (у Манна не органичная, а спровоцированная рядом немаловажных обстоятельств биографического порядка) не дала обоим обрести подлинную гениальность. Для этого они были слишком культурны.

При этом трудно воздержаться от восклицания: долой искусство, если для его взлетов требуется трагедия — трагедия, порождающая музыку. На вопрос, что предпочтительней: книга «Архипелаг ГУЛАГ» или общество, не знающее лагерей,— невозможно дать два ответа.

Но Карел Чапек нашел третий: он умер. Смерть Чапека по-своему гениальна, как уход Льва Толстого или смерть Блока. Он не мог «продолжать играть в мяч» — позиция, требуемая культурой. Об этой смерти тоже можно сказать: жил как человек, умер как поэт. И больше: он умер и за других, за чехов, за нацию жизнеспособных Швейков. Искупительная жертва, персонификация трагедии народа, не желающего примириться с трагедией, артикулировать ее. Смерть Чапека подняла его и над демократией, и над культурой. Это была дань, наконец-то выплаченная им большому миру и жестокому веку.

Карел Чапек

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СНЫ РЕДАКТОРА КОУБЕКА

ГЛАВА 1

Каждую среду редактор Коубек писал передовицу в свою превосходную провинциальную газету «Страж нашего края», после чего, удовлетворенный выполненным долгом и всем окружающим миром, шел ужинать не к колбаснику, что делал по понедельникам, и не в Нижний трактир, куда хаживал по субботам, а в Верхний, где каждую среду просиживал до одиннадцати часов вечера, ведя беседу с господином бургомистром, господином судьей, господином аптекарем, господином доктором Костелецким, господином Гаврдой, господином Таусситом и прочими местными интеллигентами-старожилами о делах общественных, о международной политике, об испорченности нравов, о мошенничестве, которое ширится в верхах и низах, и о тому подобных серьезных материях, о коих привыкли рассуждать люди благоразумные: уж они бы сумели навести порядок, если бы их кто попросил! Уверяю вас, это были не какие-нибудь фигли-мигли, а благородные речи, которые — во-первых — произносились от всей души и — во-вторых — опирались на зрелый опыт, на знание фактов и событий не только местного, но и мирового масштаба.

Итак, в одну из таких сред редактор Коубек писал очередную передовицу; когда же к нему, как обычно, подошел метранпаж из типографии и стал ворчать, скоро ли, мол, он получит статью, пора приступать к набору, раз это будет на первой странице,— господин Коубек ответил ему добродушно:

— Минуточку, пан Стрнад, только перечитаю.

А затем с глубоким моральным удовлетворением и внутренним одобрением перечитал весь текст, кивая головой над особо сильными местами, писанными, так сказать, кровью сердца. «Родина в опасности. (Можно бы написать и „на краю пропасти“»,— подумал Коубек,— но это я оставлю на следующий раз.) Со всех сторон подстерегает нас злоба: наш заклятый враг — немец, свирепый венгр, коварный поляк, черно-желтая гидра Вены... Пангерманизм, объединившись с кровожадными венгерскими претензиями, грозит нам железным кулаком. Все теснее сжимается кольцо ненависти вокруг нас, славян. Все нас предали. («Так оно и есть»,— вздохнул Коубек.) Несколько авгуров болтают в Женеве о мире и разоружении, а между тем все государства точат мечи и одеваются в броню. («Хорошо сказано»,— похвалил себя Коубек.) Что же в это время делаем мы, которым самым непосредственным образом угрожает конфронтация сил? (В слове «конфронтация» редактор Коубек обвел каждую букву, чтобы наборщик не ошибся.) Горестно наблюдать! Вместо того чтобы смело взглянуть в лицо опасности, мы утешаемся миражами международного сотрудничества и прочих «измов», ослабляющих нашу национальную энергию. Не следует предаваться самообману! Наши враги только тогда станут нас уважать, когда будут нас бояться. («Неплохой афоризм»,— подумал господин Коубек.) Мы, чехи, можем положиться только на собственную силу, а потому во имя народа настало время свести счеты с любыми проявлениями слабоволия и низкопоклонства перед чуже-

земным пацифизмом и интернационализмом, с помощью которых запродавшиеся хитрецы служат чуждым нам интересам, стремясь ослепить и нравственно парализовать нашу пробудившуюся к сознанию нацию. Нам нужна сильная рука...»

— Скоро будет? — проворчал метранпаж Стрнад.

— Сейчас, сию минутку,— поспешил успокоить его Коубек. «...сильная рука, которая высоко поднимет знамя национального сознания. («Недостаточно энергично»,— решил он.) Знамя национальной борьбы. Никто в Европе не должен удивляться, что на первое место мы выдвигаем жизненные интересы своей нации. («Сказано ясно и трезво»,— сам с собой согласился Коубек.) Трезво оценивая все последствия, мы говорим нашим соотечественникам и загранице: наше терпение кончилось. Безжалостной рукой мы наведем в своем государстве порядок и расправимся со всеми подрывными элементами, которые не желают признавать высшее право и высший идеал в волеизъявлении нашей нации. А затем столь же решительно, вместо того чтобы тратить время на дипломатические увещевания, покажем грозный кулак каждому врагу, который хочет противопоставить свои эгоистические интересы нашим священным интересам. («Браво!» — сказал себе Коубек.) Мы, чехи и словаки, пойдем вперед только одним путем — нашим собственным!»

— Так,— удовлетворенно произнес он,— можете отдать текст в набор, пан Стрнад. Думаю, это сильная вещь. Мы должны пробуждать дух нации, пан Стрнад.

— Гм,— заметил Стрнад,— да только уже полшестого. Когда теперь набирать?

Но это редактора Коубека не слишком волновало; ведь известно: любой метранпаж, получая статью, заявляет, что уже никак не управиться с набором.

Оставшись один, редактор Коубек мог свободно распоряжаться своим временем, но уходить ему не хотелось: душу согревало сознание исполненного долга. Он загляделся на карту республики, висевшую над его письменным столом.

— Вот видишь,— обратился он к карте,— делаю, что могу; воюю в провинциальной газете за твое существование. Кабы я не сидел в этом треклятом медвежьем углу, моя передовица, ей-же-ей, нашла бы не такой отклик! Ее бы цитировала европейская пресса, появились бы заголовки «Авторитетный тон пражских газет». Но здесь, в этой дыре...— Господин редактор махнул рукой.— Хоть будоражу наш край. Ясное дело, Прага для нас пальцем о палец не ударит, правительство нами пренебрегает, скандал да и только, зато эти проходимцы из соседнего округа сумели о себе позаботиться! Ну да ладно, главное, что, когда читаешь «Страж нашего края», видишь, как неиспорчен наш народ, как он всей душой предан общенациональному делу. Взять, к примеру, меня. Я ни разу не изменил знамени национализма и за это не жду ни благодарности, ни признания. Вот ведь как. А теперь, пожалуй, пора и в трактир.

Укладываясь в постель, редактор Коубек говорил себе: «Недурно провел вечер, ничего не скажешь, жаркое отменное... А когда я цитировал завтрашнюю передовицу, со мной чокнулся сам бургомистр.

— Коубек,— говорит,— дружище Коубек, будь здоров!

И аптекарь тоже:

— Золотые слова, пан Коубек, пошлите это господам из Праги, пускай видят, что думает наш народ.

Ничего не скажешь — прекрасный вечер.

— «Чехи, наши предки, как один — герои...» — затянул он.

А господин судья сказал:

— Святая правда, эта голытьба продала нас жидам...

Господин же Таусич отозвался так:

— Всему виной экономический кризис, тут один выход — война...

— «Тщетны будут все старанья ваши...» — снова пропел он.— Ну, поздравляю тебя, Коубек!

И редактор Коубек уснул глубоким умиротворенным сном.

Он сидит в редакции и собирается написать передовицу, но все никак не начнет. Черт возьми, о чем бы? Об экономическом кризисе или, допустим, об угрожающей международной ситуации?..

Он уставился в стену. Там уже много лет висела карта. Но теперь это была карта Германской империи. Коубек в задумчивости смотрел на нее. Вон тот кружочек — Берлин, а тут, внизу, Мюнхен...

— Как дела с передовицей, пан редактор? — услышал он за спиной привычно сварливый голос метранпажа.

— Сейчас, сейчас, минутку,— попросил Коубек,— только перечту.

Взял несколько четвертушек бумаги,— оказывается, это его рукопись. «Гляди-ка,— немного удивился господин Коубек.— Да ведь передовая уже написана!» И начал бегло просматривать первый листок. Там было что-то против плана Янга и скрытые намеки на Гаагскую конференцию. «Германия по горло сыта нынешней ситуацией,— прочел он.— Скажем откровенно — родина на краю пропасти. («Пожалуй, хватило бы и „в опасности“,— походя подумал редактор Коубек и внес исправление.) Со всех сторон подстере-

гает нас злоба: пиратский Альбион, выродок-француза, грабитель-поляк и наш заклятый враг — чех. («Гм,— вдруг прервал чтение Коубек,— как твк?») Все теснее смыкается вокруг нас, немцев, кольцо злобы. Все нас предали, и мы предаем сами себя. («Неплохой оборот»,— подумал Коубек.) Несколько авгуров болтают в Женеве о мире и разоружении, а между тем все государства, кроме нас, точат мечи и одеваются в броню. («Ого,— испугался господин Коубек,— не было ли это уже однажды где-то сказано?») А мы, немцы? Среди нас есть такие, кто утешается миражами международного сотрудничества и взывает к нашей старой родовой гордости. Ошибаетесь, господа! Наши враги лишь тогда признают наше равноправие, когда будут нвс бояться. («Совершенно верно»,— одобрил себя Коубек.) Пора, давно пора свести счеты с преступным безволием и пацифизмом...

— No, also schon fertig? [1]— проворчал метранпаж.

— Gleich, noch ein Moment! [2]— воскликнул господин Коубек и продолжал чтение: «Нам нужна сильная рука, которая высоко поднимет знамя Германии. Полностью сознавая все последствия... («Тут чего-то не хватает»,— решил он и приписал.) Пусть никто в Европе не удивляется, что на первое место мы ставим жизненные интересы немецкой нации. Полностью сознавая все последствия, мы говорим своим соотечественникам и загранице: наше терпение иссякло! Воля нации — единственная признаваемая нами гарантия. Наш народ безжалостно расправится со всяким, кто попытается прельстить наш национальный дух фальшивой свирелью навязанного нам несправедливого мира; и вновь покажет железный кулак всем нашим подлым врагам, чьи эгоистические интересы противостоят святым интересам нашей империи. Для нас, немцев, по-прежнему возможен только один путь — наш собственный!»

— Schön gesagt [3],— проворчал метранпаж, ибо господин Коубек, сам того не ведая, читал свою рукопись вслух.

— Nicht wahr? — скромно заметил Коубек.— Also los damit, Herr Strnad! [4]— И удовлетворенно потянулся с сознанием исполненного долга.

Тут господин Коубек проснулся.

— Was ist? — спросил он и тут же поправился.— Что это со мной было? Господи, как мне могло присниться, будто я пишу немецкую передовицу? Во-первых, я не так хорошо владею немецким, а во-вторых... о черт, какой отвратительный сон! Но надо признать, на этом чванливом немецком статья звучала совсем недурно. Schön gesagt — я и сам так думаю. Проклятый сон! Пожалуй, это случилось оттого, что в трактире мы говорили о немцах. Подсознание и прочая ерундистика. Schön gesagt. Ну, поздравляю тебя, Коубек!

И, повернувшись на другой бок, редактор Коубек уснул сном праведных.

ГЛАВА 2

На следующее утро редактор Коубек уже забыл, что ему приснилось ночью; не к лицу серьезному человеку вместо ответственных дел заниматься такими глупостями, как толкование снов. Он был лишь чуточку задумчивее, чем обычно; и когда регент церковного хора Краупнер спросил его на улице, что новенького, не удержался от раздраженного:

— Что может быть нового в этакой дырище!

Вечером он не заскочил в местное отделение своей партии, а свернул за город и в полном одиночестве бродил по аллеям парка. «И верно,— говорил он себе,— жаль растрачивать силы в таком захолустье. Пятнадцать лет пишу передовицы, а что толку? Предоставьте мне,— мысленно воскликнул он, остановившись,— столбцы большой прессы, и я покажу вам, как нужно писать! Господи, да где-нибудь в другом месте, хоть в той же Германии, такое перо, как у меня, еще как бы ценили! А здесь? Любой подонок, любой старый хрыч может мне сказать: оставьте нас в покое, пан Коубек, с вашей Женевой, у нас тут свои заботы, лучше бы «Страж нашего края» пригвоздил к позорному столбу ту грязь, что у нас на улицах. Ну нет, господа! — горячился Коубек.— Я уже столько лет мараюсь этой вашей грязью, от моих статей, голубчики, грязи не убудет! У меня более высокое назначение! Пробуждать дух нации, любезнейший! Смело писать, что мы на краю пропасти и так далее. Над европейским горизонтом нависают черные тучи... Мы должны быть готовы и тому подобное. И если хотите знать, любезнейший,— обратился Коубек к воображаемому оппоненту,— самые крупные немецкие газеты рады бы радешеньки заказать мне статьи о ситуации в Европе. Разумеется, я отказался, но... Конечно, я знаю, благодарности за это мне не дождаться. Так-то вот!

А ведь все это правда,— бормотал редактор Коубек.— В других странах с моим пером, с моими бескомпромиссными национальными убеждениями я нашел бы значительно лучшее применение своим способностям. Но такая уж у меня натура: стоит взять перо —

[1] Ну, готово наконец? *(нем.)*.
[2] Сейчас, еще момент *(нем.)*.
[3] Прекрасно сказано *(нем.)*.
[4] Не правда ли? Итак, приступайте, господин Стрнад *(нем.)*.

и я не могу не сражаться за священное достояние народа и тому подобные вещи. Это у меня в крови. Я родился журналистом высокого класса или чем-то в этом роде. Господи, сколько всего можно было бы сделать с таким дарованием при иных масштабах деятельности! Наверняка пришлось бы вступить на политическое поприще. Не по собственной охоте, но по воле необозримых ликующих толп. Я бы стал вроде как вождем нации. Программа ясна: свергнуть безвольное правительство, установить режим патриотического энтузиазма, разметать врагов — и баста. После этого я готов даже пасть на вершине славы от руки какого-нибудь коварного фанатика. С улыбкой на устах. Борьба... завершилась. Schön gesagt. Хотя, возможно, я был бы только ранен...

Редактор Коубек остановился, чтобы перевести дыхание. «Опять я бегу сломя голову,— упрекнул он себя,— вечно марширую ускоренным шагом, подгоняемый энергией своей мысли, а потом не могу уснуть. Ходить медленнее! Ах боже, эти мне проклятые жалкие масштабы! Не работа, а каторга!»

И редактор Коубек не спеша направился к городу.

В ту ночь ему приснилось, что он идет по какой-то удивительно ярко освещенной улице. «Эту улицу я уже где-то видел,— подумал он,— постой, кажется, в фильме «Огни Парижа» или в каком-то еще...» И вдруг — что это? — перед типичным парижским кафе сидит господин Таусснг в цилиндре и приветственно машет рукой. Коубек колеблется, следует ли замечать господина Тауссига, но потом подсаживается к земляку и говорит типичному парижскому официанту в белом фартуке: «Гарсон, черный кофе!» (Так обычно говорит месье Лавичка, преподаватель французского в их городской гимназии.)

— А, пан Коубек,— громогласно приветствует старого знакомца господин Тауссиг,— что новенького в газетах?

В этот момент по тротуару пробегает типичный французский разносчик газет и орет во всю глотку: «Уауаа́, ауауа́а́!» Господин Коубек элегантно подманивает его пальцем и покупает газету, еще пахнущую типографской краской.

— Mon ami [1],— обращается он к Тауссигу (так обычно говорит месье Лавичка),— прочтите-ка передовицу, это я написал.

— Tiens [2],— удивляется Тауссиг и рвзворачивает газету.

Коубек читает через его плечо. (Странно,— поражается он,— как я владею французским!) Смотри-ка, в статье с негодованием отвергаются бесстыдные провокации немецкой прессы, которая осмеливается угрожать Франции железным кулаком. Дескать, воля нации — единственная признаваемая этими гуннами гарантия. В современной европейской ситуации немцы-де уже не видят для себя иного пути, чем их собственный, и иных интересов, кроме интересов пангерманизма! «Вот,— восклицала передовица,— вот когда вы видите их истинное лицо! Неужели господин Бриан так и будет потчевать нас манной кашкой всеобщего мира? Неужели по-прежнему будут протирать локтями зеленое сукно женевских столов? Что ж, если твердое слово не умеет произнести господин Бриан, скажем его мы: победоносный меч в наших ножнах еще не заржавел и — как в старинных легендах — обнажится сам, если не найдется рука, способная вовремя вырвать его из ножен в защиту Франции».

— C'est fort [3],— заметил господин Тауссиг, как обычно говорил месье Лавичка, качая головой над пражскими вечерними газетами.

— Que voulez-vous, mon ami [4],— вежливо возразил Коубек и продолжал читать: — «Французский народ не потерпит, чтобы германский шовинизм топтал мирные договоры. Мы хотим не войны, а только безопасности Франции, но требуем со всей определенностью: безопасность на Рейне и в Альпах! И вот эта безопасность поставлена на карту — мы на краю пропасти! А потому главный вопрос дня: кто поведет Францию и вообще всю цивилизацию против нового наступления варварства? Вы слышите голос, отвечающий на этот фатальный вопрос: Moi! [5] И под Arc de Triomphe [6] встает из могилы Неизвестный солдат. Это слово произнес он».

— Браво! — растроганно воскликнул господин Тауссиг.— Золотые слова, пан Коубек, здорово вы их отбрили.

— Это мой долг,— скромно заметил Коубек.— Вот увидите, как притихнут эти гунны после такой полной достоинства отповеди!

— У меня в кармане какая-то немецкая газета,— сказал господин Тауссиг.— Я покупаю ее лишь ради биржевых новостей.

— Так прочтите,— буркнул Коубек,— что эти мерзавцы отвечают.

[1] Мой дорогой *(фр.)*.
[2] Вот тебе и на *(фр.)*.
[3] Сильно сказано *(фр.)*.
[4] Что вы хотите, мой дорогой *(фр.)*.
[5] Я *(фр.)*.
[6] Триумфальная арка *(фр.)*.

И господин Тауссиг стал читать.
— Здесь,— сказал он вскоре,— самым решительным образом протестуют против неслыханных нападок французской прессы.
— Скажите на милость! — удивился Коубек.— А почему?
— Да вот,— объяснял господин Тауссиг,— утверждают, будто говорят от имени всей нации. И при этом пишут, что только те, кто дошел до абсолютного морального падения, могут не видеть, что развитие Европы неизбежно устремлено к полному расцвету и росту национального самосознания.
— Совершенно справедливо,— согласился Коубек.— Мои слова.
— Постойте, а дальше тут вот что: «Оскорбление, нанесенное нам репарациями, может быть смыто только кровью. Кто печется о безопасности Франции, тот хочет войны». Матерь божья,— пугается господин Тауссиг.— Неужели правда будет война?
— Будет,— говорит Коубек.— И я знаю наизусть, что в этой передовице написано дальше: «Если неотъемлемо право нации на жизнь, неотъемлемы и другие ее права; и ее обязанность — отвоевать для себя такие жизненные условия, чтобы никто не мог ей угрожать. Эту обязанность мы берем на себя вплоть до всех вытекающих из нее последствий. Дух, который в нас пробуждается,— это дух наших предков, которые никогда бы не смирились с унизительным миром и позорными международными соглашениями. Мы убеждены, что, воюя за свою нацию, нацию Канта и Гете, мы будем воевать за культуру всего света. Проклятье мира выбивает из наших рук меч, но оно не может отнять у нас сотни тысяч героев, павших во Фландрии и в Пикардии, в Аргоне и Шампани. По праву, данному им напрасно пролитой кровью, они провозглашают войну. Войну во веки веков и до победного конца! В этот трагический час истории мы, немцы, внемлем их призыву».
— Сильно сказано,— заметил господин Тауссиг.— Но как получилось, пан Коубек, что вы знаете эту статью наизусть?
— Потому что я сам ее писал! — сказал редактор Коубек и проснулся.
— Чертовы сны,— проворчал он и перевернулся на другой бок. Господин Тауссиг все еще сидел за столиком кафе и читал газету, но за его спиной на лазоревом небе вырисовывались наклонная Пизанская башня, римский Колизей и дымящийся на фоне неаполитанского залива Везувий.
— Вот, читаю вашу статью,— произнес господин Тауссиг.— Сильно написано, особенно вот этот абзац.
— Покажите-ка, который,— сказал Коубек и стал читать: — «Французская пресса в своей неистовой ярости дошла до угроз безопасности наших границ. На эту провокацию существует один ответ: Италия никому на свете не позволит ограничивать свои национальные притязания! Итальянский народ не какая-нибудь мумия, уложенная в гробницу своих границ: это живой и растущий организм с упругими мускулами олимпийского победителя и грозным кулаком римского завоевателя. С дороги, infami poltroni! [1] Итальянскую идею уже не остановить ни вершинами Альп, ни сворой рабов, воющих на нас с востока. Мы, венгры...»
— Как так — венгры? — удивился господин Тауссиг.— Опечатка, что ли?
— Нет,— возразил Коубек.— Везде одна и та же песня. «Мы, венгры, никогда не изменим своему историческому предназначению — быть преградой, защищающей христианскую Европу от стоящих на более низком уровне развития полуцивилизованных племен с психологией рабов и крепостных. Венгерскую нацию можно связать по рукам и ногам, но никогда, никогда не склонит она голову! Победа права равнозначна победе венгерской идеи. Полностью сознавая все последствия, мы говорим: угнетение не сломило нас, не сделало слабее, чем мы были тысячелетие назад. Нам, македонцам, осталось только наше право, наша винтовка да наши горные ущелья! А вопрос о Вильно? Уж как-нибудь австрийские ополченцы добьются уважения своих прав! Да, главное для нас — целостность Венгрии, цивилизация, честь, возмездие и тому подобные вещи. Гей, славяне, еще Польска не сгинела! Не болтайте о мире. Наш народ сорвет агрессивные планы всех наших врагов! Итак, если угодно, речь пойдет о коридоре. Понимаете, все это происходит из-за того, что господа за зелеными столами переговоров предают нас, патриотов всех стран!»
— Пан Коубек, пан Коубек,— неожиданно прервал его господин Тауссиг,— вам плохо?
— Нет,— с пафосом заявил Коубек,— это мое внутреннее убеждение!
Тут редактор Коубек проснулся и вытаращил глаза. Сердце дико билось, в голове стоял странный гул. «У меня температура,— решил он.— Не стоило ходить вечером в парк. О господи, надо сосчитать пульс. Восемьдесят восемь!» Но ни за что на свете Коубек не мог вспомнить, много это или мало. Измученный беспокойством, он снова уснул. И снилось ему, будто он в четвертом классе гимназии и пишет сочинение на тему «Судьба Австрии — это судьба габсбургского трона!»
— Коубек,— говорит учитель Гейда,— докажите, что вы хороший стилист.
И Венцеслав Коубек пишет школьное сочинение.

[1] Подлые трусы! *(ит.)*.

ГЛАВА 3

На следующий день редактор Коубек укладывался в постель в дурном настроении. Черт подери,— сетовал он,— хоть бы ночью отдохнуть от всех этих мыслей! Дружище, постарайся думать о чем-нибудь другом; представь себе что-нибудь совершенно фантастическое, не имеющее ничего общего с политикой. Например, полярный пейзаж. По морю плывут айсберги, белый медведь неподвижно застыл на льдине... Глянь-ка, вон та ледяная глыба похожа на пагоду. Только пагода должна возвышаться над морем пальм. Тонуть в экзотической зелени. Просторный зал Мещанского клуба, тонущий в экзотической зелени, мгновенно преобразился в волшебную сцену из «Тысячи и одной ночи». Бальный комитет во главе с доктором Костелецким... Ага, вот и он, стоит среди пальм! Тропический шлем, белый костюм, как в прошлом году на сокольском масленичном маскараде.
— Morning,— говорит доктор,— have some drink? [1]
Они садятся на веранде бунгало; вокруг шумят тропические джунгли, над вершинами пальм высится огромная пагода. Сколько на ней обезьян,— думает редактор Коубек, ослепленный жгучим солнцем.
— Well [2],— говорит доктор, набивая трубку,— ну, что вы скажете о создавшейся ситуации?
Коубек пожал плечами.
— Well,— произнес он, помолчав,— сегодня ночью я написал статью для «Таймс». Об Индии и тому подобных вещах.
— Right [3],— пробормотал доктор.— Хоть кто-нибудь выложит им начистоту, как мы здесь на все это смотрим. Eh goddam! [4]
— Yes? [5] — сонно переспросил Коубек.
— Я забыл,— сказал доктор.— Ведь мы отрезаны. Со вчерашнего дня дорога Пешавар-Аллахабад в руках повстанцев. Думаю, старина, ваша статья не так быстро попадет в нашу старую добрую Англию. Some drink? [6]
— Thanks [7],— спокойно произнес Коубек и стал молча всматриваться в непроглядную чащу.— Dear boy [8],— наконец сказал он,— к этому я привык. Я был отрезан от мира всю жизнь, будучи провинциальным журналистом и вообще... Вечно на передовом посту. Вечно на первой линии огня.
Доктор Костелецкий выбил трубку.
— Гм,— тревожно пробормотал он,— но на сей раз...
— Well,— серьезно заключил Коубек.— Ведь мы британцы.
За спиной доктора неподвижно стоял слуга-индус.
— Чего тебе, Размахан-Халат-Замаза́н? — спросил доктор.
— Быть окружены, сагиб,— вежливо проговорил слуга.— Приходить люди из Уплнарыдван и Ахдампарад. Получить приказ сжечь один сагиб и отрезать голова другой сагиб.
— Пускай подождут,— распорядился доктор.— Well,— продолжал он, когда они с Коубеком остались вдвоем.— Достукались. У нас еще четверть часа до начала операции, старик. Пожалуй, я мог бы предложить вам виски, как вы на это смотрите? А вы прочли бы мне свою статейку, пока появятся «пациенты». Ваше здоровье, друг!
— И ваше,— сказал Коубек, вынимая из кармана рукопись.— За нехваткой времени я опущу вступительную часть. Дерзкий вызов правительству и тому подобное. Ага, вот тут: «Не вызывает сомнения, что Великобритания находится на краю пропасти. Ни в чем внутренняя слабость правительства не проявляется так фатально, как в колониальной политике. Бесстыдные претензии туземцев, поддерживаемых эмиссарами из-за границы, нереальные и оскорбительные для слуха всякого разумного человека требования автономии, дикие притязания на допуск их к государственной службе в качестве чиновников и офицеров — все это не только терпится, но даже то и дело звучат благосклонные заверения, что-де со временем Великобритания учтет законные чаяния местного населения. Господа, чье знание заморских земель не простирается далее острова Уайт, должно быть, не понимают души восточного человека. Мы, горстка англичан, закаленных жизнью в пустынях, джунглях и среди океанов, готовы помочь этим господам своим опытом. Мы бы им сказали: пришлите сюда ланкширские и гордонские шотландские полки, пришлите наших старых бравых солдат в красных мундирах, наших гренадеров, аркебузиров и мушкетеров, ребят из Дорсета, Хэмпшира, Йоркшира и Уилтшира, из Дерби и Суффолка,

[1] Доброе утро, есть ли что-нибудь выпить? *(англ.)*.
[2] Хорошо *(англ.)*.
[3] Правильно, верно *(англ.)*.
[4] О господи *(англ.)*.
[5] Да? *(англ.)*.
[6] Немного выпить? *(англ.)*.
[7] Спасибо *(англ.)*.
[8] Дорогой мальчик *(англ.)*.

Кента и Варвика. И мы ручаемся, что их аргументы будут в равной степени понятны как египтянину, так и индусу. Ибо это аргументы убедительные и чисто британские...»

— Так их,— проворчал доктор Костелецкий.

— «Цивилизаторская миссия белой расы,— продолжвл редактор Коубек,— зиждется на силе оружия. Мы, англичане, в пустынях и джунглях всего света оружием пролагали путь коммерции и христианству. Тогда никто не путался под ногами наших солдат в крвсных мундирах; ныне речь идет уже о том, как бы болтовней и разными конференциями не пустить на ветер все их завоевания».

— Совершенно верно,— согласился доктор Костелецкий.

— «Если мы хотим оставаться двигательной пружиной всего, что происходит на свете,— читал далее Коубек,— будем тверды, тверды как сталь. Будем истинными британцами. Мы не можем садиться за стол переговоров с представителями иных племен и народов, ибо не хотим, чтобы в их сознании зародилась фатальная и непоправимая иллюзия равенства. Это был бы конец цивилизации. Британская империя возникла не в результате договоров, а в результате действий. Мы ждем действий!»

— Браво! — резюмировал доктор.— Сильно сказано.

— «В этот момент,— торжественно читал Коубек,— мы, горстка англичан, окружены в сердце джунглей туземными повстанцами. Мы видим в чаще их налитые кровью глаза и мерцание отравленных ядом кинжалов. Но мы думаем не о своей судьбе, а о величии Альбиона. Бунтовщики еще ждут, что мы вступим в переговоры; но англичанин ничего не просит у тех, кому он самим Богом предназначен в сагибы. Мы знаем, чего требует от нас британское понимание чести. Не просим отомстить за нас. Отомстите за британскую империю! Будьте непоколебимы!»

Доктор Костелецкий встал и растроганно протянул Коубеку руку.

— All right, old boy [1],— сказал он.— By jingo [2], вот речь настоящего британца! Это научит их, как надо поступать с цветными обезьянами!

За спиной доктора неслышно возник слуга-индус.

— Доктор сагиб,— невозмутимо произнес он,— люди из Ахдамнарада больше не хотят ждать.

— Иду,— сказал доктор и допил свой бокал.— Будь здоров, старина! So long [3].— И вошел в бунгало.

Господин Коубек остался на веранде один. «Дойдет очередь и до меня,— беспокойно подумал он.— Черт возьми, не лучше ли было остаться дома и писать для «Стража нашего края»? Оно, конечно, лестно быть таким гордым британцем, но, гром меня разрази, ждать, чтобы тебе перерезали глотку...»

Размахан-Халат-Замазан неслышно приблизился к нему.

— Эй ты, чучело, налей-ка мне,— сказал редактор Коубек.— И знай, чурбан, мы, чехи, можем быть даже лучшими британцами, чем свми англичане. Вот только доброе пльзенское было бы мне больше по вкусу,— ворчал он, опрокидываая в глотку содержимое рюмки.

Странный туман застлал его взор; он успел заметить дьявольскую ухмылку Размахана-Халата-Замазана.

— Ты меня отравил, поганый язычник! — хотел воскликнуть Коубек, но погрузился в глубокий обморок.

Проснувшись, Коубек увидел, что сидит перед своим редакторским столом и держит в руке собственную рукопись. «Слава богу,— облегченно вздохнул он,— значит, это всего лишь сон!»

— Пора бы уже набирать текст,— послышался за его спиной сердитый голос метранпажа Стрнада.

— Сейчас, минуточку,— несколько успокоившись, отвечал Коубек.— Только перечту статью. Я буду читать вслух, пан Стрнад. Гм, гм... «Нашему терпению приходит конец. Слишком долго мы молча страдали, перенося все несправедливости и наскоки наших заклятых врагов, содрогаясь от возмущения, но сохраняя спокойствие. Ныне наше терпение иссякло». Как по-вашему, пан Стрнад, не слишком ли сильно сказано?

— Нет,— пробурчал метранпаж.— Обычно мы печатаем то же самое.

— Ну хорошо,— успокоился Коубек.— Пойдем дальше. «Ныне наше терпение иссякло. Полностью сознавая все последствия, мы объявляем войну британскому господству. Мы, египтяне...» (Господин Коубек остановился и внимательнее вгляделся в текст.) О дьявольщина, тут так и сказано! «Мы, египтяне, требуем неограниченной свободы действий...» Пан Стрнад, вам это не кажется несколько странным?

— Нет,— угрюмо буркнул метранпаж.— Опять политика.

Редактор Коубек удивленно покачал головой: не знаю, не знаю... «Неограниченной свободы действий. Нация феллахов не потерпит, чтобы вероломные трусливые суданцы...

[1] Отлично, старина *(англ.)*.
[2] Черт побери *(англ.)*.
[3] Пока (до свидания) *(англ.)*.

(Коубек схватился зв голову.) Честь Египта растоптана во прах... жизненные интересы Судана... Подкупленный предатель Али-Баба со своим прихвостнем Алладином...» Пан Стрнад, пан Стрнад!

— Ну что вам? — проворчал тот.— Пора уж сдавать в набор.

— Пан Стрнад,— в отчаянии воскликнул Коубек,— ведь это, наверное, сон! Скажите же, что это лишь сон!

— Где там,— возразил Стрнад.— Вечно вам что-то примстится...

И вдруг все расплылось: редактор Коубек проснулся и резким рывком сел в постели. «Елки зеленые! — сказал он себе.— Лучше уж совсем не буду спать».

Коубек зажег лампу и стал размышлять. «И откуда все это во мне берется? — удивился он.— Пускай это только сны, но в них все же проявляется какое-то знание местных условий и так далее. Сразу видно — это сны прирожденного журналиста. Да хоть забрось меня на никому неведомый остров, я тут же сяду и напишу передовицу о тамошней политической обстановке. Способный человек нигде не пропадет; а коли есть у него еще и твердые принципы, он всюду найдет себе применение.

Али-Баба! — вспомнил он.— Хотел бы я знать, есть ли сейчас в Египте какой-нибудь политический лидер по имени Али-Баба? Готов поспорить, что есть. Хоти он мне всего-навсего приснился, за этим должно быть что-то реальное. Где бы разузнать? Посмотрю-ка на слово «Египет» в энциклопедическом словаре Отто. Ведь он для нас, журналистов, лучший источник знаний!»

Коубек не поленился встать, взял с полки восьмой том научной энциклопедии — от «деревянных построек» до «жабы». «Хорошо еще,— порадовался он,— что у меня энциклопедия дома, под рукой. Ага, Египет. Господи боже ты мой, сколько тут понаписано!» — Он добросовестно прочел все, что там было о Египте, от мелиорации до мамелюков и от первой династии до восстания махдистов. Об Али-Бабе нигде ни словечка. Коубек покачал головой. Неужели так-таки не было ни одного Али-Бабы?

И только потом сообразил взглянуть, в каком году издан этот том. «Вот оно что! — сказал он себе с облегчением.— Ведь книга издана в 1894 году, там еще ничего об Али-Бабе и не должно быть! Если я что пишу, это не может оказаться неверным...»

И с восьмым томом энциклопедии под боком редактор Коубек уснул блаженно и без снов.

ГЛАВА 4

На следующий день редактор Коубек с изумлением обнаружил, что уже суббота,— и сделал все, что положено делать в субботу, ибо каждый день обладает своим характером и своими потребностями, которые и отличают его от остальных дней. Итак, отдав субботе все, что ей причиталось, господин Коубек стал размышлять, что бы еще сделать сверх того. Сделал и это. Но поскольку суббота все еще не кончилась, соблазненный трепетными звуками пожарной трубы, он отправился взглянуть на ночные учения пожарных, которые проходили под руководством господина Гаврды — начальника местной пожарной команды.

Не станем описывать зрелище, открывшееся взору Коубека,— не потому, что оно того не стоило, а потому, что редактор «Стража нашего края» решил при случае поэтически описать его сам. «Это будет славная статейка»,— решил он и принялся тезисно формулировать основные идеи. Трепетные звуки пожарной трубы. Стройные шеренги. Лаконичные приказы господина Гаврды. Топорики, мерцающие в алом зареве огней. Каски пожарных, напоминающие шлемы римских легионеров или что-то в этом роде. Бравые пожарные быстро карабкаются по лестнице, словно идут на штурм неприятельской крепости (идти на штурм — с родительным падежом). Скромные герои, готовые служить родине невзирая на любую опасность, во времена мира и войны. «Такая статейка — подлинная находка»,— порадовался Коубек и отправился ужинать в Нижний трактир, как и положено в день субботний.

Очень скоро туда явился и Гаврда в сопровождении Андрлика, Дыбыхи, Плецитого, Рыкра, Коржана, Трчки и Самогорского. На всех еще были форменные холщовые штаны, в руках — топорики, у пояса — мотки каната; с веселым мужским гомоном примостили на вешалке каски и уселись за стол. «Пива, хозяин! Пива! — Мне рюмочку чего покрепче. Что там у вас имеется? — А я бы попросил две порции ливерной колбасы и одну кровяной.— Антрекот сегодня хорош? Так антрекот, да только поживее. Привет, редактор, приветик! Ясное дело, с капустой.— О черт, это я тоже должен был заказать! Эй, и мне порцию! Ваше здоровье, ребята!»

В этом гуле, в этом звоне топориков редактор ожил. «Совсем как в военном лагере,— подумал он.— Мужчины, закаленные в битвах с огнем, и тому подобное. Это тоже вставлю в статью».

— Ваше здоровье, ребята! Да здравствует наша добровольная пожарная дружина!

Гаврда помрачнел:

— Послушайте, пан Коубек, вот про что вам следовало бы написать. Я уже четырнадцать лет начальник нашей пожарной части, а тут является этакий задрипанный сморчок из Силезии, не свой брат-земляк, пришлый, да еще осмеливается мне указывать! Пора, мол, купить новый брандспойт, новую пожарную лестницу и еще невесть что. Сплошные новшества! — с отвращением говорил господин Гаврда.— На такие приманки этот интриган Лацина легко подцепит тех, кто помоложе... Пора, говорит, передать бразды правления в молодые руки!.. Это же черт знает что! — Господин Гаврда перешел на крик.— За те четырнадцать лет, что я здесь начальствую, у нас горело всего три раза! Дыбыха, ты старше всех, скажи, сколько раз у нас горело?

— Четыре,— отвечал Дыбыха.— Первый раз у Кастнера, потом та халупа на Поржичи, потом у Зелинок и еще фабрика Розендорфа.

— Когда сгорела фабрика Розендорфа,— строго заметил господин Гаврда,— я был в Праге, на ярмарке, и не мог тут командовать тушением пожара, так что тот случай не в счет, я за него не отвечаю. За четырнадцать лет горело всего трижды — вот это, уважаемый, надежное руководство, не будь я Гаврда! И какой благодарности мы, старожилы, за все это дождались? — горько воскликнул он.— Новый брандспойт и прочие интриги! Но я-то знаю,— таинственно добавил господин Гаврда,— я-то знаю, что за этим кроется. Гнусный сговор, уважаемый! Лацина сам метит в начальники, вот как...— Он допил пиво и покачал головой, дивясь человеческой безнравственности.

— Жаль,— вздохнул редактор Коубек,— вот это повсеместно и подтачивает нашу силу: разлад и разобщенность между братьями. В такое серьезное время нас должна вести вперед одна общая идея.

— Точно! — воскликнул господин Гаврда.— Общая идея, а главное — испытанное руководство. Как говорил наш Палацкий или еще кто: в единстве — сила. А какой-то там агент по продаже мотоциклов хочет заводить у нас новшества и всяческий разлад! Вот ржечицкие пожарные купили новый брандспойт, до сих пор еще за него не расплатились, да с той поры у них горело шесть раз. А какой-то Лацина будет морочить нам голову новым брандспойтом! Продерните его в газете, пан Коубек! Теперь каждый видит, к чему ведут эти заграничные новшества в политике, в искусстве и во всем! Уверяю вас, пан Коубек,— только к гибели нации. Мы не допустим, чтобы кто-то плевал на наше славное прошлое и на наши старые брандспойты. Будьте здоровы, ребята!

Проведя в таких и им подобных беседах субботний вечер, редактор Коубек, довольный удачным днем, в положенное время отправился домой. «Пять кружек пива,— сказал он себе,— буду спать как младенец. Пожарных похвалю, но в их внутренние раздоры впутываться не стану. Пожалуй, и правда, по поводу этих новых брандспойтов слишком много крику. Сплошные новшества и никакого уважения к сделанному ранее. Разумеется, нам необходима какая-то толика здравого консерватизма и тому подобные вещи. Надо бы написать об этом»,— решил редактор Коубек и принялся раздумывать о здравом консерватизме; но не успел он мысленно произнести это длинное слово, как, точно в воду, погрузился в сон.

И увидел Коубек, что сидит он в военном лагере среди бородатых мужчин в бронзовых шлемах и панцирях, все они вооружены секирами и мотками каната (очевидно, чтобы связывать пленных). На каждом белые холщовые штаны. «Ага! — понял Коубек,— это же Gallia braccata, или Галлия, штаны носящая, как говорили римляне».

— Тихо! — послышалось из общего гула мужских голосов,— господин Гаврда хочет что-то сказать!

Пригладив бородку, Гаврда произнес:

— Так вот, господа, тут редактор Коубек написал о наших делах статейку, точнее — передовицу. Я предлагаю: попросим его прочесть.

— Слушайте, слушайте!..— воскликнуло несколько голосов.

Редактор Коубек энергично встал.

— Gens [1] огнетушициум,— провозгласил он,— или богатырский народ огнетушителей, с глубочайшим почтением склоняюсь перед мужем, который, я бы сказал, своим кругозором и характером украшает всю Галлию и служит немеркнущим примером самоотверженного труда на благо родины, всего человечества и тому подобного... а посему провозглашаю: Salve [2], Гаврда. огнетушициум dux [3], здоровье господина Гаврды, заслуженного начальника пожарных!

— Живио! [4]— прокричал хор мужских голосов.

— Признаюсь,— продолжал Коубек,— в ответ на его благородный призыв я написал нечто вроде статьи, некий barditus [5], или военную песнь, как правильно изволил заметить

[1] Род *(лат.)*.
[2] Будь здоров *(лат.)*.
[3] Начальник, предводитель *(лат.)*.
[4] Да здравствует! *(сербск.)*
[5] Боевой клич *(лат.)*.

dux Гаврда. И все же я вынужден поправить уважаемого предыдущего оратора. Я написал barditus не о *вашем*, а о *нашем* общем деле, глубоко затрагивающем всех нас. Господа, мы, барды и друиды, мы, журналисты, не принадлежим ни одной партии, мы принадлежим всей Галлии.

— Браво! — гудели огнетушиции.

Господин Коубек откашлялся и начал:

— Gallia omnis est divisa in partes tres [1], как сказал еще Юлий Цезарь. Что означает: вся Галлия разделена на три партии. Однако, господа, судя по названиям, этих партий куда больше: секваны, лузитанцы, аллоброги, арверны, эдны, лигурийцы и так далее — nomina sunt odiosa [2]. Но с точки зрения общенациональной Галлия делится всего на три части: одна часть — это мы, другая — наши противники и третья — наши враги. Больно говорить, но мы, галлы, обнаруживаем противников и врагов прежде всего среди самих галлов!

— Точно! — подтвердили огнетушиции.— Это же черт знает что такое!

— А пока предательство и разлад, коррупция и эгоизм расшатывают Галлию изнутри, что мы наблюдаем у наших соседей? Под видом римской культуры они пытаются контрабандой протащить к нам разрушительные идеи и чуждые нравы. Они утверждают, будто уже миновал бронзовый век и настал век железа; будто их Минерва — все равно что наша Балисама, а наш Таранис то же, что их Юпитер. Это неслыханное оскорбление веры наших отцов и дедов; а ведь и среди нас найдутся люди...

— Позор! — воскликнули огнетушиции.

— Да, позор всем, кто запродал свои души! Эти люди навлекают позор на собственный народ, ибо заявляют, будто железный меч не хуже, если не лучше благородного бронзового меча галлов!

— Вы слышите?! Негодяи! Да они подкуплены! Гнать их взашей! — кричали возмущенные воины.

— Господа,— продолжал Коубек,— еще Цезарь сказал: Galles esse rerum novarum studiosos. Что значит: галлы падки на новшества. Да, классик прав! Разве мы не замечаем, как увлекаются галлы всевозможными чужеродными «измами» и нездоровыми модами, как готовы втоптать в грязь славные заветы нашего прошлого, как на каждом углу провозглашают, что-де мы должны идти в ногу с Европой? О tempora, o mores! [3] Куда мы идем? Cui prodest? [4]

— Точно! — восклицали огнетушиции.— Позор Лацинию!

— Огнетушиции,— растроганно произнес редактор Коубек,— timeo Danaos et dona farentes [5]. Это и есть те данайские дары, которые поставляются нам из-за границы под фальшивыми лозунгами интернационализма, гуманизма, прогрессизма и прочих «измов». Вот яд, которым наши извечные враги пытаются подточить наше галльское самосознание, нашу галльскую самобытность, чистоту нашей отечественной галльской культуры. Quousque tamdem, Catilina! [6]

— Позор ему! — гудели воины.— Pereat! [7]

— Мы отвергаем,— торжественно провозгласил Коубек,— во имя наших собственных ценностей все эти латинские «измы»! Нам, галлам, необходим здравый консерватизм, патриотизм, национализм, радикализм, священный эгоизм, традиционализм, антагонизм, незыблемый трюизм и самоотверженный фанатизм! Долой чужаков! Hic Rhodus! [8] Бьет двенадцатый час, и мы восклицаем: Caveant consules! [9]

Редактор Коубек проснулся. Часы на башне ратуши как раз отбивали двенадцать. Он насчитал двенадцать ударов и снова уснул, довольный, что идет в ногу со временем и знает, сколько пробило.

ГЛАВА 5

Весь следующий день — это было воскресенье — Венцеслава Коубека угнетала мысль, что будущей ночью ему непременно приснится что-нибудь из римской истории. «Надо подготовиться,— решил он,— не хватало еще, чтобы я оскандалился в истории античного Рима!»

Он был так озабочен этим, что не прочел ни одной воскресной передовицы: погрузился

[1] Вся Галлия разделена на три части *(лат.)*.
[2] Имена ненавистные *(лат.)*.
[3] О времена, о нравы! *(лат.)*.
[4] Кому это приносит пользу? *(лат.)*.
[5] Бойся данайцев, дары приносящих *(лат.)*.
[6] Доколе, Катилина... *(лат.)* — начало речи Цицерона «Против Катилины».
[7] Да сгинет! *(лат.)*.
[8] Начало выражения: Hic Rhodus, his salta! — Здесь Родос, здесь прыгай! *(лат.)*.
[9] Пусть консулы будут бдительны! *(лат.)*.

в учебник древней истории, взятый на время у сынка квартирохозяйки, и, обхватив руками голову, зубрил до самой ночи. «Ну,— сказал он себе, уже раздеваясь и готовясь лечь в постель,— историю и порядки республиканского Рима я знаю как свои пять пальцев, но эти чертовы императоры — разве их упомнишь? Ах, проклятье, кто там у них после Гальбы? В общем-то все равно, но если бы мне приснились пунические войны, уж это бы я знал назубок. Только бы никто не спрашивал про Гальбу или Каракаллу!»

Обуреваемый подобными надеждами и опасениями, Коубек уснул, а проснувшись поутру, понял, что за всю ночь ему так-таки ничего и не приснилось. Он был даже самую малость разочарован, как бывало в гимназии, когда вызубришь урок на пятерку, а потом вместо тебя вызовут Кадлеца или Кулганека,— возникает горькое чувство обиды на совершенную по отношению к тебе несправедливость: столько труда пошло прахом! Но одновременно Коубек испытал облегчение — видно, сны, наконец-то, оставят его в покое. Эти сны явно были результатом усталости, слишком сильного внутреннего напряжения, решил Коубек, и с новым душевным подъемом зашагал по дороге жизни.

Следующей ночью редактор Коубек сразу погрузился в глубокий сон и спал почти без сновидений; только совсем туманно примерещилось ему, будто пробирается он через кустарник или что-то в этом роде и кого-то преследует или кто-то преследует его. «Ага, я возвращаюсь в детство»,— сказал он себе во сне и спокойно продолжал спать. Но тут его разбудил оглушительный грохот.

Он сел в постели и прислушался. Пожалуй, под ним была не постель, а сидел он на каком-то пригорке в бескрайней степи, сжимая коленями барабан, по которому что есть мочи, с каким-то особым наслаждением дубасил палочками. «Ну и грому!» — похвалил себя Коубек, вслушиваясь в грохот своего барабана. Бум-татата-бум-бум-та-бумтата-тата-бум! Стоп.

Коубек перестал барабанить и замер с поднятыми палочками, вглядываясь в степь. Вон там, где колышется высокая трава, видны рожки убегающих антилоп; вдали из-под могучего баобаба на него удивленно уставились две жирафьи головы. Вдруг из-за далеких, вырисовывающихся на самом горизонте холмов он услышал приглушенный бой барабана. Та-та-татабум-бумтарара-тата-бум-бум...

Разумеется, Коубек, понимавший речь неприятельского барабана, ответил энергично и резко.

— Бум-татата-табум-табум,— принялся он громыхать.— Вы, псы, псы из племени м'бва, грязные ниггеры, помесь жаб и гиен, трусы, пожирающие червей, слушайте! Бум, точка.

— Та-та-татабум,— насмешливо отвечал барабан на горизонте.— Мы тебя слышим, о н'гве! Треснутая тыква выдает себя за боевой барабан! К нам взывает дохлая крыса. Пускай себе поговорит! Бум. Стоп.

— Бумбум-тарара,— отбивал Коубек возмущенный ответ.— Слушай, ты, мохнатая гусеница, передай мужчинам племени м'бва: н'гве сильны. Их бесчисленное множество, как листьев на баобабе. Н'гве откормлены, точно вепри после сезона дождей. Копий у них — что камыша в реке. Юноши племени н'гве говорят старикам: мы хотим добычи; мы сильны, и нас бесчисленное множество, как листьев на баобабе. Старики отвечают: нгололо уах. Хорошо, мы вас поведем. Бум.

— Татата-та-та,— насмехался барабан за холмами.— Пошлите своих молодых мужчин. Воины племени м'бва говорят: шутки в сторону. Мы хотим танцевать боевой танец. Нам нужны новые ожерелья. Девушки племени м'бва говорят: принесите нам ожерелья из отрезанных ушей, ожерелья из вырванных зубов, ожерелья из вражеских волос. Крссс, крссс — это молодые мужчины из племени м'бва точат наконечники своих копий. Крсс, крсс, можете приходить. Бум.

Коубек мощно взмахнул барабанными палочками.

— Тамбабам-тамбабам-татабум,— посылал он вдаль свои громыхающие сигналы.— О м'бва, вы паршивые шакалы — это говорит вам непобедимый народ н'гве. Ваша деревня осталась перед нами в долгу за одного мертвого. Много-много лет назад, десять раз по десять лет, нет, тысячу раз по тысяче лет, ваши охотники убили нашего охотника. Н'гве ничего не забывают. Каждый вождь говорит перед смертью: м'бва убили нашего охотника. Мы не можем жить, пока не отомстим за его смерть. О м'бва, наш гнев неукротим! Пошлите нам тысячу стельных коров и тысячу волов. Иначе мы не сможем забыть, что мы не расквитались. Бум. Точка.

— Ратата-бум-бумта-бум,— отвечал неприятельский барабан.— Вот речь настоящих мужчин, о н'гве. Спешите за откупными. Мы бежим навстречу. Швырнем вам дохлого пса, вы, вонючие ниггеры! Бум.

— Бум, буммини-буммини-бум,— яростно колотил Коубек в большой барабан.— М'бва, м'бва, ты оскорбил великий народ н'гве. Наша ненависть глубока, как река Мамбара. О, услышь закон народа н'гве: ненавидеть, ненавидеть, ненавидеть! Ненавидеть мужчин, женщин и детей народа м'бва. Ненавидеть их поля. Ненавидеть их воду. Ненавидеть

их леса. Слушай веление наших богов: ненавидеть! Слушай клич наших кудесников: ненавидеть! Слушай глас наших предков: ненавидеть! Мы придем, м'бва! Мы явимся с огнем и мечом, о м'бва, оскорбивший великий народ! Точка.

— Тата-бумтарата-татамта,— отвечал далекий барабан.— Учтем. Бум.

Отложив в сторону палочки и барабан, Коубек с наслаждением потянулся.

«В этом что-то есть,— решил он,— быть всегда на передовом посту, объявлять войну и тому подобное... Не можем же мы допустить, чтобы нам нанесли оскорбление этим дохлым псом. Речь идет о чести нации и так далее... Ну, погодите, вы, черные мерзавцы, я вам еще такого набарабаню!

Черт возьми,— пришло ему в голову,— хорошо этим ниггерам! Никакой тебе долгой писанины, никаких церемоний — взял большой барабан и валяй, выясняй отношения. Можно напрямик и во всеуслышание сказать другим народам, что они трусы, грязные псы и тому подобное. О господи, милое дело быть журналистом в Африке! Разве у нас такое возможно? У нас пишешь пятнадцать лет, пятнадцать лет бьешь в барабан, отстаивая честь своей нации,— и все без толку. Ах, боже, боже, нам бы такой барабан...

А где-то за той степной равниной,— подумал Коубек с каким-то даже теплом,— там, на вражеской территории, поди, сидит другой такой же коллега Коубек и барабанит не менее усердно, чем я. Надо бы организовать сословную корпорацию или что-нибудь в этом роде. Хоть на барабанах мы и поносим друг друга, но есть же у нас и общие интересы. Барабанить от имени одного народа к другому — это, я вам скажу, ответственная работа. Трудная, но прекрасная!»

Почти без сумерек опустилась тропическая ночь. «Где тут Южный Крест? — размышлял Коубек, подняв лицо к звездам.— Боже, сколько их высыпало на небе! — удивился он.— Пожалуй, может показаться, что сидишь в центре вселенной. Брр! Странно, в космосе я не мог бы чувствовать себя как дома».

И вдруг он поднял голову. Ночной ветерок доносил с востока далекие удары барабана. Коубек мгновенно схватил свои палочки.

— Алло, алло! — сигнализировал далекий барабан.— Говорит барабанная станция н'га. Алло, говорят н'га. Алло!

— Станция н'га, подтверждаем прием вашей передачи, сообщаем наши координаты,— быстро забарабанил Коубек.— Что вам угодно?

— Алло, алло,— взывал барабан с востока.— Скажите своим людям, чтобы они не ходили к нам ловить рыбу. Это не лезет ни в какие ворота!

Господин Коубек ожил.

— Алло,— энергично забарабанил он.— На соответствующих координатах отвечаем: нечего нам указывать, что мы должны говорить своим людям! Вы с неслыханной дерзостью вмешиваетесь в наши внутренние дела. Народ н'гве не потерпит, чтобы его престиж подрывали столь грубыми провокациями. Протестуем от имени нашей широкой общественности. Бум!

— Алло,— отвечал далекий барабан.— Произошла ошибка. Мы вызывали не станцию н'гве, а станцию м'бва. По буквам: Марта, Беата, Вальдемар, Алоис. М'бва.

— Станция н'гве настаивает на формальном извинении,— резко барабанил Коубек.— В широких слоях нашего народа царит стихийное волнение. Бум!

— Так не суйтесь на линию связи, когда вас не просят,— нетерпеливо проворчал далекий барабан.

— Ого, ого! — отвечал решительной барабанной дробью Коубек.— Учтите, на своей территории мы будем барабанить, как и когда нам заблагорассудится. С достоинством и со всей непреклонностью отвергаем оскорбительный тон вашего официозного барабана! И одновременно заявляем: мы не потерпим, чтобы племя н'га через наши головы искало какой бы то ни было связи с племенем м'бва, с которым мы находимся в состоянии войны! Наш народ стоит на страже своих интересов, все как один мы поднимемся против подлых и свирепых умыслов наших извечных врагов. Алло, вы слышите? Алло!

Вокруг было тихо, ни шороха, ни птичьего голоска — такая невероятная тишина, что господин Коубек проснулся от стука собственного сердца.

— Алло,— повторил он, но в ответ услышал лишь успокоительный скрип кровати.

ГЛАВА 6

— Пан доктор,— удрученно говорил редактор Коубек,— в последнее время я так странно сплю...

— Как — странно? — спросил доктор Костелецкий.

— Я вижу такие ужасные сны,— жаловался Коубек.— И поминутно просыпаюсь от сердцебиения. Отчего бы это?

— Нервы,— успокоил его доктор.— Очевидно, вы переутомились. Вы не должны ничем расстраиваться, понятно? Я дам вам немного брому. На кончике ножа перед сном — и будете спать как сурок.

Итак, в тот вечер редактор Коубек принял на кончике ножа брому и залез в постель, готовый спать как сурок.

И приснилось ему, будто сидит он в редакции «Стража нашего края» с пером в руке и собирается писать передовицу. «Передовица,— проворчал он.— Опять передовица! А я понятия не имею — о чем!»

И он стал напряженно размышлять. «Постой,— старался он себе помочь,— ну хоть о... гм... или скажем о... о... о чем же все-таки?»

Чтобы сосредоточиться, Коубек принялся грызть деревянную ручку своего испытанного пера; но ничего, ничего, ровным счетом ничего не приходило на ум. В голове ощущение полнейшей пустоты.

«Просто невероятно,— ужаснулся Коубек, хватаясь за голову,— должно быть, это мне только снится! Ведь на свете столько всего, о чем можно написать передовицу, например о... о... Господи, если бы я знал, о чем!

Ага,— вспомнял он,— все это из-за брома! Ну не осел ли я, принял бром перед тем, как взяться за статью, вместо того чтобы принять перед сном! Потому-то я такой сонный, словно... о черт — словно кто? Надо бы у кого-нибудь спросить»,— ворчал он, идя по бесконечному коридору, который привел его к полуоткрытой двери. Коубек вошел в кабинет и с недоумением увидел, что за письменным столом сидит он сам, собственной персоной, и пишет передовицу.

Не сразу сообразив, как к самому себе обратиться, Коубек все же избрал дружеский тон:

— Коллега! — поспешил воскликнуть он.— Не знаете ли случайно, о чем бы сегодня следовало написать передоаицу?

Коллега Коубек отложил в сторону ручку с пером и не слишком приветливо ответил:

— Ну, знаете ли, я вот выступаю против трианонского мира. Мы, венгры, никогда не примиримся и так далее... Да что там, уважаемый, об этом столько всего можно понаписать!

— Спасибо,— сконфуженно пробормотал Коубек и попятился назад, в коридор. «Черт побери,— подумал он,— я это был или не я? Разве у меня так торчат лопатки и такие лохмы на затылке?»

Он бежал по бесконечному коридору вдоль ряда дверей. «Где же тут моя редакция? Господи, я забыл пересчитать двери! Ага, вот здесь»,— и он скользнул в ближайший кабинет.

Но и там за письменным столом сидел он сам и писал передовицу.

— Что вам угодно, коллега? — произнес сидевший, не поднимая головы.

— Я... я...— стал заикаться Коубек.— О чем вы сегодня пишете передовицу, пан коллега Коубек?

— Против версальского мира,— серьезно отвечал коллегв Коубек.— Вот, с возмущением отвергаю трусливый пацифизм, которым подрывные элементы хотят заразить нашу здоровую немецкую натуру, mein lieber [1] Коубек.

— Ага,— выдавил из себя Коубек.— Не буду вам мешать, коллега.— И влетел в следующую дверь.

Там снова сидел редактор Коубек и прилежно строчил, мурлыча под нос: «...русский пролетариат не потерпит... так, вот именно!.. мы призываем к борьбе... в ответ на интриги враждебного окружения... харашо! [2]... мы утопим в крови... чумы на них мало!»

Коубек тихо попятился в коридор и кинулся к соседней двери.

— Минуточку, пан Коубек! — послышался от стола его собственный голос.— Вот только растопчу эту славянскую гидру. All'armi, Italie, all'armi! [3]

Коубек побежал по коридору.

— Боже,— в ужасе шептал он,— хоть бы найти какой-нибудь свободный письменный стол!

Заглянул в следующую дверь.

— Погодите, caballero [4] Коубек! — закричал тамошний редактор Коубек.— Послушайте, как я всыпал этим венесуэльским бандитам! Halt! [5] Avanza, puerco! [6]— заорал он вслед удирающему Коубеку.

Редактор Коубек укрылся за следующей дверью, но и тут его схватила за шиворот чья-то рука.

— Ага, попался, трусливый враль! — проскрипел ему прямо в уши его собственный голос.— Теперь я вырву твой поганый язык, собака!

---

[1] Мой дорогой *(нем.)*.
[2] Воспроизводится с имитацией русского произношения.
[3] К оружию, Италия, к оружию! *(ит.)*.
[4] Сударь *(исп.)*.
[5] Стоять! *(нем.)*.
[6] Вперед, свинья! *(исп.)*.

Господин Коубек в ужасе обернулся и уставился в собственную перекошенную физиономию.

— Но, пан коллега,— воскликнул он,— пустите меня, ведь я тоже Коубек!

— Мы, Коубеки, знать друг друга не знаем! — гремел в ответ двойник Коубека.— И учти, никто не умеет ненавидеть с такой силой, как Коубек Коубека! Смерть, смерть всякому Коубеку, говорящему на другом языке!

Вырвавшись из вражеских рук, редактор Коубек выскочил в коридор. И что же? Из каждой двери выглядывали головы Коубеков и провожали его колючими взглядами. Редактор Коубек во всю прыть припустил по этому бесконечному коридору, преследуемый топотом нескольких сот Коубеков. По винтовой лестнице он кинулся наверх и побежал по другому коридору. Но и здесь из каждой двери выскакивал новый Коубек и присоединялся к его преследователям. Новая лестница и новый коридор. На этот раз коридор кончался площадкой, повисшей над бездонной пропастью.

В диком испуге Коубек остановился и обернулся к враждебной толпе. Это были сплошь Коубеки, скрипящие зубами и хрипло дышащие. «Боже, если бы я мог спрятаться за своим письменным столом! — в отчаянии подумал Коубек.— Там я так силен и в такой безопасности!»

— Господа! Коллеги! Коубеки! — воскликнул он задыхаясь.— Отчего вы меня преследуете? Ведь нас, Коубеков всех наций и всех народов, объединяет одна идея: патриотизм, или, иначе говоря, ненааисть к врагам! Разве мы не тянем за один канат? Разве мы не одинаковы повсюду? Разве не трудятся наши поднаторевшие перья во славу одних и тех же национальных идеалоа? Друзья мои...

Но противники Коубека лишь дико расхохотались.

— Осел! Какие мы тебе друзья!.. Мы твои заклятые враги! Ату его! Во имя нации — на врага!

Редактор Коубек все отступал к краю пропасти.

— Товарищи!..— воскликнул он,— ведь... ведь не думаем же мы так на самом деле... мы, Коубеки... И вообще, уж коли мы раз в жизни собрались вместе, разве не стоит нам забыть о ненависти, как считаете? А может... послушайте, может, мы и вообще как-то договоримся и... Ведь на свете столько разных тем для передовиц! Зачем нам без конца друг друга изводить и...

— Ого, ого-го! — принялись кричать Коубеки.— Скиньте его в пропасть! Он хочет отнять у нас хлеб! Предатель! Хочет лишить нас идеалов! Лишить самого благодарного материала! Он подрывает основы профессии! Смерть ему!

В глазах Коубека потемнело. Раскинув руки, он стал падать навзничь а бездонную глубину и... потерял сознание.

На следующий день редактор Коубек проснулся с тяжелой головой. «Это все от брома»,— недовольно брюзжал он и избегал встреч с людьми.

— Ах, черт,— вспомнил Коубек после обеда,— ведь сегодня я должен написать передовицу! Ну конечно, сегодня же среда...— о чем, собственно, писать?

С этим камнем на душе Коубек поплелся в редакцию и уселся за свой любимый письменный стол. «О чем писать? — устало размышлял он.— Скажем, о затянутой тучами международной обстановке или что-нибудь в этом роде. „Черные тучи сгущаются на границах нашей родины..."»

Господин Коубек помрачнел, скомкал листок и начал сызнова. «Нам необходимо единение,— диктовал он себе.— Ergo [1], мы прежде всего должны наголову разбить противников в собственной стране. В лоне народа существуют подрывные элементы, которые злонамеренно, более того — преступно сеют раздоры и тому подобное. Cui prodest? — спрашиваем мы...»

Господин Коубек вздохнул и смял второй листок. Вскоре в кабинет вошел метранпаж Стрнад, увидел, что Коубек сидит, обхватив голову руками.

— Пора бы уже набирать передовицу,— мрачно произнес Стрнад.

— Сейчас,— отозвался редактор Коубек,— минуточку.— И, обмакнув перо, начал писать передовицу о грязи на улицах города. «Борьба с грязью... мобилизуем все силы... наш прекрасный город... национальный долг... мы обращаемся к ответственным лицам: Hic Rhodus!»

— Что ж, пан Стрнад,— громко и удовлетворенно произнес редактор Коубек,— сдавайте в набор!

1930 г.

Перевод с чешского В. Каменской

---

[1] Следовательно *(лат.)*.

Наши публикации

«СНОВА ВСПОМНИЛ ЛЕНИНГРАД...»

Письма Юрия Казакова

В октябре 1957 года Ю. Казаков признавался К. Паустовскому: «Этим летом я испытал большое потрясение — первый раз был в Ленинграде. Я застал еще последки белых ночей, сходил с ума, хотел что-то писать об этом насильственном городе, но, приехав домой, перечел «Медного всадника», поревел немного и писать ничего не стал...»

Впечатление было настолько сильным, что на какой-то момент для Казакова, по его словам, померкли и Москва, и любимый Арбат,— с юношеской страстью он ощутил магическую власть «совершенно ненормального», единственного в России города, несущего на себе таинственную печать великой культуры.

Переживание, вызванное Ленинградом, было глубоко личным и долго томило Ю. Казакова. Через год, находясь в Архангельске и рассматривая альбом с петербургскими гравюрами, он записал в дневнике: «...тотчас заныло, заболело сердце, снова вспомнил Ленинград, прошлогоднюю жизнь там и сумасшествие свое, любовь свою, веру во что-то, сладкую муку. Что со мной, что со мной? И что было тогда — будто и не жил совсем, а горел все время, таял, изнемогал от счастья. И теперь опять эти дали невские, эти перспективы проспектов, решетки каналов, Летнего сада, силуэты мостов — разве не будет у меня этого больше, не заплачу я, что ли, не стеснится сердце?» И через десять лет — весной 1967 года — он писал жене из Парижа, что и там не испытал «того *болезненного* восторга», который овладел им, когда он «впервые приехал в Питер».

А в ноябре 1957 года в Ленинграде состоялся Всероссийский семинар молодых прозаиков. Казаков в нем участвовал и потом надолго подружился с Виктором Конецким, Глебом Горышиным, Эдуардом Шимом и другими своими литературными сверстниками. Они Казакова любили, признавали его яркую одаренность и мастерство,— правда, не без доброго соперничества, не без критики,— а Казаков ценил своих ленинградских друзей за талант, за серьезное отношение к литературе, за вкус к странствиям. Потребность духовного общения с ними была у него искренней и многолетней.

Тогда же у него установились доверительные отношения и с Верой Федоровной Пановой, которая была одним из руководителей семинара. Прочитав казаковские рассказы, она отозвалась о них так: «Юрий Казаков — талант очень большой, таящий в себе возможности неограниченные. Представленные им рассказы поражают силой эмоции, законченностью и стройностью, это — произведения большой литературы. В лепке характеров, в слове, ритмике, композиции, в искусстве создания настроения нам нечему учить молодого Казакова, он с не меньшим правом может взяться учить нас».

Литературное признание доставалось Казакову нелегко, гонителей у него хватало, и он навсегда остался благодарен ленинградцам за вовремя сказанное доброе слово.

Это можно уловить и в его письмах — а писать их Казаков любил, мог одолеть по дюжине за один присест, и всякий раз писал свободно, остро, с долей самоиронии и непременным вниманием к собеседнику.

Хорошо сказал о казаковских письмах В. Лихоносов: «Некоторые знаменитые писатели письма свои *сочиняют*. Обращаясь к друзьям, посторонним лицам, они всякую минуту помнят, что когда-нибудь, после них, письма соберет комиссия по литературному наследству и предложит для публикации. Оттого эти письма лишены непосредственности, отделаны и полны нарочитых высказываний. Высказывания Ю. Казакова — это все тот же дружеский разговор, это нечаянное мнение, не рассчитанное на то, чтобы его знали все. Нет там претензий на величавость и мессианство; там откровенность художника, и все».

Для каждого случая находил Казаков свою интонацию, в разговоре с каждым как бы вел свою тему — будь то литература, путешествия либо что-то иное.

С В. Ф. Пановой делился горестями и радостями, искал у нее поддержки, но в суждениях своих был вполне самостоятелен, принципиален и тверд.

В открытом письме к Ал. Дымшицу обнаружил незаурядный общественный темперамент, который так и не нашел у Казакова полного раскрытия.

А Г. Горышин рассказывает вот что: «В течение десяти лет мы изредка переписывались с Юрием Казаковым. Он был великий мастер письма писать. То есть он писал их без малейшего внутреннего понуждения; в каждом его письме запечатлен порыв души: куда-нибудь съездить, сплавать, на кого-нибудь поохотиться, порыбачить; нас притягивала друг к другу наша общая страсть к путешествиям-авантюрам. При этом надо заметить, что мы вместе с Юрием Казаковым ни разу не путешествовали, даже не сделали ни единого шага в предполагаемом в письмах направлении. Только все собирались, приглашали друг друга. Я думаю, загоревшись идеей — куда-то рвануть, что-нибудь такое предпринять,— Юра садился писать письмо; в письме идея исчерпывалась, порыв погасал. Потом на ум приходило что-то другое...»

Решив написать книгу о Казакове, я обращался к нему, он отвечал, и в марте 1981 года мы встретились в Абрамцеве, где он постоянно жил на даче.

Наш разговор, естественно, начался с воспоминаний о Ленинграде конца 50-х годов, с общих знакомых и полузабытых встреч той поры, когда Ленинград Казакова так неизъяснимо волновал. Я напомнил ему, как однажды молодой компанией мы стояли белой ночью на мосту через Фонтанку у Летнего сада и он сказал нам словно в упрек: «Вы не понимаете, среди какой красоты вы живете!» Фразу эту он, разумеется, не помнил, да и компанию не очень, и стал с грустью рассказывать мне, как останавливался у Конецкого на канале Крунштейна, поблизости от Новой Голландии, какой восторг вызывал в нем наш фантастический город, как пугал и как манил к себе.

Тот город будто исчез вместе с молодостью, а Ленинград «романовский» Казакова раздражал неистребимой провинциальностью и безволием. Недаром а декабре 1968 года он писал Горышину: «У нас тоже не сахар в смысле разных строгостей, но в Ленинграде, как и во всякой провинции, еще хуже. Провинция — страшная вещь. Там все *усугубляется*...» И в нашем разговоре Казаков возмущался тупой официозностью, недалекостью и бескультурьем властей предержащих, говорил, что теперь Ленинград вызывает у него горечь и обиду — словно его обманули или предали...

После того разговора мы больше не виделись. В ноябре 1982 года Казаков скончался — так и не узнав, что грядет новая эпоха.

В последние его годы, на грани семидесятых и восьмидесятых, жизнь вокруг будто притормозила, замерла, застыла, с тем чтобы вскоре — но уже без него! — рвануться дальше со штормовой силой. История заспешила в следующее тысячелетие, а Казаков остался в своем времени...

Теперь его все настойчивее называют классиком нашей литературы.

У Ю. Казакова большое эпистолярное наследие. Письма, предлагаемые читателю,— так или иначе связаны с Ленинградом. Печатаются они без изъятий. В ЦГАЛИ хранятся письма его к В. Ф. Пановой (ф. 2223, оп. 2, ед. хр. 196) и Л. В. Никулину (ф. 350, оп. 1, ед. хр. 189), остальные предоставлены адресатами. Выражаю свою признательность Н. А. Озерновой — дочери В. Ф. Пановой, О. В. Базунову, Г. А. Горышину, Т. А. Жирмунской, Э. Ю. Шиму за содействие в публикации писем.

И. Кузьмичев

В. Ф. ПАНОВОЙ

11 янв. 58 г.

Дорогая Вера Федоровна!

Спасибо Вам большое за Ваше неожиданное и хорошее письмо. Мне, правда, очень хотелось поговорить с Вами перед отъездом, да я подумал, что и так утомил Вас (вкупе со своими коллегами) [1], и постеснялся прийти.

Сейчас у меня экзамены, время ужасное, все время готовлюсь, только свалю одно, как накидывается и душит другое. В общем состояние обычное для студента. А страшно хочется писать. Не знаю, но кажется, писать теперь я стану как-то иначе: лучше, строже

и серьезней. У меня был большой перерыв, ничего я не делал, а только скорбел, изъязвлял свою душу, ругался с врагами и т. д. Думаю, перерыв этот должен пойти мне на пользу, и тогда хоть немного оправдаю я все те хорошие слова, которые сказали Вы на мой счет.

Вера Федоровна! Я свинья, только вчера вдруг вспомнил, что обещал прислать Вам стихи Пастернака, которых, Вы говорили, у Вас нет. Спешу исправиться и посылаю Вам три стиха [2]. «Снег идет» мне нравится чрезвычайно — такой ритм, звук, мысль,— боже мой! Хороши и другие два. Странно, почему их не печатают.

Знаете, сейчас все мало-мальски способные, умные ребята очень как-то хандрят. С кем ни поговоришь — сплошной мрак! Конецкий был в Москве, заходил ко мне — тоскует... Полуянов пишет из Архангельска мрачные письма. Девчонки-поэтессы рыдают у меня на груди в фигуральном и прямом смысле. Прямо не знаю, куда приткнуться. И так тяжело, не знаешь порой, как быть, а тут еще жару подбавляют.

В Москве у нас было все голо и мерзко, на Новый год — водичка, а последние дни метели «с остервененьем налетели»», настоящая зима, морозец, хорошо!

До свидания, будьте здоровы!
Ваш *Ю. Казаков.*

1 февр. 58

Дорогая Вера Федоровна!

Обстоятельстаа вынуждают меня опять писать Вам, хотя Вы и устали от меня.

Дело в том, что наше МО СП вдруг обнаружило, что я существую на свете, радостно распростерло объятья и готово принять меня в свое лоно, т. е. в члены Союза. Причем я не напоминал им о себе, разрази меня господь, и у меня *нет книжки.* Но это им нипочем, они готовы принять меня так, по рассказам, печатавшимся в журналах.

Нужны рекомендации, Вера Федоровна, и — простите! — я сразу вспомнил о Вас... «Непечатные» рассказы мои Вы знаете, но, верно, не читали печатавшихся. Вот они: журн. «Молодая гвардия», № 3, 56 г.; «Октябрь», № 6, 57 г.; «Москва», № 8, 57 г. и «Знамя», № 8, 57 г.[3]

Если же для Вас достаточно тех пяти рассказов, кот. обсуждались на семинаре, то, ради бога, не читайте журналов, мне совестно Вас затруднять лишний раз.

Будьте здоровы, Вера Федоровна, дай Вам бог легкости в работе. Только напрасно Вы себя причисляете к старикам и сдаете позиции нам, молодым. (Это я говорю о последнем Вашем письме.) Эти мысли, вероятно, навеяны были смертью Шварца [4], которого я, кстати, очень люблю, люблю с детства. И совестно Вам прибедняться перед нами, странно было даже читать, честное слово!

И Буниным Вы меня напрасно укорили. Что ж Бунин? Бунин олимпиец, бог — таких, как он, у нас на Руси было 3—4, не больше. Но если я обожествляю Бунина, то это вовсе не значит, что я слеп и глух к остальному. Я многих люблю, я и Вас люблю, Вера Федоровна, и над Вашим «Сережей» я слезу пустил и загрустил и решил бросить писать, что со мной всегда бывает, когда прочту что-нибудь великолепное. Вот так!

И насчет XX века Вы, извините меня, не правы. Конечно, у нас XX век, но и XVI хватает. У нас может стоять в глуши ракетная космическая установка, и — попади туда, подумаешь — сон, фантазия. И тут же рядом в деревне бабы пьяные дерутся, и это уж, увы, не фантазия. Мы считаем, что Горький — святая правда. Однако Горький хотел и мог писать о пьяной бабе, т. к. пьяная баба была ему противна, больна, она разрушала его представление о женщине. Тогда был XIX век, скажете Вы! Но ведь и тогда были успехи громадные и тогда Горькому могли сказать — смотрите, у нас строятся заводы, шахты, ж. дороги и т. п., у нас прогресс в науке, у нас век великих открытий, а Вы пишете о бабе... Ну пишите наконец, но скажите же и о положительном! Иначе клевета выходит. Ведь Россия не только баба, Россия это и Толстой, и Шаляпин, и МХАТ, и то и се...

Вот это, примерно, говорят нам. А м. б., теперешним писателям больней, когда в наш век и вдруг — тоже эта баба.

Знаете, меня очень ударил однажды факт засевания *колхозных* полей *из лукошка.* Это было в Кировской области в 50 году, в год укрупнения колхозов, в год, когда все критики и публицисты писали о переходе к коммунизму, когда у Корнейчука конфликтовали председатели колхозов социалистического и коммунистического. Скажите, разве не надо было честному писателю возопить: братцы! Какой же коммунизм, когда лукошко! — пусть даже лукошко это было последним в России. Однако же не вопили писатели об этом... Интересно: Горький всячески восхвалял в 30-е годы сов. строй. Но восхвалял в статьях, а вот рассказа настоящего не написал об этом же. Рука не поднялась, верно?

Простите, что так пространно пишу я Вам об этом, но я понял Вас так, что Бунин изображал XIX век, а коль скоро я последователь этого Бунина, то значит, и я погряз где-то в прошлом веке. Не знаю, прав ли я, но думаю — вся наша беда в том, что совр. литературу лишают такого качества, как обобщение. Нам нельзя обобщать! За нашими героями не могут стоять тысячи и миллионы героев, как это было в старой литературе. Гончаров

написал «Обломова». Добролюбов вывел термин «обломовщина». Правы ли они? И да, и нет. Отнюдь не вся Россия состояла из Обломовых, как это показали Гончаров и Добролюбов. Однако умные люди сделали вывод: мы обломовы — и следствие: надо просыпаться.

А теперь? Если Вы создадите образ, или тип, или характер героя положительного, обобщите его, Вам скажут: правильно. Но стоит Вам с такой же силой написать героя отрицательного, скажут: клевета! А спутник? Вот тут и попробуйте «отображать». Видите, как затянулось мое прощание с Вами. Еще раз будьте здоровы и счастливы и, несмотря на эти мои, м. б., неверные высказывания, рекомендацию все же мне дайте, очень Вас прошу. Я когда-нибудь исправлюсь, честное слово! И не уступайте никому своего места. Его у Вас может взять женщина более талантливая, чем Вы, а пока таковой у нас на Руси нет, верьте моему слову.

Ваш *Ю. Казаков.*

P. S. Кстати, где же Вы будете печатать Ваш «Сентиментальный роман»? Закс клянется, что в «Н. мире», «Октябрь» — что у него, «Знамя» — тоже... Так где же?

Здравствуйте, дорогая Вера Федоровна!

Большое спасибо Вам за рекомендацию! Если бы знали Вы, как приятно мне было ее отдавать и как стыдно, что я Вас тотчас же не поблагодарил — свинья несчастная!

Но, голубушка, Вера Федоровна, было у меня время мрачного пессимизма, и куда уж там было писать! Теперь это все прошло, опять я способен на добрые чувства и на что хотите.

Надеюсь, Вы не приняли близко к сердцу выпад, кот. сделала «Литературка» против Вас в связи с Чубаковой?

18-го состоится защита моя диплома в институте. Оппоненты: Н. Замошкин, Поспелов, Исбах и Панков. Панков этот мой рок и фатум, и нет мне от него никакого спасения. Ну, а я спокоен, помня Ваши наставления. И потом за последнее время я вдруг разошелся и написал пять новых рассказов. Работал я в Дубултах. Там чудесно, и если Вам захочется хорошо поработать, поезжайте туда! Особенно хороши там месяцы февраль и март. Много солнца, слабый морозец, какая-то во всем отрешенная иностранность, и кругом все латыши, которые держатся особняком, в знакомство не лезут и, следовательно, не мешают.

Посылаю Вам для соблазна открытку со Старой Ригой.

Будьте здоровы, дорогая Вера Федоровна, не поминайте меня лихом. А я буду Вам писать (очень редко!).

10 апр. 58 г.

Ваш *Ю. Казаков.*

Дорогая Вера Федоровна!

Поздравляю Вас с летом, с белыми ночами, с теплом и окончанием романа. Я слышал, Вы его кончили и даете в «Новый мир».

Дай-то бог, чтобы его хорошо приняли, чтобы не насели на него панковы. Впрочем, читатель до того уж Вас знает и верит, что чем пуще Вас будут ругать, тем большей любовью Вы будете пользоваться у всех.

А я кончаю институт и все никак не кончу. Диплом защитил на тройку. Панков, Исбах и Лаптев все-таки упекли меня и поставили низкую отметку. В Союз меня еще не приняли — приемная комиссия самораспустилась на каникулы. Будут принимать осенью.

Я слышал, Вы в разговорах очень меня хвалите. Можете себе представить, как радостно мне это и как волнует! Спасибо Вам, милая Вера Федоровна!

Посылаю Вам свою книжку [5].

Будьте здоровы, всяческих Вам успехов и радостей!

7 июня 58 г.

Ваш *Ю. Казаков.*

Дорогая Вера Федоровна!

Поздравляю Вас с Новым годом, желаю в этом году Вам еще больших радостей, большей славы, здоровья, бодрости и т. п. приятных вещей, словом, всего того, что нужно такой прекрасной женщине и писательнице, какой являетесь Вы!

Верьте, что эти слова мои не просто от вежливости сказаны и что я Вас очень хотел видеть. Кстати, Н. год встречал я в Комарове, часов в 5 утра шел на станцию, забрел в Дом творчества, хотел увидеть Вас, но Вы, конечно, даано ушли к себе, и я печально побрел дальше...

Вера Федоровна! У меня к Вам есть поручение. Приехал я сюда от «Огонька», буду, наверно, писать рассказ о Лермонтове [6], и в «Огоньке», узнав, что Вы взялись за рассказы (это я сказал им — извините, если я не к месту сказал),— очень просили у Вас рассказа. Н. Н. Кружков (зав. отделом) кланялся и просил выручить, т. к. у них плохо с рассказами.

Если у Вас окажется рассказ и если Вы верите в «Огонек» — шлите им его.

Кроме того, Вам передает привет и извинения Н. Емельянова. Она хотела принять Вас с «московским радушием» (ее слова), но не пришлось, о чем она сожалеет.

Наконец поклон и новогодние поздравления Вам от Володи Бжезовского.

Вот и все. Вам, наверное, чудно работается — Комарово место очень хорошее. Но еще лучше в Доме композиторов, у них там по коттеджу на брата — просто болезненная роскошь! А я так хотел видеть Вас еще в Москве и проводить, но заболел. Что-то у меня с сердцем вышло, я понервничал: прислали мне сверку со страшными иллюстрациями — совершенно халтурными и гнусными, я задрожал, отказался печатать книгу с такими рисунками [7], наделал переполоху в изд-ве и свалился. Думал, помру, но отошел и ничего. Зато рисунки сняли!

Последняя московская новость (хотя, м. б., Вы ее уже знаете): Кочетова снимают, редактором «Литературки» будет Б. Полевой. Так говорят, во всяком случае, а там бог их знает!

Всего доброго, Вера Федоровна! Не забудьте, пожалуйста, подарить мне свою книгу, когда выйдет,— Вы обещали.

Будьте здоровы!

Ваш *Ю. Казаков.*

2.1.59

Дорогая Вера Федоровна!

Примите мои самые искренние и сентиментальные поздравления!

Когда женщины затыкают за пояс мужчин в творчестве — они могут радостно праздновать 8 Марта!

Желаю Вам большого счастья, удачи в литературе и здоровья. Скоро пришлю Вам свою книжку и напишу подробно.

Всего доброго!

Ваш *Ю. Казаков.*

6.III.59

P. S. На днях уезжаю в Дубулты.

Здравствуйте, дорогая Вера Федоровна!

Я долго не писал Вам, хотя и получил книгу, но не отвечал сознательно, и вот почему. Со дня на день я ждал выхода своей книжки в Москве, и мне хотелось к своему письму присовокупить и книжку.

Но поворотливость наших издательств Вам известна — книжки я не дождался, махнул на нее рукой, собрался в Дубулты, как вдруг получил накануне отъезда, но не московскую, а из Архангельска. Ее я Вам и посылаю [8]. Во-первых, московская книжка мало отличается от этой по содержанию, во-вторых, ту легче достать, а эта в некотором роде уникальное издание...

Вот. Читайте и судите об успехах Вашего подопечного члена СП.

Ваша книга — чудесная! Хорошо издана и быстро. Сам роман мне понравился чрезвычайно — композиция, язык — все преотменно! Большое спасибо, я очень рад, что Вы не забыли меня отметить таким дорогим подарком.

Есть у меня и замечания по роману, вернее, одно замечание, на мой взгляд — существенное. Касается оно романа в целом, т. е. его законченности. Но я не буду сейчас писать: это трудно, субъективно и почти не доказуемо. Лучше поговорить как-нибудь при встрече об этом. Кроме того очень подозреваю, что Вы наслушались стольких мнений о своем романе, что мнение еще одного читателя не столь уж и важно для Вас. Тем более, что роман издан и изменен, по-видимому, быть не может.

Я рекомендован на семинар рассказчиков, кот. состоится в апреле. А в списке руководителей семинара я видел Ваше имя. Если Вы не будете возражать, я очень хотел бы опять заниматься у Вас.

В Дубултах земля обнажилась. Белки валяются на дорожках. Солнце светит. А земля еще не оттаяла. И не поймешь — не то весна, не то осень. Что-то противоестественное.

Мне было очень плохо весь прошлый год — даже ужасно. Но все ничего — вытерпел. И понял наконец причину Вашего спокойствия и своей нераности. Я Вам ее расскажу, если увидимся в апреле,— Вы удивитесь.

Как Вы довольны своим портретом в «Октябре»?

Мне даже писать Вам страшно, ей-богу! Но все равно я Вас люблю и даже не стыжусь в этом признаться. Мало у нас настоящих поэтов в литературе, и тем дороже настоящие.

А как у Вас получаются рассказы? Вы не покажете мне их в рукописи? Или Вы не показываете?

Будьте здоровы! Всего Вам доброго, дай бог Вам здоровья!

Ваш *Ю. Казаков.*

11.III.59, Дубулты.

Дорогая Вера Федоровна,

поздравляю Вас с прекрасными рассказами [9]. Они прямо-таки великолепны, ей-богу, и они бесспорны, т. е. цельны. От них круглое впечатление, душа не саднит, никакой нет неудовлетворенности. Это очень чувствуется, зто чувствовалось в «Сент. романе», но там как раз была какая-то неудовлетворенность, никто не мог попасть в точку, все говорили разно, но все как-то поеживались, а тут все в один голос: превосходно!

Я очень рад Вам об этом сказать, так как,— простите,— Вашу победу считаю и своей победой, вообще победой всего талантливого, что у нас есть.

Оба рассказа без конца, один переливается в другой, и я подумал даже, что не будет ли это просто повесть, когда весь цикл заключится в последнем рассказе, все развяжется и разъяснится. Но это ведь и не столь важно — повесть, рассказы,— пусть критики подыскивают название жанра, важно, что это настоящая проза.

Очень пахнуло войной. Я в Москве был всю войну и уверен, что аойна в огромном городе имеет особенный привкус, особенную страшность, потому что, когда миллионы людей катастрофически падают из нормальной жизни в ненормальную, это что-то более гнетущее, чем взрывы бомб и снарядов в поле, в лесу, по деревням, словом — война пространственная. Да, когда большой город погружается во тьму, а дети в муках сравниваются со взрослыми, это потрясает.

Живу я сейчас в Малеевке, пишу для «Костра» рассказ [10], очень как-то трудно, манера у меня в этом рассказе сказовая, нельзя с тона сбиваться, бросил бы, да аванс взяден, надо расплачиваться.

Всего доброго, большой привет Д. Я.

Ю. Казаков.

23.11.59.

Телеграмма (от 29.XI.59):

Принят СП. Очень благодарен за рекомендацию. Горячо поздравляю опубликованием «Сентиментального романа». *Казаков.*

---

[1] В. Ф. Панова (1905—1973) — прозаик и драматург (с 1947 года жила в Ленинграде), автор широко известных произведеиий: «Спутники» (1946), «Кружилиха» (1947), «Времена года» (1953), «Сережа» (1955), «Сентиментальный роман» (1958), «Лики на заре» (1966) и многих других. Постоянное внимание В. Ф. Панова уделяла воспитанию молодых писателей.

[2] «Музыка», «Снег идет», «После перерыва».

[3] В журнале «Молодая гвардии» (1956, № 3) были напечатаны рассказы Казакова «На полустанке» и «Странник»; в «Октябре» (1957, № 6) — «Голубое и зеленое»; в «Москве» (1957, № 8) — «Арктур — гончий пес»; в «Знамени» (1957, № 8) — «Никишкины тайны».

[4] Евгений Львович Шварц, драматург и прозаик, скончался в Ленинграде 15 января 1958 года.

[5] Казаков послал В. Ф. Пановой свою книгу «Тэдди» (Архангельск, 1957) с надписью: «Дорогой Вере Федоровне Пановой — любимому художнику и наставнику. Ю. Казаков. 5.VI.58».

[6] Рассказ о Лермонтове — «Звон брегета» — был написан в 1959 году и впервые опубликован в газете «Московский комсомолец» (15 сентября 1960 года).

[7] Речь, вероятно, идет о сборнике рассказов «На полустанке» (1959).

[8] Казаков послал В. Ф. Пановой свою книгу «Манька» (Архангельск, 1958) с надписью: «Дорогой Вере Федоровне Пановой — с благодарностью от ученика и «крестника». Ю. Казаков. 11.III.59. Дубулты». Сборник рассказов «На полустанке», вышедший в Москве (1959), он выслал ей несколько позже, надписав: «Вере Федоровне Пановой — с любовью и благодарностью за все сделанное в литературе и автору этой книжки. Ю. Казаков. Май 1959 г.».

[9] Речь идет о рассказах «Валя» и «Володя».

[10] Рассказ «Розовые туфли» был напечатан в журнале «Костер» (1960, № 3) под названием «Чудотворные мастера».

Т. А. ЖИРМУНСКОЙ

Здравствуй, Тамара [1].

Я провел здесь два неприятных дня. Как я и ожидал, дело с Ливаном осложнилось, и когда я услыхал по радио ультимативное послание Эйзенхауэру, то совсем расстроился. Я стал думать о войне, о том, каким ничтожным станет всякий из нас в этом вихре, о том, какие страдания придется всем нам пережить, и то, что я делаю сейчас, стало вдруг таким мерзким и маленьким, и ненужным. Так я страдал в одиночестве, пока не устал, подумав: что миру, то и бабушкину сыну... И тут я получил твое письмо. Оно так мило, написано из такого прекрасного далека, так защемило у меня сердце.

Панову я видел в Доме кино на просмотре американской картины. Она сказала: — Юрий Павлович, вас еще не приняли в Союз? — Нет,— отвечал я проникновенным голосом.— Ну, до свидания, Юрий Павлович, рада была вас повидать...— До свидания,— отвечал я.

Она была рыжая, эта Панова, лицо ее было смугло насурмлено, руки ее были в черных прозрачных перчатках.

Я был высок и бледен от сознания значительности слов, сказанных ею. Долго после этого, шагая уже по Невскому, вздыхал я и задумывался. Я прошел по Аничкову мосту, через Казанский мост на канале Грибоедова, я свернул по Мойке влево и пошел в сторону Адмиралтейского канала мимо особняка Юсупова, где был убит Распутин. Я шел по каменным плитам и думал о тебе и о городе, который до сих пор еще выбрасывает на рынок сознания больных гениев. Один из этих гениев — некий Голявкин [2], соученик Коринца по Самаркандскому художеств. училищу. Вот как он пишет. «85 человек с такой силой ударились животами, что 35 в ту же минуту умерли. Оставшиеся в живых 50 человек снова с такой же страстью ударились животами, что тут же умерли 49. Единственный оставшийся в живых съел большой огурец и пошел на край земного шара удариться еще с кем-нибудь животом». Умные люди увидели здесь намек на будущую войну. Однако автор отперся и сказал, что он вовсе ничего не думал, когда писал про животы.

Я напрасно тебе это написал. Теперь ты полюбишь этого Голявкина за его гениальность, а меня разлюбишь. Тем более я ничего больше не напишу в жизни. Я окончательно пал духом.

В Эрмитаже я не был — как тебе это понравится? Я ленив, как корова, меня надо тащить, но меня никто не тащит. Слушай, я познакомился с Л. и копьеметателем В. Кузнецовым (рекордсмен Мира, Европы, СССР и еще чего-то). Я так перепугался, что просидел смирно весь вечер на стуле, глотал коньяк, и никакими силами нельзя было отнять у меня рюмку или дождаться ответа на вопрос. Я вышел ночью на площадь Искусств, сказал: ффу — и решил, что ты лучше Л. Она дура. Она потушила свет, грохнулась на пол (разорвав при этом чулки) и фальшиво запела: «И то же в ней очарованье, и та ж в душе моей любовь». Она уезжает в Рио-де-Жанейро. Возле нее пресмыкался какой-то сытый дантист, имеющий, однако, собственную «Волгу». На «Волге» он три раза ездил за коньяком. А я — ты, конечно, не удивишься — думал, что я не езжу за коньяком и не плачу за него. И еще, что мне наплевать на то, что Л. едет в Рио и что с ней обедали Греческий и Английский короли, хотя в Рио я и бы поехал, конечно, погреться там на солнышке, а то в Питере холодно и никаких белых ночей нет, т. к. небо в тучах, и что вообще неизвестно, зачем я тут нахожусь. Пиши сказки, моя радость, и не думай вовсе о королях. Можешь только думать обо мне и о том, как поехать со мной в Алабаму. Я страшно рад, что ты написала сценарий о Дельвиге. Они наш хлеб, т. е. люди, которые что-то там писали когда-то. Мой сосед, хозяин комнаты, пишет рассказ о Чехове. Я хочу написать о Лермонтове. Мне без тебя скучно, но я креплюсь и попаду в Москву только к старости. Даю тебе поэтому полную свободу, можешь пользоваться моим отсутствием и сколько угодно крутить с лейтенантами из «боевого поста» [3], что ты уж, верно, и делаешь — кто-нибудь уж тебя провожает домой и заливает баки — я знаю. Что ж, «долг платежом красен, сказал он, мигая и прищуриваясь». А ты — женщина, погрязшая в предрассудках, не способная на широкую вольную жизнь, порабощенная мелкими привычными представлениями. Ты не годишься в спутницы моей жизни, тебе не понять духа моего сердца. Ты не решилась разделить со мной судьбу, предпочла тепленькое местечко в газете, папа зато погладил тебя по головке и мама сказала: ах...

Поэтому я не взял твоего телефона. Поэтому я всеми силами поддержал твоего папу, когда он сказал, что тебе необходим отдых на юге, в кругу своих благонравных родных.

Я серьезно это говорю, не улыбайся. Плевать я хотел на К., можешь ему сказать, что никуда я с ним не поеду. А поеду один из Ленинграда в неизвестном направлении и вернусь стариком с палкой, с одышкой, с распухшими ногами, но зато не поддавшимся на всякие женские затеи.

Ты пишешь: «Гуляй... и т. п.— бог с тобой». Вот именно. Бог со мной. Готт мит унс.

У нас здесь очень сильный ветер был эти дни. На канале много сбило сучьев, веток и повалило одно дерево. Дворники сметали в кучи зеленые листья, а ветер опять разбрасывал их. Вода в каналах поднялась. Холодно. Но теперь вышло солнце, и м. б., завтра потеплеет наконец.

Так ты действительно увлеклась офицером? Прощай. Иду опускать письмо.

Видишь, как я обессилел, даже разучился писать приличные письма. Ну, не плачь, моя баскунюшка, я тебя так люблю, так люблю... Ах, (у меня в машинке нет восклицательного знака, но ты вообрази его). Ах, как я тебя люблю (вообрази восклицательный знак). Видишь, как я жалок, живу без восклицательного знака. Это ужасно — человек потерял восклицательный знак.

Поезжай к К., он тебя хорошо примет, и ты увидишь О. Это тебе доставит удовольствие.

Ох, устал я писать пустяки. Все мои письма к тебе — пустяки. Одно в них верно только, что я немного по тебе соскучился.

Впрочем, и это не верно. Поклон Папе и Маме.

Я достал сейчас у хозяина лоцию Белого моря. Там написано про о-в Жижгин. Тра-ля-ля, а я там был, ты не была, а я был. Я тогда был одинок, и мне некому было писать, ты меня тогда не любила и тоже была одинока. Зато я прочувствовал одиночество, я понуро ехал по берегу Белого моря на лошади, слезал, отдыхал, глядел туда-сюда... Я был одинок и мог делать все что угодно. Но я не делал что угодно, мне было стыдно лошади, она смотрела на меня фиолетовыми глазами. И я тогда написал Никишку [4]. Ах, этот Никишка (вообрази восклиц. знак). Я иногда рассматриваю слова своего рассказа и не верю, что это я его написал. Писал я его весной прошлого года. Вообще, в прошлом году я был счастлив. Теперь я опять одинок, но не счастлив, и мне хочется написать «Птицу Сирин» [5], я буду к ночи выходить на берег моря и молча смотреть, как опускается красное солнце в море. Я буду говорить себе: смотри, вот уходит твоя жизнь. Вот уходит жизнь миллионов людей, она уходит за море, вниз, вниз — там вечность и застылость, нет жизни, туда уходит наша жизнь. Я у преддверия того места, куда уходят жизни, потому здесь так мертво и пусто и никто не поет песню красному солнцу, только птица Сирин с лицом женщины смотрит голубыми глазами на солнце и поет. Но ее песнь — это звук ледяного хрусталя. О (восклиц. знак). Качается, качается, волнами бежит туда моя жизнь, и еще жизни, и все они там, внизу, и солнце, умершее, застылое, купается в них, в жизнях, и встает опять молодое — это мы отдаем ему жизнь. Оно пьет нас.

До свидания, бумага вся. Жди меня, ей-богу, я достоин твоего ожидания.

Твой по гроб жизни *Ю. Казаков.*

Довольна ли ты мною? Моими тебе отчетами?

21.7.58.

Милая, изумительная Тамархен,

варишь ли ты по-прежнему варенье или шуршишь, рассовывая пачки сахару под кровати, диваны, этажерки и шкафы? Милая моя, не читай ты вредных книг, не изнуряй свой благородный мозг, оставь хоть одну клеточку незанятой — для меня.

Заатра — представь — я уезжаю из этого города, а пока предаюсь умственной вакханалии. То мне представляется, что вдруг все население города исчезло и мы с тобой одни в нем. Открыты лучшие гостиницы, открыты квартиры, музеи, рестораны — в ресторанах на столах приготовлены всякие вкусности, течет себе Нева, текут каналы — и никого нет, на улицах стоят автомашины, трамваи и троллейбусы. В Эрмитаже пусто. Что нам делать? Надо вернуться в золотой век, раздеться донага: ты — нимфа, я — сатир... Пожалуйста. Мы можем бегать по Летнему саду и пить чай в Эрмитаже в Малахитовом зале, сидя на полу. И мы можем заглядывать во все квартиры...

Это, кажется, кто-то уже представлял, не знаю, но не в этом дело, мне ли первому пришла такая дикая мысль в голову или еще у кого-ниб. она раньше появлялась, но то сладко, что только в этом городе придумается такое, мне даже жутко стало.

Погода наконец более или менее установилась, и наконец я испытал вчера нечто похожее на прошлогоднее — это было возле Спаса-на-крови, знаешь, на канале Грибоедова, в том месте, где много мостоа — три или четыре — и видна сразу Марсова площадь (поле), Летний сад вдали, Михайловский замок, и тут эта церковь, тут же сливается Мойка с каналом, и вот долго я крутился на этом месте, не уходил, а снаружи на стене церкви — (на крови) выложен мозаикой Христос распятый, весь в свежей зелени, и какие-то женщины приходят, целуют стену, целуют ступени крылец, двери, молятся, и голуби воркуют, купаются в лужах, такой тихий уголок, я молча постоял, глядя туда-сюда.

А вечером катался на водяном такси за червонец до Кировских о-в и обратно. Вечер был и мгла небольшая, плотная к горизонту, красная с мутью, и на этом красном на Неве, когда вышли,—Петропавловка, и солнце просвечивало слабым шаром, вода была синей от неба с красноватой примесью, с бликами от заката, открылись набережные. А когда ехали

назад, солнце уже село, и по морским обычаям шофер снял флаг с кормы и зажег сигнальные огни — зеленый и красный (флаг на восходе поднимают, на заходе спускают). А потом я шлялся по Грибоедовскому каналу, по с другой стороны Невского, там, где мостик со львами с золочеными крыльями, и потом возле Казанского собора и вокруг и сзади Александринского театра. Съездил я на Черную речку, но она оказалась такой черной, вонючей и грязной, так грохотали там самосвалы, такая стояла пыль, что я тотчас же удрал, купил газету и насладился статьей Далады о Тендрякове [6].

Свет здесь зажигают на улицах в 11 часов вечера. Но все равно светло еще немного небо, особенно на севере, где солнце. А я бегу вслед за солнцем, на север, еду на пароходе по Ладоге, Онеге и, м. б., заеду в Повенец, в Кижи, словом, на край света (посмотри по карте и позавидуй, несчастная). Придумай кроссворд на северные темы.

До свиданья, любовь моя, больше тебе писать не буду, т. к. оттуда письма идут две недели, а я сам скорей приеду в Москву. И как писали раньше — и заочно крепко целую. Пиши сказки, бродяга (Бродяга — это ласковое слово). Ну-ну, не плачь, когда-нибудь и ты увидишь все эти прелести при посредстве меня, хоть папа твой упорно направляет тебя в Батум — он направляет тебя не на главный путь.

Ю. Казаков.

26 июля 58 г.

С лейтенантами не смей гулять!

Мамаша, я протаскал вчера весь день письмо в кармане, так и не опустив его. Причины были следующие: не было денег. Буквально, ни копейки не было денег, не на что было купить конверт. Потом я занял, но уж вечером, так и не отправил. Но это ничего. Зато я хочу тебе написать кое-что еще про праздник. Сегодня в Питере морской праздник. Во вчерашнюю ночь вошли в Неву военные корабли. Они прикрепились к плавучим барабанам и встали носами вверх. Вечером они разиллюминизировались. Загорелись на Ростральных колоннах багровые факелы. А сейчас, когда я тебе пишу, с Петропавловки салютуют. Сейчас идет дождик, не знаю, какой вышел праздник при такой погоде. Я тороплюсь, т. к. до отъезда мне надо выяснить, где пристань и пр., и кое-что купить на дорогу. Я ведь сегодня уезжаю, погода кстати испортилась, и не так жалко уезжать. А вчера был прекрасный вечер, свет, как я тебе писал, зажгли в 11 часов, а до этого — сумеречная Нева и огонь на Ростр. колоннах. Огонь живой, что вообще странно в городе. Днем же по Неве носились торпедные катера со страшной скоростью, подымали огромные волны, которые, к удовольствию ленинградцев, переплескивались через парапеты.

Ах, мамаша, почему тебя нет со мной, почему в это странное, тяжелое время мы особняком каждый, и где-то, когда-то мы соединимся или уж никогда? Это будет грустно для меня, т. к. почему-то я не хочу более никого знать. Ну да ладно, прочь печаль, как поют цыгане.

Будь здорова, не болей, по мне не скучай, не думай, пиши себе стихи, решай себе кроссворды, стой на боевом посту в деле боевой и идеологической подготовки.

Ю. К.

27 июля 58 г.

Ух, как, наверное, К. сердится на меня (воскл. знак). Ведь я не еду с ним, как обещал, а еду сам тосковать, молиться, радоваться и бог знает что еще перечувствовать. А думаю об одном, все об одном — не пропало бы это для меня, не исчезло бы, не застыла бы кровь, а то зачем все, зачем я еду? Написать бы чего-нибудь.

Итак, решительно еду, и знаешь куда? В Кижи, в Повенец, в Петрозаводск и бог знает куда еще занесет меня нелегкая. Сегодня измучился, все бегал и вот перед самым отъездом сижу на почте и отправляю тебе письмо. Еще бы неделю такой жизни — и ты получила бы от меня полное собрание писем в 5 томах, т. к. я все собирался бы отправить и асе дописывал бы, дописывал... Подыщи мне что-ниб. о Лермонтове (37 г.).

Ю. К.

---

[1] Тамара Александровна Жирмунская (р. 1936) — московская поэтесса. Вместе с Казаковым в середине 50-х годов училась в Литинституте им. Горького. Автор сборников стихов: «Район моей любви» (1962), «Забота» (1968), «Грибное место» (1974), «Нрав» (1988) и др.

[2] Виктор Владимирович Голявкин (р. 1929) — ленинградский прозаик.

[3] В 1958 году Т. А. Жирмунская работала в военной газете «На боевом посту».

[4] Рассказ «Никишкины тайны».

[5] Этот замысел не нашел осуществления.

[6] Имеется в виду рецензия Н. Далады, однокурсника Казакова по Литинституту, на «Чудотворную» В. Тендрякова («Лит. газета», 24 июля 1958 года).

Л. В. НИКУЛИНУ

Уважаемый Лев Вениаминович! [1]

Пишу Вам как человеку, долго занимавшемуся Чеховым, как человеку, понимающему, что такое русская культура и ее история для нас.

Молодой ленинградский писатель Виктор Конецкий написал рассказ о Чехове [2]. Скажу Вам прямо — среди современных молодых писателей нет такого, который бы вызывал у меня зависть. Но этот рассказ написан так пронзительно-поэтически, что мне до тоски жалко стало, почему не я его написал. Есть такие великолепные вещи, о которых нельзя без зависти думать.

Содержание рассказа — мелиховский период, любовь к Лике Мизиновой, написание «Чайки», провал этой «Чайки» в Петербурге и петербургская ночь Чехова, когда, помните, он пропадал где-то, а утром уехал. Момент в жизни Чехова важнейший! Вы знаете, как мы беспомощны обычно, когда пишем, как человек поет, или играет, или сочиняет стихи. Сплошной штамп и выспренность! «Звуки рвались ввысь». А Конецкий сделал процесс писания «Чайки» так, будто я сам пишу,— прелесть! Точно и внятно.

Пишу я Вам затем, чтобы Вы помогли Конецкому. Рассказы такого рода необычайно трудно пробить в свет, знаю это по собственному опыту.

Помогите ему практически, пожалуйста! Вы старый писатель, и авось Вас послушают. Сделайте божескую милость! Нельзя пропадать таким вещам. Да и о Конецком надо подумать — он-то писал эту вещь трудно, я знаю, и если она света не увидит, это ему подобьет крылья.

Адрес его: Ленинград, канал Круштейна, 9, кв. 19. И. О.— Виктор Викторович.

Напишите ему, он Вам пришлет рассказ. У меня есть экземпляр, да взял его один поэт, а теперь уехал.

Будьте здоровы!

С уважением *Ю. Казаков.*

18.VII.59

Арбат 30, кв. 29.

---

[1] Л. В. Никулин (1891–1967) — прозаик, драматург, эссеист, автор романов и книг, посвященных деятелям культуры.

[2] Рассказ В. Конецкого «Две осени» был опубликован в его сборнике «Камни под водой» (1959).

ПОЧЕМУ НАМ НЕ НРАВИТСЯ КРИТИКА

Ответ Ал. Дымшицу [1]

22 декабря в газете «Литература и жизнь» Ал. Дымшиц напечатал статью «Работать дружно». В этой статье Дымшиц обижается на писателей за неуважительное к критике отношение. Дымшиц пишет, что писатели не любят критику, не понимают ее, не признают. Что писатели нападают на критику. Что критики становятся «жертвами беспринципной полемики».

Нам действительно не нравится критика. Но не вся критика, а та ее часть, которая вот уже многие годы занимается дискриминацией молодой литературы. Нам не нравится небольшой, но назойливый отряд критиков, который, видимо, поставил перед собой одну цель: ругать. Ругать во что бы то ни стало — и не стесняясь в выборе выражений.

Я говорю о дискриминация именно молодой литературы, так как выругать писателя заслуженного, старого у этой части критиков не хватает смелости, хотя, может быть, и хотелось бы.

Все те немногие годы, которые я занимаюсь литературой, я беспрестанно читаю оскорбительные уничижительные статьи о молодых писателях. Я все время слышу одни и те же слова «отставание», «незнание», «уход от действительности», «антинародность», «клевета» и так далее. В своей неприязни к молодым писателям критики эти доходят до такой откровенности, что часто статьи о литературе принимают вид фельетонов, все время чувствуешь, что пишут эти критики не о поэтах и писателях, а о проходимцах, рвачах, о стилягах и преступниках.

Не успел я напечатать свои первые рассказы в 1956 году, как меня тотчас назвали «натуралистом», затем я стал «декадентом», «неореалистом», «эпигоном», «антигуманистом», «абстрактным гуманистом»; писали, что я смотрю на жизнь «из темного угла», что я «клевещу на действительность», что я «серый нытик», что рассказы мои «идейно порочны», наконец совсем недавно на страницах «Крокодила» критик Назаренко написал, что моей рукой водит «дух Смердякова»!

Я не привел здесь и десятой доли тех оскорблений, которые сыпались на меня по мере опубликования моих рассказов, да и не стал бы я писать об этом, если бы дело касалось одного меня. Дело, к сожалению, касается всей молодой литературы — всех талантливых поэтов и прозаиков, появившихся у нас после XX съезда.

Много лет пишет Евтушенко, и много лет его имя с прибавлением оскорбительных эпитетов не сходит со страниц печати. «Духовная нищета», «кумир московских стиляг», «порнография», «порочность», «безыдейность», «буржуазный душок», «северянинский душок» — не критики ли писали все это? Стоило Евтушенко написать хорошее стихотворение «Считайте меня коммунистом!» — как тотчас услыхал он оскорбительный вопль критика: «Я — против!» Со страниц «Сибирских огней» обливают грязью поэта Вознесенского за прекрасные стихи о Сибири. Ему угрожают даже физической расправой. Так прямо и пишут: «Если узнают якуты о поэме Вознесенского, ему не поздоровится!» Прозаика Аксенова называют «фальшивобилетчиком». Прозаиков Бондарева и Бакланова, которые дали нам сильные и мужественные картины Отечественной войны, называли «ремаркистами», «натуралистами», «смакователями грязи» и так далее. Не было у нас талантливого молодого писателя или поэта, в которого тотчас не вцепился бы этот маленький, но назойливый отряд критиков, о котором я пишу. Ругали и ругают прозаика Конецкого, ругают Гладилина, стоило поэтессе С. Евсеевой выступить с первой подборкой стихов в «Юности», как тотчас обрушилась на нее критическая дубинка. Поэтесса Б. Ахмадулина за всю свою жизнь напечатала, наверное, стихотворений пять, а из оскорблений по ее адресу можно составить целую коллекцию. Здоровый, очень русский поэт Цыбин обвиняется в национализме, в сермяжничестве, в грубости!

Это ли критика?

Дымшиц обижается в своей статье на «Тарусские страницы» [2]. Там было сказано, что литератор, который не видит, как пушист снег на Никитском бульваре,— не литератор. Дымшиц считает, что Кочетов получил «оскорбительный укол». Оскорбления здесь я никакого не вижу, во-первых, а во-вторых, Дымшиц почему-то не обижается на Кочетова, который пишет буквально следующее: «Сейчас в литературе толчется кучка пижонов. Пишут они о том, что увидели из окна троллейбуса на московских тротуарах, о том, как пушист снег на Никитском бульваре,— чирикают, выходят со своим чириканьем на подмостки «творческих вечеров», аплодисменты девиц со средним образованием принимают как знаки всенародного признания и, упоенные дешевым успехом, все дальше отстраняются от большой народной жизни».

Кого подразумевает Кочетов под пижонами? Чьи стихи называет он чириканьем? Да все тех же молодых поэтов: Вознесенского, Ахмадулину, Евтушенко, Цыбина, Окуджаву... «Богема», «будуарные поэты» — пишут о молодых. А эти молодые читают свои стихи в огромных аудиториях — в МГУ, в Политехническом музее, на площадях и в магазинах, по телевизору, в школах и институтах, у памятника Маяковскому, наконец! Стихам этих поэтов аплодируют тысячи рабочих, студентов, инженеров, геологов, все ищущие, жадные, молодые, любящие слово и мысль. На вечера этих поэтов почти невозможно попасть, и кто-то уже печатно признавался, что если бы объявить вечер стихов Евтушенко и Вознесенского в Лужниках, то Дворец спорта был бы переполнен! Это ли «будуар» и «богема»? Это ли «пижоны» и «чириканье»? А «девицы со средним образованием» и «дешевый успех»? Оскорбляются уже не только поэты, но и их читатели — огромная, разноликая, горячая аудитория,— но это Дымшицу не кажется странным.

Для чего же пишется все это? Зачем на протяжении многих лет шельмуется творчество каждого мало-мальски талантливого поэта или прозаика? Что и кому хотят доказать эти критики, оскорбляя молодую литературу?

Между тем новое поколение писателей и поэтов, пришедшее в литературу после XX съезда,— талантливо, звонко и сильно. Разнообразие форм у этих писателей удивительное, знание и использование русских и западных прекрасных традиций (то, что критики называют «эпигонством» и «подражательством») — великолепное.

Радостно, что литература наша завоевывает все большее признание на Западе, что книги наши не только переводят там, но что книги эти все чаще становятся в центре внимания, рождают целые литературные бури.

Не нужно мешать этому мощному потоку талантов, довольно уличать в «безыдейности», в «отрыве от народа» всех подряд — и Конецкого, и Тендрякова, и Аксенова, и Гладилина, и Вознесенского, и Евтушенко, и многих, многих других.

«Работать дружно» — призывает Дымшиц. Но ведь мы только отвечаем неприязнью на неприязнь. Мы пишем о любви, о труде, о дождях, о весне, об одиночестве и содружестве, о страданиях и о преодолении страданий, о великом и низком,— мы сами не всегда довольны своей работой, нам хочется лучше и больше, мы ошибаемся и исправляемся. И во всей нашей работе нам всегда помогала и нас ободряла настоящая критика, та критика, в которой мы находим страсть и нежность, философию и гнев, и тонкость мысли, и глубокое понимание дела, которому мы все служим.

А те критики, которые пишут о нас неуважительно, злобно и несправедливо, которые приклеивают к нам одни оскорбительные ярлыки,— такие критики нам только мешают. Они напоминают нам горькую чеховскую шутку насчет слепня, который жалит работающую лошадь. Так кто же виноват, что между нами и этими критиками нет дружбы?

Уж во всяком случае не писатели!

Ю. Казаков.

25.XII.61.

[1] Александр Львович Дымшиц (1910—1975) — критик, литературовед, переводчик, в разное время (в 30—60-х гг.) член редколлегий журналов «Резец», «Ленинград», «Звезда», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Знамя», а также газеты «Литература и жизнь» (1959—1962). Ему принадлежат сборники статей «Литература и фольклор» (1938), «Литература и народ» (1958), «В великом походе» (1962) и другие книги.

[2] Литературно-художественный иллюстрированный сборник «Тарусские страницы» был издан в Калуге в 1961 году при активном содействии К. Г. Паустовского. В сб. печатались неопубликовавшиеся стихи М. Цветаевой, Н. Заболоцкого, Е. Винокурова, Н. Коржавина, В. Корнилова, Д. Самойлова, Б. Слуцкого, проза К. Паустовского, Б. Балтера, Б. Окуджавы, Ю. Трифонова и др. авторов. Казаков поместил здесь рассказы «Запах хлеба», «В город», «Ни стуку, ни грюку». «Тарусские страницы» стали литературным событием начала 60-х годов и вызвали ожесточенную полемику в печати.

О. В. БАЗУНОВУ

Дорогой Олег! [1]

Прости, пожалуйста, за столь поздний ответ, тому две причины: две недели я бродяжил в лесах, и потом ждал твоего адреса, я его потерял и просил у Виктора. Адреса я не дождался, поэтому посылаю бандероль Виктору, а он уж передаст.

Начну сразу с недостатков. Основных недостатков — два. Во-первых, совсем почти не показана жизнь лагеря, т. е. людей, населяющих его. Все внимание отдано Борису, немного Инне — остальные прошли мимо меня, не задев души. И мне не жалко с ними расставаться, а нужно, чтобы было жалко.

Во-вторых, на мой взгляд, не нужны здесь теоретические рассуждения. Они были необходимы, если бы ты, скажем, писал монографию о Сезанне. А в рассказе, в повести неизмеримо важнее показать самый процесс работы художника, его жизнь вообще. Мне важно *как* он пишет, мне надо *видеть* его, а не читать о технологии и философии искусства. Понимаешь? Вспомни тургеневских певцов — они поют, и ты их слышишь. Что бы было, если б Тургенев стал писать о диафрагме, бельканто, интонировании и т. п.?

Так вот: долой теорию и побольше мяса на Иване, Григории, Инне. И еще: хорошо бы было, если бы Борис не просто бы приехал в Молдавию на практику, а приехал бы туда после какой-нибудь мучительной полосы жизни. Диалектическая линия в характерах всегда должна идти вверх или вниз, или как угодно. У тебя же она идет ровно. Что произошло с душой Бориса? Он открыл для себя пейзаж Молдавии? Этого мало. Он должен открыть что-то неизмеримо большее, а это он может сделать, только от чего-то отказавшись в своих прошлых мыслях. Что-то должно в нем разрушиться старое и выстроиться новое.

Впрочем, м. б., я не прав.

В «Холмах» много прелестного — ощущение жара и влаги, облака и земля, гроза, дороги, вода, все это написано вкусно. Люди же тронуты мало, и хотелось бы, чтобы и они были такие, как земля у тебя. И нужно, нужно, чтобы что-нибудь произошло в их жизни,— не только у Бориса, но и у Ивана, у Григория. Григорий стал мягче, прекрасно! Почему же? Кто он и что он? И Иван?

А это легко сделать. Им нужно дать говорить, чтобы они вставали, уходили, приходили, вздыхали, чтобы им снились сны, чтобы у каждого была судьба.

Будь здоров, счастливой тебе работы!

А что Витька? Он не пишет мне. В Л-де он?

В начале июля двинусь я снова на север за второй книжкой своего дневника [2]. Я буду где-то в районе Мурманска и назад поеду через Питер, повидаемся и поговорим.

Таруса. 27 июня (1962?).

Твой *Ю. Казаков.*

[1] Олег Викторович Базунов (р. 1927) — ленинградский прозаик. В письме говорится о повести «Холмы, освещенные солнцем», которая была опубликована в альманахе «Молодой Ленинград» в 1962 году.

[2] Первая глава «Северного дневника» была напечатана в журнале «Знамя» (1961, № 3—4).

Э. Ю. ШИМУ

Милый, мудрый Шим! Вспомнил я твой дом в моем изгнании [1], среди чуждых гор, и стало мне приятно от мысли, что если мне постараться, то и у меня будет когда-нибудь такой же дом, т. е. в смысле ухоженности и красоты земли. Как-то я тут смотрел в громадный телескоп на звезды, а потом вышел вон, но и снаружи не было уютнее — белели вокруг горы и блестели под луной купола обсерваторий, и так мне захотелось в Абрамцево, затопить камин, и чтобы весной вылез из земли тюльпан, баню затопить, и вообще чего-нибудь простого захотелось, что даже нехорошо как-то стало.

Все-таки молодец ты, что живешь на земле, не на асфальте, хорошо, что и я купил себе домишко и что еще одно усилие, еще одна трата денег на ремонт, а потом десяток лет можно не думать о доме, а только о посадках, о теплицах, о расчистке леса, о деревьях и кустах и вообще — жить. И жалко, что благодать эта пришла мне теперь, а не в 25 лет, когда я впервые начал стремиться к землевладению.

В этом году — я твой частый гость, ученик и проситель — буду клянчить у тебя всякие растения, а ты уж не жалей, ладно?

Кстати, не приаезти ли тебе отсюда семян, луковиц или чего-нибудь подобного? Я хочу перед отъездом заняться этим делом, т. е. наберу всего, чего можно, а дома посажу у южной стены и погляжу, что из этого выйдет.

Если у тебя будут просьбы на этот счет — напиши. Что ты пишешь сейчас? Завидую я вам, чертям, что вы свое что-то царапаете, а мне вот надо своей кровью орошать пустыни Казахстана. Но что делать — последний том, верный заработок, аерный, следовательно, хлеб и луковицы, и семена, и ремонты, и налоги, и все остальное. А со своим еще без денег насидишься, знаю я, как писать свое. Зато после Казахстана ни одной нации не подпущу я к себе близко и вновь займусь изучением русского языка.

А камин вышел у меня все-таки великоват, т. е. кубатура самого камина не совсем соответствует сечению дымохода — когда дрова горят дружно, тяга гудит и все в порядке, а когда огонь начинает угасать, то головешкин дым чуть-чуть попадает наружу. Его бы переделать, но как вспомню, сколько грязи было в доме, когда делали, то руки опускаются.

А садовника я себе все-таки найму (если только удастся!) хоть на весну и лето, старикана, ибо одному мне не сладить. Очень уж много работы, и не знаю ничего, а тут, как я убедился, нужно практически поглядеть, как и что, и когда нужно делать, и нужно заложить хорошую основу, а тогда уж легче будет, тогда можно самому. Так что твое издевательское отношение к наемному садовнику в данном случае меня не трогает. Если бы только в Загорске в обществе охраны природы нашелся бы какой-нибудь пенсионер, кот. согласился бы через день ко мне ездить!

Приезжай ко мне, милый Шим, париться в бане! Я ее в этом году отделаю так, что художники будут просить разрешения ее рисовать.

Всех тебе благ, поклон Лене. Если смотришь телевизор, то обращай внимание на программу — м. б., скоро пойдет мой телефильм «Голубое и зеленое», режиссер вроде ничего. Молодой. По фамилии Гресь.

Напиши мне. Сядь вечером у камина или ляг на шкуру и напишя что-нибудь мудрое и поучительное.

Целую тебя.

Ю. Казаков.

18.I.1971.

---

[1] Эдуард Юрьевич Шим (р. 1930) — прозаик и драматург. Родился и долго жил в Ленинграде, а в начале 70-х годов — под Москвой, на даче в Валентиновке, куда и писал ему Казаков, работая в Казахстане над переводом романа А. Нурпеисова «Кровь и пот».

Г. А. ГОРЫШИНУ

Дорогой Глеб!

Я тут совсем было расхворался.

Поздравляю тебя с должностью [1]. Она полезна тебе, все-таки будешь яаляться в присутствие, а следоват. и пить меньше.

Употреби свою должность на добрые дела. Помогай старикам. На молодых плюнь, они молоды, здоровы и своего добьются. А есть талантливые забытые старики наподобие нашего Шергина — и вот таким надо помочь, вспомнить их, провести творческий вечер, рекомендовать что-то для переиздания, схлопотать путевку в Ялту и т. п.

Как твоя новая книжка? Пришли, если вышла.

Плохо, старина, болеть — полтора мес. у меня был грипп с возвратами, только начну ползать, опять укладывает,— хреново это.

Как Курочкин? Жалко его. В санаторий его надо. Он у меня раз был со страшного похмелья и не хотел показать, что с похмелья, а взгляд был дикий, и руки тряслись, и весь как студень.

Я, наверно, летом проездом буду в Питере, хорошо бы, если б ты был. Проездом — это значит, что хочу побывать в Карелии, туда дороги хорошие? Ты машину, гляди, не продавай. Она 100 тыс. км может служить без кап. ремонта, а это для нашего брата на 10 лет! Я и сам было хотел продать, а потом как вспомнил очередищи на автобусы да на поезда (летом особенно), да бессонные ночи на всяких вокзалах и автоб. станциях, так меня в дрожь кинуло, все-таки свои колеса это вещь.

Курочкину, при случае, поклонись.

Охоту в этом году, наверно, запретят? Жалко, я только настроился — в прошлом году я совсем не охотился.

Вася Аксенов сидит в Алма-Ате, стряпает сценарий по переведенному им же казахск. роману. Мой сценарий приняли. Вот так-то.

Как там у вас зима? Нас тут совсем замучила — морозы до сих пор ночью в 20°! Надоело!

Хочу сморчков!

Хочу учиться на рояле. Играть Шопена.

Куплю летом рояль.

Будь здоров, милый, пиши иногда.

15 марта 1969 года. Абрамцево.

Ю. Казаков.

Дорогой Глеб!

Ой как я тебя понимаю, ой понимаю! Еще бы! — после всех-то Парижей, Мадридов, Барселон, Канарских островов, после громадного кабинета с громадной приемной (как пишет Марк) — еще бы, говорю я,— любого потянет за сто верст киселя хлебать. А мне, грешному, это выходит не в жилу. Да и есть ли там у тебя зайцы? А собаки? А удобства?

Нет, милый, еду я в Орлоаскую губернию, в имение князя Дмитрия Кантемира. А там ждут меня егеря и свора гончих и уютный коттедж в сосновом лесу со столовой и с кухней, где можно готовить зайчиное рагу.

Но ты, небось, уж давно на Ловати, а я собираюсь в последней декаде ноября. Я тебе потом напишу, как там было.

А ты что, в самом деле вознесся? Мне тут попалась заметка о перевыборах в вашем Правлении, но ни твое, ни Конецкого имя не мелькнуло, а я вас двоих только знаю и люблю.

Будь здоров, дорогой, ни пуха ни пера!

14 ноября 75 г.

Твой *Ю. Казаков.*

Дорогой Глебыч!

Прости, что так поздно отвечаю тебе на твое такое хорошее и столь смутившее меня письмо и на твою прекрасную книгу [2]. Я ее всю прочел, и оказалось, что — перечел: все твои вещи я читал, но удовольствия у меня от этого не убыло!

Задержался я с ответом, потому что вскорости ждал свою книжку [3] и хотел, так сказать, отдариться. Сидел я в Абрамцеве, а книжка моя вышла, а редактор мне об этом не сообщил (странный редактор у меня). Одним словом, я ее прохлопал, а когда узнал и послал режиссеру своему телеграмму с просьбой купить для меня, то — куда там! Наконец получил я 2 экз. (переиздание!) и совсем загорюнился: вместо 200 тыс. дали мне 100 тыс., а это, как ты знаешь, тысячи три убытку, а потом столько опечаток, сколько не было их у меня во всех моих книжках: барахтались вместо бархатились (про осины), Алешка мой стучит по столу ножкой, а не ложкой, пропуски слов и даже нескольких, так что я в двух местах даже и не понял, об чем речь, вставили мне почему-то *медуницу* (вместо *таволги*) и, значит, ее белую кипень! и шапки!

Словом, сплошное неудовольствие.

Но я доволен отчасти, что удалось протащить «Ни стуку, ни грюку» и «В город», кот. у меня вышвыривали из всех сборников. И почти целый «Нестор и Кир» (он был целый набран, но тут уж, наверное, цензура).

Теперь об охоте. Мне почему-то представилось, что в твоей деревне зайцев много и тетеревов (с чучелами на них). И я рассчитывал на середину ноября, конец откладывая на Орел. А Марк долго не отвечал, и теперь все сваливается на декабрь, значит, чернотропа не будет, будет снег, зайца не увидишь, собак у нас нет... Да еще Марк предлагает

Нагибина позвать и чтоб ты на своей ехал, а я на своей, а еще Рощин тоже на своей — на трех машинах за одним зайцем? Это раньше только пьяные купцы ездили на трех лихачах. Не знаю, что и сказать! Если снег, то еще и лыжи волочить надо!

Может, тогда не на Ловать, а ближе к Новгороду? Нет! — ближе новгородцы все, небось, выбили. Словом, подумай, как лучше.

Книжку я все-таки надеюсь достать и тогда тебе пришлю.

Будь здоров, пиши!

18.XI.77.

Твой *Ю. Казаков.*

---

[1] Глеб Александрович Горышин (р. 1931) — ленинградский прозаик и публицист, был секретарем Правления Ленинградской писательской организации, работал главным редактором журнала «Аврора».

[2] Горышин посылал Казакову сборник своих рассказов «С наилучшими пожеланиями» (1977).

[3] Речь идет о книге Казакова «Во сне ты горько плакал» (1977).

И. С. КУЗЬМИЧЕВУ

Дорогой Игорь Сергеевич!

Ради бога, простите мне столь поздний ответ — много раз собирался писать вам, но каждый раз останавливался: о чем писать? Так много было задумано, такие были грандиозные замыслы — и ничего не осуществилось... Чем похвастаться?

Мне кажется, самым лучшим методом вашей работы [1], если вы еще не раздумали, будет следующий: Вы пишите себе и пишите, исходя, разумеется, из вашего плана, из вашей концепции, а я, если по ходу работы у вас возникнут те или иные вопросы, буду стараться правдиво отвечать на них.

На Западе писали обо мне много, но это все сложно достать и сложно переводить с разных языков. Кроме того, во многих зарубежных статьях присутствует элемент сенсационности, и их всерьез принимать вряд ли стоит.

Где-то у меня есть (только надо искать долго) статья некоего американца, специально присланная мне. Содержания ее я не знаю, разумеется, т. к. не знаю английского, но, кажется, она наукообразна, т. е. там идет какой-то спор с учением Юнга.

Я хотел уезжать в Москву, но, по всей вероятности, буду здесь до весны, так что адресуйтесь мне сюда. Кажется, вы писали о каком-то «детском» моем рассказе несколько лет назад? Если память мне не изменяет и это действительно вы — примите, пожалуйста, мою запоздалую благодарность!

В прошлом году на исходе лета В. Конецкий писал мне и собирался приехать, я ему тоже писал, но он вдруг накрепко замолчал, и я не знаю, пустился ли он опять в плаванье? Или дома? И как его здоровье? Если увидите его, кланяйтесь, пожалуйста!

Пишите мне, впредь обязуюсь отвечать аккуратно, а если будет охота, то и приезжайте, я все это время на даче, в Москву подамся, если вдруг начнут давать мне квартиру.

Всего доброго!

Ю. Казаков.

26 янв. 81.

141352, Абрамцево, Мос. обл., пос. Академиков, дача 43.

На всякий случай мой моск. тел.— 261.73.02. Если Вам скажут, что я не приезжал, значит, я здесь.

Уважаемый Игорь Сергеевич!

Копался я тут во всяких книжках-журналах, сортируя, что оставить, а чем топить колонку в ванной, и наткнулся на сборник «Писатель и жизнь», изд. Моск. универс., 1978 г. Там есть статья Ал. Михайлова обо мне. Статья как статья, но она, м. б., заинтересует вас в той части, где Михайлов говорит о том, как он мне рассказал зимовку своей семьи на Карском море и что потом из этого получилось у меня в «Долгих криках».

На детство же мое особенно не рассчитывайте. Я как-нибудь вам напишу о нем, но оно весьма и весьма бедно событиями (если не считать войну, да войной кого удивишь?).

Хотя могу я Вам при настроении рассказать о двух годах, прожитых мною в Загорске — я учился там в 3 и в 4 классах.

Кстати, меня очень просят написать воспоминания о Литинституте, у них готовится сборник к какому-то юбилею [2], я напишу (если не опоздаю), а копию пришлю вам. Вообще я теперь удивляюсь и горьки слезы лью — зачем, зачем я кончал этот институт! Мне бы уйти со второго-третьего курса или перейти на заочный! Сколько рассказов осталось ненаписанными, страшно представить! Все-таки каждый день с 9 утра и до 5 дня, а то и задерживали еще из-за всяческих семинаров. Когда же тут писать? А желание было страшное! И все потому, что в голове сидел дурацкий диплом — как же без диплома! Теперь я и не знаю, где у меня этот диплом, как получил, сунул его куда-то, так и в глаза больше не видал.

Всего самого доброго!

Ю. Казаков.

25 февр. 81.

Скажите Вите, пусть все-таки напишет мне. (Кстати, у него, если сохранились, есть много моих писем конца 50-х годов, м. б., вы из них нечто почерпнете [3].)

---

[1] Речь идет о работе над книгой: Игорь Кузьмичев. «Юрий Казаков. Набросок портрета», которая была выпущена в Ленинграде в 1986 году издательством «Советский писатель».

[2] Сборник «Воспоминания о Литинституте. 1933—1983» вышел в Москве в 1983 году. Воспоминаний для этого сборника Казаков не написал.

[3] Письма, о которых Казаков упоминает, использованы В. Конецким в документальном повествовании «Опять название не придумывается» («Нева», 1986, № 4). См. также книги В. Конецкого: «Ледовые брызги. Из дневников писателя» (1987) и «Некоторым образом драма. Непутевые заметки, письма» (1989).

Публикация и комментарии И. С. Кузьмичева



Валерий Сажин

ПЕСНИ СТРАДАНЬЯ

Если газеты то и дело сообщают об очередном раскрытом заговоре и новой партии арестованных, осужденных, расстрелянных, высланных, заключенных в лагеря и тюрьмы; если регулярно исчезают соседи по квартире, сослуживцы, друзья; если в комнате под кроватью или у двери возник чемоданчик с собранной партией белья, а от шагов на лестнице или ночного звонка в дверь сжалось сердце — значит аресты, этапы, тюрьмы, ссылки стали повседневностью, частью жизни.

И еще одним из признаков *такого* уклада жизни надо назвать песню.

Появление лагерной песни и ее широкое распространение означало, что эта тема стала темой народной жизни.

Я не пишу исследования лагерной поэзии. Эти заметки — лишь дань памяти создателей двух распространенных песен.

Об авторе одной из них почти ничего не известно. Воркутяне, кто пережил ужасающие обстоятельства тамошних лагерей, сохранили в памяти лишь фамилию автора — Лев Дроновский. Он погиб в чудовищных «кашкетинских» расстрелах (о них не здесь, на ходу, говорить) 1938 года. Песни Дроновского были очень популярны среди солагерников. Вот одна из них:

За Полярным кругом, в стороне глухой
Черные, как уголь, ночи над землей.
Лютый голос ветра не дает уснуть,
Хоть бы луч рассвета в эту тьму и жуть.

Там, где мало солнца,— человек угрюм,
Души без оконца — мрачные, как трюм.
Что-то роковое спрятано на дне,
Каждому с тоскою жить наедине.

Дни в краю изгнанья, как полынь, горьки,
Я и сам, как пьяный, пью вино тоски,
Звонких песен юга больше не пою
И с былым, как с другом, молча говорю.

Мне так часто снится белое крыльцо,
Черные ресницы, смуглое лицо,
Ночью одинокой, мнится, ты не спишь,
Обо мне далеком думаешь, грустишь.

За Полярным кругом счастья, друг мой, нет.
Лютой снежной вьюгой замело мой след.
Не ищи, не мучай, не терзай себя,
Если будет случай — помяни любя.

1937 г. Воркута

Другая песня, об авторе которой обнаружились недавно некоторые сведения,— знаменитый «Ванинский порт». В «Черных камнях» А. Жигулина она впервые воспроизведена в одном из вариантов. В Отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина хранятся воспоминания П. Н. Доровятовского, который после окончания в 1928 году ЛГУ и короткого периода работы в Ленинграде поехал в 1933 году заниматься, как он пишет, культпросветработой в Магадан. Здесь он организовал краеведческий музей и работал в редакции местной газеты «Верный путь». Вот короткий отрывок из воспоминаний П. Доровятовского: «Одним из выдающихся поэтов Колымского края надо считать Николая Серебровского. Он был шофером и часто печатал свои стихи в газете «Верный путь». В то время, когда я работал в редакции этой газеты, он часто заходил к нам. Ему было тогда не более 26—27 лет.

Всякий раз, когда он возвращался из рейса, он привозил что-нибудь новенькое. Желающих ознакомиться с его творчеством я отсылаю к газете «Верный путь». Стихи Серебровского быстро подхватывались, и их пела вся Колыма.

Много лет спустя, однажды, уже на «материке», я услышал, как молодые голоса пели одну из лучших песен Серебровского» (ф. 1149, № 2, л. 26; воспоминания написаны в 1973 г.).

Этой песней и был «Ванинский порт». К сожалению, газета «Верный путь» не предназначалась, вероятно, для широкого распространения — во всяком случае, в доступных мне газетных фондах ее обнаружить не удалось. Неведома мне и земная судьба Н. Серебровского. Но поется его песня — живая душа не одного лишь поэта, а всех сотен тысяч, перестрадавших магаданские, да и прочие этапы.

Вот текст этой песни (привожу по одному из имеющихся у меня вариантов):

Я помню тот Ванинский порт
И крик парохода угрюмый.
Как шли мы по трапу на борт,
В холодные, мрачные трюмы.

От качки страдали зека,
Ревела пучина морская;
Лежал впереди Магадан —
Столица Колымского края.

Не крики, а жалобный стон
Из каждой груди вырывался.
«Прощай навсегда, материк!» —
Ревел пароход, надрывался.

Будь проклята ты, Колыма,
Что названа Черной Планетой.
Сойдешь поневоле с ума —
Оттуда возврата уж нету.

Пятьсот километров тайга,
Где нет ни жилья, ни селений.
Машины не ходят туда —
Бредут, спотыкаясь, олени.

Я знаю, меня ты не ждешь
И писем моих не читаешь.
Встречать ты меня не придешь,
А если придешь — не узнаешь.

Прощайте, и мать, и жена,
И вы, малолетние дети.
Знать, горькую чашу до дна
Пришлося мне выпить на свете.

По лагерю бродит цинга.
И люди там бродят, как тени.
Машины не ходят туда —
Бредут, спотыкаясь, олени.

Будь проклята ты, Колыма,
Что названа Черной Планетой.
Сойдешь поневоле с ума —
Оттуда возврата уж нету.

Владимир Уфлянд

МОГУЧАЯ ПИТЕРСКАЯ ХВОРЬ

Питерский воздух и невская вода отравлены в числе прочих токсинов неким ядом, вызывающим непреодолимую жажду стихотворчества. Жажда эта неизлечима, кончается вместе с кончиной стихотворца. Микроскопическую запятую, вызывающую этот недуг, не убивает ни печальной славы питерский климат, ни смертельно вредное для всего живого государственное устройство, ни вынужденная безденежьем голодная диета, ни водка, ни поучительные редакционные рецензии.

Эта хворь могуча равно и в традиционной, и в авангардистской форме, с годами не ослабевает, а наливается зрелостью, ее жертвы матереют в своем недуге, достигая мастерства и способности на многие годы опережать развитие поэтических форм и событий. Она перекочевывает с одержимыми ею через океан и в самых тяжелых случаях делает урожденных питерских стихотворцев признанными величайшими мастерами поэзии.

«А, ничего себе словообразование: стихохворец!» — одобрительно сказал бы Иосиф Бродский. Или, наоборот, разнес бы его автора на молекулы за тривиальность и медицинский уклон. Однако не столь уж трудно доказать, что болезнь — это нормальное состояние человека, общества, страны, вселенной. А редкие минуты кажущегося здоровья — лишь откровении, ниспосылаемые свыше, чтобы показать, как легко, покойно и скучно будет в раю.

ПОЭТ СЕРГЕЙ КУЛЛЕ

Русский поэт Сергей Леонидович Кулле родился 29 февраля 1936 года, прожил всю жизнь в Ленинграде и умер 28 октября 1984 года от рака, дома, на руках у жены Маргариты.

Он оставил сотни доведенных до совершенства, собранных в образцовом порядке стихотворений. Имея много других талантов и достоинств, Сергей Кулле по роду жизни был поэт и только поэт.

Сомнительна надежда, что в ближайшем будущем многочисленные ценители и читатели будут иметь возможность основательно ознакомиться с поэзией Сергея Кулле и его имя прославится. Прежде всего потому, что сам поэт расположения к вни-

мания читателей, ценителей, заказчиков, опекунов, распорядителей поэзии искал далеко без надлежащей настойчивости. Он был редчайшим гостем в редакциях, а равно и в подпольных литературных собраниях. Кажется, всего два его шедевра были опубликованы (Ленинградский «День поэзии», 1966). Сейчас в этом же альманахе публикуются еще несколько. С 1956 года, после университета, он не читал перед аудиторией. (Об одном из его немногих выступлений был незаурядный по гнусности фельетон в многотиражке ЛГУ в марте 1956.)

Соблазнительно предположить и доказать, что поэт писал для себя и единственного читателя — Маргариты. Но эту красивую легенду он сам же непринужденно разрушал при случае, посвящая в свои создания нескольких друзей. Возможно, он ощущал среди людей нынешнего времени одиночество и отчужденность, ибо был олицетворением редких сейчас твердейших моральных принципов.

Наглухо замыкался при столкновении с наглым практицизмом, хотя необщителен не был.

Был затворником, но не принципиальным.

Не смотрел телевизор, редко ходил в кино, но, кажется, читал газеты и слушал радио.

От современной жизни не отрекался, но предпочитал собственную модель бытия.

Отказался начисто от какой-либо карьеры, куцых привилегий, но не пытался деклассироваться в кочегары. Пунктуально и добросовестно служил на одном месте много лет, буквально до последней недели жизни.

Проявлял незаурядную осведомленность в политике и социологии, но слишком презирал истеблишмент, чтобы вступать с ним в прения. Был эрудированным и квалифицированным знатоком русской и мировой поэзии и прозы. Современными себе авторами интересовался без истинной пристрастности, однако умел из нынешнего всемирного потопа сочинительства выхватывать все, что стоило читать. Он ни с кем не соревновался в славе и умении, и к его литературным оценкам не примешивались никакие посторонние чувства. Он был сам по себе и в сущности не принадлежал ни к тогдашней первой, ни ко второй, ни к какой-либо еще литературной действительности, кроме своей собственной. Был он предан поэзии и верил в ее самоценность. Литература была для него не способом существования, а смыслом. Не профессией, не службой, не карьерой, а именно смыслом.

Ежедневные прогулки по Петербургу и Петрограду и ежегодные небольшие путешествия, составленные по путеводителям начала века. Каждый вечер книги, стихи, рюмка водки за ужином с Маргаритой, иногда с друзьями. Счастливую ли — может знать только он сам, но настоящую жизнь поэта прожил Сергей Кулле.

Не смею судить, к какому литературному направлению он принадлежал. Может быть, классицист, а может, авангардист. Был он современный поэт, хотя ухитрился не отразить кошмарных страданий лишенной свободы самовыражения души, которыми гордится каждая творческая личность. Избегал употребления всуе имен богов, мифологических и литературных героев и других красивых слов. Не делал попыток приспособить достижения и приемы современной англоязычной или иной поэзии к русской. А просто был современен, главным образом, самому себе.

Ни одного красного словца ради красного словца. Правда, иногда двадцать строк из одного слова. За небольшими исключениями, верлибр. Почти нет метафор, которые и не нужны поэту, владеющему столь совершенной интонацией. Он много усвоил из самой разной предшествующей поэзии, много нашел сам, пристрастился к излюбленным приемам. Можно, конечно, попытаться найти ему место на древе поэзии между такими-то и такими-то предтечами и современниками, но оставим специалистам.

В 1977 году четверо, включая автора этих строк, по настоянию Сережи собрали совместную книгу стихов в четырех экземплярах. Отличий у всех четверых больше, чем общего. В основе — взаимная литературная и человеческая симпатия. Трое живы и надеются здравствовать еще сколько Бог даст. Но ни один не возьмется утверждать, что его поэтическая мнимодействительность долгопрочнее, надежнее или истиннее сотворенной русским поэтом Сергеем Кулле.

Памяти Д ***

На Крестовском острове,
возле начала Морского проспекта
государство срубило дерево.
— Не срубило, срезало!
Пусть так.
Толщиною в обхват.
Так что нам с Маргаритой,
ни даже, отец, нам с тобой
не обнять бы его.
Для чего же ты срезало дерево,
государство?
— Не государство. Республика.
Город. Не город, район.
Не район, а просто какой-то
умелый умелец.
Ну ладно.
Так и запишем в скрижалях.
Нам все равно.
Только знайте:
никогда ведь не вырастить вам
другого такого красавца.

До свидания, дерево!
Дерево в сердце моем!

1976

ТРИСМЕГИСТ МЕТАФОРЫ

Литературного человека моего поколения трудно сейчас удивить чем-нибудь стихотворным.

Раз и навсегда удивленный в 1957 году восемью строчками Михаила Ерёмина:

Боковитые зерна премудрости,
Изначальную форму пространства,
Всероссийскую святость и смутность
И болот журавлиную пряность
Отыскивать в осенней рукописи,
Где следы оставила слякоть,
Где листы, словно платья луковицы,
Слезы прячут в складках,—

он может вторично удивиться только тому, что и в 1987-м никто, кроме Ерёмина, не может втиснуть в восемь строк столь огромный объём поэзии:

Наличествовать как орфографическое
«твердо»
В несчастный час,
Когда под городом ворочается пустота
И рвутся цепи звонких окон,
Освобождая грани
От крепости углов,
А путник, соболезнуя владельцам
штучной рухляди,
Имуществует без потерь.

Ерёминская мнимодействительность оказалась крепче реальной социалистической действительности. Его миру, его России не грозит растерянность перед призраком надвигающейся катастрофы, ибо его Россия всегда находилась и находится в состоянии перманентной катастрофы, это её естественное состояние, и никакой разгул либерализма не может ещё более ухудшить и дестабилизировать ее ветхую нестабильность.

Глубине катастрофы соответствует трех-четырех и более степенная, трех-четырех-пяти и более мерная ереминская метафора. Иногда канонические для него восемь строк заключают всего одну по существу метафору, но, чтобы добраться до ее основания, надо извлечь из неё корень порой энной степени, далеко превосходящей число 8.

Двухэтажное распутье.
(Бес — бродягой под мостом?),
Линзою — очаг вне стен — руины храма.
Льстясь, что есть свобода кроме мага,
тати и царя,
Видеть: ночею ведомы из-за леса скелеты
Мачт. (Далёко ль омут и комолый ли
Весопляс высоковольтный?) Гос-
Гость или hostia? — поди —
Potis и отец!

1979

Примечания автора:

Весопляс — вольтижер *(русск.)*. Являлся в безлюдных местах на проводах.
Hostia — жертва *(лат.)*.
Potis — могущественный *(лат.)*.

Запечатав своими недоступными непосвященным заклинаниями всю отечественную, всемирную и всевременную бесовщину, сам Михаил Фёдорович вновь погружается в обыденную жизнь с заботами, неурядицами, недомоганиями, переводами среднеазиатских поэтов. Его собственная фигура присутствует в его поэзии лишь как вполне прозрачный, не препятствующий зрению потусторонний демиург. Влияние его настоящей жизни на существование созданной им параллельной вселенной трудно обнаруживаемо. Колдун и алхимик, он овладел сверхъестественными свойствами метафоры и посредством ее преобразовывает мир по своему усмотрению, но не для своего удовольствия.

Его малодоступную во всех смыслах поэзию посвященные читают в самиздате и тамиздате. Она выше понимания стоящих у литературного кормила (кормушки) литературных профессионалов, не говоря уже о литературных чиновниках. Московские метафористы с трудом, но проникают в печать. Но чтобы Трисмегист Метафоры собственноручно стучал в обшарпанные редакционные двери — не слишком ли велика честь для худлитов и совписов?

Ободренная плюрализмом литература спешит рассчитаться за накопленные обиды и получить сатисфакцию за долгое ожидание перемен. Когда еще дело дойдет до литературной перспективы и утонувшие в рукописях на животрепещущие темы издатели спохватятся: а что же будет дальше? Где завтрашнее слово?

А завтрашнее слово уже сказано нищим питерским (отчасти и московским) поэтом Михаилом Ереминым.

ЛЕВ ЛОСЕВ: «ТЕКСТ — ЭТО ЖИЗНЬ...»

Из моих друзей только один поэт начал ревностно писать стихи в 37 лет. Лев Лосев, в 1974 году. И стал он событием русской словесности, как назвал его Иосиф Бродский, уже в Америке.

Когда шумно уезжал Иосиф Бродский, было трудно, но можно убедить себя нам, остающимся, что он едет лихо освоить Дикий Запад, распахать пару-другую прерий русской поэтической сохой и вновь научить одичавших пегасов-мустангов классическим размерам и рифме.

Скромно и полутаинственно уезжавший с женой Ниной и двумя детьми Леша Лосев даже с бородой больше походил на советского пионера, чем американского. Я уверен, что он ехал не за счастьем. Такие люди достаточно начитанны, чтобы знать, что счастье только там, где нас нет. Но в Америке можно было работать, не опасаясь заработать срок. Высочайший литературный профессионализм и универсальные знания доставляли Лосеву в России не-

сравнимо меньше неприятностей, чем те же достоинства доставили его другу Иосифу Бродскому. Лосев артистично умел их скрывать. Недаром через несколько лет он написал книгу «Эзопов язык в Новейшей Русской литературе». На американском континенте появился сначала профессор славистики Дартмутского университета, блестящий литературовед, авторитетный мастер. Помедлил несколько лет и выступил в качестве маэстро, виртуоза русского насыщенного поэтического текста.

Выпустивший первые книги в 1985-м («Чудесный десант») и 1987-м («Тайный советник»), Лосев по большинству признаков настоящий поэт шестидесятых. И среди своего поколения, поэтов шестидесятых годов, он сразу появился на том уровне мастерства, где, по определению Иосифа Бродского, не существует иерархии. На этом уровне поэт осознается не как больший или меньший мастер, не как новатор или архаист, не как представитель петербургской или московской школы, а как производная от своей человеческой значимости. У поэта она проявляется в языке. В русском можно, правда, долго прятать эту значимость, но незначительности не спрячешь.

Найдя этот свой единственный способ проявиться в языке, поэт может не заботиться о поисках своего читателя. Читатель должен искать своего поэта. Но читатель — здесь, а Иосиф Бродский или Лев Лосев — на другой стороне планеты.

И тем не менее, если читателю нужен поэт, для которого не существует мнимых ценностей, банальных истин, наряженных в метафоры, если читателю нужен поэт антидогмы, он будет искать именно Лосева и найдет его где-то в той области поэзии, где в ней обитает мудрость, знающая то, что ничего не знает. Адепты всевозможных всезнающих идеологий, читая Лосева, впадут в бешенство. Человеку такой осознательности не грозит несвобода, ибо он не строит иллюзий и не творит себе кумиров. При этом он поэт, и поэт в силе. Сила в том, что каждый его «текст — это жизнь» (цитата из стихотворения Лосева «Ткань (докторская диссертация)»).

А жизнь такова, что Америка, впрочем, как и Россия, в лести не нуждается. Той и той стране нужна правда и ничего кроме. Вслед за Иосифом Бродским Лосев не льстит ни первой, ни второй родине. Родина есть родина, какая бы она ни была. Из Америки в Россию с болью пишется Лосеву. Очень часто он беспощадно причиняет боль и самому себе, он себя не щадит.

Не поворачивается язык воспользоваться словами «эмиграция», «диаспора». Мои петербургские и московские друзья не более понятны мне, чем нью-йоркские, нью-хемпширские или парижские. Надежда увидеться с уехавшими еще недавно была нулевой. Но поля взаимного притяжения не мог разомкнуть никакой железный занавес. Взаимный обмен энергией не прекращался. Полюс со знаком минус был здесь. И наконец, русской поэзии в изгнании удалось выразить меру тревоги за приговоренных к пожизненному развитию развитого социализма. Я говорю о стихотворении Лосева «Чудесный десант».

Все шло, как обычно идет.
Томимый тоской о субботе,
толокся в трамвае народ,
томимый тоской о компоте,

тащился с прогулки детсад.
Вдруг ангелов Божьих бригада,
небесный чудесный десант
свалился на ад Ленинграда.

Базука тряхнула кусты
вокруг Эрмитажа. Осанна!
Уже захватили мосты,
вокзалы, кафе «Квисисана».

Запоры тюрьмы смещены
гранатой и словом Господним.
Заложники чуть смущены —
кто спал,
кто нетрезв,
кто в исподнем.

Сюда — Михаил, Леонид,
три женщины, Юрий, Володи!
На запад машина летит.
Мы выиграли, вы на свободе.

Шуршание раненых крыл,
влачащихся по тротуарам.
Отлет вертолета прикрыл
отряд минометным ударом.

Но таяли силы, как воск,
измотанной ангельской роты
под натиском внутренних войск,
понуро бредущих с работы.

И мы вознеслись и ушли,
растаяли в гаснущем небе.
Внизу фонарей патрули
в Ульянке, Гражданке, Энтеббе.

И тлеет полночи потом
прощальной полоской заката
подорванный вами понтон
на отмели подле Кронштадта.

Из стихотворений, подобных этому, собираются антологии. Для меня большая честь быть одним из адресатов этих неразъемлемых 36 строк на русском языке.

Другой из Володей — Герасимов, живая энциклопедия литературного Петербурга, фигурировавший как «жалкая окололитературная личность» в доносе «Окололитературный трутень», посвященном Иосифу Бродскому (Гордин. «Дело Бродского». «Нева», № 2, 1989 г.).

По странному или закономерному совпадению все поименованные в стихотворении в разные годы побывали в героях фельетонов. Юрий — Ю. Л. Михайлов, поэт, журналист — удостоился этого еще при жизни

Сталина, в 1952 году, 16 декабря в «Комсомольской правде» («Трое с гусиными перьями») как один из участников, вместе с Михаилом Красильниковым и Эдуардом Кондратовым, ехидного суперрусофильского хеппенинга в ЛГУ, в самый пик кампании против космополитов. Михаил — М. Ф. Ерёмин; Леонид — Л. А. Виноградов, герои фельетонов начала 60-х годов, поэты, предвосхитившие уже в те годы поэзию 80-х и опередившие ее в существеннейших достижениях. Эти упомянутые, а также Сергей Кулле, Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Глеб Горбовский, Александр Кондратов составили ближайший круг литературных подстрекателей Леши Лосева. К списку можно добавить москвичей: Станислава Красовицкого, Генриха Сапгира. Я обрываю список не потому, что он полон, но потому, что не могу соревноваться с Львом Лосевым в способности вместить в литературной памяти все значительные достижения предшествующей и современной литературы. Его жена Нина, блестящая поэтесса, во многом определила тот уровень, ниже которого Лосев не мог начать писать. Искушенная западная славистика прослеживает связи Лосева с Ходасевичем, Набоковым и т. д. Не берусь состязаться, но согласен, что Лосеву свойственно непредубежденное освоение всего предшествующего: классицизма, модерна, авангарда, неоклассицизма, постмодерна, поставангарда. Не удивлюсь, если в венах и артериях Леши течет вместо крови русская литература, русская словесность. Он ее орудие. Но и хозяин. Он чудесным образом делает из жизни текст и дает жизнь тексту.

ЗАКЛИНАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ

Иосиф Бродский, выживаемый КГБ из России, в отместку прихватил с собой город Питер и возит его с собой по всем пространствам и временам, от Древнего Рима и Ерашалаима до Нью-Йорка.

Если бы я даже не жил с ним в одно и то же время на одной улице, не учился в школе напротив его дома (как, впрочем, и Миша Еремин, и Леня Виноградов, а позднее и Валера Попов), не работал на том же заводе, не сидел в той же тюрьме, что потом и он, я все равно узнал бы эти места в магической путанице разорванных рифмами фраз, из которых образуется неповторимый и непрерывный жизненный монолог, называемый поэзией Иосифа Бродского.

Он мог бы обойтись без метафор, настолько созданная им в стихах действительность ничем не украшена, утомительна и жестока, совсем как настоящая. Отличие ее от общенаблюдаемой в том, что она создана самим Иосифом Бродским для удобства извлечения из нее поэзии, для возможности существования в ней, но не для облегчения своей участи и спокойствия.

Иосифу Бродскому удается существовать в собственной трагической и неуютной действительности, почти не соприкасаясь с внешним, лежащим за пределами его поэзии миром. Одному из немногих, Иосифу удалось заклясть, загипнотизировать, изгнать чуждый его представлению мир куда-то на задворки своего поля внимания, отобрав у мира Античность, времена Ветхого и Нового Завета, Россию, Америку, Петербург, Лондон, Новую Англию и все остальные облюбованные поэтом времена и географические пределы.

Действительность Бродского густа, как его метафора, сконцентрирована, как крепкий стих, превращена в экстракт поэтической сущности всего сущего. Горький в результате получился экстракт. В таком сгустке, как в плотном звездном скоплении, к чему ни протянешь руку — все окажется предметом поэзии. Остается только запечатлеть, точнее, заклясть магическим сочетанием слов и звуков, заклясть собственной жизнью.

Магия Иосифа Бродского иная, более мощная, чем поэтическая магия его великих предшественников. Он пытается убедить всех, что он, как и всякий поэт, орудие языка. Он, может быть, искренне уверен, что существует только в пределах речи. Он, может быть, воображает себя просто частью речи. Однако что-то не у каждого встречного в наше время язык обретает магические свойства. Сплошь и рядом наоборот. Языком же пытаются лишить язык всех признаков сверхъестественности и Богом данности.

Как всякая подлинная магия, то есть таинство, поэтическая магия Иосифа Бродского не должна поддаваться разложению на элементы и научному исследованию. Но какие-то представления о его поэтической технике литературоведам удается суммировать как бы для того, чтобы еще раз удивиться, из какого мусора создается философский камень или эликсир. Более того, находятся даже эпигоны, пытающиеся освоить ту же метагалактику поэзии, которую создал для себя Бродский, вместо того чтобы бросить эти бессмысленные попытки и обратиться к неосвоенным поэтическим пространствам. Для того, чтобы создать нечто подобное, надо быть прежде всего личностью такой неисчерпаемости и астрономически могучего притяжения, как Иосиф Бродский.

Ладно, хватит нас пугать! — скажет поэт младшего поколения и будет прав. Не так огромен и ужасен Бродский, как в запале чувств догиперболизировался автор. Сдаюсь. Иосиф Бродский, главным образом, славен юмором и обаянием. С большим удовольствием маг отвлекается от заклина-

ний и становится просто иллюзионистом. Любит, любит он и отдохнуть, и развлечься. Он бы не был собой, если бы кроме высших поэтических тайн, известных одному ему, не владел всеми профессиональными навыками стихотворца, способного на экспромт в непринужденной обстановке.

Лесная идиллия

I

Она: Ах, любезный пастушок,
у меня от жизни — шок.
Он: Ах, любезная пастушка,
у меня от жизни — юшка.
Вместе: Руки мерзнут. Ноги зябнут.
Не пора ли нам дерябнуть.

II

Она: Ох, любезный мой красавчик,
у меня с собой мерзавчик.
Он: Ах, любезная пастушка,
у меня с собой косушка.
Вместе: Славно выпить на природе,
где не встретишь бюст Володи.

III

Она: До свиданья, девки-козы,
возвращайтесь-ка в колхозы.
Он: До свидания, буренки,
дайте мне побыть в сторонке.
Вместе: Хорошо принять лекарства
от судьбы и государства.

IV

Она: Мы уходим в глушь лесную.
Брошу книжку записную.
Он: Удаляемся от света.
Не увижу сельсовета.
Вместе: Что мы скажем честным людям?
Что мы с ними жить не будем!
С государством щей не сваришь.
Если сваришь — отберет.
Но чем дальше в лес, товарищ,
тем, товарищ, больше в рот.
Ни иконы, ни Бердяев,
ни журнал «За рубежом»
не спасут от негодяев,
пьющих нехотя боржом.
Глянь, стремленье к перемене
вредно даже Ильичу.
Бросить все к едреней фене —
вот, что русским по плечу.
Власти нету в чистом виде.
Фараону без раба
и тем паче — пирамиде —
неизбежная труба.
Приглядись, товарищ, к лесу!
И особенно к листве.
Не чета КПССу,
листья вечно в большинстве!
В чем спасенье для России?
Повернуть к начальству «жэ».
Волки, мишки и косые
это сделали уже.
Мысль нагнать четвероногих
нам, имеющим лишь две,
привлекательнее многих
мыслей в русской голове.
Бросим должность, бросим званья,
лицемерить и дрожать.
Не пора ль венцу созданья
лапы теплые пожать?

(60-е годы)

В. Кривулин

У ИСТОКОВ НЕЗАВИСИМОЙ КУЛЬТУРЫ

Ленинград, осень 1959 года. На углу Садовой и Невского висит репродуктор, разносятся слова Хрущева: «Нынешнее поколение молодых людей будет жить при коммунизме!»

Это говорилось о нас, нынешних сорокалетних. О тех, кто принадлежит к «поколению дворников и сторожей», как поется в песне Бориса Гребенщикова, зазвучавшей уже в перестроечные годы. Когда я впервые услышал эту песню по местному радио, вспомнились строки литературного манифеста, сочиненного тремя пятнадцатилетними подростками, оказавшимися на углу Садовой и Невского как раз в то время, когда гремели приснопамятные слова Хрущева. Завершался XXI внеочередной съезд КПСС. Там, в Москве, принимали новую программу партии, а мы, сами того не ведая, предприняли *первую* за 30 лет наивно-самонадеянную попытку манифестировать некую новую художественную общность.

Ощущая себя как бы в предбаннике грядущего литературного коммунизма, этакого художественного рая с небом в алмазах, мы (после долгих споров) нашли довольно-таки странную формулу для самоопределения. Манифест начинался так:

«МЫ, ДВОРНИКИ СТАРОГО ИСКУССТВА, МЫ, КОЧЕГАРЫ НОВОГО...»

Не помню уж, что именно мы собирались

делать в этом пролетарском качестве, но первая фраза осталась в памяти потому, быть может, что самым неожиданным образом воплотилась в реальность.

Из репродуктора хлынули несмолкаемые аплодисменты, потом бравурная музыка. Радио орало: «Не кочегары мы, не плотники!» В соседнем кинотеатре «Аврора» шел фильм «Высота», а мы, юные поэты, долженствующие обучаться во Дворце пионеров имени А. А. Жданова искусству советского стихосложения,— мы настаивали, сочиняя манифест, на своей «подземности» вперекор пропагандистской машине, которая истерически звала к новым высотам и славила романтику сварочных работ, выполняемых с энтузиастическим пренебрежением к технике безопасности.

И мы на свой лад восприняли это пренебрежение: в нас умер страх, внедренный в отцов и дедов, большинство из нас утратило инстинкт социального самосохранения — и наиболее яркая и самобытная часть нашего литературного поколения спустя четверть века обнаружила себя в самом низу общества — в реальном, а не метафорическом низу, а подвалах котелен и дворницких.

Да, дом состоит из подвала, жилых этажей и чердака. Целое поколение писателей — не вдруг, конечно, и тем более не сознательно — выбрало нежилые уровни: верх и низ, помещения, где «нормальные люди» не живут. Только там, на задворках жизни, смогла зародиться и существовать независимая русская культура последнего тридцатилетия.

Все началось с трещины в доме. Это была трещина между парадной моделью жизни — той жизни, какая формировалась по книгам и фильмам «середины века», и реальностью, повседневностью, бытом («жизнью» назвать то, как мы жили на самом деле, язык не поворачивается: коммуналки, очереди, нормальная обыденная униженность каждого нормального советского человека). Трещину эту обнаружили наиболее чуткие из писателей еще в середине 50-х годов, ощутив, что прежде цельный, великий, могучий и т. д. русский язык стал звучать как-то надтреснуто, ненатурально, начал словно бы двоиться... В «Литературной Москве» был напечатан рассказ А. Яшина «Рычаги», немедленно вызвавший резкую полемику и неизбежный административный окрик. Герои рассказа — простые русские люди, сельские коммунисты, колхозная партячейка. Идет собрание. На собрании присутствуют «рычаги политики партии в деревне». «Авангард сельского пролетариата» отмечает необходимость что-то повысить, чем-то ударить, за что-то бороться. Перед нами какие-то говорящие машины, а не люди. Но вот постановление принято, собрание завершено — и мы слышим человеческие голоса, живую русскую речь. Феномен двуязычия, о котором столько говорилось на I Съезде народных депутатов, как мне думается, поразил официозную русскую культуру последних десятилетий, поразил более сокрушительно и радикально, нежели культуры иноязычные — скажем, эстонскую или грузинскую. Наше двуязычие действительно граничит с двоедушием и двоемыслием. Общество настолько сжилось с сосуществованием двух языков внутри одного, что многие, переходя в зависимости от обстоятельств с официального на разговорный язык, даже не замечают момента перехода. Обнаружить, что ты говоришь на двух языках, живешь по двойному моральному стандарту,— значило обнаружить трещину в родном доме, прослыть либералом, паникером, а ежели ты еще и настаиваешь на своем открытии — то, разумеется, шизофреником.

«Дети XX съезда» (Евтушенко, Вознесенский, Сулейменов, Горбовский, Кушнер) попытались заговорить преимущественно по-человечески, делая вид, будто «парадного» языка попросту не существует. Их героем стал нормальный, а общем-то славный средний человек, который вместе с другими был раньше обманут, но теперь прозрел. Традиционная для нашей литературы тема «маленького человека» вновь зазвучала в рассказах Ю. Казакова, В. Белова, В. Шукшина. Маленький человек сделался лирическим героем поэзии 60-х. Незаметность предпочтительней героики, человеческий язык естественней казенного. Обнаружить природу нашего двуязычия и двоемирия литература и поэзия 60-х годов побаивалась — писатели, исключая Яшина, словно бы сговорились не замечать казенной части нашего сознания, официозной надстройки нашего бытия.

А. Кушнер замечательно выразил эту новую концепцию «незаметного героя»:

При всем таланте и уме
В библиотечной полутьме
Так и состаришься, друг милый.
А я на школьных сквозняках
Состарюсь, мел кроша в руках,
Втирая в доску что есть силы.

У века правильный расчет:
Он нас поглубже затолкнет
(Он знает: мы такого теста)
Туда, где ценятся слова,
Где не кружится голова,—
И это, точно, наше место.

Голова у незаметного героя действительно не кружилась. Они одинаково безропотны — скромный библиотекарь, школьный учитель, Иван Африканыч из «Привычного дела». Но вот парадокс: такой герой оказался необыкновенно удобен и для власть имущих. Более того, и сам герой этот обрел некоторые бытовые и духовные удобства, прижившись в литературе. Говоря сейчас с раздражением об эпохе за-

стоя, мы все-таки забываем, что годы стагнации оказались весьма благоприятными именно для маленького, незаметного человека. По сути, то была эпоха господства посредственности, когда повсюду торжествовало «человеческое, слишком человеческое» и в библиотечной полутьме защищались диссертации на полузапретные темы, где — по правилам игры — пестрели ненужные цитаты из классиков марксизма и ссылки на последние постановления. Незаметный герой то и дело сбивался на фальцет, а продвигаясь по служебной лестнице, начинал (при соответствующих обстоятельствах) изъясняться исключительно на том языке, каким изъяснялись «рычаги» в рассказе Яшина, оставляя язык человеческий для приватного общения. Но казенный язык брежневского времени был все же куда более комфортабелен и человекоподобен, нежели сталинский. Доминировали серые тона, безличные формы, в академической живописи тех лет преобладала «грязца», и если подбирать акустический ключ к искусству эпохи стагнации, то можно говорить лишь о насильственно суженном диапазоне средних частот, тогда как нижний и верхний регистры срезаны, недопустимы.

Мы до сих пор инстинктивно шарахаемся крайностей, забывая, что и центр, середина может быть куда более агрессивной и тоталитарной. Официозная культура брежневского времени, «культура середины» была не чем иным, как прямым выражением эстетического диктата посредственности, почти животной нетерпимости ко всему непохожему, ненормальному. Слова Ю. Афанасьева об «агрессивно-послушном большинстве» на Съезде народных депутатов свидетельствуют, насколько глубоко всю нашу жизнь пронизала «культура маленького, незаметного человека», какой мощной социальной силой она стала.

Но вернемся на 30 лет назад. Именно тогда наметилась альтернатива, о которой до сих пор неизвестно широкому читателю и зрителю. Имена талантливых одиночек, непризнанных в свое время, всплывают на страницах журналов, о них снимают фильмы, им посвящают радио- и телепередачи. Создается впечатление, будто на всю страну было всего несколько человек, отказавшихся принять общепринятые правила игры, обиженных вниманием, неузнанных обществом. Их жалко, они — «жертвы застоя». И мало кому приходит в голову, что перед ним лишь осколки, малая и далеко не всегда самая существенная часть того сложного, развитого и самобытного художественного целого, каким является советская независимая культура, культура «дворников и сторожей».

Она возникала в ультра- или инфразвуковых средах, за пределами срединного общественного слуха, на реальных чердаках и в реальных подвалах. Здесь, на окраинах бытия, сталинской парадной картине мира противополагалось уже не «человеческое, слишком человеческое», но иная, новая метафизика, рождавшаяся как выражение крайних, полярных (а не срединных), пограничных состояний человеческой личности. Здесь, в конце 50-х годов прошел водораздел между теми, кто «успел» попасть в официоз, и теми, кто сознательно или бессознательно отказался от такой возможности. Речь идет о целом поколении писателей, художников, мыслителей. «Дети двадцатого съезда», нынешние пятидесятилетние, соблазнились принять десталинизацию как последнюю позитивную цель. Те, кто входил в литературу, когда десталинизация пошла на спад, для кого первым сознательным впечатлением была травля Пастернака, холуйская свистопляска вокруг Хрущева, ильичевский погром абстракционизма и, наконец, трагический финал «пражской весны»,— то есть нынешние тридцати-сорокалетние оказались в положении куда более сложном. Смешно было бы требовать дехрущевизации или дебрежневизации. Изначально не было иллюзии и надежд, а которых потом пришлось бы разочаровываться. Не было воли к социальному самовыявлению: появляется целая плеяда поэтов, даже не обращавшихся в редакции, ибо любое слово, проникшее в печать, воспринималось ими с недоверием и едва ли не с омерзением, как фарш, пропущенный сквозь цензорскую мясорубку.

Независимая культура вырастала из фундаментального недоверия к любым подцензурным формам художественной деятельности. Она возникала на грани религиозного неприятия «Града Земного», в каком бы соблазнительном облике он ни являлся.

Перед лицом «Града Небесного» нищими казались дворцы и закрытые распределители, ничтожно малыми — госпремии и миллионные тиражи. В наши дни слово *«нищета»* по частоте употребления приближается к «перестройке» и «гласности». Мы словно бы оглянулись вокруг себя и увидели, что живем в нищающем обществе. Открытие это было бы равносильно национальной катастрофе, если бы не те обертона, которые плохо уловимы иностранцами, но безошибочно отмечаются языковым подсознанием народа, не разорвавшего с церковной традицией. И в этом смысле «нищета» не есть нечто однозначно негативное, подлежащее искоренению, социальному восполнению после раздела имеющихся вещей и ценностей «по справедливости», поровну. В плане духовном «нищета» обозначает, скорее, особое состояние психологической готовности к принятию некоего нового наполнения личности, ненасытимую жажду полноты духовного существования, и с этой же точки зрения социальная функция «нищего» — это своего рода провокация окружающих на акт милосердия, выявление лучшего, высшего в них.

Независимая поэзия возникала в обществе, где духовный план понятия «нищета» не был еще полностью вымыт из национального сознания, хотя и оказался в значительной мере изращенным. До последнего времени мы были убеждены, что живем если и не в процветающем, то хотя бы в потенциально богатом обществе, на земле возможного изобилия и благополучия. Речь идет не столько даже о показном изобилии пырьевских «Кубанских казаков», где столы ломились от бутафорских фруктов и овощей, или о фасадах псевдоампирных послевоенных построек, которые обильно украшались гипсовыми вазами, полными условных даров земли. И дело даже не в том, что быт за этими фасадами был и остается полуголодным, что не хватало и не хватает самых необходимых вещей, а рядом, в полусотне метров, тянутся перенаселенные бараки или барачного вида новостройки. Дело в том, что на какой-то исторический момент мы превратились в нацию Акакий Акакиевичей, научились наделять духовным, высоким содержанием те немногие, чудом сохранившиеся или с неимоверным трудом приобретенные вещи, которые вдобавок уродливы и дурно смастерены.

Вот мир, где возникали возвышенные и сложные стихи, романтически окрашенные полотна: чудовищные, марсианские формы послевоенных керосинок и керогазов, самозабвенный мат на заборах и в подъездах, чиненая хромая мебель, лохмы наружной электропроводки, хлипкие ширмы, вышитые болгарским крестом подушки, трофейные велосипеды с облезлой краской и хронически разболтанным рулем, коммунальные свары из-за семи копеек, которые никак не разложить на три семьи при снятии показаний с общего счетчика. Все это, как ни грустно, радовало нас радостью, принципиально отличной от удовлетворенного тщеславия потребителя. Тридцать лет назад вещи в нашей стране — благо их обнаруживалось слишком мало — концентрировали в себе некие духовные смыслы, переставали быть только материальной ценностью, обозначали что-то большее их функциональной предназначенности. Они стали знаками нашей нищеты, они свидетельствовали о нашем радикальном недоверии к миру предметной реальности, они давали прямую возможность отрицать этот мир в целом, противополагая ему мир духовных потенций.

Эта послевоенная нищета оказалась необыкновенно плодотворной, творчески напряженной, она стала почвой, где в 50—60-е годы сложилась «вторая культура», «нищая культура», зараженная — в отличие от «богатого» официального искусства — изначальным недоверием к миру вещей и предметов, к благополучному пространству, перенасыщенному конечными материальными объектами.

Реальная нищета определила человеческие судьбы творцов новой литературы, в то время как нищета духовная стала почти синонимом той смелости, с какой поэты отвергали самую возможность ограниченного благосостояния.

В конце 50-х годов в Москве и Ленинграде стали известны десятки имен поэтов нового поколения, чьи стихи не публиковались, но ходили в списках, причем количество машинописных копий, вероятно, в то время превышало тиражи книг, изданных типографски, и, хотя точно оценить его сейчас практически невозможно, я убежден, что оно исчислялось десятками тысяч.

Весной 1960 года Анна Ахматова говорила о небывалом расцвете поэзии, сравнимом, пожалуй, лишь с началом нашего века. «Я могу назвать,— это ее подлинные слова,— по крайней мере десять поэтов молодого поколения, не уступающих высокой пробе „серебряного века"». Вот их имена: Станислав Красовицкий, Валентин Хромов, Генрих Сапгир и Игорь Холин в Москве, а в Ленинграде — Михаил Еремин, Владимир Уфлянд, Александр Кушнер, Глеб Горбовский, Евгений Рейн и Анатолий Найман. Ахматова не назвала имени Геннадия Айги, хотя его верлибры обрели многочисленных поклонников,— но это уж, скорее, вопрос личного вкуса: Анна Андреевна не терпела русского свободного стиха. Не назвала она имен Иосифа Бродского и Дмитрия Бобышева, будучи тогда практически не знакома с их стихами, так же, как и с поэзией Виктора Сосноры.

Никто из поэтов, названных Ахматовой, не входил в джентльменский набор «молодой советской поэзии», обретшей по официальным каналам широкую читательскую аудиторию, где звучали стихи Евтушенко, Вознесенского, Сулейменова, Рождественского.

До сих пор большая часть «ахматовского золотого списка» неизвестна советскому читателю: лишь А. Кушнер и Г. Горбовский стали членами Союза писателей. Стихи И. Бродского появились в наших журналах лишь после присуждения ему Нобелевской премии. Но безвестность остальных не является результатом какой-то ошибки или недоразумения. Для многих она стала следствием сознательного выбора.

Классический пример — судьба Станислава Красовицкого. Он был признанным лидером неофициальной поэзии Москвы и Ленинграда. За пять (!) лет творческой активности он заложил основы нового поэтического языка, нового взгляда на место человека в мире. В 1962 году С. Красовицкий решается на шаг, который для многих поэтов оказался не под силу: он принимает решение прекратить писание стихов, расценивает это занятие как гре-

хозное, оставляет Москву, престижную работу и поселяется в глухой деревне, где и живет до сих пор.

В стихах Красовицкого традиционные гуманистические ценности предстают в своей нищете, в своем убожестве. Его герой живет в мире, где, по выражению Витгенштейна, «следует молчать», и молчание становится наиболее значимым сгустком смысла. Это молчание есть как «изумление» («метанойя» — так греки называли молчание, предшествующее молитве). Не оценивать жизнь шумно и многословно, как это делала в 60-е годы «эстрадная поэзия», но в изумлении молчать, как молчит ребенок, не в силах осознать происходящее перед его глазами. Вот одно из наиболее характерных, на мой взгляд, стихотворений Красовицкого (1959 год):

Шведский тупик

Парад не виден в Шведском тупике.
А то, что видно,— все необычайно.
То человек повешен на крюке,
Овеянный какой-то смелой тайной,

То, забивая бесконечный гол
В ворота, что стоят на перекрестке,
По вечерам играют здесь в футбол
Какие-то огромные подростки.

Зимой же залит маленький каток,
И каждый может наблюдать бесплатно,
Как тусклый лед
Виденья женских ног
Ломает непристойно,
Многократно.

Снежинки же здесь больше раза в два
Людей обычных,
и больших и малых.
И кажется, что ваша голова
Так тяжела среди домов усталых,

Что хочется взглянуть в последний раз
На небо в нише, белое, немое.
Как хорошо, что уж не режет глаз
Ненужное вам небо голубое.

Герой стихов Красовицкого — тоже «маленький человек», но отнюдь не простой и уж вовсе не «нормальный». Да, это современный Акакий Акакиевич, но невероятно уменьшенный на фоне огромной окружающей жизни, в преддверии загадочного мира смерти, куда ведет «смелая тайна» самоубийцы. Нищета этой маленькой — маленькой и физически, меньше снежинки — жизни больше не нуждается в бездонно-голубом небе Аустерлица — достаточно ей и немного неба в нише катка, неба отраженного и бесцветного, неба немоты. И все же эту жизнь жалко, ибо ее нищета есть ее надежда и ее открытость. Ее молчание еще способно разрешиться — хотя бы смелым порывом к тайне.

Этот смелый порыв отличал весь массив текстов, созданных в рамках молчащей независимой русской поэзии, которую еще предстоит открыть нам. И открытие это — я убежден — даст новую энергию нашей литературе, сделает ее способной не только «отражать» процессы, происходящие сейчас в жизни общества, но и по-настоящему, с предельной откровенностью и смелостью осмыслить их и обрести путь спасения.



Петро Григоренко

ВОСПОМИНАНИЯ

ОТ АВТОРА

Я прожил долгую и сложную жизнь, пережил времена смутные, бурлящие и жуткие, видел смерть, разрушения и пробуждение, встречался с множеством людей, искал, увлекался, заблуждался и прозревал, жил с людьми и для людей, опирался на их помощь, пользовался их добрыми советами и поучениями; многие из них оставили заметный след в моей жизни, повлияли на ее формирование. Книга эта прежде всего о них. В их числе и те, без кого меня вообще не было бы такого, как я есть. Им эта книга посвящается:

родителям моим — отцу Григорию Ивановичу Григоренко и матери Агафье Семеновне (в девичестве Беляк),— давшим мне жизнь;

первым духовным наставникам — дяде Александру (Александру Ивановичу Григоренко) и священнику отцу Владимиру Донскому,— заронившим доброе в душу мою;

жене моей — Зинаиде Михайловне Григоренко (в девичестве Егоровой),— ставшей другом и опорой в нелегком пути моем;

детям и внукам — им жить.

Трудясь над книгой, я не пытался создать произведение в поучение современникам или потомкам. Больше того, я не думаю, что чужая жизнь может быть примером для других. Каждый торит своей собственный путь. Зачем же я писал, может спросить читатель. Отвечу вопросом на вопрос — «А зачем люди исповедуются?» Это моя исповедь. Я честно пытался рассказывать одну только правду, как она представляется мне. И если рассказанное мною сможет послужить кому-то материалом для размышлений, я буду считать, что трудился недаром.

Часть I

НА МАНОК

Я НЕ БЫЛ РЕБЕНКОМ

Родился я 16 октября 1907 года на Украине — село Борисовка Приморского района Запорожской области. Ребенком я себя не помню. Воспоминания ребенка — это, прежде всего, память о маме и о тех, с кем проводил время в детских забавах.

Автор «Воспоминаний» — генерал Петр Григорьевич Григоренко (1907—1987), один из самых деятельных участников правозащитного движения 60—70-х годов в нашей стране, борец за права крымско-татарского народа. За свое инакомыслие был изгнан из рядов Советской Армии, лишен звания, дважды заключался в спецпсихбольницы. В 1977 г. был приглашен на полгода в США, а через три месяца его лишили советского гражданства. Похоронен на украинском кладбище близ Нью-Йорка.

«Звезда» печатает сокращенный вариант мемуаров по изданию: Петро Григоренко. «В подполье можно встретить только крыс...» (Нью-Йорк, издательство «Детинец», 1981 г.).

Мамы у меня не было. Она умерла, когда мне исполнилось три года. Образ мамы и события, связанные с нею, в моей детской памяти не сохранились. Запомнились лишь ее волосы, какими они были, когда ее, умершую, выносили из нашей комнаты в «вэлыку хату». Волосы ее не были заплетены. Они широкой пеленой спадали до самой земли. Я сидел у стены, противоположной большому окну. Когда маму проносили мимо него, лучи заходящего солнца пронизали пелену ее волос. Впоследствии, когда я видел на иконах сияние ликов святых, мне всегда приходило на память это чудное детское видение.

Не было и тех, с кем бы я мог проводить время в детских забавах. В какой-то степени это зависело от расположения нашей хаты. Если выйти к нашим воротам и стать лицом к улице, то справа от нас — дом священника. Детей в этом доме в мои дошкольные годы не было. Прямо перед домом — большая площадь. Напротив нашего двора, сразу через улицу, то есть на краю площади, располагался склад общественного страхового фонда зерна — на случай неурожая. Это огромное, по тогдашним моим понятиям, красное кирпичное здание, которое местные жители называли «гамазей», своим суровым видом отпугивало меня. Несколько правее гамазея и дальше в глубину площади стояла церковь. Была она деревянная, что для наших мест несвойственно. Но как раз это-то и делало ее особенно привлекательной. Всегда свежевыкрашенная, она радовала глаз. И, сколько себя помню, для меня посещение церкви было праздником. Даже в годы наибольшего моего увлечения коммунизмом и наивысших успехов в служебной карьере я с тоской смотрел на то место, где когда-то стояла наша милая, старенькая, но такая приветливая церковь св. Николы.

Но не только (и я бы сказал даже — не столько) отсутствие партнеров для забав мешало моим ребячьим играм. У меня не было времени на это. Отец всегда находил нам работу и, как мне казалось тогда, не давал никакой передышки. Летом я буквально не слезал с коня. Мне представлялось, будто я и родился на лошади.

Отец был всегда хмурый, заросший густой черной бородой. Брился он, оставляя короткие усы, только в воскресенье, перед посещением церкви. Я его боялся. После, из рассказов бабушки Татьяны, я узнал, что суровым отец стал только после смерти мамы. До этого он был веселый, разговорчивый, певун. Певунья была и мама. «На все село слышно было,— говорила бабушка Татьяна,— когда они возвращались с поля. Их и звали люди соловьями».

От бабушки Татьяны я услышал историю любви моих родителей. Отец был из очень бедной семьи. Бабушка Параска — мать отца моего — рано овдовела и осталась без средств с тремя малыми детьми.

Чтобы содержать детей, бабушка батрачила, выполняя тяжелые работы и в жару и в стужу. Простудилась, тяжело заболела. На моей памяти она, еще не старая женщина, ходить не могла. С большим трудом передвигалась по комнате и буквально переползала летом из комнаты на лежанку, оборудованную для нее перед входом в дом. Пошли батрачить и мальчики. Отец попал к немецким колонистам. Будучи человеком любознательным и приверженным к сельскому хозяйству, он все полезное «мотал на ус», и это впоследствии очень пригодилось ему.

Вернулся он в родное село перед призывом в армию. Вскоре после возвращения он встретился на вечеринке с моей матерью — Гашей, Агафьей Семеновной Беляк. С вечерки Гаша возвратилась в тот раз только к утру. «Як глянула я на него,— рассказывала, придя домой, своей матери,— так бильше никого и ничого й не бачила. Я пиду за него»,— решительно сказала она.

Отец как-то рассказал, что перед свадьбой он очень волновался тем, как сложатся отношения у молодой жены с его матерью, пока он будет на службе. И он, сказав об этом Гаше, предложил: «Может, ты, когда я уеду, вернешься к своим?» Та возмутилась. «А где должна жить жена? — воскликнула она.— Вот и я буду жить там, где положено жене,— в доме своего мужа. А если я не смогу наладить отношения со свекровью, то какая же я тебе жена буду?» И отец далее добавил: «Когда я вернулся после службы, то застал между женой и моей матерью такую дружбу, что, как говорят, «водой не разольешь». Дело дошло до того, что мать придирчиво смотрела, как бы я не обидел жену. Жили мы с песней. И мама даже ожила. Как будто и ноги стали меньше болеть»,— закончил отец.

Но недолгим было их счастье.

Только в конце 1906 года отец вернулся со службы. Его встречали счастливые мать, жена и трехлетний сын — мой старший брат Иван. В первый же год отец купил пару лошадей и приарендовал земли.

Уже через 2—3 года хозяйства братьев — отца и дяди Александра, которые продолжали и теперь, после возвращения отца со службы, вести полевые работы совместно,— стали причислять к числу зажиточных. Возрос и моральный авторитет братьев, особенно отца.

Многие отцовские новшества перенимались односельчанами. Так, введенные отцом черные пары́ к началу первой мировой войны привились в большинстве хозяйств нашего села.

Быстрому заимствованию передового опыта у моего отца способствовали, несомненно, такие черты его характера, как общительность, уважительное отношение к людям, осо-

бенно к старшим, отсутствие какого бы то ни было зазнайства. Свой успех он умел преподнести так, что у человека не зависть появлялась, а желание сделать самому так же или еще лучше. Рассказывали, как в следующем после моего рождения году отмечался первый урожай с возделанного отцом черного пара. Несколько наиболее уважаемых хозяев и наши ближайшие родственники были приглашены в воскресенье до заутрени привезти с нашего черного пара к нам во двор по одной арбе пшеницы, а потом, после обедни, вместе позавтракать у нас.

Люди согласились. Привезли свои арбы. Сходили в церковь и потом долго сидели за столом, в холодке, горячо обсуждая выгоды от черного пара.

Урок был настолько поучителен, что все участники завтрака в том же году заложили черные пары, а весть о чудодействе последних распространилась по всему селу и вызвала целое паломничество во двор к нам — посмотреть пшеницу с черного пара, расспросить о технологии его возделывания.

Нашей семье и желать больше нечего было. Любовь, вдохновенный труд, уважение людей — чего еще надобно человеку. Счастью, казалось, конца не будет. И вдруг страшный удар обрушился на семью. Тиф свалил маму, и она уже больше не поднялась. И отец остался один, имея на руках полунеподвижную мать и трех малых детей. Старшему, Ивану,— 7 лет, мне — 3 года и младшему, Максиму,— 10 месяцев.

Все сразу резко изменилось. Отец посуровел, замолк, весь целиком ушел в сельскохозяйственный труд и увел с собой старшего, семилетнего Ивана. Физическое состояние бабушки значительно ухудшилось. Она стала нервной, раздражительной, придирчивой. Вечно на всех ворчала, вспоминала маму и каждый раз, когда отец появлялся в хате, попрекала его либо за какие-то, когда-то нанесенные матери обиды, либо за то, что он забыл ее, никогда не вспоминает. Больше всего доставалось от нее мне. Меня оставляли дома для ухода за младшим — Максимом — в помощь бабушке. Надо было утром выгнать коров в стадо, а вечером встретить их и загнать в коровник, предварительно попоив, и задать корм на ночь. Надо было накормить свиней и кур, поднести бабушке все, что надо для приготовления пищи: кизяк и солому для топки, воду, свежие продукты, и прополоть огород. Сейчас я даже представить не могу, как трехлетний ребенок все это мог выполнять. Видимо, многое все же делалось взрослыми. Отец оставлял запас воды, подготовлял корм для скота и птицы. Многое, наверное, делала и едва ползающая бабушка. Но у меня оставалось чувство, будто все это делал я сам. И воспоминание это и теперь жутью отдается в моей душе. Когда я смотрю на 3—5-летних детей, я не могу даже представить, как можно допустить их к колодезному вороту. И все же я воду из колодца каким-то образом доставал. Но до сих пор, когда я приближаюсь к колодезному срубу, меня охватывает страх...

И еще одно тяжкое воспоминание. Это сон. Вернее, постоянный недосып. Зимой еще ничего. Отец был дома и основные утренние работы по хозяйству выполнял сам. В теплое же время года, когда начинались полевые работы, нас поднимали спозаранку. Спать хотелось так страшно, что мы, уже поставленные на ноги или сидящие, сваливались где попало и продолжали спать. Тогда нас поднимали, как котят, и бросали в подготовленную к выезду в поле арбу или бричку. По воскресеньям, когда кто-то из нас двух старших был свободен — не выводил лошадей на пастбище,— тот спал. Я в такие дни спал до одурения, до того, что распухали губы и отекало лицо. Просыпаясь время от времени, я смотрел на солнце, и когда замечал, что оно перевалило зенит, на меня нападала тоска. А чем оно ближе подходило к закату, ко времени выезда в поле за вечерней воскресной арбой зерновых для завтрашнего обмолота, тем сильнее тоска охватывала мою ребячью душу.

Страх перед завтрашним ранним подъемом, перед длинным жарким днем, беспросветной тяжелой работой, перед вечерним веянием намолоченного зерна, которое ты отгребаешь до глубокой ночи и, отгребая, нет-нет да и засыпаешь. А зерно из-под веялки льется непрерывным потоком, льется и засыпает тебя, уснувшего. Льется до тех пор, пока не навалится столько, что веялка останавливается. Тогда кто-нибудь из взрослых будит тебя щелчком ремешка по ягодице. Ты вскакиваешь и, ничего не соображая, оглядываешься по сторонам. Взрослые ласково смеются, но тут же дают строгий наказ не останавливаться и не засыпать. Затем они отбрасывают набежавшее зерно, и ты снова отгребаешь, отгребаешь...

Так выглядели наши «детские забавы» в теплое время года. Зимой мы были свободнее, но не было обуви. Поэтому обычные «игры» состояли в том, что, пользуясь занятостью взрослых, мы босые тихонько выбирались во двор и, совершив бегом несколько кругов по заснеженному двору, мчались в хату и залезали на печку отогревать посиневшие от холода ноги. Как наиболее благодатное время вспоминается поздняя осень. Полевые работы закончены, лошадей на пастбище уже не выводят, обувь не нужна, и мы гоняли по дворам и огородам у нас и у дяди Александра до белых мух и появления ледка на лужах.

Хорошо было и ранней весной, до начала полевых работ. Снег уже стаял, солнышко начинает припекать, и, хотя земля еще очень холодная, так приятно шлепать босыми ногами по лужам. Тепло вспоминаются и периоды затяжных дождей в летнее время.

Взрослые нарекали на их несвоевременность и горевали над тем, что хлеб вымокает. Но нас это не тревожило. Дождь давал нам возможность выспаться и отдохнуть. И хотя после дождя появлялась новая, весьма противная работа — сушка скошенного хлеба, мы об этом не думали. Потребность в ласке, как у всякого нормального ребенка, горела в моей груди. Поэтому я привязался к дяде Александру и бабушке Татьяне. С дядей Александром встречался я по нескольку раз на день. И каждый раз он погладит по голове и скажет что-то ласковое. А если я ничем не занят, то и поговорит со мной. Чаще всего такой разговор он вел, работая. А я сидел или стоял рядом, а если мог, то и помогал дяде.

Говорил дядя низким грудным голосом и всегда серьезно, как со взрослым. И хотя это по преимуществу был разговор дяди с самим собой, мне это нравилось. Я привык к его голосу, полюбил его. Постепенно подрастая, я начал принимать все более осмысленное участие в наших беседах и пристрастился к слушанию его разговоров с другими взрослыми. Усаживаясь неподалеку от беседующего с кем-нибудь, я, как губка, впитывал каждое его слово. И было оно, это дядино слово, мудрее и дороже всего на свете. До сих пор не могу понять, как смог я впоследствии изменить свое отношение к слову этого мудреца, так много отдавшего мне. Но об этом потом.

К бабушке Татьяне мы попадали лишь по воскресеньям и в праздники, когда к ней в гости вел нас отец. Это были счастливые дни моей жизни. Все в доме бабушки было сказочным. И блестящие лаком, свежевыкрашенные полы. И высокий, накрытый снежно-белой скатертью стол, за которым мы обедали. И высокие гнутые стулья, на которых мы сидели, обедая. И еда с тарелок. И питье неизвестного в нашем доме, чудесно пахнущего напитка — чая — вприкуску с тоже неведомым нам сахаром. И все это в специальной комнате — с картинками и большим зеркалом. К тому же нас задаривали гостинцами — конфетами, орехами, печеньем, поили лимонадом.

Велись и разные разговоры. Здесь впервые услышал я и о том, что нам ищут «новую маму». «Дитям потрибна мати»,— говорил дедушка. «Та яка ж то мати? Мачуха!» — возражала бабушка. «Та то вже треба таку взяты, щоб дбала про дитей як маты. Хай за красою та багатством не гонится. Хай дивиться, щоб добра до дитей була».

И чем дальше от похорон матери уходило время, тем более настойчивыми становились эти разговоры. Начали говорить и у нас в доме, и даже дядя Александр иногда высказывался. Одно его высказывание — уже почти перед самой свадьбой — хорошо запомнилось мне. «Нещасна та жинка, що йде на тих дитей. Да и бабы заедят ее. Йим же не мати для дитей потрибна, а прислуга. Щоб вона дитей опикувала, а дити ее щоб и не замечали или пренебрегали».

Не принимал участия в разговорах только отец. Он как бы не слышал ничего, уйдя с головой в хозяйство. Когда бабушка очень настойчиво приступала к нему, он махал рукой и говорил: «Та то як хочете. Можно й жениться». С таким же безразличием согласился он и с кандидатурой в жены. Эту кандидатуру, как и предсказывал дядя Александр, подобрали две бабушки — Татьяна и Параска.

Свадьба была совсем не похожа на те, что я уже успел перевидеть. Какая-то скучная. Не было даже катания на тачанках с гармошкой, бубнами, трензелями, с гиканьем и свистом. Прямо с венчания отправились к нам во двор, который был буквально в трех шагах от церкви. Тихим и скромным был и свадебный обед. Единственным событием, взволновавшим всех присутствующих, было внезапное исчезновение отца. Долго разыскивали. Наконец дядя Максим привел его. Сослались на то, что отец опьянел. Но впоследствии, уже когда этот несчастный брак был расторгнут, дядя Максим рассказал, что тогда на свадьбе он нашел отца лежавшим в соломе. Его душили неудержимые рыдания.

Мачеха мне понравилась с первого взгляда. Стройная, красивая девушка, в белой фате и белом платье, выглядела сказочной феей. Когда она глянула на меня, я улыбнулся ей. Она ответила на мою улыбку одними глазами. Между нами протянулась ниточка взаимной симпатии. Но настроение мое быстро испортилось. В голову вдруг пришли слова дяди Александра, и мое воображение почти мгновенно нарисовало картину: мои бабушки грызут и поедают это прекрасное создание.

Они уже на свадьбе принялись за нее. Где-то к вечеру она, поднявшись из-за стола, подходила к нам, кого она принимала как своих детей, и каждого пыталась приласкать. Иван и Максим дичились, а я как-то сразу потянулся к ней. И она, с горячностью обхватив меня, подняла на руки и начала целовать. В это время раздался злой, «театральный» шепот бабушки Параски: «Ото ж так. Ще с чоловиком поцилуватись не успела, а вже до дитей руки простягве». Ей что-то ответила тем же злым «шепотом» бабушка Татьяна. «Поедание» началось. И продолжалось в течение всего этого несчастного брака, т. е. около года.

Уж на что отец, ни во что в доме не вмешивавшийся и сносивший все капризы и придирки своей матери, иногда не выдерживал и говорил с укором: «Ну нащо вы ее корите, мамо! Вона ж за трех робыть».

Она и имя ее перекрутила в какую-то злобную форму. Не Явдоха, Евдокия или Дуня, Дунька, как зовут у нас в селе, а Дуняха. И так ее называли обе бабушки и мои оба брата. Дуней звал один отец. А я... Нет, не бунтарь я. Дуняхой я ее не называл ни разу, даже про себя. Когда никто не слышал, говорил «мама», а когда слышали, никак не называл, а привлекал ее внимание к себе, либо трогая ее руку, либо заглядывая в глаза. Если видели, что она со мной говорит, то обязательно допрашивали, что она говорила. Я никогда ничем не предал ее, но и восстать против системы шпионажа не посмел. Я только не любил эти допросы. Из-за них потерял и интерес к посещениям бабушки Татьяны. Она, наша добрая и любимая, как и бабушка Параска, выспрашивала, о чем говорит, не дает ли гостинцы, не целует ли, и наставляла: «Нэ бэри гостинцив, не давай цилуваты! Вона нэ маты — а мачуха!»

Несмотря на все это, я продолжал ее любить. Но с выражением своих чувств приходилось прятаться.

Я УЗНАЮ СВОЮ ФАМИЛИЮ

Летом 1914 года в размеренную трудовую жизнь нашего села, как и всей Российской империи, ворвалось страшное — ВОЙНА! Кто и каким образом принес это слово в наш дом, я не помню. Я только услышал, как заголосила бабушка, а за нею и мачеха. «Та що-ж мы бэз тэбэ робыты будемо!» — обращались они к отцу. Тот угрюмо отмахивался: «Та якось воно будэ. Не вы ж одни к такому стани. Головне вражай зибраты, та хочь чорный пар засияти. Та про це Лександр подбае. Твое дило допомогти йому»,— обращался он к мачехе.

Читая писания современников о начале войны 1914—1918 гг., я сталкиваюсь с единодушным мнением, что народ с энтузиазмом поддерживал эту войну и объединился для борьбы с общим врагом. При этом «взрыв патриотических чувств был чрезвычайным. Никогда еще с 1812 года не было такого согласия и такого единодушия в стране». Мои детские впечатления резко контрастируют с высказанным. От первых дней войны у меня и до сих пор стоят в ушах жуткие женские причитания и пьяный галас мужиков.

Отец не пил и в прощальных компаниях не участвовал. Он работал до последней минуты. Только когда рекруты поравнялись с нашим двором, он быстро перецеловал нас — детей, бабушку и жену,— вскинул на плечо заранее приготовленный мешок с харчами и быстрым шагом пошел догонять следовавшую мимо колонну. Причитания неслись с разных концов села. Мачеха долго смотрела вслед отцу, затем позвала нас, ребят, и взялась за работу. Никто не знал, что впереди,— ни рекруты, ни те, кто остался. Пьяные оптимисты кричали: «Нэ журиться! Чэрэз тиждень [1] вэрнэмось. Поризганяем нимцив та й до дому!» Никто не знал, кому вернуться и когда. Не знал отец, что впереди у него почти 4 года войны и горького плена. Не знала мачеха, что у нее впереди только две короткие встречи с любимым мужем. Не знала бабушка, что лишь перед самой смертью увидит дорогого сына. Не знала вся страна, что она уже захвачена краем страшного вихря, который опрокинет весь уклад жизни, измучит, измочалит народ, поставит его на грань катастрофы, на грань физической и духовной гибели. Никто ничего не знал.

Будущее было за пределами видения, но окраска его была ясна. Впереди ни одного светлого пятнышка — темнота, полный мрак! Именно поэтому пьяные бахвальства не бодрили. Наоборот, отдавались болью и ужасом в душах провожающих.

И пошла у нас жизнь без отца. Работали так же беспросветно, как и при нем, но только труд стал бездуховен. Отец своим энтузиазмом как-то заражал и нас и мачеху. Она же сейчас работала с каким-то отчаянием, отчего и нам становилось тоскливо. Оживление вносил только дядя Александр. Приходя время от времени к нам во двор, он шуткой, метким замечанием несколько оживлял нас. Где надо, прикладывал свои руки или советовал, как лучше выполнить ту или иную работу. Вскоре молотьба была закончена. В это время дошли слухи, что наши рекруты задержались в Мелитополе и еще, видимо, долго пробудут там. Мачеха начала просить дядю Александра свезти ее с детьми к мужу. Бабушка, которая после ухода отца стала особенно свирепо относиться к мачехе, была категорически против. Она кричала: «Покинуть асэ в поли и плэнтатись бог зна куда. Це тильки й могла придуматы дочка старчихи (нищенки). Була б, як Гаша, хозяйка, то не зробила б такого...» Но дядя, чуткий и добрый наш дядя, видимо, понял женщину и твердо заявил: «Повезу! Вин же на вийну йдэ. Невидимо чи прийдеться ще побачитись колись».

И мы поехали. Было самое начало осени. Нашей чудесной степной осени. Мы выехали после обеда. Сытые и отдохнувшие лошади бежали, пофыркивая, ровной ходкой рысью. Бричка крепкая, хорошо смазана, сиденья подрессорены, в кузове полно пахучего сена. Без остановок ехали до поздней ночи. Затем остановились, поили лошадей, задали им корм, легли спать. На зорьке поехали дальше. Нас, детей, не будили. Поднялись мы сами, разбуженные первыми лучами восходящего солнца. Проснулись и замерли от удивления. По обеим сторонам широкого тракта нескончаемой стеной стояли сады. И чего только там не произрастало! И яблоки, и груши, и персики, и сливы, и что-то нам совершенно неиз-

[1] Неделя *(укр.)*.

вестное. И все это, самых разных размеров, переливалось в первых лучах солнца всеми цветами радуги...

Как я узнал впоследствии, это были знаменитые мелитопольские сады, окружавшие город со всех сторон и тянувшиеся на расстояние до 10 километров. По этому морю садов, пораженные и потрясенные, мы и доехали до города.

В Мелитополе дядя направил бричку к железнодорожной станции. Там, на огородном пустыре, было уже много повозок. Распряженные кони на привязи у бричек жевали сено. По всей площадке пустыря сидели мужики, женщины, бегали дети. Некоторые семьи завтракали, сидя на расстеленных ряднах или попонах. Дядя выбрал место для нашей брички и распряг лошадей. Привязав их и задав корм, он ушел искать отца.

Двое суток пробыли мы с отцом. В обратный путь тронулись на третий день, снова после обеда. Мне хотелось плакать, и я, забыв о том, что братья могут донести, все время жался к мачехе. Она тоже была печальна. И я знал, отчего. Последнюю ночь в Мелитополе мне плохо спалось, и я случайно услышал, как мачеха тихонько говорила отцу: «Нэ выдэржу я, Гриша, вона зовсим озвирила. Заедае мене. Пойидом йисть. И Ивана з Максимом цькуе на мэнэ. Уже б пишла, та Пэтра жалко. Вин дытына ласкава, пропадэ сэрэд иых. Та не выдэржу. Всэ кыну. Хозяйством поприкае, матирью моею нещасною поприкае. Ни, нэ выдэржу». Этот разговор тяжелым камнем лег на мое сердце. Все время я ждал несчастья — ее ухода. И оно пришло. Только не сразу по приезде от отца. Она, повидимому, не хотела оставить неубранными поля.

И трудилась. Стала еще больше грустной и молчаливой. Все о чем-то думала, даже бабушкины попреки как бы не замечала. У меня же в это время появились заботы, мешавшие видеть, что происходит с нею. И мы как бы отдалились друг от друга. Это, очевидно, тоже угнетало ее.

А мои заботы были такие. Начиналась учеба в школе. Отец обещал, что запишет меня. Но вот все пошли в школу, а мне дядя Александр сообщил, что я не принят. Из-за малолетства. В первый класс принимают с восьми, а мне нет и семи. Я в рев. Рев перешел в истерику. И дядя, чтобы утешить меня, обещает пойти со мной к учителю. Я несколько успокаиваюсь. Рассказываю, что букварь знаю уже наизусть. Мой брат Иван, который поступил в школу в 1911 году и теперь шел в третий класс, был моим учителем. Я учился по его букварю, читал его книги.

Дядя, выслушав все это, берет меня за руку, и мы идем в школу. Дядя входит в здание, оставляя меня на крыльце, и долго не возвращается. Когда он наконец показывается с расстроенным лицом, я бросаюсь к нему. «Нэ приймае»,— произносит он грустно. Я падаю на крыльцо и ору, как будто меня режут. Дяде с трудом удается довести меня домой. На следующий день история повторяется. И еще на следующий. Но на четвертый дядя категорически отказывается идти в школу, и я иду один. Иду, усаживаюсь против открытого окна своего (первого) класса и слушаю все, что происходит там. Запоминаю, что задано на дом, и дома учу заданное. Не помню, сколько продолжалось это вольнослушательство — недели две, может быть, а возможно, и месяц. И неизвестно, сколько бы это еще длилось.

Но произошла счастливая для меня неожиданность. Приехал на несколько дней отец. В Мелитополе мы видели его еще не обмундированным. Теперь он приехал чисто выбритым, в ладно сидящей на нем гимнастерке, какой-то строгий и почужевший. Несмотря на это, я, хотя и несмело, напомнил ему, что он обещал записать меня в школу, а учитель не захотел принять. «Ничего! — сказал он.— Мы это дело уладим». На следующий день он взял меня за руку, и мы пошли. Он так же, как и дядя, оставил меня на крыльце, а сам ушел в школу. Я сидел ни живой ни мертвый и приготовился так сидеть хоть до вечера. Но буквально через две-три минуты дверь открылась и вышли учитель и отец. Учитель, Афанасий Семенович Недовес, уставив на меня строгий взгляд, сказал: «Ну ладно, ученик первого класса Григоренко Петр, беги в свой класс».

Итак, я узнал и уже теперь на всю жизнь запомнил свою фамилию. Я не скажу, что до того вовсе не знал о ней. Когда Иван поступил в школу, на его тетрадях появилась надпись: «Григоренко Иван». Но я этому не придал значения, прошел мимо этого события. Я твердо знал, что мы Черногорцы, а Григоренко в селе только один.

Как я уже рассказывал, против наших дворов на противоположной стороне площади было три двора. Далее — переулок, а на другой стороне огромная, по моим тогдашним понятиям, усадьба Зосимы Григоренко. Больше ни о каких Григоренко у нас в селе я не слышал. И вдруг оказалось, что я сам Григоренко. Больше того, в нашем первом классе эта фамилия оказалась чуть ли не самой многочисленной. Григоренко Александр — внук Зосимы, Григоренко Степан — внук старого Аказема и я — бывший Черногорец.

Эта метаморфоза очень меня заинтересовала. И я долго выпытывал у дяди Александра, как же это произошло.

— Значит, и мий батько и вы теж Григоренкы?

Он подтвердил.

— И Аказемы тоже Григоренкы?

— Так.

— А чому ж йих называют Аказемамы?

— Та то по-вуличному.

— А чому ж Григоренков Зосимовых по-вуличному не кличут?

— Та може, тому, що богати. А може, причепитися ни до чого було.

Мне хотелось знать именно — почему мы «чорногорци». На этот счет дядя смог высказать лишь предположение, ничего достоверного. Он говорил: «Може, тому, що наш рид мав дуже чорне волосся. Твий дид, наприклад, був ще чорнишый, чим твий батько. А може, наш пращур був дийсным чорногорцем. Наш батько росказував, що його дид осив в степу, вийшовши з Запорижжя. В Запорижжя ж йшли вильнолюбиви люди з усёго свиту. А в Запорожьи був звычай давати прызвище залэжно вид того, звидки прибув козак — а Басарабийи — Басараб, з Сэрбийи — Сэрб и т. д. То коли б наш пращур прибув а Чорногорийи, йому й имья — Чорногорэц».

Поступив в школу, я был на вершине счастья. Появилось занятие, которое я любил. Но счастье в одиночку не ходит. Пришло и большое горе. Ушла из дому мачеха. Не выдержала-таки. Ушла в том, в чем была одета. Даже бабушку это подрубило. Она притихла и, видимо, ждала ее возвращения. Она говорила: «Никуда не денется. Придет, все ее вещи здесь». Но мачеха не пришла. Где она? Как дальше шла и как закончилась ее жизнь, мне неизвестно.

О, как она тогда нужна была мне. Я часто вспоминал ее слова в ту памятную ночь: «Пэтра жалко, пропадэ вин серед них». И я, вспоминая школьные свои беды, шептал: «Мамо, мамо, дэ ж ты!» А дела в школе у меня были совсем плохи. В силу того, что рос я одиночкой, друзей в классе у меня не было. Да и сходиться с ребятами я не мог. Был очень застенчив. А застенчивость могла казаться отчужденностью. Выглядел я, очевидно, букой. Вместе с тем в моей внешности наверняка было нечто смешное, так как я был рыжий, ярко-рыжий, можно сказать, красный, а лицо почти сплошь покрыто веснушками. Ребята в классе все были старше меня — не менее чем на год-два, а некоторые на три-четыре года. К тому же я был не по возрасту маленьким и слабосильным. И меня начали дразнить. Звали «рыжий».

Я понял, что реагировать на дразнилку невыгодно. Дразнят еще больше. Решил делать вид, что не обращаю внимания. Помогло. Но всегда находятся более настырные. Они, как шавки, которые продолжают тявкать, когда уже все собаки на улице отстали от тебя. Так было и в школе со мной. Я еле держался, демонстрируя свое безразличие. Вот-вот сорвусь в слезы или в драку. И сорвался. Все уже по одному отстали от меня, и только один продолжал кричать, забегая к моему лицу, если я отворачивался. Он как бы чувствовал, что мне тяжело держаться, и кричал: «А ну заплачь, Мартын, заплачь!» И я не выдержал. Схватил его за руку и, приблизив свое лицо к его лицу, выдавил из себя:

— А ну замовчь!

— А то що?

— Побачим!

— Март...— Удар в зубы прервал дразнилку. Он отпрянул. Из разбитых губ текла кровь. Но я уже сорвался. Злоба за многодневную травлю вырвалась наружу, и я не мог остановиться. Парень был выше меня, здоровее и старше на два-три года, но за мной была инициатива и злоба. И я, не выпуская его правой руки из своей левой, продолжал бить тычком в лицо. Затем, дав подножку, опрокинул на пол и, оседлав его, продолжал избивать. Злоба была так сильна и неудержима, что одновременно с избиением я сам ревел белугой. В этом озлоблении я не заметил, как подошел учитель. Он сдернул меня с паренька: «Хорош, нечего сказать! Ты для этого просился в школу! Выгоню!» Как кипятком обожгло — «выгонит». И я, задрожав еще больше, едва пробубнил: «Та я ж його не чипав. Я ж його просив, щоб не дразнився!»

— Оба в класс! На колени! — произнес Афанасий Семенович и удалился.

Но после уроков меня ожидали большие неприятности. Компания Вани, с которым я сразился днем, перехватила меня при выходе со школьного двора и избила страшно, жестоко. Кто-то, видимо, сжалился надо мной и сообщил учителю. Афанасий Семенович выбежал в одной нижней рубашке. Нападающие разбежались. Меня он забрал к себе. Ольга Ивановна обмыла раны, прижгла йодом и перевязала их.

— За что это тебя так? — спросил Афанасий Семенович.

— Не знаю.

— А кто?

— Нэ пизнав никого!

— Так як же ты не признав? Ты ж уже мисяц в класи.

— Так то були не з нашого класу.

— То ти, брат, брэшеш. Бо я знав. Вси з твого класу.

— А я никого не впизнав.

— Ну брэши, брэши. Я всэ ривно всих знаю.

На следующий день я захватил с собой в школу кийок (палка с утолщением на одном из концов), который спрятал в школьном огороде. После уроков я, видя, что та же компания поджидает меня возле выхода из школьного двора, зашел за своим кийком и

смело пошел к ним. Вижу, заволновались, задвигались, заговорили между собой. Я сделал решительный вид и ускорил шаг. Демонстративно помахал кийком, как бы примериваясь к удару. Смотрю, пошли в сторону от меня. Я еще прибавил шагу, потом побежал вслед за ними. И, о чудо, они бросились бежать. Тогда я устремился вперед изо всех сил, нацелившись на одного, который вчера особо жестоко избивал меня. Я догнал его и начал бить кийком. Он продолжал бежать и жалобно кричал: «Чому мэнэ? Чому тильки мэнэ?» А я, не отставая, лупил его кийком по спине, по плечам и так же бессмысленно повторял: «Нэ будеш бильше! Нэ будеш бильше!»

Шедший навстречу крестьянин издали закричал на меня: «Та що ж ти робиш, сукин сын!» Это и освободило мою жертву от дальнейшей экзекуции. Я быстро пошел в сторону дома, предусмотрительно обходя крестьянина. А он, проходя мимо, осуждающе сказал: «От що значить безотцовщина!» Так родился миф о моем забиячестве. И миф этот держался довольно долго, хотя за всю свою жизнь я не был зачинщиком ни одной драки.

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

После призыва в армию отца и ухода мачехи мы оказались в положении рыбы, выброшенной на лед. Дядя мотался между двумя хозяйствами, но дела у нас шли все хуже и хуже. У нас не было сил, да прямо скажем, той любви к сельскому хозяйству и той инициативы, что были у отца. Из хозяйства вынули душу, и оно стало приходить в упадок. А тут новая беда. Забрали и дядю в тыловое ополчение 2-го разряда. Правда, служил он почти дома — в Бердянске (30 км от Борисовки). Так что добраться до него было легко. Но нам от этого было не легче. У дяди в хозяйстве осталась одна тетя Гаша с двумя малыми детьми. К тому же больная — туберкулезница. А у нас — лежачая бабушка и трое детей, из которых старшему — двенадцать. В связи с этим нам назначили опекунов — двух дальних родственников, по выбору бабушки. Но дела от этого не улучшились. Скорее — наоборот. Кое-что по решению опекунов начали продавать. В частности, продали пару лошадей и жеребенка. Продажа мотивировалась необходимостью поправления хозяйства. Но деньги от продажи исчезали как-то незаметно и неизвестно куда. Иван убеждал бабушку, чтобы она отказалась от опекунов. Он доказывал, что они раскрадывают хозяйство. При каждом посещении нашего дома они, уходя со двора, тянут все, что под руку подвернется. Но бабушка не прислушалась к голосу Ивана, и опекуны продолжали рушить хозяйство. У Ивана, очевидно, это сильно болело. Я, может, из-за малолетства или по врожденной доверчивости ничего предосудительного в поведении опекунов не замечал, хотя и видел, конечно, их «выносы» из нашего дома. Иван же приходил с ними во все большую враждебность. Дошел до того, что неустанно следил за ними и решительно становился на их пути, когда они хотели что-то вынести со двора.

Не забыл он о них и сейчас, когда мы возвращались после победы над моим обидчиком. Иван вдруг без перехода сказал: «А опикунив я выгоню, не спросившись у бабушки». И он выполнил свое слово. Когда в очередной раз появился один из опекунов, Иван остановил его у ворот и сказал: «Уходите отсюда, дядьку Афанасию, и бильше не приходите. Хвате вам того, что вы награбили у нас». Тот пытался возражать и даже поднять голос на Ивана. Но Иван твердо заявил, что во двор никого из них больше не пустит, а если его не послушают, то он может угостить «истыком» (лопаткой для чистки лемеха плуга во время вспашки). Не знаю, что — этот ли демарш Ивана или вести о скором возвращении дяди Александра — заставило опекунов прекратить свою столь «плодотворную» деятельность.

И мы, возглавляемые Иваном, взялись хозяйствовать без взрослых. Мне хорошо запомнилось лето 1915 года — первое лето нашего самостоятельного хозяйствования, лето, в котором причудливо переплелись работа и ответственность за взрослых и типично детские проказы. Вспоминаю случай. Возвращаемся с поля поздно вечером с арбой, полной пшеницы. Страшно измучены. Пшеница тяжелая — с черного пара, обработанного еще отцом. Поэтому накладывать ее мы могли только очень маленькими «навилками». А в очень маленьких количествах на вилах она не держится — сыпется тебе на голову. В общем — мука. А тут еще Иван злится, того и смотри вилами огреет. Намучились, но все же наложили. И теперь лежим наверху, отдыхаем. Лошади ровной рысью дружно тянут арбу к дому, к своей конюшне.

Вдруг Иван ко мне:

— Ты бачив яблуню у дядька Миколы в городи?!

— Бачив.

— Дуже добри яблука. Я вже попробував. Та днем там не дуже разживэшься. Треба вночи.

— Ага ж. Недуже то и вночи. Дядько Микола с ружжом стереже.

— Э вин спить зараз. А мы тихенько. Я там зробив пролаз. Ти постережеш, а я нарву. Та ти що, може боишься? — с презрением сказал он, видя мое колебание.

Более верного средства заставить меня пойти на любое действие, чем заподозрить

в трусости, не было, и Иван это прекрасно использовал. Мы заехали во двор и, не распрягая лошадей, помчались к огороду дядьки Миколы. Когда мы возвратились, лошади запутались в сбруе и одна из них, захлестнувши шею нашейником, лежала, хрипя и задыхаясь. С трудом мы высвободили лошадей и завели их в конюшню. Попутно Иван несколько раз ударил Максима и накричал на него (пятилетнего) за то, что не распряг лошадей. А Максим, видимо, и не слышал, что мы приехали. Свернувшись комочком, он крепко спал у входа в хату, где он, очевидно, ждал нашего возвращения.

Поздней осенью вернулся дядя Александр. Ему после долгих хлопот удалось получить льготу в связи с нетрудоспособностью всей семьи — тяжелобольные жена и мать, малолетние дети. Дядя нанял молотарку, что у нас никто не делал. Все предпочитали молотить катками, не неся расходов по найму молотилки.

Нам можно было гордиться. Даже с точки зрения сегодняшнего дня я могу сказать, что мальчишки отлично справились с таким хозяйством. Тогда же мы были на вершине гордости, выслушивая похвалу человека, которого все мы очень любили.

Однако хозяйственная деятельность нас уже не удовлетворяла. Нас манил ветер дальних странствий. Я и Иван были заядлые читатели. Я уже во втором классе перечитал всю школьную библиотеку. Иван при каждом посещении Ногайска или Бердянска вез домой массу книг, вроде «Пещеры Лейхтвейса». Но очень рано мы познакомились и с настоящей приключенческой литературой, которая попадалась среди закупаемой Иваном макулатуры, а главное, в личной библиотеке учителей. Ольга Ивановна, особенно после смерти Нади, одарила меня своей привязанностью.

Надя, единственная дочь Ольги Ивановны и Афанасия Семеновича, умерла ранней весной 1915 года от скоротечной чахотки. Смерть ее потрясла меня. Надя училась в гимназии в Бердянске. Однажды она приехала домой, хотя занятия еще шли. Люди сразу разъяснили: «Та в нейи ж чахотка». Надя — девочка лет 14-ти или 15-ти — была, по моим понятиям, очень красива. Бледная, с легким румянцем на щеках (один из главных внешних признаков этой болезни) и блестящими глазами, производила она впечатление существа неземного.

«Я скоро умру»,— печально говорила она мне, когда вблизи не было никого из ее родных. Смерти она, казалось, совершенно не боялась. Она говорила: «Бог ко мне ласков. Он позвал меня к Себе теперь, когда я еще не успела нагрешить. Мне только маму, папу и особенно дедушку жалко. Они не понимают, что это хорошо, что Бог забирает меня так рано. Они плачут, когда думают, что я этого не вижу. Но ничего, они поймут потом, когда мы встретимся на том свете. Я там буду просить Бога,чтобы Он простил им их грехи и свел нас снова в одну семью».

Умерла Надя на рассвете весеннего дня.

Афанасий Семенович после похорон еще неделю прожил в Борисовке. Все это время они были вдвоем с Ольгой Ивановной. Занятий в школе в эти дни не было. Потом Афанасий Семенович уехал в действующую армию, и снова началась обычная школьная жизнь. В первый день занятий, по окончании урока, я подошел к Ольге Ивановне и тихонько дотронулся до ее руки. Она взглянула на меня, и слезы наполнили ее глаза. Она приложила платок к глазам и быстро пошла к дверям своей квартиры, выходящим в школьный коридор. На полпути она оглянулась и рукой позвала меня за собой. В комнате — личной библиотеке — она начала быстро перебирать книги на одной из полок. Найдя то, что искала, она позвала меня и сказала: «Возьми, Петя. Это любимая книга Нади. На память о ней». Я взял. Это был Жюль Верн, «80 000 верст под водой». Я долго хранил книгу в отцовском доме. Не забыл даже, когда вывозил отца с его семьей, спасая от голодной смерти. Но не стало отчего дома,— затерялась где-то и книга во время войны.

У Ольги Ивановны было теперь страшно много работы. Она осталась в школе одна. И для двоих работы хватало, так как каждый вел два класса. Устройство школы благоприятствовало этому. Вдоль всего здания шел широкий коридор. Если идти от одного конца к другому, будешь иметь слева глухую стену, на которой приколочена вешалка для верхней одежды учеников. В самом конце этой стены — дверь в учительскую квартиру. По правую сторону тоже глухая стенка, в которой имеются две симметрично расположенные огромные (и по ширине, и по высоте) двери. Во втором торце коридора такое же огромное окно, как и в первом.

Если открыть любую из дверей в правой стенке, окажешься в огромном классе. Перед глазами наружная стена, в которую почти сплошь встроены широкие и очень высокие окна. Справа на стене две симметрично расположенные большие классные доски. Напротив каждой из них полоса парт. Перед партами стол учителя. Все.

Занятия силами двух учителей ведутся так. В одной классной комнате одну из полос парт занимает первый класс, другую — третий. Во второй комнате — второй и четвертый классы. Между классами довольно широкий промежуток. Занятия ведутся так: один из классов пишет или самостоятельно решает задачи, другой занимается с учителем. За один урок учитель может несколько раз сменить характер занятий

в каждом классе. Все зависит от искусства педагога. Наши Ольга Ивановна и Афанасий Семенович владели этим искусством мастерски. Во всяком случае, у меня такое чувство, что я все время учебы имел непосредственное общение с учителем.

Но теперь Ольге Ивановне пришлось одной вести четыре класса. Как? Оказывается, и это было предусмотрено. Стена, разделяющая классные комнаты,— раздвижная. Ее иногда раздвигали еще в то время, когда Афанасий Семенович был дома. Когда кому-то из учителей надо было отлучиться или кто-то из них заболевал, другой его заменял, работая сразу в четырех классах. Я, по существу, все четыре года учился в таких условиях. И это никак не отразилось на моем начальном образовании.

Я очень благодарен моим первым учителям, и я люблю их горячей сыновней любовью. Все, кто учился у Недовесов, помнят и любят их до конца своей жизни. Никто их не забыл, даже те, кто учился через пень-колоду.

ОТЕЦ ВЛАДИМИР ДОНСКОЙ

Этой же весной в нашу церковь прибыл новый священник — отец Владимир Донской. Он сразу привлек к себе внимание даже таких людей, как дядя Александр, который, будучи глубоко верующим человеком, в церковь не ходил.

Священники, служившие в нашей церкви до отца Владимира, были простые сельские попы. Не очень грамотные и не лишенные простых человеческих недостатков, они, указывая дяде на его непосещение служб Божьих, грозились отлучением от церкви. Остроумный дядя быстро разбивал их в теоретическом споре текстами Священного Писания, «доказывал», что в церковь ходить необязательно, что туда ходят преимущественно «книжники» и «фарисеи».

Буквально в первые же дни он столкнулся на этой почве и с о. Владимиром. На вопрос последнего: «Почему вы, Александр Иванович, на воскресном богослужении не были?» — ответил с подчеркиванием: «А я считаю, что молиться можно и одному, дома».

— Молиться, конечно, можно и одному и в любом месте. Искренняя молитва к Богу дойдет отовсюду. Моисей тоже ведь молился в одиночку на горе Синай.

Дядя был явно ошарашен. Прежние его оппоненты вопрос моления дома или в храме делали основным предметом спора. И вдруг о. Владимир соглашается с дядей. И дядя опешил. Потом, постепенно приходя в себя, сказал: «Я так думаю — незачем ходить на люди, показывать, какой ты богомольный».

— Для этого не надо ходить в храм. Это грех большой. Ходить надо для молитвы, для того, чтобы душу раскрыть перед Господом в Его храме.

— Вы же сами говорите, что возносить молитву Господу можно везде.

— Не только можно, а и нужно. Нельзя ограничиваться молитвой в храме. Начиная день — помолись, попроси у Господа благословения делам рук своих, садишься за стол и поднимаешься из-за него — возблагодари Господа за то, что дал тебе хлеб твой насущный, начинаешь работу — попроси благословения Господня. Готовишься ко сну — возблагодари Господа за то, что сил дал тебе и твоим родным с пользой прожить день прошедший, попроси снизойти Своею благодатью на сон ваш трудовой. И это все ты делаешь в одиночку, там, где тебя застало время молитвы.

Почему ты-то так делаешь? Кто тебя надоумил, кто научил? Ответ может быть только один: мы того не решаем, то нам привито с детства, то снизошло на нас от Бога через наших предков и через Священное Писание. Но предки наши и Священное Писание передали нам и моление в храме. Наши прародители Адам и Ева, Исаак и Иаков приносили жертвы Богу в храме. Сам Моисей не только на Синай ходил, но часто молился вместе с народом, который не только сам шел в землю Ханаанскую, но и храмы вез с собой, и развертывал их на стоянке, и молился в них. И Бог благословил поход этого народа и привел его в желанную обитель.

Мысли твои, Александр Иванович, по поводу молений в храме не от Бога, не родители их тебе передали, не Бог ниспослал. Ты их сам придумал, а вернее, дух тьмы тебе их подбросил. Он хочет отлучить тебя от людей, хочет лишить тебя наиболее могучей, коллективной очистительной молитвы. Ведь как бы искренне и часто мы не молились, общая молитва сильнее, и Богу она угодна. Ты умничаешь, хочешь показать, что ты не такой, как все, а это грех, большой грех. Но ты совершаешь и другой, не меньший грех. Люди, никогда не видя тебя в церкви, начинают думать, что ты в Бога не веришь, то есть неправду думают о тебе. А недобро и неправдиво думать о другом человеке — большой грех. И в этот грех ввел твоих односельчан — ты. Но и это еще не все. Другие знающие и уважающие тебя, считая тебя неверующим, сами начинают сомневаться в Боге. И в этот грех тоже вводишь их ты.

Я знаю, что тебе грозились отлучением от церкви. Я этим грозиться не буду. Я тебе просто посоветую подумать, достойно ли человеку брать на себя грех гордыни и введения во грех братьев своих. Я вижу, что ты человек глубоко верующий и

сумеешь найти свое место в сегодняшней жизни, которая страдает все большим и большим неверием.

Отец Владимир, маленький и тщедушный, как лунь седой, говорил глубоким, проникновенным голосом. Даже дрожь пробегала по телу, когда он произносил: «Грех, великий грех!» После ухода о. Владимира дядя задумчиво произнес: «Да, оцэ дийсно слуга Божий. Недаром то вин майже (почти) все життя був мисионэром». С тех пор дядя стал почти постоянным собеседником о. Владимира и ревностным его прихожанином. От дяди я и узнал, что наш священник 44 года промиссионерствовал в Африке. Когда вернулся он по состоянию здоровья в Россию, ему предложили настоятельство в соборе на его родине в городе Симферополе, но он попросил дать ему сельский приход. За свою жизнь он привык к самым скромным богослужениям. Так он и попал в нашу маленькую деревянную церквушку.

О. Владимир с первых дней основательно вошел в мою жизнь. Мы с Максимом подружились с двумя его мальчиками — сыном, моим ровесником Симой (Симеоном), и внуком, ровесником Максима, Валей (Валентином). О. Владимир был вдов. Хозяйство вела дочь Аня — хорошенькая, но очень скромная девушка. В ней было что-то от монашки. Добра она была беспредельно, но мальчиков содержала в строгости, и они подчинялись ей беспрекословно. У о. Владимира было еще три сына. Самый старший, Александр (отец Вали), был в составе русского экспедиционного корпуса во Франции. Говорили, что имел он чин полковника. Следующий, Владимир, служил в действующей армии, на румынском фронте, в чине капитана. Третий, Саша, лет 16-ти, учился в гимназии в Бердянске и только изредка появлялся в Борисовке.

Слушал я с великим интересом и увлеченно беседы о. Владимира в школе, где он был законоучителем. Зимой 1917/18 года преподавание Закона Божьего в школе отменили. Но о. Владимир продолжал преподавать его для желающих у себя на квартире. И я посещал эти занятия.

Очень сильны были проповеди о. Владимира. На всю жизнь, например, запомнилась его проповедь против пьянства. И может, немалая доля того, что я, будучи окружен вином, никогда не пристрастился к нему, падает на эту проповедь. Многие плакали. Легкость и душевное успокоение приносили рождественские и пасхальные проповеди.

Замечательны христианские праздники — Рождество, Пасха, Троица, Спас, Покров... Каждый имеет свою моральную окраску. Скажешь «Троица» — и запах разнотравья и деревьев ударит в нос. Скажешь «Спас» — и яблочный дух охватит тебя. Ну, о Рождестве и Пасхе говорить нечего. В эти праздники рождается и воскресает Великое. Ты как будто сам рождаешься и воскресаешь.

Мой друг, Померанц Григорий Соломонович, умнейший человек, говоря о советских праздниках, сказал, что в советских условиях есть только один праздник — Новый год. И делает его праздником то мгновение, в течение которого исчезает старый год и появляется новый. Если бы не это мгновение, говорит он, была бы пьянка, была бы жратва, но не было бы праздника. Советские праздники потому и неотличимы друг от друга, что в них нет нравственного момента. Есть только пьянка и жратва. Я долго не мог понять, почему, сколько я себя ни взвинчивал, у меня не появлялось чувства праздника ни на Май, ни в Октябрь, ни в Победу. Во все мои коммунистические годы я праздновал только в Новый год. Детство же было переполнено праздниками.

Особенно любил я Пасху. Праздник начинался уже со всенощной. И хотя до выноса плащаницы ничего радостного не было, но оно чувствовалось, приближалось. Все ждали именно этого нравственного момента — чуда ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА. И когда священник провозглашал наконец: «Христос Воскрес!», а хор (в нашей церквушке он был великолепный) в ответ гремел: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав...», кричать хотелось от радости. И когда после освящения пасхи и куличей люди с горящими свечками в руках расплывались во все стороны, это было потрясающе. Я всегда останавливался у ограды и смотрел на уплывающие светлячки, пока все они не исчезали из поля моего зрения. И мне представлялось, что эти огоньки есть дух Христа, который верующие несут с собой.

А каков был день наступающий! После разговения нас до утра укладывали спать. Но не спалось. Мы вскоре просыпались, а нас уже встречал радостный колокольный звон. Попасть самому на колокольню и хоть немного позвонить было пределом мечтаний, хотя развлечений и без того было достаточно: карусель, качели, катанье яиц, игра в битки (чье яйцо крепче) и попутно чудеснейший обряд христосования: «Христос Воскрес!» — «Воистину Воскрес!» И ты снова и снова вспоминаешь: «Да, действительно Воскрес». И радость охватывает тебя, и ты с любовью целуешь христосующегося с тобой. Радость продолжалась все три пасхальных дня и растягивалась до следующего воскресения — дня Поминовения. Нет, день Поминовения тоже не был печальным. Ведь мы же знали, что Христос «сущим во гробех живот даровал». И люди старались ничем не омрачить радость. На первый день Пасхи никто не потреблял спиртного. Даже пьянчуга Тимоха ходил трезвый. На второй и третий день пили, но пьяного

галасу на улицах не было. И вообще в детстве я на Пасху не видел пьяных в селе. Слегка выпивших — да, пьяных — нет.

Только одна Пасха прошла для меня с грустью. Это было в 1915 году. Уже пришли первые сообщения о погибших на войне. Уже мы узнали, что наш отец «пропал без вести». А недалеко от нас женщина — титка Катря — получила «похоронку» на мужа. И вот я увидел титку Катрю среди ожидающих освящения пасхи и куличей. У нее на развернутом платочке стоял маленький куличик из темной муки, мизерная пасочка и пяток яичек. Лицо ее было задумчиво и печально. Рядом стоял плохо одетый бледный мальчик. Эта картина меня так поразила, что я не мог больше стоять здесь. Грудь мою сжала страшная боль, и я в слезах бросился домой. Дома началась истерика. Бабушка, которая из-за болезни в церковь не могла пойти, дозвалась меня к себе и пыталась выяснить, в чем дело. Но я в слезах только иногда вскрикивал, заикаясь: «титка Катря!» С большим трудом бабушка доискалась причины моей истерики. Она собрала огромный узел всевозможных пасхальных яств — большой кулич, яйца, колбаса, сало — и послала нас с Иваном до титки Катри. После этого я успокоился, но печаль так и не покидала меня во весь этот прекрасный праздник. Не лазил я на колокольню, не катался на каруселях и качелях, не катал яиц и не играл в битки. Рассказ этот не будет полным, если я не упомяну, что уже в 57-летнем возрасте, проходя психиатрическую экспертизу в институте им. Сербского, я привел этот случай для подтверждения того, что бывает, когда человека ведут чувства, а не разум. Но эксперт, Тальце Маргарита Феликсовна, вписала мне это событие как одно из начальных проявлений моего психического заболевания.

На этом не кончаются мои воспоминания о человеке, который так много добрых зерен положил в мою душу, но переходят в другую плоскость — в рассказ о человеческой неблагодарности, в рассказ о том, как обидели его и семью люди, которым он отдал всего себя, в том числе, а может, и особенно, я сам.

Подошла гражданская война. Беседы дяди и о. Владимира продолжались, но их политические пристрастия оказались противоположными. Дядя — красный; о. Владимир — белый. Да и как он мог быть другим. Царь для него — помазанник Божий. Верная служба ему — долг христианина. Так он и детей воспитывал. Владимир вступил на румынском фронте в дивизию полковника Дроздовского. С ней прошел карательным походом по югу Украины. Заехал к отцу и увел с собой 16-летнего Сашу. В первом же бою Саша погиб, и горем убитому отцу пришлось его отпевать. Твердо встав на сторону белой армии, о. Владимир был против жестокостей и террора, особенно по отношению к местному населению. Только благодаря ему у нас в селе белые не расстреляли ни одного человека. Несколько раз забирали взрослых мужчин из семей, замешанных в партизанском движении, но каждый раз выступал на защиту о. Владимир и добивался освобождения.

Эту заслугу впоследствии красные за ним не признали. Они утверждали, что он это делал только из страха за свою шкуру. Боялся, что если кого из села расстреляют, то и ему пули не миновать, когда мы вернемся. Но это — чепуха. Я знаю, как о. Владимир не дорожил своей жизнью, особенно после смерти Саши. О. Владимир просто выполнял свой пастырский долг. Он так усердно его выполнял, что комендант города Бердянска во время ходатайства о. Владимира за последнюю, четвертую по счету, партию арестованных (и освобожденных по его настоянию) сказал: «Эх, батя, к стенке бы тебя за этих краснопузых поставить, да ради сына твоего, одного из самых доблестных офицеров дивизии, приходится удовлетворять твои просьбы. Но если еще раз придешь, арестую».

Когда пришли красные, о. Владимира арестовали и прямо со двора повели на расстрел. Причем среди расстрельщиков были и родные тех, кого о. Владимир спас от расправы белых. К счастью, нашлись двое честных и мужественных людей — братья Бойко. Они, узнав об аресте священника, догнали карателей в тот момент, когда о. Владимира привязывали к дереву. Угрожая оружием, освободили его и доставили домой. Второй раз о. Владимира арестовала ЧК как заложника. О чудесном спасении от расстрела и в этот раз я расскажу ниже. Всякие унижения пережил о. Владимир, в том числе изъятие церковных ценностей.

Шел двадцать второй год. Я был одним из организаторов комсомола в селе, и мы решили добиться закрытия нашей церкви, чтобы переоборудовать ее в клуб. Но то было время, когда власть еще не решалась действовать против воли верующих. Чтобы закрыть церковь, требовалось собрать подписи от 90 процентов прихожан. И вот мы начали ходить по хатам — агитировать. А верующие, боясь бандитского захвата церкви, толпами собирались в ограде и охраняли ее. У меня было пакостно на душе. Я любил о. Владимира, да и глубокая моя религиозность не могла так сразу пройти. Но чем больше протестовал мой внутренний голос, тем похабнее вел я себя внешне.

Однажды мы, группа комсомольцев, подошли к церкви и, остановившись невдалеке от толпы верующих за оградой, начали отпускать «шуточки», задевавшие религиозные чувства. Мне показалось этого мало, и, заявив: «Если Бог есть, пусть расшибет меня

громом на месте», я грязно выругался. Наказание пришло, но совсем с другой стороны. Когда я вернулся домой, отец уже знал о происшествии у церкви. Избил он меня так, как никогда не избивал. Но еще большее наказание ждало меня. Иду однажды, задумавшись, мимо дома священника. Вдруг: «Петя!» — голос о. Владимира. Останавливаюсь. Поворачиваю голову: мой бывший законоучитель совсем высох. Только глаза горят.

— Однажды, Петя, я тебе сказал, что Бог тебе не нянька. Теперь добавлю: Он и не мальчишка, что откликнется на глупые обиды. Я тебе говорил, что Бог дал человеку разум, чтобы оградить его от бед. Так пользуйся разумом. Думай, думай, куда тебя ведут твои новые водители.

Глаза его смотрели на меня сочувственно и проникновенно. Зла в них не было нисколько. Я бросился от него. Больше никуда уже идти я не мог. Вернулся домой, залез среди овец и долго беззвучно плакал. Потом долго молился. Так и уснул в слезах.

Я много еще зла наделал своему народу, думая, что творю добро, но я уже никогда больше не допускал святотатства.

Больше о. Владимира я не видел. Он умер в 1923 году, когда меня в селе уже не было. Приехав на короткое время в село, я неожиданно встретил Симу. Он печально говорил об отце, о его смерти. Рассказал, что похоронить себя тот завещал на кладбище, хотя священников принято хоронить в ограде церкви. Но о. Владимир сказал, что церковь и площадь вокруг нее подвергнутся еще многим издевательствам. «Вместе с ними будет потоптан и мой прах. Поэтому похороните на кладбище в таком месте, чтобы могила затерялась побыстрее». Мы с Симой сходили на кладбище, и я поклонился дорогому праху. Когда в следующий раз, через несколько лет, я приехал в село, то не смог уже найти дорогую могилку. Она действительно затерялась, как того хотел сам о. Владимир.

ПЕРВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Весной 1918 года я закончил сельскую школу. Афанасий Семенович, который прибыл с фронта по ранению, еще в конце 1917 года пришел к бабушке, чтобы порекомендовать ей отдать меня в реальное училище в городе Ногайске (ныне Приморск) в семи верстах от нашего села. Он сказал, что это воля моего отца, что тот лично просил Афанасия Семеновича, чтобы он помог Петру учиться. Но бабушка уперлась: «Пусть при хозяйстве остается».

Я поделился своим несчастьем с Симой, который собирался держать экзамены в то же училище. Он сказал: «Я сейчас папе расскажу». И убежал. Через некоторое время появился о. Владимир. С суровым лицом он решительно шагнул к нам в хату. Что и как там говорилось, я не знаю, но бабушка мне сказала, чтобы я готовился к экзаменам.

Первый экзамен у меня не вышел. Идя в училище, я оделся по-праздничному: хорошо выстиранные и аккуратно залатанные штаны и рубашка, подпоясан специально сшитым матерчатым поясом на пуговке, голова стрижена под машинку, босые ноги чисто вымыты. Как же страшно контрастировала моя одежда с одеждой других кандидатов в реалисты! Они все были одеты либо в форменную одежду реалистов, либо в костюмы, сходные с этой формой. Я пытался укрываться за толпами кандидатов. Но они с насмешкой смотрели на меня и не принимали в свою среду. Директор училища, проходя среди вытягивающихся перед ним будущих реалистов, обратил внимание на меня:

— Молодой человек! А вы зачем сюда пожаловали?

— На э-к-з-а-м-е-н, — проблеял я.

— На экзамен надо одеться приличнее! Ну что это? — потряс он меня за тряпичный поясок. — Нужен ремень. Если и не форменный, то во всяком случае кожаный и широкий. И ботинки нужны. Босиком только стадо пасти можно. Вот так! Идите! Оденьтесь, как положено, и тогда приходите!

Глотая слезы, я пошел со двора. Чтобы окончательно разреветься, мне не хватало только одиночества. И я торопился уйти с глаз гогочущей ребятни. Вскоре нагнал меня Сима: «Я тоже сегодня не пойду на экзамен. Пойдем домой. Аня тебе все подберет. Вот только ремня у меня второго нет. Но у кого-нибудь достанем...» И тут я вспомнил. На другой окраине города в большом доме живет богатый ремесленник — медник Сластенов. Отец и дядя поддерживали с ним приятельские отношения. Бывая в Ногайске, они, как правило, останавливались у него. Его сын Павка, ростом почти равный мне, но коренастый крепыш, благоволил ко мне в том смысле, что милостиво давал поручения и принимал от меня услуги.

Я знал, что он учится в пятом классе реального училища, и, следовательно, у него должен быть старый ремень. Я сказал об этом Симе, и мы пошли к Сластеновым. Павки дома не было, но его отец, выслушав меня, преподнес мне вполне приличный ремень. Правда, без форменной бляхи. Остальное все сделала Аня. Она подобрала, зачинила и отутюжила одежду, сходную с форменной, почистила Симины старые ботин-

ки. Она нашла даже подходящую к моей голове фуражку. Завтра можно было пойти на экзамены.

Здесь я взял реванш за позор первого дня. Все экзамены я сдал на «отлично». При этом Сима, который был моим горячим болельщиком и всегда сидел на моих экзаменах до конца, утверждал, что все преподаватели задавали мне вопросы, выходя за рамки программы. Но как бы то ни было, я был принят и первого сентября 1918 года приступил к занятиям. Причем мне ежедневно приходилось преодолевать семь километров — расстояние от Борисовки до Ногайска — и в обратном направлении. Отец вернулся из венгерского плена еще весной этого года и весь ушел в восстановление хозяйства. Средств, чтобы снять койку для меня в Ногайске, у него не было. Да и рабочая сила ему была нужна. На уроки в реальном училище, ходьбу и выполнение домашних заданий уходило у меня около десяти часов, а рабочий день у отца достигал 16-ти часов. Поэтому отец сказал, что койку снимет только зимой.

Из солидарности Семен тоже не захотел жить в Ногайске, и мы, разговаривая, незаметно преодолевали свои семь километров.

Однажды, в прекрасное солнечное утро, придя в школу, мы никого в ней не застали. Стали расспрашивать. Установили — все пошли к собору встречать дроздовцев.

— Значит, и Володя! — обрадовался Сима.— Побежим и мы к собору! — Но мне почему-то бежать не хотелось, хотя в то время я никакой вражды к белогвардейцам не испытывал. Я их попросту не видел и не знал, не понимал, кто они и зачем идут.

Я остановился на тротуаре, неподалеку от бывшей городской думы — теперь Ногайский городской Совет.

У здания толпился народ. Как я понял из разговоров, это были родные членов Совета, которые все до единого собрались в зале заседаний в ожидании прихода дроздовцев, чтобы передать управление городом в руки военных властей. Городской Совет Ногайска, как и подавляющее большинство Советов первого избрания, был образован из числа наиболее уважаемых, интеллигентных, преимущественно зажиточных, а в селах — хозяйственных людей. Для них важнее всего был твердый порядок, и потому они не хотели оставить город без власти, даже на короткое время. Входившие а состав Совета двое фронтовиков до хрипоты убеждали своих коллег разойтись и скрыться на некоторое время. Они говорили: «Офицерье нас перестреляет». На это им отвечали: «За что? Ведь мы же власть не захватывали. Нас народ попросил. Офицеры — интеллигентные люди. Ну, а тюрьме подержат для острастки несколько дней. А расстрелять...»

Я стоял, слушая рассказы об этих разговорах в Совете, и тоже не понимал, как это можно застрелить человека за то, что народ избрал его в Совет.

Вдруг где-то на окраине города, за собором, грянул духовой оркестр. Многие побежали в направлении музыки. Я тоже было двинулся туда, но через несколько десятков шагов остановился, а потом возвратился на прежнее место. Из-за собора, сверкая солнечными отблесками, выходил, как я теперь понимаю, полк, развернутый в линию ротных колонн (в шеренгах примерно по 50 человек). Через некоторое время, обходя полк справа, показалась небольшая офицерская колонна, которая быстрым шагом направлялась к зданию Совета. Когда колонна была уже в нескольких шагах от этого здания, я со своего места увидел, как с задней стороны его открылось огромное окно, через него выпрыгнули двое солдат в расстегнутых шинелях и бросились через сад к железной ограде, окружающей территорию Совета.

Они явно хотели убежать, и план их был мне ясен: преодолеть железную ограду Совета, перебежать прилегающий переулок и скрыться за зданием реального училища. Далее через городской сад добраться до ближайшего оврага, и ищи ветра в поле. Но беглецов заметили и те, что подходили к Совету. Четверо отделились от колонны и бросились к переулку. На ходу они стреляли. Один из беглецов был подстрелен. Будучи уже наверху ограды, он свалился внутрь территории Совета. К нему бросились двое из колонны. Второй успел перемахнуть через ограду и, прихрамывая (по-видимому, был ранен), бежал к зданию реального училища. Оставалось всего несколько шагов до заветного укрытия. Вдруг что-то темное метнулось солдату под ноги, и он упал. «Что-то темное», оказавшееся мальчиком в форме реалиста, выскочило из-под ног солдата; и в это время к нему подбежали преследователи. Они начали с ходу наносить по беззащитному телу удары штыками.

В это время конвой, вошедший в здание, начал выводить членов Совета на площадь. Некоторые из них, видя своих родных и пытаясь их подбодрить, кричали: «Не волнуйтесь, мы скоро встретимся!» — «В аду»,— «шутили» господа офицеры из конвоя. В это время я услышал хорошо знакомый мне, но звучащий теперь подобострастно, голос: «Господин офицер, не забудьте, пожалуйста, это я его подвалил. Я ему под ноги бросился». Я оглянулся: Павка Сластенов, то и дело забегая вперед, чтобы угодливо заглянуть в глаза офицеру, продолжал напоминать о своем. И офицер милостиво отвечал: «Да, да, я доложу о вашем патриотическом поступке».

Меня затошнило. Отвращение и ненависть к этому моему бывшему кумиру родились

во мне. И слово «патриотический» с тех пор легло в тот отсек души, где хранится все, напоминающее неприятное. Когда говорят «патриотический», я невольно вспоминаю неподвижное и беззащитное тело, поражаемое штыками четырех здоровых людей. Никто его не допрашивал, никто не судил, никто даже не спросил, кто он,— просто убили, как дичь на охоте.

Членов Совета конвой погнал в сторону моста через реку Обиточную и далее, по направлению к селу Денисовка. За арестованными двигалась колонна пустых повозок. Родственников арестованных и других гражданских лиц через мост не пропускали. Некоторое время спустя враздробь затрещали выстрелы со стороны Бановской рощи. Немного погодя треск повторился. Еще через некоторое время со стороны Денисовки подъехал офицер и прокричал: «Кто здесь родственники советских прислужников? Можете забирать их!» — «Где? Где?» — зашумели люди. Им показывали в сторону Бановской рощи. Вскоре плачущие родственники пошли назад. В повозках, за которыми шли они, лежали их мертвые родные. Так вот для чего за арестованными следовали повозки!

Люди, ошеломленные происшедшим, присоединялись к скорбной процессии, к своим друзьям и родным, со страхом оглядываясь, расходились по домам. Но немало оставалось и тех, кто продолжал растерянно топтаться на месте. Среди них был и я. Видеть Симу желания не было. Домой тоже не хотелось. В училище — незачем. И вдруг я увидел учителя истории Новицкого. В парадной форме капитана русской армии, с четырьмя «Георгиями» на груди (полный Георгиевский кавалер), он, четко чеканя шаг, шел к зданию Совета. Я был потрясен, у меня не было никакого сомнения, что он был среди тех, кого повели на расстрел. Я сам видел его. И вдруг снова он.

Он вошел в здание Совета. Через несколько мгновений оттуда послышалась отборнейшая площадная брань. Слышались слова: «Ты еще учить нас будешь, большевистская подстилка! Права требовать! Я тебе покажу права!» На крыльцо вылетел, выброшенный сильным толчком, Новицкий. Погоны у него сорваны. Георгиевские кресты тоже. Китель разорван. За капитаном на крыльцо выскочил офицер с белой повязкой на рукаве, надпись на повязке: «Комендант»; держа револьвер у затылка Новицкого, он орал ему: «Вперед! Вперед!» Только Новицкий шагнул с последней ступеньки думского крыльца, прозвучал выстрел, и тело капитана мешком осело на тротуаре. До сих пор я был как в трансе. Невообразимая жестокость, бесчеловечие ошеломили меня, лишили силы и воли. Я все время простоял почти на одном и том же месте, глядя широко раскрытыми глазами на происходящее. Убийство Новицкого вывело меня из транса. Я закричал и бросился бежать. Меня огнем пронзила мысль: «Дядя же Александр председатель Борисовского Совета! Значит, его тоже могут расстрелять!»

Я бежал изо всех сил. Одна мысль владела мной: «Успеть бы раньше дроздовцев. Предупредить дядю и членов Совета». Я прибежал на дядин двор, дыша, как загнанная лошадь. Дядя, ничего не подозревая, работал во дворе.

— Дядя, убегайте! — закричал я и упал на траву. Дядя подбежал ко мне, начал расспрашивать. Через несколько минут он все понял и сам отправился предупреждать членов Совета.

Никого из борисовских советчиков дроздовцам захватить не удалось. Были предупреждены и соседние села. Все отсиделись в камышах. Правда, ноги были изранены пиявками. Но ноги — не голова. Отходили.

Но что же произошло с Новицким? Был ли он среди тех, кого расстреливали в Бановской роще? Да, был. Опытный фронтовик, человек большой воли и собранности, он сумел упасть за мгновение до того, как до него дошла предназначенная ему пуля. Когда среди трупов расстрелянных появились родственники, он поднялся и пошел домой. Дома он надел парадную форму, чтобы идти обжаловать беззаконный террор. Родные на коленях умоляли его не ходить. «Это же варвары,— говорили они,— тебя непременно убьют».— «Нет,— говорил он,— я не могу не идти. Ведь если никто их не остановит, они же пол-России перестреляют. Нет, надо командованию об этом рассказать».

Что вышло из его попытки, я уже написал. Его убили. Но величие человека, который ставит собственную безопасность ниже общественного интереса, никогда не умрет. Гражданскую войну могли остановить только Новицкие. Сегодняшние правозащитники — прямые наследники и продолжатели дела Новицких. Они только могут остановить надвигающуюся мировую войну, наступление темных сил тоталитаризма.

Новицкий был не единственным, кто уклонился в тот день от предназначенной ему пули. Рядом и одновременно с Ногайским Советом был расстрелян Денисовский сельсовет (вторая серия выстрелов). Из денисовцев спаслись двое, среди них — будущий вожак партизанской войны в нашем районе.

Да, плохо стреляли господа офицеры! Не привыкли еще уничтожать мирных людей. И дело организовывали плохо. Среди бела дня, на глазах у всего народа. Нет, так давить народ нельзя. Так можно лишь ненависть к себе пробудить. Что и случилось. Запугать не запугали, а от добра отступились, и оно оружием не стало.

Развязывая руки злу, они не подумали о том, что их сменят те, кто зло не ограничивает, но и напоказ не выставляет, кто душит в застенках, душит «по закону», душит не единицами и десятками, а миллионами и десятками миллионов, кто душительство превращает в профессию и готовит «специалистов» этой области сотнями тысяч.

На следующий день занятий не было, хотя никто не объявлял об их отмене. Реалисты болтались по городу, который сплошь был оклеен призывами: «Бей жидов — спасай Россию!»

Я сидел в коридоре у окна, находящегося на высоте полутора этажей,— под первым этажом в этом месте высокий полуподвал. Слева от меня, почти около самого здания, въезд и вход во двор реального училища. И вот через этот вход вливается во двор шайка реалистов младших классов, предводительствуемая старшеклассником Павкой Сластеновым. Над ними развевается белый флаг с надписью: «Бей жидов — спасай Россию!» Это же они и орут во всю глотку. И нужно же произойти такому! Откуда-то им навстречу — первоклашка — еврейский мальчик. Да еще маленький, щуплый, болезненного вида. Шайка мгновенно его окружает: «Молись своему жидовскому Богу! Сейчас мы будем спасать Россию от тебя». Образуют живой круг вокруг него, гогочут и бросают его с одной стороны круга на другую. Он плачет и падает на песчаную дорожку.

Все зло, что у меня накопилось за прошедшие сутки, подкатило к горлу. Я открыл окно и прыгнул с высоты полутора этажей. Упал я почти рядом с шайкой. После, уже взрослым, я ездил специально посмотреть на это место и пришел к выводу, что теперь прыгнуть с той высоты не смог бы. А тогда прыгнул. И сразу же начал наносить удары, крича: «Ах вы, белая сволочь». Мальчишки бросились во все стороны. Но я за ними не погнался. У меня кипело против Павки. И за вчерашнюю помощь офицерам, и за сегодняшнее нападение целой шайкой на беззащитного ребенка. И особенно за мою былую влюбленность в него. Когда мой отец или дядя приезжали к ним, я, как собачонка, бегал за Павкой, выполняя все его прихоти.

Сейчас он отступал от меня за спинами ребят. При этом, зловеще улыбаясь, снял пояс с тяжелой бляхой реального училища и начал его удлинять. Я понял его замысел и глазами поискал, что бы взять в руку. Увидел кусок кирпича. Схватил его. И в это время страшная боль прожгла правую руку. Тяжелая бляха со свистом опустилась прямо на чашечку правого локтевого сустава. Я схватился левой рукой за ушибленное место, прижал правую руку к туловищу и тихо пошел прочь. Я не мог бежать. Боль не позволяла. И я шел, как будто сосуд с водой нес. И шел не в город, где мне могли оказать помощь, а к городскому саду, совершенно пустому в это время утра. Меня, по-видимому, вела мысль о скамейках, на которые там можно сесть. И я действительно сел на первую попавшуюся. Пока я шел до сада, Павка, идя за мною, бил меня тяжелой пряжкой ремня по плечам, по шее, по спине. Я никак не реагировал на это. У входа в сад он почему-то оставил меня.

Это была наша последняя встреча. От нее у меня и до сих пор память. Под кожей, у локтевого сустава, пониже чашечки, свободно двигается костный осколок. Долгое время была и боль. Сейчас нет, давно исчезла. Павка ушел добровольно к белым. Был карателем. Дослужился до офицерского чина (какого, не знаю) и, говорили, сумел эвакуироваться. Если жив и встретится с этой книгой, пусть получит несколько минут приятных воспоминаний.

На следующий день я опоздал на первый урок. Идя в училище, я заметил в одном из дворов толпу народа и стоящую у дверей дома бричку. Разве мальчишка может пройти мимо, не установив, чем вызвано это скопление людей. Я нырнул а толпу, пролез под бричкой, и вот я уже в доме. Но то, что я увидел, заставило меня стремглав вылететь обратно. Посредине первой комнаты лежал старик с раскроенной головой. На пороге второй комнаты — мертвая старуха. У нее перерублено плечо. Двое мужчин вытаскивали в это время из-под старухи еще одно мертвое тело. Все видимое пространство комнат в потоках крови.

На улице меня стошнило. Я отошел в сторону и слушал разговоры. Доносились фразы: «Всех троих?» — «Да нет, хлопчик, говорят, еще живой».— «От же ж звери!» — «Хто б це миг таке зробыты?» — «А офицеров з комендатуры вызывали, так воны й йти не схотилы. Подумаешь, кажуть, трех жидов убили. Мабуть яки бандиты. А яки в нас тут бандиты?» — «Да бандиты сидят в самой комендатуре или где-то поблизости»,— встрял в разговор резкий мужской голос. В это время из дома вынесли юношу. Голова и лицо его были покрыты снежно-белой повязкой. Выносом и укладкой на повозку руководил земский врач Грибанов.

О Грибанове в наших местах и до сих пор легенды ходят. Долгие годы в царское время и после революции он был единственным врачом на огромный степной район. Ночь, полночь, праздник, воскресенье — когда бы то ни было,— он ехал, куда звал его долг. Когда этот человек жил для себя — сказать невозможно.

Память у него была феноменальная. Врачебная эрудиция — огромная. Он выступал в роли врача всех специальностей, в том числе был замечательным хирургом, акушером и гинекологом. Прием родов и операции он делал в любых условиях. Люди на него, что называется, молились, несмотря на то, что внешне вел он себя резко и даже грубо. Его губастое лицо, кажется, никогда не улыбалось. Таких толстых губ я ни у кого больше не видел, кроме негров. Губастые люди, как правило, веселы и улыбчивы. Грибанов же даже шутил, не улыбаясь.

Юношу положили в бричку. Туда же села, осторожно придерживая его голову, и медицинская сестра. Грибанов крикнул: «Прямо в операционную!» — и пошел в больницу. Пошел и я в ту же сторону — в училище.

Когда я вошел в класс, занятия уже шли. На мою просьбу разрешить сесть учитель ответил вопросом:

— А разве вы не читали приказ директора?

— Нет, не читал!

— Тогда пойдите и прочтите. Он вывешен на доске в коридоре.

Я подошел к доске и прочел: «Реалиста, крестьянского сына, Григоренко Петра Григорьевича исключить из училища за хулиганскую драку с применением камней и кирпичей». Это был удар. Крушение мечты. Но странно, этот страшный удар скользнул поверх моего сознания. Но я все же понял, что это еще один удар Павки Сластенова.

Раннее мое возвращение удивило. Только что возвратившийся из камышей дядя Александр удивленно спросил: «Чому так рано?» — «Меня исключили». Я рассказал, за что. Дядя возмутился: «Я сам схожу до директора». Но мне это не улыбалось. «Вам туда нельзя ходить».— «Ну, тогда попрошу батюшку».

Однако не помогло и вмешательство о. Владимира. Директор сказал, что это сделано по распоряжению комендатуры, которой откуда-то стало известно, что один из реалистов вступился за «жиденка». Директор пообещал восстановить после того, как дело немного забудется. Он и выполнил свое обещание, но только почти через полгода и притом, когда махновцы изгнали белых из наших мест. Это было похоже больше на акт самозащиты, чем на выполнение ранее данного обещания. Всем было известно, что старший мой брат служит не то у Махно, не то у красных (тогда между теми и другими разницы не делали). Но учеба после этого уже не шла. Реалисты, сплошь симпатизировавшие белым, относились ко мне со смешанным чувством страха и ненависти. Я чувствовал всеми фибрами души враждебность среды, и быть в ней мне не хотелось.

В день моего исключения Сима, возвратившись домой, рассказал об убийстве целой еврейской семьи. Он возмущенно говорил, что многие жители Ногайска приписывают это убийство офицерам. Сказал, что о юноше прошел слух, будто он умер. На следующий день слух подтвердился. Сима рассказал, что вчера вечером в больницу пришли офицеры, чтобы допросить юношу, но доктор Грибанов заявил, что он умер и его забрали родственники. Адрес родственников он не знает. На возражение офицеров, что у него нет здесь никаких родственников, Грибанов рассердился и, ругаясь в своей обычной форме, чуть ли не в шею выпроводил офицеров из больницы. При этом он орал: «Родственники не родственники — какое мое дело! Приехали — сказали, что родственники... И берите... Я не хранитель мертвых тел. У меня больные лечатся. А мертвых пусть везут, куда хотят!»

После этого некоторое время ходили слухи, что юноша не умер, что Грибанов его спрятал от офицеров, которые могли его убить как свидетеля их преступления. Потом утихли и эти слухи. Но мне пришлось еще раз услышать всю эту историю значительно более подробно и полнее.

Продолжение следует



НЕОБХОДИМАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ПРОГРЕССА

Таким образом, положительвое в отрицательвое — это стороны противоположности, ставшие самостоительными. Они самостоятельны, будучи рефлексией *целого* в себя, и принадлежат к противоположности, поскольку именно *определенность* рефлектирована в себя как целое.

Гегель. Наука логики

Еще недавно о забастоаках при социализме не могло быть и речи. Случаи подобного рода именовались по-разному: от зловещего «саботаж» до почти безобидного — «недоразумение». Зато о забастовках на Западе писалось много. Рабочие там выставляли только разумные и справедливые требования, а администрация в ответ прибегала к жестоким и необоснованным репрессиям. Но вот в социалистической Польше возникла «Солидарность». «Недоразумения» приняли такой массовый и организованный характер, что и называть их так стало невозможно. Слово «саботаж» хотя и применялось, но реакция дружественного нам правительства была не адекватной этому определению, а толкать его на усиление репрессий Москва не хотела или не могла. Пришлось заговорить о забастовках. И тут мы узнали, что необоснованными и антинародными являются именно требования забастовщиков, что же касается ответных репрессий власть имущих, то они-то как раз были и законными, и справедливыми. В обоих случаях аргументы и факты были не совсем высосаны из пальца. Действительно, забастовки наносят некоторый ущерб экономике страны и, следовательно, ее гражданам. Но, с другой стороны, даже в эпоху самой процветающей гласности голоса «снизу» будут гласом вопиющего в пустыне, коль скоро «низы» не будут иметь в своем распоряжении средств давления на тех, кто стоит у власти. Антисанитарные условия труда будут приводить к износу организма работника, низкая заработная плата — тормозить технический прогресс, невозможность отстаивать свои интересы легально — порождать «несунов» и бракоделов, что, в свою очередь, скажется на экономике гораздо серьезнее, чем отдельные случаи забастовок.

Впрочем, при отсутствии сопротивления со стороны «верхов» эти «случаи» могут стать обыденной нормой, притязания рабочих — сверхмерными, и технический прогресс из-за экономии на капиталовложениях, исследованиях и новых разработках опять-таки остановится.

Во всем должна быть мера. Но кто ее, эту меру, может установить? Кто более прав в этом споре — «хозяева» или работники?

Если не говорить о каждом конкретном случае, в котором правота может быть как у тех, так и у других, а обсуждать принципиальные вопросы, то в конфликте правы обе стороны, но только совместно. В ходе этой борьбы между «трудом и капиталом», между сегодняшними интересами трудящихся и интересами «фирмы», интересами накопления, интересами завтрашнего дня, т. е. интересами детей и внуков, и выясняется тот оптимальный путь распределения на потребление данной категории трудящихся, потребление работников других отраслей экономики, потребление данного поколения вообще и вложениями в расширенное воспроизводство.

Вопрос этот можно рассмотреть и с более общей точки зрения — не существует иного

способа оптимизации взаимоотношений частного (в случае забастовки — группового) интереса и интересов общества в целом, кроме борьбы.

Если частный интерес полностью порывает с контролем общества, если личность («гордый человек») не желает смириться с некоторыми ограничениями, возникает феномен Раскольникова (Алеко, Печорина) — подобными «героями», сеющими вокруг себя горе и смерть, русская литература очень богата.

Но если личность оказывается в полной зависимости от общества, то общество попадает в такую же зависимость от государства, и возникает «культ личности». Если каждый человек теряет возможность принимать свои собственные решения, за него их начинает принимать узкая клика власть имущих, и тогда счет жертв начинает идти на миллионы. С другой стороны, не приходится ожидать и того, что решения, принимаемые каждым из нас, будут оптимальными для всех остальных, т. е. для общества в целом.

И в этом случае вопрос о том, кто абсолютно прав в извечном споре личности и общества, ставить не приходится — правы обе стороны в своем противоборстве.

Только такое противоборство, ограничиваемое рамками морали и права, выработанными отдельными личностями и воспринятыми обществом, или, что то же самое, выработанные обществом и воспринятые каждой отдельной личностью, могут обеспечить социальный и индивидуальный прогресс.

На каждый достойный внимании литературный или философский труд приходится тысяча графоманских опусов, на каждый серьезный проект — тысяча прожектов. Если культура не будет защищена от подобных инноваций традицией, если она будет принимать все новое без разбору, она погибнет. Но так же погибнет она или, по крайней мере, деградирует, если традиция подавит любую новацию.

В столь же извечном, как и цивилизация, споре консерваторов и радикалов — правы обе стороны. «Прав», т. е. абсолютно необходим для прогресса, сам этот спор, в котором, как известно, и рождается истина.

Сегодня, когда мы пытаемся сделать выводы из нашего тяжелого прошлого, нет недостатка в голосах, обвиняющих Сталина в том, что он восстановил самые печальные и страшные традиции имперского дореволюционного режима, не менее многочисленны и те, кто обвиняет его в разрушении всего того, что было накоплено опытом истории. Аргументы с обеих сторон достаточно убедительны. В чем же дело? Кем же был Сталин — радикалом или консерватором?

Дело в том, что спор наиболее радикальной части российского общественного движения — большевиков со своими консервативными противниками — превратился в войну на уничтожение.

В те времена было принято противопоставлять рабочую, пролетарскую привычку к дисциплине и исполнительности интеллигентскому «самокопанью» (рефлексии) и интеллигентской «болтовне». Будущее общество в целом и его авангард, партия большевиков, мыслились чем-то подобным хорошо отлаженному заводу. Предприятия подобного рода в те времена, как правило, не имели ни лабораторий, ни конструкторских бюро. Так что новая информация поступала на завод со стороны. Рабочие и тогда, и теперь участвуют в производственном процессе в условиях неполноты информации — при этом дисциплина и исполнительность безусловно необходимы для нормального функционирования предприятия. Необходимы, но не достаточны. Для того чтобы предприятие развивалось, необходимы поиск и освоение новой информации. Новая же информация может быть либо заимствована, либо получена методом проб и ошибок. Любая политическая организация тем более действует в условиях неполной информации. Для того, чтобы общество не платило дорогой ценой за ее пробы и ошибки, необходима проверка деятельности на моделях — в политике такие модели могут быть только вербальными. Впрочем, в любой лаборатории и КБ вся творческая работа, та, которая не может быть поручена лаборанту или чертежнику-исполнителю (в идеале — ЭВМ), необходимо сводится к анализу данных («самокопанью») и обсуждению («болтовне»).

Полная уверенность в том, что вся информация о будущем уже заключается в трудах Маркса и Энгельса, и привела к тому, что большевики попытались построить свой «завод», ликвидировав «болтунов».

Когда консервативные силы были полностью ликвидированы, большевикам ничего не оставалось делать, как взять эту функцию на себя. В своем «Завещании» Ленин, назвав Бухарина любимцем партии, тотчас же напомнил, что тот «никогда не понимал диалектики». К сожалению, не только Бухарин. На X съезде партии по вопросу о будущем профсоюзов столкнулись две, казалось бы, противоположные точки зрения. Точка зрения Троцкого, предлагавшего полностью подчинить профсоюзы государству, и точка зрения «рабочей оппозиции», предполагавшая полное подчинение государства профсоюзам. Обе стороны исходили из отождествления интересов целого (государства) и части (профсоюзов) и, по сути дела, спорили только о том, как будет называться новая власть.

Не осознавая того, что любое развитие противоречиво по своей сути, тот же X съезд принял печально известную резолюцию «О единстве партии», надеясь, что запрещение фракций приведет и к разрешению всех противоречий. В результате такого решения вся

власть в партии, а следовательно и в стране, сосредоточилась сначала в руках партийного руководства, а затем — одного Сталина. Он один получил право и возможность судить о том, достаточно ли прогрессивно то или иное мероприятие, что из достигнутого должно быть сохранено, а что уничтожено. Отныне только он мог выступать и в роли радикала, и в роли консерватора. Дело социальных психологов — изучить вопрос о том, получил ли Сталин свой пост благодаря своей параноидальной психике, или стал параноиком, получив такой пост.

Психика человека, который в такой огромной стране попытался бы столь полно совместить в себе функции единственного радикала и консерватора, и не могла быть иной.

Мужское без женского столь же бесплодно, сколь и женское без мужского. Тень не может существовать без света, а левое без правого.

Но так же точно никакая политическая позиция не может существовать без оппозиции. Нельзя же считать политической позицией ту программу, которую предложили в сказке Салтыкова-Щедрина мерзавцы ретивому начальнику: «А программа наша вот какова. Чтобы мы, мерзавцы, говорили, а прочие чтобы молчали. Чтобы наши, мерзавцев, затеи и предложения принимались немедленно, а прочих желания чтобы оставлялись без рассмотрения. Чтобы нам, мерзавцам, жить было повадно, а прочим всем чтоб ни дна, ни покрышки не было. Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холе и в неженье, а прочих всех — в кандалах. Чтобы нами, мерзавцами, сделанный вред за пользу считался, а прочими всеми если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы считалась. Чтоб о нас, мерзавцах, никто слова сказать не смел, а мы, мерзавцы, о ком вздумаем, что хотим, то и лаем! Вот коли все это неукоснительно выполнится, то и вред настоящий получится».

Настоящий вред и получился. О нем говорено немало, пора поговорить и о пользе.

Сегодня снова консерваторы пугают обывателя либералами, те — консерваторами. В который раз мы хотим иметь или только левую сторону, или только правую.

В реальном явлении нет ни левого, ни правого; ни наследственности, ни изменчивости; ни консерватизма, ни радикализма. Есть единый процесс, который мы мысленно рассекаем на противопоставляемые друг другу факторы. Семантические оппозиции отражают не столько внешнюю реальность, сколько свойства нашей психики. Нам удобнее рассматривать единый процесс как борьбу противоположностей. Но удобство это таит и опасность. Принимая свои мысленные конструкции за объективную реальность, человечество в очередной раз отправляется воевать с ветряными мельницами.

Не надо пугаться ни консерватизма, ни радикализма. Реальную опасность представляет абсолютная победа одной из сторон и полная ликвидация другой. Вот тогда ветер истории вернется на круги своя, независимо от того, кто конкретно победит.

Для того, чтобы этого не произошло, необходимо легализовать право на существование и консерваторов, и радикалов, легализовать и в правовом, и, что самое важное, в нравственном аспектах.

Тогда и только тогда можно будет надеяться на прогресс.

Валерий Ронкин
г. Луга